

Алексей СМИРНОВ ХМЕЛЬ ПАМЯТИ Избранная проза

**Алексей
СМИРНОВ**

**ХМЕЛЬ
ПАМЯТИ**

Избранная проза



МОСКВА  **новый хронограф** 2022



**Алексей
СМИРНОВ**

**ХМЕЛЬ
ПАМЯТИ**

Избранная проза

МОСКВА **новый** хронограф 2022



УДК 821.161.1-94
ББК 84(2=411.2)6-49
С 506

Смирнов А. Е.

С 506 Хмель памяти. Избранная проза – М. : Новый Хронограф, 2022. – 536 с.

ISBN 978-5-94881-522-0

Избранная проза поэта, писателя, историка литературы, переводчика включает роман «Виолончель за бумажной стеной», повести, новеллы, эссе разных лет

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2=411.2)6-49 С50

В оформлении обложки и титула использован эскиз узора У. Морриса «Порыв ветра» (1881–1883).

ТО, ВО ИМЯ ЧЕГО

Когда-то давно один начинающий автор обсуждался в Москве, в некоем литературном собрании. Компания подобралась колючая. После чтения посыпались вопросы, часто жесткие. Он, как мог, отбивался. Но был удар, который послал его в нокаут. Этот неотразимый вопрос гласил:

— Во имя чего вы пишете?

В ту пору новичок затруднился бы с ответом и на куда более легкое: «Как вы пишете?» или: «О чем?». А это «во имя чего?» оказалось просто сокрушительным!

Конечно, честолюбие — вождь юности. Вместе с тем ответить: «Для славы», — было бы, и смешно и не полно. Смешно, потому что вся его тогдашняя «слава» растворялась в кругу нескольких друзей. А не полно, потому что он предчувствовал в своем тяготении к слову нечто иное, нежели только желание стать знаменитым.

Еще нелепей прозвучал бы ответ: «Ради денег». Долгое время он, нигде не печатавшийся, вообще не имел представления о том, сколько платят писателям.

Так во имя чего же, на самом деле?!

Неизвестно.

«Рефери» с загипсованной рукой на перевязи молча отсчитал свои десять счетов.

Накаутированный не поднялся.

С тех пор он даже в мыслях избегал вопроса, так его подкопившего. Назвал подобную постановку «некорректной» и больше к ней не возвращался. «Я пишу во имя ни-че-го! — сказал он себе. — Просто пишу и все, не задаваясь лишними вопросами».

Однако проблема оставалась...

Ныне, по прошествии лет, ему кажутся уже доступными разумению поиски тех оснований, на которых безотчетно строился его литературный мир, отношение к творчеству, может быть, не только его собственные, — поиски обоснованных ответов на «вопрос-нокаут». Теперь появилась возможность суммировать накопленный опыт и развернуто высказаться по теме: *во имя чего писатель берется за перо?*

Простое решение сводится к следующему: запись позволяет уяснить себе то, что вне пера и бумаги остается непонятным.

Рефлексия — естественная для человека реакция на жизнь: хочется разобраться в своих мыслях, ощущениях, оценках. Внутренне сосредоточиться. А как? Надо перевести их «из воздуха» в более осязаемый мир слов на бумаге (или экране). *Записать, чтобы уяснить.*

Кроме элементарного осознания, дисциплина письменной речи помогает проникнуть в суть предмета: «довести до ума» первоначальную догадку; отыскать неизвестное в известном; создать гармонический строй в смысловой путанице, звуковом и ритмическом хаосе; высветлить стилистику; снова — в воображении — пережить то, что однажды взволновало тебя наяву, но пережить не смятенно, повинувшись нахлынувшей душевной волне, а подготовленно, плодотворно, артистично, открывая нечто недоступное без художественного постижения; нечто необычайное; не лежащее на поверхности здравого смысла; проявляющее себя ассоциативно, косвенно, возникающее из подтекста. То есть: *уяснить, чтобы открыть.*

Безбрежная бездна понятий и ощущений подобна морской пучине. Погружающемуся в нее она дарит объем. И тогда эмпирик, плескавшийся на двумерной зыби расхожих истин, с удивлением, страхом, восторгом обнаруживает вокруг другой мир, словно впервые попадает на морское дно и замирает, пораженный красотой того, что ему предстало. Он испытывает наслаждение, обозревая подводное царство. Ему суждено пережить счастье глубинного созерцания. *Открыть, чтобы насладиться красотой.*

Природа поэзии такова, что, и светлое и темное; и праздничное и будничное она способна переводить в совершенно иную

категорию — в категорию прекрасного. Кажется, что творчески включенное сознание, словно «волшебный фонарь», преобразует питающую его энергию жизни в духовное свечение. Душа человеческая, замороженная мирскими страстями, сохраняет в себе неизбежную тягу к прекрасному и готова ради этого проходить не только через очищение радостью, но и сквозь просветление страданием; просветление, которое несет трагическое искусство. Так гармония форм — эстетическое начало сходится с началом душетворящим — этическим; красота созерцания с красотой незримой, создавая качество, известное нам под именем: прекрасное. *Насладиться красотой, чтобы с ней испытать чувство прекрасного.*

Помимо этих обоснований, существует и другого рода причина, заставляющая браться за перо. Она вызвана желанием материализовать время, остановить его, повернуть вспять. Это — мотив памяти. Трудно смириться с тем, что любимые нами люди уйдут навсегда, что трава забвения запутает их земные тропы. Померкнут лица, рассеются голоса, сотрутся следы; обветшают дорогие им вещи, рассыплется утварь; разрушатся дома, в которых они жили; изменятся сами пейзажи, окружавшие их когда-то... Все это будет происходить исподволь, почти незаметно. Сперва утратятся детали былого, а с ними резкость памяти. Останется общий вид. Потом — расплывчатая приблизительность вида. Но исказится и она. Поменяется масштаб. Все уменьшится. Исчезнет искаженное... Протест против такого опустошения, невыносимость его возвращают нас в прошлое. Удерживать время можно по-разному. В том числе в слове. Значит, *записать, чтобы сохранить*. При этом историку важно сохранить объективно, художнику важно *сохранить по-своему*. Исследователь чтит беспристрастность в обращении к прошлому, тогда как субъективность искусства складывается из личных предпочтений, собственных правд. Но субъективное не означает ложное. Напротив. Многомерность художественной правды куда ближе к истине, чем плоская правда документа. Наука зиждется на объективностях, искусство состоит из правд. В том числе и взгляды на предназначение искусства — на «то, во имя

чего». Моя правда там, где мои испытания, мой опыт. Пускай найдется кто-то иной со своим опытом, который скажет: «Все это совсем не то, во имя чего». Или: «То, да не то». Но его правда не будет моей. Сохранить по-своему означает пропустить через собственный опыт, через свое сердце.

Воскрешая былое, художник вольно или невольно задумывается о драме человеческого бытия, состоящей в том, что относительная бесконечность жизни в целом безучастна к предельности каждой индивидуальной судьбы. Как продолжить свое земное пребывание; раздвинуть траурную рамку отпущенного тебе срока; войти в число тех, кого помнят? Это глубоко персональный мотив. Постепенно крепнет вера, что правда жизни, сохраненная тобой по-своему, сбережет и тебя самого, как частицу былого. Речь идет не о «бессмертии» хотя бы и в границах той культурной эпохи, которой ты принадлежишь. Речь о продлении — пусть совсем ненадолго — твоего духовного присутствия в ней. *Сохранить по-своему, чтобы продлить себя.*

Но это не все.

Творчество есть узаконенная культурой легальная возможность выплеснуть накопившуюся энергию духа — дать волю воображению, мысли, страсти. Миг такого выплеска всегда неожидан, всегда непреднамерен. Его нельзя вызвать усилием воли, сымитировать, организовать. Рожденная и плененная тобой мысль, заточённое чувство могут томиться в тебе многие годы, пока не потребуют высвобождения. И ничто тогда не преградит им дороги. Они все равно вырвутся наружу, распрощаются с тобой, но и ты освободишься от них, потому что невысказанность мучительна. *Записать, чтобы освободиться.* В том числе облегчить чувство вины перед ушедшими и живущими, принести им свое раскаянье, исповедаться без посредников, одному, напрямую — в слове. Именно так: *записать, чтобы исповедаться.*

Принадлежа своему времени, человек переживает перипетии не только собственной, но и народной судьбы. Он не в состоянии благоденствовать среди окружающих его несчастий; радоваться личным удачам, не обращая внимания на горести вокруг. Врожденная тяга к общественному равновесию, именуемая

справедливостью, в стране разлаженной, неустроенной неизбежно побуждает художника на гражданский отклик. Вступая за униженных, он стремится восстановить нарушенное равновесие. Он встает на сторону гонимых, чтобы вернуть сбитый баланс человеческих прав. Здесь причина вечного противостояния поэта и власти, если по чувству поэта власть несправедлива. В этом случае гражданственность не столько слагательница державных гимнов, сколько свидетельница народного неблагополучия. Гармоничное общество во время устраняет причины, которые востребовали бы искусство социального протеста. Государство дисгармоничное пытается устранить не причины, а диагностирующего их художника, для которого *записать означает помочь более человечному устроению жизни.*

Когда таких сил он в себе не находит, писательство служит ему индивидуальной опорой, защитой от внешних невзгод, дает не иллюзию свободы, подхлестнутую алкоголем, богатством, высоким положением в обществе, а подлинную внутреннюю свободу, не зависимую от оказий допингов, доходов и службы, обстоятельств места и времени.

Разброд мыслей, душевные тревоги, ощущение своей беспомощности перед натиском стороннего мира; присущая поэту печаль, идущая от невыразимого очарования природы, от того, что ни одно самое глубокое сознание, ни одна самая восприимчивая душа, никакой гений никогда не смогут выявить во всей полноте прекрасное в ней, ровно так же, как никто не властен воплотить Божественную Комедию жизни во всем ее ничтожестве и блеске, — вся эта невидимая работа рассеяния лишь предшествует фокусировке творческого луча в одну точку, когда что-то зацепит тебя по-настоящему, пробьется сквозь хаос разрозненных впечатлений и вспыхнет в тебе... Миг этот не передаваем. Душа разгорается. И вот — ты как будто объят изнутри мощным и ровным пламенем. Словно тугая, гудящая тяга наполняет тебя своей упругой и жаркой силою. И все тогда идет в дело, все на пользу: неприкаянные мысли, не находившие выражения чувства, обрывки воспоминаний, куски фраз, никому, казалось, ненужные слова... — все сгладится, все сторае в этом

разыгравшемся полуме, излучая тепло и свет. К тебе возвращаются точность, воля, уверенность, защищенность, покой. Ты обретаешь себя. А тем, кто неспособен на это, ты можешь подать знак, разжечь для них свой огонь. Разве этого мало? Разве это не то, во имя чего?.. *Пишу, чтобы обрести себя.*

Подать знак... В той вселенной, что названа миром духа, всякое творение — сигнал, идущий от сердца к сердцу. Одни не улавливают его; другие отторгают; третьи принимают машинально, почти безразлично... Но есть надежда в равнодушном, чуждом тебе множестве отыскать читателя, друга, единомышленника, собеседника — близкую душу... — внимательную звезду... — еще одну... — еще...и соединить свое лучение с ее светом. Среди людской разобщенности, в мешанине рвущихся связей, теряющихся нитей, пропадающих следов, забываемого родства неужели такое сопряжение разлученного не служит тем, во имя чего?.. *Пишу, чтобы найти родную душу.* И тогда деление на литературные жанры становится номинальным, превращается в условность, ведь по большому счету все есть один-единственный жанр — эпистолярный. Мы пишем письма, адресаты которых нам неизвестны, но они узнают нас и по нам находят друг друга.



Роман

ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ

ЧАСТЬ I

* * *

Не церковкой бедною
При скупом огне —
Я крещен Победою,
Вспыхнувшей в окне.

Полюби раскованность
Детства моего,
Красный дом с драконами
В стиле ар-нуво¹,

Лестницу и грозный
Взлет ее перил.
Дух великой Крестной
Надо мной парил,

Зажигал оранжевым
Светом этажи,
Душу завораживал,
Лился в витражи.

Побродил я по свету
И пришел назад —
А на стеклах отсветы
До сих пор дрожат.

¹ Ар-нуво — новое искусство, художественное направление, возникшее на рубеже XIX и XX веков.

НЕЗАМЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вот праздник, который виден издалека: на первомайском ветру тяжело падают полотнища пурпурных знамен; раскачиваются свисающие донизу туго свитые вызолоченные кисти, а вечером в черном небе, восхищая взор, то тут, то там гигантскими хризантемами, цветными раскрывающимися веерами вспыхивают букеты артиллерийского фейерверка.

Или: новогодний, толкучий, елочный торг. Серебряный дождь, мерцающие бликами шары; толстые деды-Морозы с клубничным румянцем на жарких щеках — веселые деды в пухлых, подбитых ватой кафтанах. Сами елки — колючие, свежо и холодно пахнущие зимним лесом, плоско примятые от недавнего (пока везли) пеленания, не успевшие распрямиться, распушиться...

Есть у этих праздников свое место, свой срок. Ими правит если не сюжет, то, по крайней мере, календарь и расписание: в десять утра — парад, в одиннадцать — демонстрация, в десять вечера — салют. Куранты. Полночь...

А какой «сюжет» может быть у ранней весны, когда в сумерках выбегаешь из подъезда в редкие уличные огни, и волна беспричинного счастья обдает тебя просто оттого, что — вечер; оттого, что — весна; оттого, что каждый час непрожитой еще жизни завораживает и манит, полон предчувствий, предзнаменований? Этот праздник свершается в тебе. Он никому не заметен. Он ничем не предупреждает о своем приходе и заканчивается так же внезапно, как начался. Развернутое зрелище — не его стихия. Он не монументален, он моментален и потому его можно лишь попробовать уловить, набросать с натуры, с той волнующей реальности былого, что постоянно напоминает о себе, всплывая в памяти пьянящим хмелем из глубин прошлого века.

«КОХВЕЙ»

Осенью в доме Перцова греть батареи начинали не по погоде, а по календарю: планово.

Пухлый, одышливый татарин-комендант в полувоенном сером френче, напоминавший мне бежавшего из Китая старого гоминьдановца¹, если не самого Чан Кайши², полулежал, откинувшись, на протертом кожаном диване в вестибюле и вместо ответа жильцам на вопрос: «Когда затопят?», — жевал губами, выразительно скашивая глаза кверху, дескать, наверху видней... А няня сетовала на коменданта и подвластную ему котельную:

— Ишь, какой холод завернул, а оне топить-то и не думают! И об чем антиресно у их думá?..

Папа курил — «грелся» дымом, мама проветривала комнату от задымления («Дышать нечем!»), а Филипповна мерзла.

У нее, однако, были припасены три верных способа согреться.

Когда мама уезжала на работу, няня *первым долгом* захлопывала *хворточку*. Потом надевала шерстяную *кохточку*, аккуратно застегнув перед зеркалом пуговицы и подвернув манжеты так, чтобы левый и правый отвороты были равны. И, наконец, решительно и радостно отправлялась на кухню заварить *кохвейку*. Этот *сугрев* изнутри был ей особенно приятен.

У русских нянь издавна сложились волнующие отношения с кофе. Некоторое недоверие и настороженность, вызванные заморским происхождением напитка, его крепостью и репутацией барского яства, благополучно уживались с благодарностью к его веселящему нраву, с верой в его всестороннюю *пользительность* и порой перерастали в настоящую страсть, постоянную и неутолимую потребность. Вот что говорит об этом неизвестный автор в книге старинных очерков «НАШИ, списанные с натуры русскими»: «Страсть к кофе простирается в нянюшке до невероятия. Он ей почти тоже, что хлеб насущный. Она сама его жарит,

¹ Гоминьдан — китайская политическая партия, созданная в 1912 году.

² Чан Кайши (1887–1975) — президент Китайской Республики на Тайване, генералиссимус.

мелет и, наконец, варит. Кто б ни пришел к ней в гости, нельзя не попотчевать кофеем. Она устала — «дай-ко выпью кофейку». — Она озябла — тоже лекарство. Ей что-то скучно, — она опять прибегает к нему же, как к единственному своему утешителю. Ей весело, — она спешит из кухни со своим кофейничком из красной меди и осторожно уклоняется от встречных, чтобы не взболтать ея сокровище... Старушки-няни точно как будто находят в нем какое-то целительное свойство от болезней и печалей».

Цвет, крепость, жар, вкус, аромат, легкая пенка, тонкий осадок, на котором можно гадать — все заставляет нас отдавать предпочтение кофе. Отношение к нему, как к живому, подвижному духу, традицию его заботливого приготовления и неторопливого, почтительного питья Филипповна словно унаследовала от прежних нянь и бережно хранила.

Правда, *кохвей*, который она пила сама и которым угощала меня, немало отличался от того, чем баловались в старину и что возродили теперь. Настоящий кофе вообще почитали едой, оттого и кушали, оттого и вкушали. А то, что пили мы с няней, являло собой неопределенный отвар желудевого цвета; нечто разжиженно-водянистое, почти без запаха и совсем без пенки; нечто под смутным названием «Кофе с цикорием», то есть «Желуди жареные с луговыми цветочками»; нечто, утратившее не только вкус, но и пол. Я был уверен, что кофе — оно, среднего рода, а поскольку на мой вопрос: «Кофе сварилось?» — няня могла ответить: «Сварилось, да убежало...», то и она при всей ее почтительности *такому* кофе в мужском роде отказывала. И она не ведала, куда девался тот терпкий настой, повыветрился тот дурманящий аромат, повыцвел сочный колер, что были достойны благородного «куштевания».

В каких венских кофейнях еще трогала губы жгучая бразильская горечь, вызывая учащенное сердцебиение гурманов? На каких стамбульских базарах, под какими шатрами кочующих бедуинов пузырились плотные аравийские пеночки? Бог весть! А наш давно выдохшийся, бурый с проседью порошок доживал свой век в тусклой линялой пачке на полочке за занавеской. Он так плохо растворялся в кипятке, что всегда оставлял на стенках

чашки грязноватые потеки, а на дне — густой осадок. О кофейных зернышках я знал тогда только понаслышке. Ни жарить, ни молоть нам было нечего, потому не требовалась и круглая ручная кофемолка, оставшаяся с дореволюционных времен — прабабушкина кофемолка, некогда перетиравшая зерна с тугим похрустыванием. Я порой крутил ее просто так, вхолостую, но работа без преодоления и без результата, обычная в мире взрослых, казалась мне нелепой и я бросал кофемолку, не намолов и горстки воздуха.

Зато кофейник у Филипповны не простаивал ни дня! Другое дело, что место славного кувшинчика из «красной меди» занимал дюралевый сосуд, чутко тянувший вверх свою тонкую шейку с изогнутым на конце носиком, что делало его похожим на маленького разгоряченного гусенка. Нагревшись над конфоркой, он пыхал-пыхал из носика паром, а чуть проворонь — мог и убежать: приподнимет крышку да плеснет из-под нее бурой грязью, загваздав плиту. Строптивый кофейный норов был Филипповне хорошо знаком и, тем не менее, каждый раз удивлял ее. Способность кофе внезапно переселиться через край или, по-нянинному, *шарнуть* постоянно смущала ее и даже держала в некотором страхе.

— Филипповна, у вас кофе убегает! — весело кричит, бывало, сосед Сверчков, оттягивая на плечах крепкие подтяжки карьерного дипкурьера. Но газ при этом не выключает — ждет, пока няня, всполошившись, сама доковыляет до кофейничка.

— Ах, ты, мать честная!.. Никак его не укараулишь...

Из опыта Филипповны я знал, что кофе — большой шалун, настоящий *рикошетник* («Навроди тебе...») Пока над ним стоишь, он не закипает и не закипает («Хыть цельный день простой!»), хоть как верти кофейник над огнем. *Кохвей* ведет себя, словно комендант на диване: скашивает глаза на крышку и ни тпру, ни ну. Но попробуй только на секундочку отвернуться — тут-то он как раз и вскипит, причем вскипит моментально («И усю плиту вычудить!») Этот почтенный старец с душой озорника невольно заставлял няню быть настороже. Долго гневаться на него она не могла из уважения к его сединам, богатому прошлому и знатному происхождению. (То, что нам достался желудевый отпрыск кофейной династии, никогда не подчеркивалось, пусть и придавало

всей церемонии легкий налет мелкопоместности). Но и спускать ему с рук его баловство няня не желала. Что же ей оставалось делать? Ей оставалось лишь пристально следить за поведением старика-«рикошетника».

Итак, *хворточка* прихлопнута, *кохточка* надета.

— А и где же наш *кохвеечек*?

Пора, пора кофейничать!

Вот Филипповна нагревает в узком сосуде темную воду ожидания, аккуратно натрушивает на поверхность немного *прашка* из пачки и, прикрыв крышкой, предвидит тот момент, когда *кохвей* начнет *ускипать*...

Няня внимательно (*уныоательно!*) склонилась над кофейником. Взгляд ее добр, теплы ее руки, велико долготерпение. «Гусенок» с изогнутым клювом кажется совершенно бесчувственным к огню. *Кохвей*, разумеется, только и мечтает о том, как бы поиграть у няни *на неврах*, вовсе не думая ни о каком закипании.

— Нянь, скоро кофе сварится? — спрашиваю, сунув нос на кухню.

— Да почем же я знаю? Спроси у него...

— А ты прибавь газку.

— Чичас и шарнить.

— Прибавь, а потом убавь.

— Вот я и держу его за хвост.

— Прибавила?

— Убавила. Чуть дышать... Еле-еле душа у теле...

— А можно все-таки побыстрей?

— Терпи. Нетути у тебе терпежу никакого.

— Хочется...

— Малó ли бы что: хотца... Что ж мне теперьча прикажешь самой на огонь сесть?

Лицо у няни раскраснелось от ожидания и жара. Такая сосредоточенность ей невагоду, да очень уж самой *кохвейку хотца*: нельзя упустить!

Наконец, кофейник зашумел, загудел, напрягся. На дне завозились первые пузыри. Сейчас они побегут вверх, сперва прокрадываясь ощупью по стеночкам, с краюшку, бочком-бочком, как

стеснительные, а потом сдвинутся на середину, сгрудятся в крупные грозди, чтобы, напирая, бурля и клопоча, заставить кофейник содрогнуться и вдруг — с маху — поднимут черную шапку гущи — мохнатую, как папаха абрека; шапку, насквозь пронизанную порами пены, точно каракуль седыми искрами, и — *шарнут через!*

Еще минута... Еще секундочка... И тут в коридоре перед нашей дверью звонит телефон. Общий, коммунальный.

Согласно няниной иерархии *телехвон* главней, чем *кохвей*, потому что *сурьезней*. Телефон действует на Филипповну неотразимо: где бы она ни была, что бы ни делала, по первому сигналу няня бросает все и устремляется к трубке. Но *кохвей* бежит еще быстрее. Дистанция, которую он должен преодолеть, чтобы *вычудить усю плиту*, гораздо короче няниного пути от кухни до *телехвона*, а энергии у *кохвея* куда больше, ведь он нагрет уже почти до кипения! Почти...

— А может усе-тки успею?..

Няня предполагает успеть. Она надеется и трубку ухватить, и кофе удержать. Ну-ну...

Поймав трубку, выскользнувшую рыбкой из рук, но повисшую, как на леске, на распрямившейся пружинке шнура, подсунув мембрану к правому уху под платочек, левым она слышит неудержимо нарастающий гул кофейника, дребезжанье прыгающей крышки, выброс пара и вслед за тем змеиное шипенье кофейной гущи, оползающей по наружным стенкам, заливающей пламя, пульсирующей из носика на плиту...

— Обождитя, обождитя!.. У мене кохвей бежить!..

— Да уж убежал! — кричит с кухни Сверчков, широким жестом оплывшего на покое гимнаста стягивая с плеч чемпионские помочи и великодушно выключая газ.

Остатки напитка со скорбной торжественностью проносятся по коридору. Впереди собственной персоной плывет кофейник, с ним — Филипповна, за ней — Сверчков, спустив по бокам кольца подтяжек и сворачивая к себе в комнату. За ним, но к себе, — я.

Няня влажной тряпкой обтирает со стенок кофейника гущу, как горячую грязь, убежавшую из-под крышки, и водружает сосуд посреди стола на согнутую железным цветком плоскую подставку.

Печальная музыка тишины...

— Дак телехвон же зазвонел прямо у етот момент, врах его возьми!

Няня удручена, а я, наоборот, восхищен тем, что телефонная трель угодила в самое «яблочко»: ни до, ни после вскипания, а в такт с ним, как будто кто-то нарочно подкараулил! Между прочим, звонили не нам. Перепутав цифры, добивались посольства дружественной Эфиопии, просили секретаря, и Филипповна, расстроенная неудачной варкой, вызвала на переговоры соседа Сверчкова. Разобравшись, куда звонят, и сообразив, что абонент — иностранец, пытающийся говорить языком аборигенов, дипкурьер мобилизовал свой английский, однако подчинил ему лишь форму высказывания, тогда как словарь произвольно смешал:

— Простите... э-э... мистер секретарь есть в ауте. А это вообще... э-э... есть приватная квартира. Вы держите не ту линию.

Такой язык — английский по форме и преимущественно русский по словарю внушал Филипповне дополнительное уважение к соседу. В ее глазах дипкурьер был носителем как бы трех языков: на родине он говорил по-русски, за рубежом — по-английски, а на родине с иностранцами — как сейчас. Получалось, что Сверчков — полиглот! Наверно, потому няня и кивнула в сторону его стенки, обращаясь ко мне:

— Вучись, дитё, светлым будешь.

Даже забеленный прохладным молоком, кофе горяч. Мы шумно вытягиваем его из блюдец вместе с воздухом.

— Прихлебывай, птушенька, прихлебывай, — поощряет Филипповна.

Пьем отвар, остужаем его, а по пути, вспоминаем перипетии минувшего. Именно это и важно для нас; вопрос же о качестве питья вообще не стоит. Оно не имеет никакого отношения к делу. Оно соотносится с нами так же, как на языке Сверчкова посольский секретарь — с нашей квартирой: «Мистер... э-э... Кволити¹ есть в ауте».

¹ Quality (англ.) — качество.

Для вкуса я макаю в блюдечко твердый сахарок и слежу за тем, как, всасывая кофе, рафинад меняет цвет, темнеет, разбухает, рыхлится, дробясь на крупинки, из *каляного* делается мягким, рассыпчатым, а когда впитываешь его в себя, легко растворяется во рту.

Откофейничав, согревшись, няня успокаивается, утирает уголки губ белой лапкой ситцевого платочка и переворачивает чашку вверх дном.

Сейчас гадать будет.

— Ну, смотри... Увидал что ай нет? — спрашивает, указывая на жиденькие кофейные потеки по стенкам, на мутные коричневатые разводы в мелких семечках оставшейся гущи.

— Ничего, — отвечаю чистосердечно.

— Вишь, тута вроди жирахв какой шею тянеть... Али женьшина руку подняла... Ну, а так? — няня поворачивает чашку боком. — Так навроди клешши раскрылись... Помилуй Бог! А у тебя? Дай гляну.

Она смотрит на мой кофейный узор. Молчит. Представляет, что бы он мог означать.

— А у тебя птица летить, ишь, крыльями машеть... А тут унизу быдто собака притулилась.

— Ну, и что — притулилась? К чему это?

— А и кто ж его знаить — к чему? Предполагать можно...

Няня колышет кофейник, взбаламучивая придонную жижу. Со вздохом ставит на место.

— Человек, говорить, предполагать, а Господь располагать. Вот тебе и увесь кохвей.

НА САНОЧКАХ

А зима? Сколько радости было зимой в одних только катаниях на санках!

Горка посреди сквера, на которую взрослый забирался в четыре широких шага, тебе, дошкольнику, казалась настоящей горой, высокой-превысокой. Покорить ее было нелегко.

Сперва волочишь санки позади себя за веревочку. Споткнулся. Оступился. Веревка вырвалась — санки поехали вниз. Спустился за ними. Снова тянешь в гору. Поскользнулся. Упал. Поднялся. Пополз на коленках. Достиг!

Целое действо. Стоишь на макушке горы, поглядывая по сторонам победно: сзади — церковь, справа — твой дом, впереди — Кремль, над головой — облака. А что за ними — в небе?

— На небеси усе есть, чево хошь, — говорит няня.

— И церковь? И наш дом? И Кремль?

— А то как же...

— А почему же я их не вижу?

— Мал ишшо. Дитё. Вот и не видать. Вырастешь — увидишь.

Я подставляю под ноги саночки, встаю на них, чтобы приблизиться к небу, но все равно кроме облаков не вижу ничего.

Эх! Хватаю санки в руки и, плюхнувшись на пузо, скатываюсь с горы.

У меня сани «мальчишечьи» — без спинки. Это «девчоночьи» со спинкой. Девочки чинно спускаются сидя. А мы разбегаемся и с размаху — хлоп на живот: красота!

Накатаешься до седьмого пота, до того, что тебя качает. Вернешься домой и с порога: — Пить хочу! — опустошаешь упитанный графинчик из густо-синего, почти ночного стекла с золотыми звездами — подарок папе от офицеров-сослуживцев. Вокруг графина на подносе — шесть рюмок. Но воду в них не льешь — некогда. Пить хочется! И поспешно глотаешь, глотаешь, глотаешь через широкий уточкин носик графина, словно боишься, что отнимут.

— Да что ж ты усе дуёшь и дуёшь, как вутка? — проворчит Филипповна. — Споддыхни, хватить. Брось грахвин, непослушник! На тебе воды не напасесси.

Оторвешься от горлышка, переводя зашедшееся дыхание, ведь пил на одном вдохе, и воскликнешь, оторопев:

— Еще хочу!

А вечерами, когда ты был совсем маленьким, — помнишь? — Филипповна упаковывала тебя в овчинную шубку, валенки, шарф, надевала шапку, помогала лечь на санки и везла, как тючок, по размешанному пешеходами снежку — погулять перед сном.

Там, где снег был протерт до асфальта, веревочка саней туго натягивалась, и полозья, издавая занудный визг, тупо скрежетали по камню. Зато, въехав на нетоптанный пушистый покров, точно вздохнув с облегчением, убыстряли бег, а по обледенелому насту катили так, что только держись — и-их!.. Няня бросала веревку, и санки мчались сами с тобой, как с Емелюшкой пощучьему велению, пока это веление не иссякало в каком-нибудь рыхлом сугробе.

Иногда ваш путь пролегал по набережной вдоль освещенной розовым светом кремлевской стены. Ты лежал на животе головой вперед и смотрел вниз. Полозья наезжали на широкие следы няниных валенок. Ты поднимал глаза и видел серые войлочные пятки с неровной каемкой снега. Они были подшиты кожей, как двумя полусолнышками и мерно переступали перед тобой, то приподнимаясь, то оседа в снег: левая — правая, левая — правая...

Порой саночки виляли, объезжая следы. Это няня меняла руку. Потом ты переворачивался головой назад и вместо крепко скрипящих валенок видел две тоненьких извилистых колеи от железных полозьев. Один раз тебе почудилось, как будто ты упал с санок, а няня не заметила и уезжает, а ты лежишь на снегу, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, а она уезжает, уезжает... А еще тебе нравилось на ходу опустить руки в снег и рядом с линиями полозьев оставлять следы своих рук, пока колючий холодок не начнет набиваться в варежки. Филипповна, почувствовав, что движение чуть затруднилось, обернется и спросит:

— Куды ручки у снех усунул? Чичас отморозишь...

И ты переворачиваешься на бочок. Над тобой плывут зубцы и бойницы кремлевской стены. Есть в них что-то грозное, хмурое и вместе с тем веет от них каким-то теплом, защитой, даже уютом — ведь они так близко от дома!

Над угловой Водовзводной башней неподвижно горит пятиконечный рубин. Но если повернуться на спину, притворить ресницы и поморгать, то звезда начнет лучиться, как живая.

А выше — в небе — теплятся настоящие звездочки морозной зимы — такие же маленькие, как ты. А, может быть, и там

кто-то едет на саночках об эту пору вдоль укреплений Небесного Кремля, ведь совсем не хочется знать, что там ничего нет; хочется верить, что есть, — есть, и река, и набережная, и Кремль, и Филипповна, и ты сам — только какой-то другой — сияющий и замороженный, тихо скользящий по насту созвездий, цепляющийся рукавичками за звезды, осыпающий их вокруг себя в густосинее до черноты небо...

НОЧНОЙ ЗЕФИР

С возрастом бабушка пополнела. Она стеснялась своей полноты и говорила, что ее губят сладкое и мучное. В гостях или принимая гостей она проявляла щепетильность, как бы и не ела вовсе, а лишь дегустировала по чуть-чуть, почти рецептурными дозами, с некоторой церемонностью:

— Нет-нет, этого мне нельзя. И от этого я воздержусь. А вот это, пожалуй, попробую, только совсем немножечко...

— Валентина Ефимовна, какая же у вас воля! — удивлялись гости.

Однажды на глазу у бабушки выскочил ячмень, она прикрыла его черной косой повязкой и, победно оглядев одним глазом родственное застолье, попросила передать ей не что-нибудь, а «тоненький кусочек черного хлеба, лучше краюшечку (она почерствей)», на что папа заметил:

— Мам, ты у нас, как Кутузов. С горбушкой бородинского.

Фирменным угощением бабушки были витые плюшки, нашпигованные изюмом и усеянные кристалликами сахарного песка на румяных промасляных завитках. Бабушка пекла их в особых случаях или к редким праздникам, но уж если пекла, то в огромном количестве, наполняя ими стеклянные вазы на пианино, в буфете, на столе.

Много лет она проработала рентгенотехником в рентгенологическом кабинете, имевшем отношение к какой-то крупной кондитерской фабрике. Теперь она иногда мягко жаловалась на те искушения, которые ей приходилось преодолевать.

Благодарные пациентки регулярно преподносили ей изделия собственного производства: свежайшие «трюфели», коробочки заварных эклеров, кексы, крошащиеся коржи густо промазанных кремом «Наполеонов». И никак нельзя было отказаться... В итоге борьба с кондитерскими обольщениями выработала у бабушки весьма избирательное отношение к трапезе.

Что касается меня, то вкусное я любил, и даже очень, но еда не была для меня делом жизни. Особенно еда будничная. Не только подостывшая и загустевшая манная каша с комочками слипшейся крупы, или вареная луковица в супе, или теплое сальце во время летнего пикника на берегу Серебрянки не вызывали во мне никакого энтузиазма, но и что-то более аппетитное я спокойно мог променять на беготню, барахтанье в речке или радиопередачу.

В то блаженное время, когда, по словам папы, я ходил пешком под стол в полный рост, а читать не умел, все сведения об окружающем мире пешеход черпал, в основном, из передач все-союзного радио. Они были ему малопонятны, сливаясь в некий трансцендентный гул, в нечто, лежащее за пределами его опыта, но этот гул, но сама таинственность сообщаемого увлекали порой, как что-то, теряющееся за горизонтом детского разумения. И когда сильный, мужественный голос пел:

*Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир, —*

это воспринималось не как картина природы, а как заклинание.

Поначалу до сознания доходило только: *Ночной... Струит... Шумит... Бежит...*

Потом я узнал, что «зефир» — это западный ветер, мягкий и ласковый, а «эфир» — тончайшая материя, заполняющая мировое пространство, но кто кого струит — зефир эфир или эфир зефир — оставалось неясным. Разгадывать же магическое

слово «Гвадалквивир» мне даже в голову не приходило, словно я чувствовал, что, как тайна, оно волнует меня, а, будучи объясненным, может утратить всякое очарование. Поэзии так же трудно идти в ногу с прозой, как тайне с ясностью. Поэзия либо обгоняет прозу, либо отстает, стреноженная путами жизни.

Посреди зимы у нас в доме отключили горячую воду, а купаться было надо. Тащить меня с собой в «Сандуны» папа отказался. Он не мог брать на себя такую ответственность: «Там же кипяток!» Тогда у мамы и возникла идея отправить нас с няней к бабушке. У нее горячую воду не отключали. И отправились мы не просто так, а с ночевкой, чтобы не простудиться после купанья.

Бабушка жила у Никитских ворот, на улице Станиславского или, по-нынешнему, в Леонтьевском переулке. Ее дом напоминал прямоугольно начертанную букву «О» с разрезом для ворот и внутренним двориком. По той же лестничной клетке с бабушкой соседствовала ее родная сестра, Надежда Ефимовна, так что поездка к бабушке становилась одновременно и поездкой к тете Дине и ее мужу, полковнику Даниле Васильевичу Задорову — дяде Доне. Собственно тетей и дядей они были для моих родителей, а я был их внучатым племянником, но в русской традиции не бывает тетей-бабушек и дядей-дедушек. И для просто племянников и для внучатых племянников они равно остаются тетями и дядями.

Мне такая поездка представлялась большим развлечением, но еще бóльшим развлечением она оказалась для Филипповны.

Няня, как человек неграмотный, питала чрезвычайное уважение к людям ученым, — не только к людям науки, но ко всем, кто вообще знал грамоту. Подозреваю, что наука начиналась для нее уже с имени, отчества и фамилии человека — с таким почтением она их произносила, а, когда знакоилась, повторяла про себя, чтобы не ошибиться: «Валентина Ехимовна Смирнова... Надежда Ехимовна... Данила Василич Задоров... Лександра Леопóвич... А то ишшо Леф Лександрович... Это ж надоть: Леф!..»

Бабушке и тете Дине помогала по хозяйству Санечка. В 20-х годах приехала она в Москву девочкой из мордовской деревни

и попала в нашу семью. Нянчила еще моего папу, с тех пор так Санечкой и осталась. Говорила она нараспев, была не в ладах с грамматикой, всю жизнь путая мужской род с женским, отличалась нравом строгим, платья носила темные и постепенно стала совершенной монахиней в миру, но «со своим жанром».

На улице лютовал мороз, зато бабушкина квартира встретила нас теплом, а кухня — сладким ароматом разогретой духовки. Бабушка расцеловала меня и продолжила подготовку к ужину, а Санечка, стоя, обняла, предлагая кресло Филипповне, которой предстояло принять ванну. Кстати, это выражение — «принять ванну» — как-то меня смущало. Разве *мы* ее принимаем? Это *она* принимает нас. Она же стоит на месте, как стояла, а мы к ней приехали. Она — хозяйка, мы — гости. Как можно гостям принять хозяйку в ее же доме? А на нянином языке слово «принять» вообще означало «убрать». Она могла попросить меня: «Ну-ка, милоч, прими эти кубики с проходу», — значит, убери...

У детства свои предпочтения, в том числе касающиеся мира вещей. Из всех вещей тети Дининой квартиры главным по впечатлению оставались для меня немецкие напольные часы, стоявшие в комнате перед дверью из прихожей. Приотворишь стеклянную створку и увидишь узкий шкаф из темного дерева, овальный наверху, с круглым, как лицо монгола, медно-желтым циферблатом и длинными черными стрелками-усами. Силуэт у часов почти человеческий: не часы, а часовой. Маятник — едва ли ни до полу — ритмично покачивается влево и вправо, как будто часовой переминается с ноги на ногу. К тому же каждый час он подает голос. Вначале шумно вздыхает, шипит, сопит, долго набирает воздуха в грудь и, наконец, издает медленный медный бой — гулкий и басовитый. Сопровождаемый перезвонами мелких колокольцев, бой этот растекается по всей квартире, пока ни затихнет где-нибудь в дальних углах до следующего часа. А маятник продолжает отмерять такты влево-вправо, влево-вправо, словно повторяя вслух имена хозяев дома:

— *Дина-Доня... Дин-Дон...*
Дина-Доня... Дин-Дон...

Кстати, схожесть их имен подкрепилась и сходством фамилий. Тетя Дина была урожденной Бодровой, а в замужестве — Задоровой. Хорошо, выйдя замуж, сменить бодрость на задор!

* * *

Между тем ванны приняты. Настает черед застолью.

Стол уставлен расписными чашками из тонкого фарфора, вазочками с абрикосовым вареньем, вазами, полными плюшек. На столе — бутылка кагора, а в центре — блюдо с целой пирамидой зефира крем-брюле, любимого бабушкиного лакомства.

Неожиданно между ней и сестрой вспыхивает легкая перепалка из-за чайника:

— Валя, зачем ты этот чайник подала?

— А что такого? Нормальный чайник. Чем он тебе не нравится?

— Нормальный? Не люблю я его. Смотри, какой у него носик короткий. Как у сифилитика.

— Я так и знала, что ты это скажешь!

А Санечка, глядя на меня, покачивает головой в ситцевом платке и словно распевает от умиления:

— Ай, Алеша-Алеша, и как же ты выросла, и какая же ты стала большая... Скоро Филипповну перерастешь.

— Да я уж вниз расту, к земле гнусь, — отзывается няня.

Дядя Доня, улыбаясь, достает откуда-то из-под стола четвертинку и ставит неподалеку от себя, покосившись на жену. У них с тетей Диной интересная игра: в доме нигде не видно водки, но, как только начинается какой-нибудь праздник, она немедленно появляется на столе. Секрет этого домашнего фокуса откроется мне позже. Данила Васильич всегда имел в загашнике парутройку бутылочек на торжественный случай, а загашником ему служили часы. Он прятал зелье в ногах у «часового» и был уверен, что тетя Дина ни о чем не догадывается. Она, однако, давно распознала этот тайник, но делала вид, что ничего не замечает. Так Данила Васильич тешился своей «военной хитростью», а Надежда Ефимовна радовалась тому, что он тешится, не ведая, что его хитрость разоблачена.

Когда приходит пора разливать, выясняется, что няня, как «верушшая», не пьет «ни чуточки»; Сане, как верующей, тоже не предложишь; а я, к вере не относящийся, не пью по малолетству и по отсутствию природной склонности. Зато ни кто иная, как бабушка, настаивает на том, что кагор — церковное вино и потому его можно пить и верующим, и неверующим. А если по чуть-чуть, то даже детям. Это — ее компромисс. В стране повсеместных возлеяний и безбожия церковное вино продается в любом гастрономе. Людям позволено смачивать кагором сухость безверия, а праздничному хмелю разрешается нарушать вынужденную трезвость повседневности.

Сестры чокаются с дядей Доней, который уже успел под шумок потревожить покой четвертинки.

Няня пробует плюшку:

— Ишь, так и дышитесь...

Я разламываю зефирину на две половинки и прикладываю их к ушам, как радист наушники, то свободней, то плотней. От этого голоса взрослых потешно прерываются и возникают снов. Теперь у меня свой «эфир»!

Тетя Дина: «Донька, и отку... ты их ...лько таскаешь, ...ти ...вертинки? Ну? Признавайся...»

Дядя Доня: «Как отку...? Из «Елисе...», ...зве ты не знаешь?..»

Тетя Дина: «Я давно хо ...бе ...азать. Давай часы продадим? Они мне ...ать мешают. Всю ночь ...нят и звонят».

Дядя Доня: «Как продадим? Ты что?!. Лучше я их бу... очью ... авливать».

Няня строго на меня смотрит. Будь мы наедине, уж она бы меня отчитала:

— Положи, зехвир, рикшетник! Ишь чего учудил: к вушам прикладать!

— Это — радио.

— Какое тебе радива? Положь, говорю, на место, непослушник, покули к вушам не прилипло! Едой не играют. А то маме пожалюсь, усе доскажу. Будеть тебе «радива»...

Однако в присутствии родственников Филипповна только мягко сетует, как бы прося снизить к моему возрасту:

— Другой раз такое удумать: и смех и грех. Несмысленный...

Бабушка всех угощает, а сама почти ничего не ест. Отщипнет виточек плюшки, слижет вареньице с кончика ложки, а зефир — ни-ни! Несколько рюмочек кагора заставили бабушку приятно порозоветь, вспомнить родной Кирсанов, женскую гимназию, любимую подругу Марью Клавдиевну...

Я откусываю по очереди от каждого наушника, держа их в ладошках. Когда от зефира не остается ни крошечки, мне хочется спросить бабушку: «А кто был папой у Марьи Клавдиевны? Тетя Клава?», но спать мне хочется еще больше, чем спрашивать, и меня, качающегося от всех впечатлений этого долгого вечера, ведут к раскладушке.

* * *

Спустя несколько дней Филипповна спросила, не видел ли я чего ночью, когда мы были у бабушки. Удостоверившись, что крепко спал и не видел, она умолкла, но чувствовалось, что ей не терпится поделиться со мной чем-то необыкновенным, тем, что я проспал, а она — нет.

Филипповна ходила-ходила вокруг меня, а потом все-таки не выдержала:

— Ну, слушай, чего я тебе расскажу. Кады усе разошлись, гости-то, я спать укаталась на диванчике, и Валентина Ехимовна тоже разделась, укладывается у себе на карвати. Свет потушила, ланпочку. Навроде как спать. И я заснула.

Сколько там уремени прошло не знаю, только у во снях мене деется, быдто хто по комнате шаркаить. Туды-сюды. Туды-сюды. Батюшки мои!.. А я уж тута и проснулась. Гляжу: ланпочка маленькая опять горить. Валентина Ехимовна у платье, как при гостях была, открываить бухвет, достааеть оттудова посуду, чайник, брикосовое варенье. Плюшки вытаскиваить, зехвир, и усе на стол станóвить. Никак чай пить собралась? Я прижухла, не ворохаюсь. А она-то, примечай, за стол садитя, чаю себе наливаить, варенье в розеточку накладываить. К одной плюшке прикачнулась, к другой присуседилась... Ишшо чаю подливаить. Глянь-кось, уже и к зехвиру подобралась... Усе поела, попила и снова спать ложитя, быдто ничего и не было!

Филипповна поражена, а я нет. Что тут такого? Есть захотелось, вот и поела.

— Дак посередь ночи, кады усе спать! Вумник! Ты подумай головой своей: хто по ночам зехвир кушаить?

— Ну, и что? Она же весь вечер гостей потчевала. А сама стеснялась. А потом ей захотелось.

— Усе рамно — грех.

— Какой грех?

— Обнаковенный...

Река жизни для меня еще только начала свой бег, она не успела удалиться от истоков, а сколько уже событий, впечатлений, загадок!

Оказывается: это не ванна нас принимает, это мы принимаем ее.

Оказывается: тетя Дина знает, что дядя Доня прячет шкалики в часах, но делает вид, что не знает. А, может, и он только делает вид, что она не знает?

А бабушкино тайноядение? Разве она монашка, которая не в силах побороть тяготы поста́ и потому вынуждена, скрываясь ото всех, преступать запретную черту, когда ее никто не видит? Бабушка всех угощала, а сама воздерживалась. Она так захотела. А потом расхотела... Но что за черту она преступила? Только ту, которую начертила себе сама или какую-то общепринятую?

А Марья Клавдиевна? Почему «Клавдиевна»? Как зовут ее папу? Мужчины Клавами не бывают! Клавдия мне уже встречалась, а Клавдий еще поджидает где-то ниже по течению, на каких-то неведомых берегах...

Шумит, бежит Гвадалквивир...

«ГАГИ»

Цветочная клумба-конус посреди сквера напротив нашего дома — клумба, ступить на которую летом нечего было и думать, с началом зимы превращалась в снежную горку

с ледяной дорожкой, и мы, ребятня, облепляли ее от подножья до вершины. С горки катались на санках, съезжали на вертящихся тощих картонках по льду, устраивая внизу кучу-малу. Но все это были лишь «цветочки», и только когда подмораживало как следует, когда со склонов сдувало лишний снег, а наст делался твердым, катучим, как лед, — только тогда из окрестных подъездов на негнущихся, точно ходульки, заметно вытянувшихся ножках медленно и важно выступали наши чемпионы, наши конькобежцы — румяная, тугая, как бутон, первоклашка Ирэн из девятой квартиры; краса подвалов бледнолицый Пантелей; поджаристый, как сухарь, чернявый цыганенок Бочарик...

Каждый их шаг по направлению к горе внятно говорил о том, что они саночникам не чета. Что санки по сравнению с их увлечением — стремительным и опасным? И если мы падаем со своих приземистых салазков, то каково им, конькобежцам, удерживаться в вертикальном положении? Мы прочно пластаемся над широкими полозьями, а они, бегуны, там, наверху, на юру, открытые всем ветрам, качаются на узких, шатучих лезвиях, норовящих выскользнуть из-под ног... В общем, примотанные к валенкам, туго-натуго закрученные палочками «снегурки» с носками, завернутыми наподобие древнерусских ладей, ставили их владельцев на голову выше нас. А у Бочарика были даже не «снегурочки», а вообще не выговорить: двухполозный «английский спорт»!

К числу моих любимых радиопередач уже прибавилась новая: «Внимание, на старт!..» Она начиналась в полпятого, в зимних незаметно сгущавшихся сумерках, когда зажигались уютные огни и в них искрились, проблескивая, легко сновавшие за окном снежинки, казалось убыстрявшие свой полет в волнах упруго звенящего марша:

*Внимание, на старт!..
Нас дорожка зовет беговая.
Внимание, на старт!..
Пусть вдогонку нам ветер летит.*

И я мысленно устремлялся на неведомые вечерние катки, в их вдохновенную сумятицу, музыку, лоск шумно и резко расчирканного лезвиями льда...

Дома, корпя над уроками, я принялся усердно рисовать шершавым школьным перышком на рыхлых промокашках закругленные, как качалочки, «канады», высокие «гаги», длинные «норвеги», похожие на отточенные кинжалы, а поперек промокашки выписывал через «а» волшебным образом расплывавшееся слово: «каньки».

— Что ж ты «коньки» через «а» пишешь, грамотей? — спрашивал папа, машинально заглядывая ко мне в тетрадку. — Или не знаешь, как проверить?

— Знаю.

— Какое проверочное слово?

— Каток...

— Сам ты «каток»... Не каток, а конь. Кони. Два конька. Значит, как надо написать?

— Значит, надо коньки.

— Исправь.

И здесь же на промокашке я проделывал «работу над ошибками», любовно и прилежно вытягивая освященную папиным авторитетом строчку: «коньки — коньки — коньки — коньки...»

У меня была такая примета: если мне чего-то ужасно хотелось, я убеждал себя, что это никогда не произойдет. «Нет, нет, нет!» — твердил я про себя, как заклятье, и тогда желание сбывалось.

— Никогда мне не подарят коньки, ни за что! Не будет тебе никаких коньков! — повторял я шепотом, чтобы никто не услышал, ведь свою мечту я хранил в тайне и мне казалось, что и впрямь никто о ней не догадывается.

Между тем настало 5 февраля — мой день рождения. Обычно подарки мне клали на стул возле кушетки поздно вечером, когда я засыпал. В то утро, проснувшись, но, не раскрывая глаз, я в последний раз произнес магическое заклятье, призывая родителей внять моим мольбам и ни за что на свете не дарить... все, что угодно, любой другой подарок, только не...

На стуле рядом с вязаными варежками лежали новенькие «гаги»!



Выходить с коньками на сквер было, по папиным словам, *не серьезно*. Учиться кататься следовало на катке. У папы коньки были, у мамы тоже, правда, держаться на них мама не умела.

— Вот вместе и поучитесь, — сказал папа. — А то можем и Филлиповну с собой прихватить...

— У мене коньков нетути, — ответила няня, улыбаясь.

— Ничего. Там напрокат дадут.

— Как это «напрокат»?

— Прокатиться.

— Ишь, чего удумали: «напрокат»! Да я по протувару-то хожу-качаюсь, как бы не осклизнуться, а тут: «напрокат»...

— А на какой каток мы поедем? — спросил я.

— Давайте в Парк культуры! — предложил папа.

— Имени Горького?!

— На каток для начинающих.

Однако в Парк культуры мы не поехали. Мы туда пошли. Пешком. Вечером в ближайшую субботу втроем с тремя парами «гаг» покинули мы дом Перцова, завернули направо на набережную и, шагая вдоль реки, миновали игрушечное, аккуратно-низенькое монгольское посольство, французскую военную миссию, длинный завод, зимой и летом припорошенный белесой цементной пылью и остроугольный «American Hause»¹, чтобы высоко подняться на Крымский, украшенный висячими опорами мост, откуда виден был весь парк — иллюминированный, веселый, клубившийся в прожекторах морозной пылью, заставлявший волноваться, услышав отдаленные наплывы музыки — тот самый Парк, *не* попасть в который я «мечтал» так же горячо, как и *не* получить в подарок коньки!

У входа работала точильная мастерская. Она изготовляла, клепала, затачивала... Лохматый точильщик в прожженном фартуке зажал кургузыми пальцами мои драгоценные конечки и, пританцовывая перед бешено вертевшимся камнем, как

¹ «American Hause» (англ.) — «Американский дом».

шаман, осыпал всё вокруг искрами радужно расцветшей крошащейся стали.

— Бр-ритвы, а не «гаги»! Из Гаги, — одобрил папа, коснувшись кромок.

Мы шли по заснеженным пешеходным дорожкам парка, пересекали ледяные аллеи, лавируя между катающейся публикой. Из-за наших спин вышныривали мальчишки. Крест-накрест взявшись за руки, в горделивом молчании мимо проплыла какая-то пожилая пара. Черными торпедами мощно пронзали воздух «спецы» на «ножах». Мама вздрагивала:

— Ой... Как я их боюсь!.. Они тут так вжикают...

На отдельном катке за сеткой тренировались подтянутые фигуристы. Они выделяли свои пируэты (прыжки, «ласточки», «пистолетики») с такой раскованностью, что моя робость: «Как я встану на лед?» — совершенно улетучилась. «Так и встану. Легко и просто!»

Каток для начинающих, тоже огороженный, приветствовал нас «Вальсом цветов» Чайковского и принял в объятия жарко натопленной раздевалки с дощатыми полами. Мы уселись на пустую скамью. Зашнуровав три пары «гаг», папа несколько утомился и поскучнел, но кататься ему не расхотелось.

С усилием я поднялся на ноги и почувствовал себя довольно неустойчиво. Новичка покачивало, точно Филипповну на *протуваре*. Он неловко переступал по мягкому полу, держась за спинку скамейки.

Не без труда папа вывел нас с мамой на лед, который начинался сразу от порога раздевалки и полностью отвечал своему основному свойству: был скользким. Оступавшиеся еще на полу, теперь мы просто вцепились в папины рукава с обеих сторон, неизвестно, кто крепче. Дергаясь и спотыкаясь, то нелепо выворачиваясь на сторону, то схлопываясь, как клоуны, мы одной неразлучной семьей доковыляли до первого попавшегося сугроба на краю катка, куда и были поставлены нашим ведомым, точнее, водружены им наподобие памятника спортивной славы. В снегу я вновь обрел относительную устойчивость и огляделся по сторонам.

Каток был великолепен! Идеально залитый лед переливался, отсверкивая цветными огоньками, синел, как затвердевший кусок неба и был лишь слегка расцарапан стрелками коньков. Оживленный хоровод нарядно скользил по кругу теперь уже под мелодию «Венского вальса». Кто умел держаться на коньках, держался, покачиваемый музыкой Штрауса; кто не умел, сидел в креслице на высоких полозьях и его катали: приятно, протяжно, с легким ветерком.

— Я хочу в креслице! — сказала мама.

— И я тоже...

Папа пригнал два незанятых кресла, чтобы, — ну, совсем другое дело! — мы, начали по-настоящему кататься. Маму такой способ обучения устраивал вполне, а мне удовольствие от удобного скольжения сидя подпорчивала мысль о том, что пересесть с санок в кресло — не фокус, а вот как бы на ноги встать? Впрочем, такая возможность представилась очень скоро.

Немного побаловав нас, папа отказался от роли добровольного рикши, предложил самим катать креслица и умчался по кругу.

Катать пустое кресло, может быть, и лучше, чем вообще остаться без опоры, но хуже, чем восседать на гладких реечках подвижного трона. Мы с мамой поторкались-поторкались взад-вперед, ненароком переча общему движению, попробовали повозить друг дружку и даже рискнули проехаться, взявшись крест-накрест за руки, отчего благополучно зарулили в сугроб.

Папа подкатил, шикарно тормознув, пушисто взбив из-под конька фонтанчик ледяной пыли, и сказал мне:

— Ну, давай ручку. Поучу.

И я стал учиться. Ноги мои то расползались, как чужие, то заплетались так, словно перепутались ботинки. Я хлопнулся — раз, шлепнулся — два-с, гогнулся — три-с, шандарахнулся — четыре, и, наконец, слетел с катушек — пять! Коллекцию классических фигурных пируэтов дополнили мои авторские па типа: «рыбкой на лед», «на карачках», «остановка в человека». Мама волновалась за меня, не выпуская из рук спинку спасительного креслица. Колески мои стали дрожать, а ступни подворачиваться, и я застонал:

— Не могу больше! Ноги устали...

- А ты через «не могу», — настаивал отец.
- Не хочу через «не могу»!
- А ты через «не хочу».
- Не буду!

Наконец, папа сжалился:

Ну, тогда хватит. Пошли в буфет кофе пить!

Он подвез нас к раздевалке и по неожиданно вязким, совсем нескользким доскам мы, стуча коньками, добрались до буфета.

Боже! Каким райским напитком, каким нектаром показался мне горячий коричнево-серый брандахлыст, подслащенный и забеленный сгущенным молоком! Как изумил промасленный, густо нашпигованный изюмом клеклый кекс, намертво впечатавшийся в сырую вощеную бумажку! Как впечатлил граненый стакан с паучьей трещинкой на доньшке — благородный сосуд, хранивший в себе эдемский дар под именем «Кофе слабое»! С каким наслаждением вытянулся ходок по льду на неподвижно-жесткой скамье!

Подкрепившись, отдохнув и отогревшись, мы снова вышли на лед. Народа на катке прибавилось. Креслице нашлось только одно — для мамы, а я возобновил уроки катания. Это выглядело, как первое чтение, как чтение по складам: с задержками, шевелением губами, запинками, ошибками, повторами:

Ты: *«Ка-ток был пе... пы... (ноги твои заплелись, как язык) по-лон. Лед зво-но́к».*

Голос папы: *«Не звоно́к, а зво́нок».*

Ты: *«Лед зво́-нок. Ме... бе...» (упал, лежишь).*

Папа: *«Ни бэ ни мэ. Вставай. Чего улегся?»*

Ты (вставая): *«Бе... да ка-кой скольз-кий. — Папа держал меня. — О-бе-и-ми ру... ру... ру...»*

Конечно, ты уже давно догадался, что *руками*, но это же надо было прочесть, то есть выговорить, то есть изобразить ногами!..

Между тем черновик, который ты выписывал «гагами» по льду, вообще не поддавался расшифровке. Ты оставлял за собой мешанину рисок, штрихов, загогулин, выбоинок и клякс от спотыканий. Но письмо «гагами» упорно продолжалось, подобно начальному чтению, и «конькобежец» *па... по-сте-пан...* опять запутался в ногах, нет, *по-сте-пен-но, спер-ва роб-ко, а по-том*

все у-у-ве-рен-ней и у-ве-рен-ней..., о-тор-вав-шись... от отцовских рук, стал скользить по кренящимся, морозным, наполненным твердой голубизной зеркалам; по зеркалам, подернутым колючей сахарной пылью, окаймленным темной рамой живых деревьев; по граням, отразившим тени новичков и высоких ассов, со свистом рассекавших ледяное пространство, и вот — вырвался на набережную, на вольный простор, сразу обдавший холодным ветром, защипавшим щеки — на варварскую ширь затертой льдами февральской реки, а папа промчался навстречу, как бы не замечая, исчез за поворотом и снова возник, ища тебя взглядом — нашел, устремился за тобой, а ты весело юркнул в запутанные аллейки, вечную толчею и неразбериху дорожек, закоулков, переходов, тупичков, развилок...

На одной из них вы снова разминулись, — он мелькнул в толпе среди деревьев и скрылся из глаз: где он, где? — вынырнул у каруселей, а ты катишься спиной вперед, тормозишь, перевернулся на ходу, крутанул креслице, и мама закружилась в нем с мнимым испугом и непритворным восторгом; и все, что когда-то казалось протяженным, беспомощным, медленным, разлученным во времени, разрозненно ползущим вкривь и вкось, теперь убыстрилось, выровнялось, схватилось в памяти преображенно, нерасторжимо и прочно, как одно неиссякаемое мгновенье!

ЛИМОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Акулина Филипповна собирается пить чай. Сначала она обваривает крутым кипятком фаянсовый чайничек в красный горошек. Сливают кипяток. Потом засыпает жменю сухой *индейской* заварки, обдав ее плещущей, пузырящейся, добела раскаленной струей и оставляет настояться.

Пока настаивается, достает разбегающуюся кверху, как луговой колокольчик, звоном отзывающуюся чашку на блюде, помеченном горсткой ломких трещинок — паучьих морщинок.

Берет литой, как колокол, свекольный рафинад родных приднепровских полей и что-нибудь сладкое, но *мяконькое*, не

каляное — по зубам: пастилу, зефиринку, мармелад, но никогда — сухари и сушки. (— У меня зубов нетути, чем хрысть. — А где они? — А и кто ж их знать? Съелись...)

На самом деле зубы у Филипповны есть, но их мало, больше розовых десен, а те, что остались, даже не зубы — зубчики: маленькие-маленькие, стесанные временем, расшатанные частой бескормницей, всем пустодомством войн, выпавших на ее долю. Так что теперь няня и пряник-то не укусит. Ей нужно то, что можно *хубами исть*.

Чай наливается аккуратно, без брызг. Настает черед главному действию, превращающему обычное «чайку попить» в целую Лимонную церемонию.

— Чтой-то кисленького страсть как хотца! — говорит няня, вынимая из шкафчика маленький иззелена-желтый лимон-недоспелок или в ее произношении (чуть в нос, *по-храницуски*): *лямон*.

Этот фрукт у нее — в большой чести. Принадлежит к высокому рангу вещей *пользительных*, он поражает нянино воображение резкой отчетливостью вкуса. Лимон для нее не просто *хрукт*, а знаменье кислого, как сахар — олицетворенная сладость. Однако, помимо уважения, по причине все той же принципиальной едкости его нрава, няня заметно побаивается лимона. Всегда с опаской ошпарит его, словно усмиряя, затем долго примеривается липким жалом ножа к желтой пупырчатой шкурке и не отрезает — нет! — *отхватывает* плоскую горбушку, веруя в то, что лишь мгновенно отхватив кусок, можно укротить строптивый фрукт.

Теперь он лежит перед Филипповной во всей красе, поблескивая отпугивающе-желанными каплями сока, матово отливая рассеченной пополам горько-серебряной косточкой, прельщая шелковистыми прожилками недоспевшей изумрудно-влажной мякоти, напоминая в разрезе колесико с изогнутыми спицами, смещенной осью и тонким ободком солнечной цедры. Лимон лучится на кремовой скатерти, а вокруг него, как планеты, кружатся чайничек, сахарница, чашка, рафинадные щипчики, малиновый брус пастилы или половинка зефира, сахарно мерцающая в лимонных лучах.

Няня вдыхает аромат свежего среза и крепко произносит: «А!..» — что означает: «Бьет! Пробирает! То, что надо!»

Среди русских крестьян встречаются иногда большие эстеты, но их восхищенье красотою Божьих даров обычно уравновешено мыслью о *пользительности* дара и оттого защищено от избыточного наслаждения, от любования как такового. Ни разу в жизни Филипповне не пришло на ум пустить вдоль ниспадающих складок скатерти длинно завивающееся кружево фруктовой пряжи — лимонную кудель, как это любили делать старые фламандские живописцы, или подождать, пока лимон усохнет, скукожится, утратит свою звериную, первобытную сочность и приобретет черты, присущие натюрморту, но чуждые живой природе чаепития. А потому без всяких смакований толстый ломтик отправляется прямо в чай.

Филипповна отпивает первый глоток. Хорошо! Но кисло. Надо *подсластить*...

Гнутыми железными щипчиками с непопадающими друг на друга зубцами няня в кулаке — дабы не разлетелось ни крошечки! — разламывает кусок сахара, такой твердый, что *хоть топором руби*. Теперь — сладко.

Начинается питье с прихлебываньем и прихлупываньем, со словами: «Укусно!» или: «Чтой-то у меня зехвир зачерствивел? Как же ето я об нем забыла? Уж память не та стала...»

В школу я еще не хожу, времени не считаю. Мне интересно все. Но особенно — все веселое, и, особенно, то веселое, что и не думает меня смешить, а смешно само по себе.

Я сижу за столом напротив няни и, копируя ее чинность, неторопливо дую в блюдце, поставленное на растопыренные пальчики — гоню чайные волны к другому берегу.

— Прихлебывай, птушенька, прихлебывай! — поощряет меня Филипповна.

И я кружу губами над блюдцем и дую сильней, как западный ветер Зефир. В панике мчатся от меня по бурным волнам черные чайники-кораблики, а волны уже перехлестывают через бортик...

- Ну, хватить рикошетничать! Вишь: скатерть облил.
- Я — Зефир! — объясняю причину морского волнения.
- Не путляй, зехвир едят.

Тем временем нянин чай допит. Ложечкой поддевает она ломтик лимона. И тут затевается великая борьба с искушением: макнуть лимон в сахарную крошку или нет? Макнуть или нет?.. Не макнешь — *пользительно*, но *ужасть* как кисло («Вырви хлаз!..») Макнешь — слаще, зато не так полезно. Этот момент — самый важный во всей церемонии. Ее финал зависит от решения, которое примет сейчас Филипповна. Если макнет, то ничего интересного не случится. Лишь бы не макнула! Лишь бы не макнула! И тогда...

Проглотить ломтик сразу невозможно. Хоть сколько-нибудь, а надо его пожевать. Некоторое время няня жует лимон. Богатство ее мимики становится несравненным. Она жмурится, морщится, щурится, строит мины одну кислее другой, отмахивается, точно от нечистой силы, передергиваясь, крутит шейю, выбрасывает кверху руки, как будто разряд молнии простреливает ее насквозь, кислым током прошивая язык и отнимая дар речи.

Выдержав зияющую открытым ртом паузу, речь возвращается к несчастной почитательнице лимонов, начиная с покряхтываньи: «А!», с междометия: «Ох!», с проклятия: «Штыб тебе завалило!..»

На глаза Филипповны наворачиваются слезы. Я хохочу, и губы ее растягиваются в улыбке:

— И смех, и грех! Ешь ты теперь...

Срываю зубами мякоть с цедры и тоже перекашиваюсь от неусветной кислятины. Скорей заесть! А няня, не спеша, убирает со стола остатки нашего пиршества. Не стряхивает в ладонь (это не клеенка), а сощипывает крошки, цепляющиеся за шершавинки скатерти. Ставит лимон дозревать в шкаф.

— Ну, вот и усе чисто... Бог напитал — никто не увидал! — завершает Лимонную церемонию Акулина Филипповна.

МЕЖДУ РАМАМИ

Целый век спустя после Лимонной церемонии в Москве, в Историческом музее открылась выставка «Наше счастливое детство». Захотелось вспомнить, как мы жили. Я пошел. Боже, какая

бедность предстала глазам, что за скудное существование мы, оказывается, влачили!

Все эти вечно подтекающие краны; копящие, вонючие керосинки с потрескавшимся слюдяным окошечком, за которым плещется слабый огонек. А подоткнутые газетой под пятку шаткие этажерки? А хриплые приемнички, рассчитанные лишь на московскую городскую сеть? А черный как кусок угля телефон с заедающим диском — хорошо, если один на весь дом?..

Белье кипятили в баках на общей кухне, стирали в тазах на ребристых стиральных досках, сушили на замусоренных сквозных чердаках. Четверть Москвы жила в подвалах, четверть — в бараках. Кремль казался пустым и лишь мерцал штыком часового, сторожившего его державный покой, охранявшего власть, еще не освободившуюся от вождя лесов, полей и рек... Граница на замке!

Слово «холодильник» означало тогда только многоэтажный глухой «кирпич» на Таганке, где каменели распиленные вдоль хребта бычьи туши да обрастали ледяной щетиной кубы сливочного масла, неподъемные, как свинец.

Какие еще пылесосы? Коврики выколачивали палками во дворе, выметали вениками, натрусив с боков сыпучего, пушистого снежку, и уносили, скатав посвежевший ворс изнанкой наружу, оставив знак его пребывания — серый прямоугольник пыли на снегу.

Какие машины, кроме редких швейных? Ножной, дореволюционный «Зингер», как антиквариат, мог украсить комнату, являя в одном лице и технику и мебель. В зеркальных «ЗИМах» ездили министры и генералы, в голубых «Победах» — герои-летчики. Остальным полагался трамвай...

А наша еда? Дежурный пирожок с повидлом и стакан газировки. Оглушенный горчицей зельц и капустный шницель. Серые макароны, похожие на папиросы «Беломор» только без табака. А как же знаменитые бульоны с профитролями? Жюльены и крендели? Струдели и желе? Заливные осетрины? Горы зернистой икры, отливающие черным лаком?

Это за песочным переплетом толстенной книги о вкусной и здоровой пище серебром сервированные столы ломились от

обилия снеди, венчались удлинёнными или короткогорлыми бутылками грузинских вин, с волшебно звучащими именами: «Гурджаани», «Цинандали», «Киндзмараули», «Аджалеш», а в реальной жизни солдатские «щи да каша» разнообразились летом салатом, зимой — винегретом, на праздник — куском сдобного колеса, испеченного в «алюминиевом чуде».

А наша обувь, наша одежда? Башмаки с грубыми колодками — негнущиеся, одеревеневшие, как сабо. Непроницаемо черные зонты. Последний крик столичной моды — бежевое пальто с накладными карманами и вшитыми прямыми плечами — огромное, точно гроб. Последний писк моды деревенской — как будто облитые подсолнечным маслом, лоснящиеся плюшевые жакеты для ударниц колхозных нив.

Но, почему-то, лишь только забываешь об экспонатах и начинаешь воскрешать прошлое в волшебном фонаре памяти, как все меняется, окрашивается таким добрым светом, согревается таким душевным теплом, настолько преобразается воображением, что бедное, действительно, предстает счастливым, хоть это и не значит, конечно, что богатое было несчастным. Но богатство — не наш опыт и судить о нем не нам.

Как и все вокруг мы жили без холодильника. С поздней осени до ранней весны его заменяло пространство между двойными оконными рамами. Туда, готовясь к приему гостей, мама и ставила остывать свое коронное блюдо — говяжий студень. Сперва горячий, он быстро охлаждался и напоминал мне каток на игрушечном пруду. Темные тени мяса, как глубокие омуты, заливал прозрачный, мягкий желатиновый лед, кое-где припорошенный снежинками жира. От студня ощутимо веяло морозцем.

За окном еще лежал снег, но скорый приход весны чувствовался по учатившимся оттепелям, когда сухой зимний наст превращался в мокрое месиво, а на припеках беспечно и звонко лило с крыш, или вдруг внутри водосточной трубы что-то, треснув, вздрагивало, обрушивалось, и подтаявший ледяной ком так внезапно и стремительно грохотал по всем пяти этажам перцовского дома, что пригревшийся под трубой кот едва успевал отпрыгнуть и опрометью сигануть в подворотню.

Вступавшая в Москву весна повсюду высылала своих вестников — теплые дуновения, заставлявшие набухать почками красноватые ветки вербы, верещать купавшихся в лужах воробьев, а иного древнего дедулю, приехавшего с мешком глиняных свистулек один Бог знает, откуда — уж не из-под северного ли Каргополя? — остановиться посреди Волхонки, снять шапку и с каким-то родовым, от предков унаследованным благоговением, с тайной дрожью перекреститься на немые кремлевские колокольни.

Но вечерами мороз еще прихватывал, и мамин студень между рамами блестел, как настоящий каток. Не доставало лишь музыки да конькобежцев. Однако стоило включить радио, как музыка являлась, и эфирно-чистый тенор пел о серебримой луной тихой Бренте, о лазурном своде, о ропоте «чуть дробимыя волны», о шорохе миртов и померанцев, а вослед этим волнующим, но мало понятным звукам возникал уже и вовсе неведомый «напев Торкватто гармонических октав», воспринимавшийся мной как нечто, произносимое почти по-итальянски. Но, признаться, слова «Баркаролы» были мне тогда не столь важны. Хватало музыки, одной только музыки, под звуки которой, как страницы старинного альбома, раскрывались воображенные мною картины.

Я видел расписные, узкие гондолы на загнутых полозьях, скользившие, словно сани, по льду желатины. В увитых цветами гондолах шумели нарядные дети, беспокойные и крикливые, как птенчики чаек. Красивые дамы с открытыми плечами обмахивались веерами, точно они прибыли не на каток, а в оперу. Знатные вельможи обменивались новостями с двух английских фрегатов, приведших из Вест-Индии компанию каравелл с грузом пряностей и кофе. В Карибском море на них напали пираты и фрегатам пришлось окутать палубы дымом своих батарей... Хоть я и не был уверен в том, что каравелла — судно торговое, а не военное, отчего-то мне так хотелось, чтобы под музыку *баркаролы* швартовались именно *каравеллы*!

Силачи-гондольеры в золоченых куртках толкали гондолы, упираясь в приподнятые надо льдом узорные кормы. Вольные

бегуны в развевающихся карнавальных одеждах разгонялись по сторонам на длинных «ножах» — варяжских коньках, чуть подтопленных в подтаявшем льду.

Блестящие, в огнях, палаццо вывешивали из окон на стены мраморные ковры своих цветных орнаментов. А тем временем гитары раздвигали воздух, давая место вступавшим следом ман-долинам, — таким печальным, таким томительно-счастливым! Их сдвоенные струны вибрировали от прикосновений миндальных косточек, заменявших медиаторы¹ старинным музыкантам. На мандолинах играли миндалем!

И вся эта маленькая Венеция баркарол, каравелл и гондольеров, представленная мною по рассказам, слухам и картинкам, — радостная, танцующая, родная, — отражаясь в зеркале льда, животворилась моим собственным вымыслом под музыку на воде, забранной в шершавый панцирь марта, вспыхивала шутихами шуршащих змей, озарявших черноту и ликовала, ликовала, ликовала не где-нибудь в Италии, где и посреди зимы-то на лед страшно ступить, — такой он ненадежный, хрупкий и ломкий, — а здесь, дома, между двух рам, затененных изнутри виноградными листьями шитой шторы, засыпанных снаружи снежными цветами московской метели, — здесь, на волшебном покрове маминого ступня.

КОНФЕТКУ ИЛИ ЯБЛОЧКО?

Вопрос выбора часто оказывался для меня затруднительным. Особенно, если выбирать приходилось между одним очень хорошим и другим, тоже очень хорошим.

Перед сном мама давала мне что-нибудь вкусное, когда оно было в доме. Обычно — яблочко или конфетку, предлагая на выбор либо то, либо это. А мне хотелось и конфетку, и яблочко! Я долго выбирал, а потом нерешительно просил и то, и другое.

¹ Медиатор — здесь: миндалевидная костяная пластинка для извлечения звука.

Потому-то мне так нравилась советская избирательная система. В ней избирателям рекомендовались и «конфетка», и «яблочко» одновременно, то есть два кандидата на два места — в Верховный Совет СССР и в местный Совет депутатов трудящихся. Выбор состоял не в том, за кого голосовать, а в том, голосовать или нет. Можно было и отказаться. Вообще-то... Но отказываться было нельзя. Такое никому даже в голову не приходило. Как это, не голосовать, когда *все* голосуют?

Итак, я осваивал новый для себя праздник — День выборов. Наш избирательный участок помещался в ближайшей от нас 41-й школе в Обыденском переулке, за церковью. Туда нам и надлежало направить свои стопы.

Вечером накануне праздничного дня к нам домой приходил агитатор. Он усиленно агитировал нас, то есть убеждал не отказываться от своего гражданского долга (хотя мы и не думали отказываться!) и отдать свои голоса за кандидатов «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» — за двух самых достойных. Он разъяснял, что выдвинутый в Верховный Совет СССР начальник цеха электрических лампочек Электролампового завода им. Яблочкова — очень хороший начальник цеха. Его лампочки горят у нас в доме и не перегорают.

— Перегорают, — не соглашалась Филипповна, улыбаясь. — Как же не перегорают, кады надьса сама увыкручивала на калидоре?

Агитатор тоже улыбался в ответ, воспринимая нянины слова, как дружескую шутку. Лампочки, конечно, могли перегорать, но тоже как бы в шутку, чтобы все порадовались внезапно наступившей темноте: горело-горело и вдруг хлоп и погасло! А если говорить серьезно, то:

— Простите, как ваше имя-отчество?

— Хвилипьевна.

— А полностью?

— Акулина Хвилипьевна.

— Акулина Филипповна, в лампочке светится вольфрамовый волосочек. Температура его плавления — свыше трех тысяч градусов. Понимаете, как его надо раскалить, чтобы он перегорел?

Вольфрам — тугоплавкий металл. Он обеспечивает надежность и долговечность изделия.

Это няня, конечно же, понимала, а *все-таки увыкручивала...*

Я молчал, но внутренне негодовал на няню из-за того, что жизненно важный для всех вопрос политического выбора она путает с такой ерундой, как погасший в коридоре свет. Пропагандисту приходилось тратить драгоценное время на вольфрамовый волосок вместо того, чтобы сосредоточиться на процедуре голосования или растолковать мне недоработки в «Положении о выборах». Почему, например, генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин баллотируется по единственному избирательному округу, а не по всем сразу? Почему некоторым так везет, что они голосуют за маршала Клима Ворошилова, тогда как другим достается начальник цеха, пусть и очень хороший, но все-таки хуже Ворошилова?

Эти жгучие для меня вопросы няня перебила своим неуместным замечанием о перегоревшей лампочке. Агитатор так расстроился из-за того, что у нас нет света в коридоре, что, казалось, был готов подарить няне новую лампу. А как хорошо было бы получить в подарок лампочку Ильича с завода им. Яблочкова! Кроме заведомой добротности изделия, меня неосознанно радовала эта сочная звукопись на «ч» и капельная на «л», эта внутренняя рифма: яблочки я любил, лампочки тоже.

— А кто выдвинут по нашему округу в местный совет? — спросил папа, увы, скорее из вежливости, нежели из неподдельного интереса.

— Укладчица орденоносной кондитерской фабрики. Очень хорошая укладчица! — живо отозвался пропагандист.

— И что ж это она укладывать? — полюбопытствовала няня.

— Она укладывает конфеты.

— Сладь! — воскликнула Филипповна и неожиданно добавила: — Ох, от енттой сласти у мене зубы ломить...

Ну, это уж было слишком! Ломит — не ешь, но причем тут голосование?

Я боялся, что Филипповна вспомнит еще и о недавней денежной реформе или, как она говорила, *лесхорме*, обесценившей все

ее сбережения. С тех пор малейшие слухи о возможных новых *лесхормах* чего бы то ни было сеяли в няне панический страх. Однако, от этого воспоминания она воздержалась. Просто ей было приятно поговорить с агитатором, а личное выше общественного она не поставила.

Убедившись в том, что наша семья от выборов не отказывается, агитатор попросил нас прийти пораньше и проголосовать с утра, чтобы он был спокоен.

Так мы и поступили. Папа жил в своем режиме и голосовал отдельно, а мы с мамой и Филипповной сразу после завтрака собрались идти в участок. Все нарядно оделись. Няня повязала перед зеркалом выходной платочек, застегнула на все пуговики чистенькую *кобеднешнюю кохточку*, и мы отправились в путь.

Пересекли скверик, поднялись на горку к церкви, вошли в школу. Там было так красиво... Кругом — плакаты и красные транспаранты с непонятными белыми буквами.

— Мам, что здесь написано?

— «Все — на выборы!»

— А там?

— «Отдадим голоса лучшим сыновьям и дочерям народа!»

Играет патриотическая музыка. И какая предупредительность по отношению к избирателям со стороны людей, обслуживающих выборы! С нами здороваются, нам показывают, куда идти, передают нас по цепочке из рук в руки... Ни с чем подобным я прежде не сталкивался. Верно, и няня тоже. От заботы и внимания ей сделалось дурно. Вот ноги ее слегка подкашиваются, она произносит что-то вроде:

— Свят! Свят!.. — и тут же два молодых человека — комсомольские активисты — подхватывают ее с обеих сторон. Избирательнице не должно быть плохо на выборах, ей должно быть хорошо!

— На каком витаже вурны? — как-то подозрительно ослабев, но со знанием дела спрашивает Филипповна, опираясь на крепкие руки активистов.

— На третьем, — отвечает актив.

— А лихта нетути?

— Чего?

— Какой тут лифт? Это же школа, — говорит мама.

— Чижало по лестницам. Чувствую себе... — шевелит губами няня, не завершая сообщение о том, как именно она себя чувствует. Однако из того, что ей *чижало*, следует, что чувствует она себя неважно, может и не дойти до цели и не исполнить свой гражданский долг.

Комсомольцев охватывает беспокойство. Под угрозой — считанный голос и есть опасение, что избирательница не сумеет его подать. И парни, — а в моих глазах — взрослые дяди, — любовно, бережно поддерживая няню, с величайшим почтением возносят ее как Царицу Небесную по белой парадной лестнице, устланной красными коврами с золотой оторочкой; по лестнице, сложенной такими легкими, такими плоскими ступенями, что они сами поднимают тебя на любой этаж, но таинственным образом именно сегодня оказываются неприступными для Филипповны.

В Актовом зале на третьем этаже, в святая святых, установлены приземистые как медовые колоды, коричневые урны для голосования. Глуховатая напряженность — как на пасеке. Торжественность — будто в храме во время богослужения. Над колодами стоит мерный гул и роятся, роятся, роятся бюллетени прежде, чем влететь, заползти, протиснуться в узкие щелки колод. А чин Избирательной комиссии — басовитый осанистый бородач, точно дьякон, похаживает среди встревоженной паствы, и чудится: вместо утраченного: «Аллилуйя! Аллилуйя!» звучит вновь обретенное: «Голосуйя! Голосуйя!»

Пожалуй, более всего это напоминает фантастическую литургию на пчельнике в момент массового прилета. Как «взятки» в соты сносятся в урны лакомые бюллетени. Приглушенно поет партийный хор. Те же сосредоточенность, чинность, точность, размеренность. Те же «насекомые» танцы рук над урнами, те же пасы взволнованных пальцев. Те же хвалы, но возносимые не сокрушенному Создателю, а нерушимому блоку...

Подобие скрытых ниш для исповеди — занавешенные рыхлым и пухлым вишневым бархатом кабинки для тайного

голосования. Оказывается, изъявлять свою волю можно не только открыто, но и тайно! Замечаю, однако, что в кабинки почти никто не входит. Да и зачем таиться? Это выглядит даже неблагоприятно, как будто у тебя есть секреты от советской власти! Тем не менее, возможность посекретничать предусмотрена. И я опять испытываю замешательство. Как лучше голосовать маме и няне: открыто или тайно? Жаль, что нельзя, и открыто, и тайно одновременно, ведь так любопытно заглянуть в кабинку: что происходит там, за плотными складками бархата? А вдруг там приготовлен какой-нибудь сладкий сюрприз: чашка яблочного компота или пурпурная коробочка ассорти «Бегущий олень» с серебряными щипчиками, чтобы сподручней было поддевать конфетки? А, может быть, там, в загадочных драпировках прячется умудренный опытом и облеченный доверием Товарищ, готовый подсказать верное решение сомневающемуся избирателю? Все это совершенно завораживает...

А смущает одно: слово «урны». Я знаю, что существуют урны для мусора. Бывают еще урны с прахом. Но разве избирательные бюллетени — мусор? Разве они — прах? Зачем же тогда опускать их надо непременно в *урны*? Неужели нельзя во что-нибудь другое? Слово «урны» откликается во мне каким-то трауром, хотя я, конечно, не догадываюсь, что оно и по звуку полностью укладывается в слово *траурный*, придавая голосованию совсем неподходящий для него оттенок панихиды. А еще меня беспокоит, чтобы няня по ошибке не опустила в урну паспорт вместо бюллетеня. Хорошо, что она заранее поинтересовалась, *куда бюллетень, а куда паспорт*, и ничего не перепутала: подала один голос за коммуниста «Яблочкова», другой — за беспартийную «Конфеткину», а паспорт оставила себе. Правда, няня почему-то чуть-чуть помедлила над избирательной щелкой, словно колеблясь: бросать — не бросать? А мамины бюллетени я опустил сам и был доволен тем, что они не застряли, потому что у некоторых застревают, и приходилось проталкивать свой голос в прорезь как бы насильно: урна не хотела его принимать, а ее заставляли...

По выходе из зала те же молодые люди участливо спросили у няни, как она себя чувствует, не надо ли чем помочь? И Филипповна уже привычно приподняла руки, точно опираясь на подлокотники невидимого кресла. И «подлокотники» тотчас явились, и, плавно покачиваясь, она сошла по парадным ступеням под торжественный марш в сопровождении двух преданных (до вестибюля) пажей.

На улице няня моментально обрела былую твердость походки, четко шагая по *протувару*, а когда тротуар кончился, просто взлетела на наш четвертый этаж, опередив и маму, и меня.

Я испытывал неловкость за тот «театр», который няня устроила на лестнице в школе, поскольку плохое самочувствие она разыграла. Ведь на самом деле она чувствовала себя нормально... Но теперь, по прошествии лет, вспоминая тот день, я, кажется, догадываюсь о причине, побудившей Филипповну придать своему выбору столь яркий театральный эффект.

Всю жизнь власть унижала ее, как могла. Сгибала в три погибели директивами и указами. Пустопорожними трудоднями. Мешком сорного проса за месяцы полевых работ. Большим произволом и мелким самоуправством. Хлопотами о скудной пенсии, оформить которую было невозможно, потому что у неграмотной крестьянки, пережившей коллективизацию, пожары, немецкую оккупацию, бегство из голодного смоленского края, не осталось на руках никаких справок, подтверждавших ее трудовой стаж, хотя все «справки» были отпечатаны на ее ладонях. Всю жизнь она покорствовалась умыслам правителей, воле местных и поднебесных вождей. И вдруг, на один только миг, на момент голосования, почувствовала, что власть заинтересована в ней, в ее голосе, пусть хоть на крошечку, но зависима от нее. И она воспользовалась случаем. Нет, она не стала исправлять заведенный порядок, но заставила себе услужить — раз в жизни вознести себя наверх по белой лестнице и как бы задумалась на мгновение над избирательной урной прежде, чем послать туда листок с приветом судьбе — ее окаменевшей конфетке, ее гнилому яблочку...

ИНДИЙСКАЯ РАДУГА

*Когда он мальчик был и с ним играл
павлин Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили¹.*

Осип Манделъштам

На Пасху мы с мамой в гостях у тети Кати и дяди Жоржа. Вообще-то моего любимого дядюшку зовут Георгием Кузьми-чом, но тетя Катя именует его на французский манер: Жорж. Их квартир-ка в гранитном доме над метро «Ботанический сад» (теперь — «Проспект Мира») напоминает крохотную антиквар-ную лавочку — драгоценное гнездо в расщелине серой скалы — столько здесь фантазии, дорогих, затейливых безделушек: япон-ские фарфоровые чашечки, мейссоновские статуэтки галантных влюбленных, весь узорный, как плетеная корзинка, и точно за-снеженный богемский хрусталь, лазурные с золотыми ободками коньячные «рюмочки-пригубочки», самоцветные глаза павлинь-их шкатулок — жгучих уральских жар-птиц и еще столько всего, радующего своей прихотливостью, подлинностью, стариной!

На столе — льняная накрахмаленная скатерть с аккуратным перекрестьем свежеотутюженных складок. А на скатерти — гор-ка красных крашенных яиц, пышный домашний кулич с изюмом, наполняющий комнату душистым и теплым ароматом корицы, и главное угощение — дивная фруктовая пасха в хрустале, слад-кая пасха с цукатами и живыми виноградинами, нежная, как крем, желтоватая, оваянная ванилью.

Мне наливают бьющий в ноздри, остро пузырящийся лимо-над, взрослым — коньяк. Кроме мамы, взрослых за столом чет-веро. Дядя Жорж балагурит с тети Катиной сестрой Людмилой Григорьевной, про которую я знаю, что она окончила консерва-торию, но пианисткой не стала, а муж Людмилы Григорьевны, Николай Петрович Вышеславцев смешит маму и тетю Катю

¹ Кошениль — здесь: красящее вещество красного цвета.

каким-то театральным анекдотом, однако юмор его до меня, увы, не доходит.

Прежде Николай Петрович служил в духовной консистории. Что это такое, я тоже не понимаю. Кажется, что-то церковное. Зато мне ясно, почему Николай Петрович женат на Людмиле Григорьевне. Она заканчивала *консерваторию*, когда он посещал *консисторию*. Наверняка это было где-то рядом. Потом Николай Петрович работал на радио. Он записывал оперы. Каждая запись сопровождалась словами: «Тонмейстер¹ — Вышеславцев». Все великие музыканты были его друзьями. Он называл их по именам-отчествам: «Надежда Андревна, Иван Семеныч, Антонина Васильна, Николай Семеныч...» А я, как бывалый радиослушатель, мысленно добавлял: Обухова, Козловский, Нежданова, Голованов... Оказывается, много лет Вышеславцев дружил с дирижером Свешниковым, с тех самых пор, «когда Александр Василич был еще регентом хора храма Христа Спасителя».

Все это для меня ново и весьма удивительно. Мы живем в атеистической стране. Хор Свешникова выступает по радио с народными — не церковными — песнями, а сам дирижер, представьте себе, был каким-то «регентом», а тут еще этот кулич и эта пасха...

Я кладу ложечку на язык и закрываю глаза.

— Ешь, ешь, пока ротик свеж, — поощряет хозяйка.

— Да, Кать, пасха у тебя знатная! — хвалит сестра.

— С ванилью, — уточняет дядя Жорж.

— Кстати, а что такое ваниль, кто-нибудь знает? — спрашивает Николай Петрович.

Мама знает:

— Ваниль — это растение из семейства Орхидных, а вещество, которое выделяют из ванили, правильнее называть ванилином.

— Ах, так у нас пасха с орхидеями?! — радуется Людмила Григорьевна.

— В старину говорили: «Экая Пасха — шире Рождества!» — вспоминает тетя Катя, подкладывая мне добавочку.

¹ Тонмейстер — звукооператор.

Дядя Жорж на правах хозяина разливает по рюмкам коньяк из нарядной, усыпанной звездами бутылки, а Вышеславцев поглаживает клинышек каштановой бородки и, разглядывая рюмку на свет люстры, интересуется:

— А вы знаете, что Свешников всему предпочитает шустовский¹ армянский коньяк?

— Коля, не бреши! — пресекает мужа Людмила Григорьевна, но тот, не обращая внимания на протест супруги, продолжает:

— Вы никогда не замечали, что перед началом пения Александр Василич (естественно стоя спиной к залу) что-то там такое достает из внутреннего кармашка фрака?

— Замечали, — говорит Катерина Григорьевна. — Ну, достает... И что же он, по-твоему, достает?

— В этом-то и секрет его успеха! А достает он, милостивые государи... — тут Николай Петрович делает паузу, обводит всех озорным взглядом, на миг останавливается на мне, словно причисляя и меня к высокому чину «милостивых государей», и, понизив голос, выдает сокровенную дирижерскую тайну... — А достает он малюсенький пузырек с коньячком! Тяпнет капельку и прошу вас — «Вечерний звон».

— Бом!.. Бом!.. — в тон рассказчику отзывается Георгий Кузьмич.

— Да будет фантазировать! Не слушайте вы его! — снова предупреждает Людмила Григорьевна.

— Как? Прямо на сцене?! — удивляется мама.

— Прямо на сцене! И так перед каждым номером. А время от времени Александр Василич проходит за кулисы. Все думают, что это он отдохнуть на минутку. А на самом деле не отдохнуть, а снова налить опустевший пузырек...

Я в замешательстве. Чувствую, что Вышеславцев нас разыгрывает, но в этот розыгрыш хочется верить — такой он складный и легкий, как веер или веселящая душу небесная радуга.

А рассказчик между тем продолжает:

¹ Шустовы — российские купцы, построившие коньячные заводы, в частности, в Армении.

— Однажды захожу за кулисы после концерта. Александр Василич ко мне. Румянец, настроение превосходное. «А? — говорит, — Николай Петрович! Шесть номеров на бис — каково-с?! Так и захмелеть можно! У меня уже индийская радуга перед глазами...»

Дядя Жорж смеется, мама радостно удивляется, тетя Катя грозит свояку пальцем, а Людмила Григорьевна умоляет всех не верить ни единому его слову.

— Если бы все так было, как Николай выдумывает, Свешникова приходилось бы со сцены на руках уносить...

— А его и так уносят!..

— Но трезвого!

— Откуда ты знаешь?..

А я сижу с ложечкой сахарной пасхи, и в сладком забытии плывут вокруг меня японские чашечки, павлиньи шкатулки, галантные кавалеры, голоса взрослых... Лучатся, поворачиваясь под люстрой, богемские корзинки, покрытые хрустальным инеем, а дирижер Свешников в черном фраке держит одной рукой свою воображаемую музыкальную указку, а в ладони другой (незаметно от публики) греет коньячный пузырек. Сейчас он к нему наклонится и... «тяпнет»!

Как-то мы с мамой отправились на концерт хора Свешникова. Высокий, сосредоточенный дирижер вышел на авансцену, приветствовал зал, повернулся лицом к хору и вдруг, в самом деле, положил руку во внутренний карман фрака...

Я замер в кресле, однако разглядеть ничего не смог: Александр Ва-силич загородился от меня спиной.

Загадочная манипуляция, действительно, повторялась перед каждым номером.

В антракте я уговорил маму пересесть на свободные места в ложе сбоку от сцены.

Начиная второе отделение, Свешников снова поклонился, повернулся к хору, положил руку во фрачный кармашек и достал оттуда маленький ... свисток-камертон похожий на тети Катину «рюмочку-пригубочку». Дирижер подул в свисточек, и тот отозвался ему едва слышным «ля»...



А потом... Потом был индийский город Рачкот на западе Гуджарата. Дом учителя математики. По комнатам гулял павлин, не решаясь распуścić узорчатый веер хвоста, а на столе передо мной стояло серебряное ведро из-под шампанского. Но не шампанское было в нем, милостивые государи, нет! Ведро до краев наполняла дивная фруктовая пасха — тети Катина пасха. Я ел ее и бросал павлину орехи. Каждый новый бросок был короче предыдущего, так что постепенно птица оказалась у моих ног. Это напоминало сбывшийся эпитаф. Давняя Пасха в Москве, родственный круг, фантазии Николая Петровича стали перьями той индийской радуги, коей мне посчастливилось причаститься — доброй радуги воображения, розыгрыша, сердечной улыбки. Так что прав был Николай Петрович, да не совсем: Свешников настраивал хор не по коньячку и не по камертону, а по индийской радуге. Потому и пение лилось — как с небес!

РИКОШЕТНИК

1

Если я шалил, няня звала меня *Рикошетником*.

Словцо замечательное. Оно происходит от понятия *рикошет* — стрельба с отскоком, когда пуля попадает в цель не напрямую, а ударившись и отскочив от чего-то другого. Можно, разыгравшись в тесной комнате, стукнуть мячом о стенку, а он, отскочив, угодит в стекло... Вот это и будет рикошет. Вот это и заставит Филипповну произвести от того же корня вопрос-глагол: — *Нарикошетил?*..

Но озорником я был не всегда. Для того, чтобы набедокурить, в меня должен был вселиться некий дух баловства, и время от времени он это с живостью делал.

Обычно Рикошетник появлялся без всякого предупреждения и пропадал, оставляя зримые приметы своего пребывания. Он оказался мастером создавать щекотливые ситуации и порой

заставлял меня произносить или выполнять то, что я вовсе не собирался делать. И все-таки он был для меня не просто одним из сказочных духов, вроде домового, лешего или водяного — внешних по отношению ко мне, а одним из духов моей души — собственным, кровным, родным.

Его нельзя увязать ни с каким определенным временем. Время для него не существует. Он обитает в вечности и, как дух, бессмертен. Вопрос о возрасте тут не стоит. Ему столько лет, насколько он нарикочетит. Правда, я обратил внимание, что он как бы взрослеет вместе со мной. С годами его шутки становятся мягче, сдержаннее. Теперь мне бывает стыдно за тот воинственный азарт, которым он распаллял мое воображение в детстве. Пыл война постепенно уступил место более миролюбивым проявлениям его темперамента.

Коль скоро он общается с вечностью, понятие времени размывается и для меня, когда Рикошетник (или иной дух) действует от моего имени. И подчинен он не причинно-следственным связям, но ассоциациям, как поэт, сводя по общим признакам людей и события, которые могут и не пересекаться во времени. Для него насущно не «если, то», не «раньше — позже», а «подобно тому, как». Он не дробит, а собирает. Единство души складывается из множества населяющих ее духов, а единственность — из их неповторимости.

Душа есть обитель духов, они есть свойства души.

Вестник вечности — дух — свободно перемещается, и в зримом, и в воображаемом пространствах, беспрепятственно переходя из одного в другое. Он способен исчезать, возникать, снова пропадать где, как и когда ему вздумается.

С возмутительной легкостью пренебрегает он естественными законами природы. Дух бесплотен, он не имеет массы, а, значит, и земное притяжение ничуть его не тревожит. Говорить с ним о таких материях, как центр тяжести, инерция, сила трения, просто смешно, — ведь он — не материальное тело.

Его присутствие трудно предугадать, но легко почувствовать. Это дается опытом общения с людьми. Особенно в магазинах «Ткани», ибо духи, прежде, чем вселиться в человека, обожают

скрываться во всякого рода драпировках. Поэтому, работая с покупателем, предлагая ему тот или иной отрез, продавец имеет возможность почувствовать, какие именно духи составляют непременною свиту очередного клиента.

2

В Москве на Метростроевской улице (бывшей и нынешней Остоженке) располагался магазин «Ткани». С потолка до пола он был завешен голубым атласом, алым шелком, разноцветными ситцами, батистом, бархатом, заложен штуками грубого седого сукна и тончайшей синей шерсти.

По сведениям Рикшетника, в этом магазине служил один очень расторопный и распорядительный продавец из Симбирска в короткой пикейной жилетке и галстуке с редкими белыми горошинами, похожий на старорежимного приказчика, который видел духов насквозь, но скрывал это, а для того, чтобы их вызвать, рстачал перед покупателями перлы своего красноречия. Ораторскую хватку духовидца я испытал на себе.

Однажды в апреле в «Тканях» на Метростроевской мама приглядывала габардин на демисезонное пальто. Пока она выбирала между бежевым и бордовым, я скучал, положив подбородок на прилавок. Покупателей в зале почти не было.

Хотя до закрытия оставался еще целый час, продавец тревожился, как будто мы его задерживали. Лысый, коренастый, он расталкивал штуки материи, играя «метром» — мерной линейкой, обитой железными торцами. Речь его отличалась легкой картавинкой. Он как бы недовыговаривал букву «эр». Но витийствовал при этом убежденно, с какой-то нервной взвинченностью.

— Товарищи! Отдел закрывается. Прошу поторопиться. — Говорок его был напорист и пронзителен. — Прошу поторопиться! У меня нет ни секунды времени. Сегодня — мой день рождения. Дело не в подарках, а в принципе. Подарки мне не нужны. Ваша покупка станет для меня лучшим подарком. Но от принципа я не отступлюсь ни на йоту. Мадам, что вам угодно?

— Я бы хотела купить габардин на пальто, — сказала мама. — Какой вы посоветуете?

Ни на миг не задумавшись, продавец ответил:

— Бежевый габардин красивый, но маркий. От души рекомендую бордовый. Утверждаю, что когда в пальто бордовом, как наше знамя, вы пройдете по Метростроевской улице за вами ринутся лучшие представительницы трудовой интеллигенции, приветствуя правильность вашего выбора.

— Господи! Да не нужно мне этого, — испугалась мама.

— Вам-то не нужно, да нам позарез необходимо! Мы настаиваем на чистоте габардина, хотя и признаем наш провал с партией шевиота.

— С какой партией?

— А вы не слышали? Еще при царе Горохе у нас образовалась партия шевиота. Мать Божья, как мы с ней намучились! Стоит дорого, а качество, скажу вам откровенно, архиерейское...

— Что значит «образовалась партия»? Разве вы не видели, что берете?

— Да нам все уши прожужжали, дескать, это — чистая шерсть. А на поверку? Провожу рутинный эксперимент. Выдергиваю шевиотовую нитку и поджигаю серной спичкой фабрики Лапшина. Шерсть лениво тлеет. Но если в ткань добавлена бумага, то та моментально вспыхивает. И что же вы думаете? В строгом хронологическом порядке по мере поступления матерьяла вначале он тлел, потом стал загораться, а последняя штука уже пылала самым беспардоннейшим образом, как рулон макулатуры. Просто невероятно! Но договор-то был заключен на всю партию... Хочешь не хочешь, а бери. Как мы купились! Вот уж, действительно, покупка века! Сами собой напрашиваются два вопроса: кто виноват и что делать?

Продавец замолчал, переводя узкий, словно прицеливающийся взгляд с мамы на меня. Казалось, что именно от нас ему хотелось услышать решение проблемы шевиота: от мамы — кто виноват, от меня — что делать.

Увлечшись, он напрочь позабыл о том, что торопится. В нем проснулся духовидец, испытующий нас своим речевым напором.

— Так кто же, спрашивается, виноват? Где наш противник? — настаивал продавец, нанося фехтующий удар «метром»

по невидимому бракоделу. Не получив ответа, он энергично зашагал вдоль прилавка, круто разворачиваясь на каблуках.

— Ясно, что сама партия тут ни при чем. Рядовая нить не повинна в том, что материал размокает от первого дождя, трещит, ломается, расплзается на глазах как какая-нибудь эфемерная дрянь. И лишь при глажке продолжает еще пахнуть паленым, словно вспоминая о своем натуральном происхождении. Жалкие остатки былой роскоши! Где тот мерзавец, где тот отпетый негодяй, который от штуки к штуке наращивал содержание бумаги в шерстяной массе, бесовестно снижая ее качество?

От шевиота как такового он дошел до шевиота махорочного, пригодного лишь на самокрутки, и, продолжая движение по наклонной плоскости, докатился до шевиота туалетного, который можно было элементарно рвать рукой по предварительно пробитым через каждые четверть метра микроскопическим дырочкам. Ситуация отчаянная. Как ее спасти?

Этот вопрос был адресован мне. Видя мое замешательство, мама поспешила на помощь:

— Безвыходных положений не бывает. Выход можно найти всегда.

— Какой? — вскинулся продавец.

— Например, я бы на вашем месте обратилась на ткацкую фабрику, послала бы рекламацию...

— Прекрасно! А фабрика сошлетя на поставщиков дурного сырья. А поставщики сырья — на овцеводов. А овцеводы — на баранов, которые завели стадо на бесплодные плоскогорья. И в результате виновной окажется чахлая трава наших пастбищ, вынудившая поставщиков пойти на сверхнормативное бумаголожение! Кому предъявить вашу рекламацию? Траве? Баранам?

— Ой, ну, я не знаю... Я пришла габардин купить, а вы меня расспрашиваете о шевиоте.

— Не-ет, вы уж, голубушка, не ретируйтесь, сделайте милость. Назвалась груздем, полезай в кузов! Так что же прикажете делать с шевиотом?

— Снизить цену и продать.

— Никто не берет.
 — Разрезать и пустить на портянки.
 — Это бумажные-то портянки? Да они сопреют на первом же километре марш-броска, расквасятся, скатаются в жгуты, и армия пойдет босая с водяными мозолями, проклиная последними словами апологетов партии шевиота.

— Ну, подарите его кому-нибудь, наконец!
 — «По-да-ри-те!» Вот именно! Гениально! Конечно, подарить. Наверняка и у нас, и в Европе найдутся заинтересованные организации, готовые клонуть на халяву. И вот, посоветовавшись с товарищами, мы даем лаконичное объявление:

«Ребята! Дарится партия отличного шевиота. Звонить туда-то; спросить того-то...» — И что бы вы думали? Расхватили на корню!

Волю насмеявшись, продавец неожиданно повернулся ко мне:

— Майчик!

Я вздрогнул и отшатнулся от прилавка. В этом странном обращении — «Майчик!» — мне почудился собирательный образ мальчика в маечке. На мне и в самом деле была надета белая маечка, но под пальто и рубашкой. Выходит, продавец видел меня насквозь.

— Майчик! Почему ты трогаетшь алый шелк? Ты еще не пионер? Плохо! Но это — беда поправимая. В твоём возрасте архиважно научиться играть на фортепьяно. Бетховен, Вагнер... Тебе знакомы эти имена? А, впрочем, когда подрастешь и будешь решать, кем быть, настоятельно рекомендую пойти по моим стопам — устроиться продавцом в магазин «Ткани» и посвятить свою жизнь борьбе за образцовое обслуживание покупателей! Так кем ты хочешь стать? — спросил продавец, не без лукавства поглядывая то на меня, то на маму.

— Капитаном дальнего плавания, — ответил я и, подумав, добавил: — Или дворником.

Эти две профессии представлялись мне наилучшими. «Милая Одесса» была моей любимой песней. А дворник Трофим, косой с похмелья? Он же целыми днями гулял да гулял, играя

в прятки с предметом, который все называли «метла», а он величал «метло»!

Покачиваясь посреди двора, он обыкновенно спрашивал:

— Никто не видел, где мой метло?

Ему отвечали, что видели.

— Где?

— В мусорном баке.

— Нету!

— В подвале под лестницей.

Он лез и туда, но не находил. Тогда кто-нибудь нарочно говорил, что метла валяется на крыше.

— А как он туда попал? — изумлялся Трофим, но, впрочем, допускал и крышу и только осторожно интересовался: — А че он там делает?

— Отдыхает.

— А че он там отдыхает?

— Намайлся, пока чистоту наводил, вот и отдыхает.

— У меня чисто, — подтверждал Трофим. — У меня крыша, как паркет, елки-палки!

А продавец тем временем веселился:

— Капитаном дальнего плавания хочет стать...

*По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там...*

Или дворником... Что за амплитуда мечтаний! Какая восхитительная полярность! Дивный выбор. Поздравляю.

Внезапно выражение его лица изменилось, он побледнел и резко сменил пластинку. Глаза продавца округлились, звонкий баритон превратился в разговорщический шепоток.

— Нам страшно нужны надежные товарищи! Мусор надо выметать без пощады! Обрезки, хлам, оберточную бумагу... Решительно и бесповоротно. Иначе мы зарастем грязью по уши, лишимся клиентуры и, в конце концов, нам придется закрывать лавочку к чертовой матери! Простите, мадам, — извинился он перед мамой и юркнул под прилавок.

Я не совсем понимал, о какой лавочке идет речь, ведь мы беседовали в большом магазине, построенном еще до революции. Но маме показалось, что разговор принимает нежелательный оборот, и она попыталась вернуть его в прежнее русло.

— У вас столько тканей, такое разнообразие, что просто глаза разбегаются... Будьте добры, покажите, пожалуйста, бежевый габардин. А что касается профессии, то у нас еще есть время подумать. В мире так много всего...

— А вот тут позвольте вам возразить! — вынырнул из-под прилавка продавец, раскатывая перед самым моим носом толстую штуку габардина. — И возразить принципиально. — В каком-то неестественном возбуждении он принялся метр за метром нанизывать тяжелые волны ткани на желтую линейку, вслух отсчитывая метраж. Видимо, слова «в мире так много всего...» случайно попали в какую-то его болевую точку.

— Раз..., — считал он, распахивая габардин. — В сущности, в мире нет ничего... два... кроме движущейся материи... три..., — он ловко катнул рулон в сторону, — и движущаяся материя... четыре... не может двигаться иначе... пять... как в пространстве и во времени... шесть. Шесть метров вас устроит?

— Что вы! Куда мне столько? Метра три достаточно...

— Как прикажете.

«Габардинец» быстро скатал штуку и начал отсчет снова.

— Движущаяся материя во времени и пространстве. Больше — ничего. Все прочее — чушь собачья... раз... сущие бредни... два... сплошная белибердаевщина. Три. Не угодно ли накинуть аршинчик¹ на вашу полноту?

— А как же водяные в реках? — спросил я, вовсе не думая задавать этот дурацкий вопрос. Я-то прекрасно знал что никаких водяных не бывает, все это — сказки, но кто-то воспользовался за меня моим даром речи.

— Водяные? — удивился продавец. — И ты веришь в эти обветшалые, поросшие тиной бредни? В каких-то несуществующих духов?

¹ Аршин — мера длины, равная 0,7 м.

Конечно же, я не верил! Конечно, я был полностью согласен с «габардинцем», но некто опять вложил мне в уста то, чего я совершенно не собирался произносить:

— А почему же тогда мы говорим: «присутствие духа»?

После паузы продавец улыбнулся и широко развел руками:

— Ай-ай-ай-ай-ай! Нам бы еще манную кашу кушать за папу с мамой. Нам бы еще букварь по складам разбирать: «Ма-ша мы-ла Лу-шу». А мы уже рассуждаем о высоких материях. А мы уже отчаянно мешаем все, что только можно перемешать. Напрямик трактуем иносказательные выражения. И где? В магазине «Ткани», просто созданном для того, чтобы продемонстрировать торжество материи над сознанием! Говорить здесь, в драпировках, о присутствии духа? Абсурд! Жалкая «тюря». И откуда ты только черпанул этой нищенской похлебки? Никаких сверхъестественных «духов» нет и быть не может. Есть мозг, чтобы думать; сердце, чтобы гнать кровь; легкие, чтобы дышать; ноги — покорять земное пространство; руки — держать прочный кусок материи. А тебя, проказника, я теперь вижу насквозь. В тебе сидит большой Рикошетник!

Получалось, что продавец видит духов, как никто, а утверждает, что их нет...

Тем временем акуля пасть ножниц нырнула в габардиновую волну, сухо вспорола ее и защелкнулась. Волна мертвенно опала на прилавок.

Продавец завернул отрез в бумагу, придавил животом край свертка, но едва потянул покрепче упаковочную тетиву, как та лопнула.

— Халтурщики! — взорвался «габардинец». — Даже веревки у них гнилые! Как можно отстаивать примат материи над сознанием с такими проходимцами? Если веревки рвутся, матерьял сечется, лохматится, горит синим пламенем, тогда грош нам цена со всей нашей материей, пространством и временем. Тогда любой рикошетник скажет нам: «Аршиннички липовые!» — и будет трижды прав!

Продавец потянул бечевку из клубка. Клубок, было, завертелся, а потом застрял.

— Что за черт? Кто там держит? Отпустите!

Сноровистым движением он перетер бечевку и стал крутить габардиновый тюк, возмущаясь про себя своими невидимыми пособниками:

— Ничего нельзя с вами по-человечески продать, иуды! Вы и Христа в потемках перепутаете и поцелуете какого-нибудь апостола Симона.

Не выдержав упаковочных мук, порвалась бумага.

— Не волнуйтесь, нам близко, мы и так донесем, — успокаивала мама продавца.

— Что значит «так»? Как это «так»? В раззяванном виде? Чтобы каждый встречный мог ткнуть пальцем: «Смотрите, какая у них культура обслуживания! Да у них культура от слова “куль”!» Позор на всю Метростроевскую улицу...

И тогда упаковщик совершил неслыханный по преданности делу поступок. Точными пассажами коротких, цепких пальцев он растянул нижнюю пуговицу на жилете и выдернул из узких шлевок брючный ремень, свистнувший и метнувшийся в воздухе, как змея. Мгновенно рыхлый габардиновый узел был схвачен и превращен в плотный тючок, а хвост ремня вдет в тесное колечко кожаного тренчика.

Продавец подал тючок маме. Однако она отклонила этот галантный жест. Такая самоотдача показалась ей чрезмерной.

Отнюдь не собираясь уступить, упаковщик настаивал на своем:

— Упрямяство — хорошая вещь. В борьбе за отличное обслуживание потребителя. Вы упрямы, а все-таки я вас переупрямлю! Майчик, возьми тючок, помоги маме...

Это был коварный ход, рассчитанный на мои сыновние чувства. Не помочь маме я не мог. Трудно было отказать и человеку, готовому снять с себя последний ремень.

— Давайте мы вам оплатим ремешок, — предложила мама.

— Ни в коем случае. Он поношенный. Я покупал его в Цюрихе еще до всех пертурбаций и теперь просто-напросто донашиваю.

— Тем более! Он же импортный.

— Нет, нет и еще раз нет!

— Ну, хорошо. Мы отнесем покупку домой, а потом вернем вам ремень.

— Не стоит труда. А, впрочем, как вам будет угодно. Рад, что вы приобрели наш габардин, но весьма сожалею, что бежевый, а не бордовый.

3

Дома царила торжественная тишина. Няня накрывала ужин, стараясь не звякнуть ложечкой, не скрипнуть половицей. Папа в мундире капитана юстиции сидел за письменным столом, конспектируя работу Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Это было свято.

ЧАСТЬ II

* * *

Вечером дети с реки возвращаются.
Встречные ласточки пробуют петь.
Велосипедные спицы вращаются,
Как паутины упругая сеть.

Летней аллее конца не намечено.
Все это только еще началось.
Первый дымок долгожданного вечера,
Шелест колес и бесшумная ось.

Где-то танцуют, никто не прощается.
Вальс со второго звучит этажа.
Велосипедные спицы вращаются,
Стебель вплетенной ромашки кружа.

ДЯДЯ МИТЯ

Крупным планом вижу его руки на крутой шоферской «баранке»: кургузые пальцы-коротышки, усеянные черными волосками и точечками от волосков, настолько пропитанные бензином, что никакое мыло не может отбить жирный, маслянистый, въедливый запах моторного пойла. Перед красным светофором, когда фургон стоит, как вкопанный, а мотор продолжает трудиться — хлебать воздух, кряхтеть, клокотать, торкать, «баранка» гладкая сверху и волнистая с исподу отчетливо дрожит и в такт ей так же мелко трясутся его пальцы, лежащие на разогретом руле, вибрирует каждый волосок. Потом зажигается желтый глаз, дядя Митя схватывает ручку коробки передач, торчащую сбоку от него, как палка; со скрипом, преодолевая упор, виляет ею влево, вправо, а на зеленом перемиге утапливает сношенным башмаком узкую педаль, и колымага, как следует встряхнувшись, трогается с места.

Туловище у дяди Мити вытянутое, а ножки короткие, поэтому, когда я сижу рядом с ним за лобовым стеклом, он кажется много выше меня, а когда командует: «Выходи. Приехали», — и мы оба спрыгиваем со ступенек на землю, я как будто подрастаю и разница в росте скрадывается.

Фургон, который водит дядя Митя, — милицейский, а милиция вызывает во мне смешанные чувства. Милиционерами детей пугают («Смотри у меня! Не будешь слушаться, сдам в милицию!»), зато работа регулировщика на перекрестке восхищает картинной точностью поз. Среди потоков машин, их непрерывного гула, сигналов, то басовитых, то резко взвизгивающих, регулировщик напоминает дирижера уличного оркестра. Он репетирует музыку улиц! А как радостно первого

мая на засыпанном цветами и флагами Арбате встретить вдруг дальнего соседа по даче, молодцеватого Арнольда в парадном мундире майора внутренних дел с косым ливнем боевых орденов на груди! Щелкнув каблуками, Арнольд приветствует нас, вскинув руку под козырек, и лично удерживает черно-белым жезлом нетерпеливые такси, пока наша семья пересекает Арбат. Это — уже не репетиция. Это — праздничный концерт.

Я люблю наш дом на углу Соймоновского проезда и Кропоткинской набережной, молодой сквер возле дома, Москву-реку, близкий Кремль. Горжусь тем, что живу в самом сердце Москвы. То пространство, где ныне расположен храм Христа, занимала тогда грузовая автобаза. Ее окружал забрызганный жидким цементом и наглухо окаменевший забор, за которым постоянно ворочались тучи немых самосвалов. Мне и это нравилось! Мне, но не маме. Похоже, сильное впечатление произвел на нее один подгулявший механик с переломанной гармошкой, едва волочивший ноги вдоль забора после полочки. Время от времени он припадал к шершавым доскам, роняя гармонь, потом долго выбирал инструмент из грязи и, размазывая ее по кнопкам, жаловался нараспев всей округе:

*Я потерял свое здоровье
На автобазе номер три!..*

Если здоровье потерял взрослый мужчина, то, тем более опасаясь за меня, мама терпела «автососедство» лишь до весны, а в конце мая отправляла нас с Филипповной на все лето в «Заветы Ильича» — на дачу.

Готовясь к отъезду, няня брала железную канистру, и мы шли в керосинную запасаться топливом для керосинки и керосиновой лампы, а также всякой москательной надобностью. Скрытая от посторонних взоров, маленькая керосинная притаилась в одном из окрестных дворов. Впечатление, которое она производила на меня, достойно того, чтобы не умолчать о нем.

Керосинная посажена глубоко в землю, а сверху завалена дерном, на котором весной распускаются одуванчики. Они,

точно цветы на дамской шляпке, придают лавочке вид неделовой и даже легкомысленный, что поначалу сбивает с толку, как ловкая маскировка, ибо ничуть не соотносится со всей серьезностью огнеопасного заведения. Еще бы! Там, под одуванчиковой шляпкой, прячется не какая-нибудь вертушка-цветочница, а сам Керосинщик. Толстый, степенный армянин с вечно сизой щетиной на округлых кошачьих щеках (няня зовет его — «Мурластый»), со щетиной, которая, кажется, отрастает у него уже под бритвой, так что к концу бритья можно начинать бриться снова, — Керосинщик этот сперва невидим. После солнечного света полумрак лавки кажется непроглядным, как будто вошел в кинозал посредине сеанса: переступаешь ощупью, хватаешь руками по сторонам, натыкаешься на ноги, все вокруг шикают, а ты винишься, что опоздал и не видишь своего места. Лишь постепенно темнота редет. Так и тут. Наконец-то замечаешь перед собой за низеньким прилавком хозяина в черном халате, натянутом на животе, как на барабане.

— Кто крайний? — занимает очередь няня, а я — рядом с ней.

Растопырив локти, Керосинщик священнодействует литровым ковшом. Очередь как будто загипнотизирована его пассами. В абсолютной тишине алюминиевый ковш стучается о борт железной бочки. Она огромна, она полупуста, но бездонна. Долгая деревянная ручка ковша потемнела и набухла не столько от пролитого керосина — хозяин аккуратен — сколько от синеватого керосинного духа, пропитавшего все вокруг. Отчетливо слышу, как тяжелая маслянистая жидкость глухо булькнула — это ковш проглотил первый литр питья, и вот осторожной струей оно уже переливается через воронку в канистру. Взгляд Керосинщика сосредоточен на струе и короткой воронке, воткнутой в горлышко канистры. Рука слегка подрагивает и струя шевелится в воздухе, как туловище живого змея, рискуя проплеснуть мимо, готовая превратиться в пляшущего огненного дракона, найдись поблизости хоть одна искорка! Но это исключено. Беззвучно шелестя губами, Керосинщик отсчитывает литры, объявляя вслух последний:

— Дэсять, — и обтирает теплые лоснящиеся ладони о нитяную ветошь, собранную в ком.

Теперь Мурластый считает деньги: влажную мелочь и вонючие, жирные рубли, которые хорошо бы проветрить на веревочке с прищепками — так они шибают в нос.

Кроме керосина лавка торгует всякой всячиной: гвоздями — от меленьких, как патефонные иголки, до «корабельных», толщиной в палец (такие хоть в палубу заколачивай!); краской в круглых банках, олифой. На полке блестят английские замки, на прилавке липкой горкой лежит мокрая серая замазка, похожая на промасленную халву. Сходство усилится, когда замазка подсохнет и начнет крошиться.

На губах у меня противный керосиновый налет.

Наша очередь. Филипповна пододвигает к хозяину трофейную канистру:

— Нам бы красинчику... Чичас раскумбрю, — суетится няня, размыкая крышку на горлышке.

— Сколко? — спрашивает Мурластый, вставляя в горлышко воронку.

— Десять литров улить можно?

— Почему — нэт? Сколко надо, столко отпущу.

Очередь с величайшим терпением, затаив дыхание, дожидается, пока Керосинщик ведет свой беззвучный счет, завершая его сказанным вслух: «Дэсят!» — и облегченно вздыхает вместе с ним, обтирающим ветошью ковш.

Между тем мама накупала съестных припасов, ведь на даче никаких магазинов не было, и еду приходилось таскать из Москвы («Что потопаешь, то и полопаешь»). Вместе с няней увязывала вещи, постели. Паковала в коробки кухонный скарб. Все это нужно было перевозить. Дача, хоть и родственная, но не наша.

В день отъезда завтракали на скорую руку. Няня спрашивала:

— Тебе яйцо усмятку сварить али вбить, яешню сделать?

— Яешню.

За завтраком папа просматривал «Советский спорт», улыбаясь успехам своего любимца, гроссмейстера Пауля Кереса, а мама просила:

— Отложи газету. Ну, кто за едой читает? Не показывай пример!

— Сейчас, — соглашался папа и продолжал чтение.

В сборах он не участвовал, на дачу не переезжал. С утра толковал статьи кодекса военным юристам, днем, если удавалось, спал, накрывшись с головой пестреньким маминым халатом, по вечерам разбирал партии Кереса или встречался с хорошими, крепко пьющими друзьями (фронтовики!), а потом допоздна готовился к новой лекции, выгоняя хмель строгим параграфом уголовного права. В многолетнем матче Керес — «Херес» успех склонялся на сторону последнего. Гроссмейстер все чаще проигрывал. Одним словом, папе было не до дачи. Туда он заглядывал иногда по воскресеньям и с дядей Митей был едва знаком.

Я мог бы удивляться тому, как уживаются во мне любовь к папе с горячей симпатией к дяде Мите, хотя, что у них общего — не понимал. Папа — ученый, преподает в академии, дядя Митя — шофер, возит милиционеров. У папы денег и на ресторан хватает (в крайнем случае, займет у Филипповны из ее няниного жалованья, которое она по-крестьянски подкапливает, почти не тратя); а дядя Митя, судя по всему, перебивается с кваса на воду. Папа всегда умен, часто остроумен, плюс, когда выпьет, еще и красноречив; дядя же Митя — хоть и умный, но молчун, вина в рот не берет. Папа — подвижный, в счастливые минуты полный азарта, а дядя Митя всегда какой-то приглушенный, как будто немного затюканный. Он основателен, хозяйственен, нетороплив, а вот, если какой-нибудь водопроводчик по своему обычаю назовет папу «хозяином», то сразу же смутится от неловкости. Мама — хозяйка, няня — хозяйка, это да, а хозяйина у нас нет. Дядя Митя живет в мире людей, семьи и вещей, а папа — в мире мыслей, книг и желаний. И все-таки я почему-то уверен, что они могли бы подружиться, особенно, если бы дядя Митя играл в шахматы. Мама как-то сказала о нем:

— Смотрите: дядя Митя без образования, а какой человек интеллигентный! — однако это решающее замечание я по малолетству пропустил мимо ушей.

В отличие от дальнего соседа Арнольда, дядя Митя был соседом ближайшим и жил на даче постоянно, зимой и летом, а работал в Москве. Хотя приезжал он за нами всегда в точно оговоренный срок, и ждал я его с нетерпением, все-таки каждый раз возникал

он передо мной неожиданно; правда, в этой неожиданности скрывалась и какая-то обычность: он был привычно неожидан. Вот его еще нет, нет, нет, а вот он уже подхватил самые тяжелые вещи, которые я не могу даже с места сдвинуть, и понес к машине. Мама кричит ему вслед, чтобы он вместо тяжестей взял что-нибудь полегче, но дядя Митя на легкое не согласен. Если он возьмет легкое, то кому же тогда достанется тяжелое? Маме?

Ну, пора!

В дорогу хозяйка одевается во все самое простое, опасаясь, что на последних километрах из нее «всю душу вытрясет». Филипповна внизу дежурит у фургона, а водитель плотно устанавливает поклажу в крытый синий кузов, по борту которого бежит надпись: «Милиция».

Кузов упакован. Мама с няней устраиваются на лавке среди вещей за спущенными по окнам гофрированными шторками (необходимая маскировка), а я усаживаюсь в кабине рядом с водителем. Дорогу я, конечно, не помню — целая зима прошла! — но ее и не надо подсказывать, ведь шофер едет к себе домой.

Мы медленно вырुливаем на пустую набережную. Проезжаем мимо Дома правительства, расположенного на том берегу. Разгоняясь, подныриваем под Каменный мост. Катим вдоль кремлевской стены.

Мама стучит к нам в окошечко за спиной. Водитель останавливает фургон и идет посмотреть, что случилось. Наверно, сдвинулись какие-то вещи и надо их потуже закрепить.

Я хорошо сознаю всю необычность места нашей остановки. Позади — угловая Водовзводная башня Кремля, а здесь, за красной стеной, в двух шагах от нас в своем рабочем кабинете трудится друг всех народов. Он умудрен и всевидящ. Может быть, сейчас он смотрит на меня поверх стены, а вообще-то ему, раскуривающему у окна ароматную вишневую трубочку, ничего не стоит проникнуть взором и сквозь кирпичную кладку, не говоря уже о маскировочных шторках:

— А что это там за милицэйский фургон остановился? Нэ порядок... Кто разрешил на служебном транспорте дачников перевозить? Гдэ начальник гаража? Вот я ему сэчас нос откушу!

Фургон стоит на безлюдной набережной перед Кремлем. Я сижу в кабине один. К машине, оглядываясь и слегка пригнувшись, подходит незнакомый мальчишка. Он подает мне знаки, как бы выманивая из кабины. Приоткрываю дверцу и слышу незабываемое:

— Пацан, беги!..

Парень уверен, что меня схватили и везут в тюрьму, что кузов набит милицией, но, по счастью, что-то произошло и на какое-то мгновение я остался без присмотра. Сейчас или никогда! Он открывает дверь нараспашку:

— Пацан, беги!..

Но далеко ли мы убежим? Справа — река, слева — стена. Тем более что мне вообще не надо никуда бежать! Я ждал дядю Митю всю зиму. Он приехал после ночной смены, чтобы отвезти нас на дачу. Но это — наша тайна. Я не могу в ней признаться. Хотя, кому положено, тот и так знает...

Пожимаю руку мальчишке и говорю тихо:

— Я на дачу еду.

Он присвистывает, снова прочитывая надпись по борту: «Милиция» и кивает:

— Тогда бывай...

— Коробки поправил, — объясняет дядя Митя, отруливая от тротуара, и больше уже ничто не может остановить нас, кроме светофоров.

Никаких сирен у нас нет. Все равно грузовики и легковушки сторонятся, пропуская милицейский фургон. А, вырвавшись из городского каменного кольца на Ярославское шоссе, мы и вовсе мчимся шибко-шибко, так, что, кажется, у мотора прибыло сил на вольном воздухе Подмосковья.

Прощайте, хмурые теснины, двор-колодец, переулок-ущелье! Въедет в него самосвал на том конце, а гул уже бежит, бежит впереди: «Ждите, еду!» Прогрохотал. А эхо долго еще дрожит, отскакивая, как мяч, от стены к стене, от стены к стене... То ли дело сельская ширь! Сколько простора и света! Летят поля... Мелькают деревянные, почерневшие от нужды и старости домишки под косыми крышами, такие родные и милые, похожие

на пригорюнившихся бабушек в платочках. Город выписывает облака в проемы над головой, как хлеб по карточкам, а здесь неба больше, чем земли.

Некоторое время над нами парит одинокая птица.

— Коршун, — показывает глазами дядя Митя.

Потом птица сносится ветром и пропадает.

С утра шел дождь, а теперь выглянуло солнце и асфальт блестит, словно туго накатанная зернистая лента.

Издали надвигается встречная «пятитонка». С нарастающим шумом проносится сбоку и мы опять одни под голубыми просветами дымно-серых небес.

После ночной смены лицо у дяди Мити потемнело от усталости. Наверное, его морит сон, потому что он просит меня все время с ним разговаривать. И я расспрашиваю, расспрашиваю его о старшем сыне Вовке — расторопном, хозяйственном малом, который уже ездит с отцом на том же фургоне за комбикормом для кур, о младшем сыне Мишке — попрошайке и жалобщике, вечно путающемся в длинных, как вожжи, соплях; о дочке Лидочке — противной пискле, не слезающей с рук матери. Дядя Митя, как взрослому, рассказывает мне о том, что его жена тетя Клава зимой сильно болела, что прошлым летом их корова зашла в клевер и объелась чуть не до смерти, но сейчас — слава Богу...

Мы сворачиваем к железнодорожному поезду между «Пушкино» и «Заветами...» Неуверенно качнувшись, колымага въезжает на дощатый настил, осторожно переваливаясь через полированные рельсы.

Шоссе кончилось — отошла дорожная «малина». Впереди — последние километры раздрызганной вкривь и вкось, измордованной колесами проселочной колеи.

Мотор взрывает, как бурый медведь-берложник, передние шины сползают в нарубцованную кашу дремучего бездорожья и кабину начинает кидать по сторонам вместе с кузовом. Я крепко держусь за ручку на дверце, но все равно торкаюсь то в боковое стекло, то в дядю Митю. Он вцепился в «баранку», сон как рукой сняло:

— Ничего... Пробьемся! На фронте хуже было.

И мы пробиваемся, раскатывая вязкие лужи, юзом скользя по краю клеклых колдобин, яростно буксуя и выбрасывая из-под колес косые ошметки расквашенной глины!

Дядя Митя обеими руками со страшной силой вертит «баранку», балансируя ею, словно канатоходец противовесом, стремясь удержать неустойчивый фургон, и ненароком бьет меня локтем по ребрам: «Терпи, казак!»

Маме с няней еще тяжелей. На них отовсюду валятся вещи. В упавшей канистре хлюпает керосин. Лишь бы не застрять! Лишь бы не застрять! А ветки колотят о крышу; буйной зеленью прохлестывают по стеклам. В приоткрытое окно потянуло свежим духом елового бора, кипящей сирени, цветущего луга... Последний поворот перед дачей артистки Орочко.

Стоп, машина! Дядя Митя вырубает мотор.

Сразу становится оглушительно тихо.

Я слышу, как поблизости за соседской калиткой ревет мой друг Борька, а бабушка внушает ему, сама поражаясь своей прозорливости:

— Что я тебе говорила? Не будешь бабушку слушать — достукаешься. Вот и достукался. Смотри: уже милиция по твою душу приехала!..

«ПАРОВОЗИК»

Очень важно легко начать, взять верный тон, не огорчаться, что все еще спят, а побыстрее проснуться самому, освободиться от горячих объятий сна и побежать, побежать, побежать, выдыхая перед собой невидимые клубки пара, ритмично перебирая маленькими шатунами локотков и коленок, работая поршнями кулачков и при этом ни обо что не задевая, ловко лавируя между плетеными креслами и столиком — в дверь:

— Следующая станция «Терраса»! Следующая станция «Крыльцо»!

У-у-ууу!.. — заливаясь про себя протяжным, до печали сладостным стоном паровоза — по сту-пе-ням в сад, провисший

виноградными кистями сирени, обморочно-темный и влажный после дождя и — нараспах калитку! — в мир дышащий, переливающийся, гомонящий, переполняющий тебя великой и вольной радостью жизни.

Всякое дыхание да славит Господа!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

Утро, июньское утро в Подмоскowie — легкое, умытое рассветным дождем, чуть подсушенное еще не жарким солнцем, мерцающее росой, охлаждающей босые ступни!

Тяжелые двухэтажные дачи, как в гамаки завалившиеся в густые заросли орешника и сирени, завешенные хвойными рукавами стоярусных елей. Слоистые, покоричневевшие от старости доски дач; темные щели, из которых тянет сыростью, плесенью, мрачным языческим лесом.

Открытая тонкая рама на втором этаже под гипсовой маской античной богини. Лик богини строг и овален, как медальон, бел и рельефен, точно камья на коже, почерневшей от загара.

Утро спящее, дремлющее, пробуждающееся ото сна... Сиреневая прядь, льнущая к окну, и женский голос, льющийся над садом:

*На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...*

Мне лет семь. Я останавливаюсь по дороге с колодца в узком проулке перед коричневой дачей. В руках у меня бидон и чайничек. Я держу его криво и не замечаю, как струйка из носика, перевиваясь, течет на траву.

Косые — веером — потоки света пронизаны словно оттуда же с облаков ниспадающими волнами сопрано.

Человеческий голос божествен. Он дан нам затем, чтобы напомнить, что мы не одиноки в мирах. Рожденный в груди, покинувший ее, он осеняется свыше невидимым Распевщиком, напутствующим его и устремляющим в наши души. Между

поющим и слушающим стоит некто Третий, единственно владеющий тайной песнопения. Музыка и есть ощущение Его присутствия.

*На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...*

И я хочу только, чтобы все это замирало, не стихая, зыбилось, не меняясь, слышалось, не продолжаясь. Мне не нужно других слов, иной мелодии. Ничего больше мне не надо. Да и может ли быть что-нибудь большее, нежели это неведомое пенье на июньской заре, наполняющее сад вечным предвосхищением счастья?

ТЕРРАСЫ

Это была странная дача. Поделенная между двумя хозяевами на две половины, она стояла на покато́м лугу так, что южную террасу требовалось покорять как вершину, взбираясь к ней по крутой деревянной лестнице, тогда как северная просто лежала на земле, со всей убедительностью оправдывая свою латинскую этимологию — «terra»¹.

Зимой на даче не жил никто. Зато весной, не позже середины мая, южная половина дома оживала, наполнялась детским щебетом, возгласами взрослых и ворчанием стариков, а по субботам — шипучим пощелкиванием древнего патефона с загнутой мускулистой ручкой циркового борца, чей оттопыренный игольчатый мизинец ритмично спотыкался на трещинках кружившейся пластинки, обкатанной, тугой и блестящей, как испещренный мелкими рисками асфальт после дождя.

На южной половине дома распускались два огромных куста сирени: белый и нежно-фиолетовый. Пушистый шмель, волнуясь, уходил внезапно из-под самого твоего носа в густую темень

¹ Terra (лат.) — земля.

крупной листвы и просторный, приторно-сладкий сиреневый аромат непобедимо царствовал вокруг. Из дома выносили летнюю соломенную мебель: кресла, диванчик, волнисто-плетеный столик и, — доступную дань легкому барству, — льдышки оплавленного стекла с яркими факелами малинового мусса.

Начинался патриархальный домашний концерт. Дети танцевали с цветами. Старший брат «приглашал» ветку сирени, средний в тон ему — букет незабудок, сестру «выбирали» нарциссы, а соседская девочка, дразнясь и гримасничая, прыгала за кустами с пучком молодой крапивы. Радостью светился дом, точнее, южная его половина, поскольку другая — северная — и летом оставалась заколоченной, темной и пустой. Туда никто не приезжал.

Детьми мы собирались в будни на открытой северной террасе. «Ничьей».

Греет утреннее, вставшее над лесом солнце. Серые покоробленные доски террасы пуще гвоздей расщеплены набирающим силу июльским пеклом. В иссушенном воздухе колеблются осы, свившие под потолком серый шар легкого и хрупкого, точно махорочная бумага, гнезда. Осиные жала жгучи как стрелы осинового заноза, а доски террасы горячи и шершавы.

Снизу, из-под кирпичного разлома тянет по ногам крепким эфирным холодком, терпкой плесенью подполья. Встанешь на коленки, заглянешь вниз и вдохнешь застарелую кладку спрессованных глин, сырость битого кирпича, прель цветочного задохнувшегося кувшина. Что скрывается там, в этом студенном подполье? Нет, даже не в нем, а за ним, внутри его собственной тайны?

Терраса юга будоражит взрывами смеха, взлетающей к сине-белой сирени, кипящей, как рис, на горячем ветру, игрушечным шуршаньем медленно выползающей из-за куста патефонной змеи, мягко навевающей в воздухе свои шелестящие кольца. Северная же сторона томит нелюдимостью, немотой, молчаливым оцепенением тайны. В ней чудится какой-то зов. Есть в ней что-то неутоленное, словно всеми покинутый дух забвения следит за нами из-за ее осевших углов, из покосившихся окон — не позволяет уйти, но не дает и раскрыть себя.

Как будто он знает, что дом держится только тем, что его веселость уравновешена его тайной, а если тайна раскроется, то и веселье канет куда-то, все обрушится, и в памяти не останется ничего...

БОЖИЙ ПЕРСТ

— Нянь, а почему ты в Бога веруешь?
— Дак как же в него не веровать?
— Но Его же нет! Где Он?
— И кто тебе сказал, что нет?
— Все говорят.
— Малó либо что говорить! Он увезде. Я тебе чичас бль
расскажу — что на смом деле былó. У нас у деревне...

— До революции?
— Конечно. Я ишшо малолетка была несмысленая. Уроде тебе такой же шшибленок, рикошетница. Ну, слушай...

Косьба была. Лето. Сушь. Отец накосил на зиму скотине: и коровам, и лошадям, и овечкам. И видить: такая тучá заходить — страсть! Да-а... А воскресенье былó.

— Давайте, — говорить, — сено сгребать у копны, а то ливень нам усе чисто вымочить. Глянь, дожди пойдуть — увесь труд пропадеть.

Ему говорить, дескать, усядья, Хвилип, воскресенье нонча.

— Ну, дак что ж что воскресенье?
— Как «что»? Грех работать. Нельзя!
— Кто сказал, быдто грех?
— Бог не велит.

А он, отец-то, возьми да скажи: «Мне Бог не указ!» — и усе. На месте прализовало.

— Как «прализовало»?
— А так, что руки-ноги отнялись. И язык отнялся. Остались у матери: дедушка — двеносто лет, нас семеро да отец прализованный.

Тогда я и уверовала...

ТИТИНИКА

Дача, на которой мы жили каждое лето, принадлежала нашей родственнице. Звали ее Зинаида Константиновна. Но так к ней никто не обращался. Все произносили имя ее не целиком, а уменьшительно, зато отчество выговаривали отчетливо — во всю его пятисложную длину: Зина Конс-тан-ти-нов-на. Прежде чем осознать ее саму, я стал осознавать ее имя-отчество, и скромно-коротенькое «Зина» совершенно терялось рядом со звучно диссонирующей «Конс-тан-ти-нов-ной»... Прихоти детского слуха необъяснимы. Станным образом это бескрайнее отчество преобразилось во мне под каким-то гулким фонетическим куполом, раскинувшимся выше и прежде смысла, одушевилось чем-то легким, тенькающим, как бы мелькающим в ветвях, пульсирующим в их светотени.

Титиника! — вырвалось у меня ненароком и осталось навсегда.

Видно, прозвище это пришлось ей по душе. Каждое мое окликание веселило ее. Взрослые в моем присутствии привыкли звать ее так же. Няня, выговаривавшая на свой манер *Зина Костяиновна*, наклонясь ко мне, скажет, бывало:

— Вон, гляди-кось, Титиновка твоя с Москвы едет... Устречай.

И я устремляюсь к калитке с безотчетно радостным: «Титиника!»

Была она бабушкой моего двоюродного брата Лени, но почти настолько же и моей. Очень худенькая, невысокая, молчаливая, однако не хмуро молчащая, а какая-то волшебно немногословная, как фея, творящая добро таинственно и безмолвно. У нее был низкий, глуховатый голос давнишней курильщицы. Серые глаза смотрели ласково и печально. Она носила шелковую или шерстяную кофточку, перекалывая с одной на другую свою любимую овальную брошь — фамильную камю: рельефную головку старинной красавицы, ее профиль с распущенной прядкой волос, вольно сбегавшей вдоль виска.

Иногда я счастливо вздрагивал, различив ее в сумерках, как будто слившуюся с кустом сирени, а потом отклонившуюся от него, словно ветка, наполненная птичьим щебетом: «Титиника!»

А то угадывал ее присутствие по аромату душистых папирос, которые она курила, или по синеватому облачку табачного дыма, оставленного ею на крыльце, когда она была уже в глубине сада или по горстке горячего пепла, рассыпанного на перилах...

Она дарила мне шоколадные «бомбы» — полые шары в золотой фольге с серебряными колокольчиками внутри. Она предоставила в мое распоряжение сад с грядками обильно-спеющей клубники, колючим малинником, лиловыми сливами, точно подернутыми первым инеем. Я продирался сквозь цепкий крыжовник, тянулся к гроздьям красной смородины, срывал веточки сдвоенных вишен, подобных нотным «восьмушкам».

В будни днем Титиники на даче не было. Она работала на очень важной и трудной работе — в Телеграфном Агентстве Советского Союза. Сокращенно оно называлось ТАСС. Я гордился тем, что такое необычное слово то и дело встречалось в газетах, звучало по радио в самых торжественных или в самых тревожных случаях:

— Передаем сообщение ТАСС... — и вся страна замирала у радиоприемников.

Меня забавило и возмущало то обстоятельство, что няня на вопрос: «А где Зиновья Константиновна работает?» — неизменно отвечала: «У Тазе».

— Еще скажи в тазу, — обижался я на Филипповну.

— Не у тазу, а у Тазе, — поправляла меня няня.

— Что она там — белье стирает? — утрировал я.

— Не путляй! Какое тебе ишло белье? Белье у тазу стирають, а у Тазе делают заявления.

Зато по вечерам Титиника часто приезжала к нам, то есть к себе. Приезжала тихая, усталая. Поклюет-поклюет что-нибудь с веток, выпьет дождик со смородинового листка похожего на утлую лодочку. Наверно, и поест, но этого я не замечал.

Мужа у нее не было. Было двое взрослых сыновей. Один жил в Москве, другой — на Урале. Не знаю, дружила ли она с ними. Мне казалось, что до рождения родного внука, больше всего времени она проводила со мной. Мы ходили на реку — и в зной студеную Серебрянку — с течением острым, как колющие

иглочки льда. Купание взбадривало ее, оживляло. Она что-то рассказывала мне или слушала мой лепет с тем восхищенным удивлением, с каким очень умные, умудренные жизнью взрослые вникают в наивные речи младенцев, находя в их речах правду, недоступную самим младенцам.

Она любила моих маму и папу. Ей было с ними интересно. Она окрылялась в их присутствии и воодушевляла их. Ее любовь и душевную заинтересованность к себе я перенял от них как бы по наследству. Чувствовалась, что она ждет от меня чего-то особенного, потому что знает и любит их.

Потом мы не виделись долгое время и последний раз встретились в Москве, в семейном кругу. Все были радостны. Папа шутил, мама смеялась, а я гадал, как мне обратиться теперь, когда я вырос, к Зинаиде Константиновне: полностью или по-старому, то есть по-детски. Как?

Она уловила мое замешательство и сказала счастливо и грустно:

— А я бы хотела остаться *Титиникой*...

* * *

Летние птицы перекликаются в зеленой гуще. Голоса их зыбятся, дрожат, перелетают, выщелкивают, оттенкивают, славят свое, родное, то горько-длящееся, то сладко-замирающее на полузвук; то, что достается нам даром и забирается без спросу, блеснув напоследок солнечными брызгами самозабвенно и кратко: жизнь.

БЕЛАЯ УТОЧКА

Каждое воскресенье мы с Филипповной провожали в Москву маму, папу и гостей, если те приезжали к нам на выходной. Переполненная электричка, оглушая округу резким, терзающим слух свистом, налетала со стороны Загорска, не более минуты задерживалась у платформы и, злобно лязгая, укатывала по иссеченной стальной колее, а мы оставались одни, как сироты, на потемневших досках настила, пружинивших под ногами

и приподнимавшихся на швах вместе с гранеными гвоздями, словно узкие зубастые пасти. Каждый воскресный вечер я жил ожиданием неотвратимой, неминуемо-точной, как дорожное расписание, разлуки, видел хвост уходившего поезда, вмиг обезлюдевшую выщербленную платформу с прилепившемся на краю ошметком синеватого «Беломора» и размыканным по доскам билетным мусором и брел обратным путем к даче — сумеречным, немилым, безнадежно повторяя про себя одно и то же:

— Уехали... Уехали... Уехали...

Дача пуста, черна, безмолвна, разве что в нашей всегда прибранной комнате четко и чисто стучат настенные «ходики», да мерно — зубец за зубцом — сползает по шестеренке длинная цепочка с повисшей на конце медной гирькой. Где-то в стороне отчужденно и мрачно тянется клич электровоза, ритмично качаясь, невидимой чередой шумят и шумят груженные ветром вагоны...

— Ну, слава Богу, наши скоро дома будут! — говорит Филипповна, сладко позевывая и расстилая мою кровать.

— И я в Москву хочу... — позволяю я, наконец, излиться своему горюшку.

— О-хо-хо, усе хотяять у Москву разгонять тоску! — отзывается няня. — А по мне и тут хорошо. Чичас ночь, темно, а завтрева, глянь, солнушко устанить, погода наладится, гулять пойдем, — утешает она меня.

Но от ее утешений мне становится только хуже. Почти всхлипывая, ложусь под одеяло.

— Давай я тебе сказку расскажу, — предлагает Филипповна, подтягивая на ночь гирьку «ходиков».

— А какую сказку?

— Антиресную. Про вуточку.

— Про какую уточку?

— Да про белую.

— Расскажи.

Няня укладывается на свой диванчик и в тишине под тиканье «ходиков» начинает рассказывать.

— Значить, князь один жанилси да так, что жану ему Бог послал лучче некуды.

— Красивую? — спрашиваю, вздыхая.

— Красавицу! И вумная, и обходительная, и смастоятельная.

Но правду говорят: век обнявшись не просидишь. Приспичило ему, князю-то, ехать...

— Куда? В Москву?

— А я почем знаю? Может, и у Москву... Одним словом — ехать. Увобче... Ну, жана у слезы, дескать, на кого ты мне бросаишь, на кого ты мне покидаишь? Как я без тебе жить буду?

— А ты говорила, что она самостоятельная!

— Правильно. Да она ж яво любить... Вот он ее стал уговаривать: погоди, мол, я скоро назад обратуюсь. Потерпи маленько. Да из терему не выходи, к чужим людям не прилиплиси, худых речей не слушай, что оне там тебе наговорять. Жана бешшалась. Ну, вот. Он и уехал, куды ему надоть, а та у себе притулилась, смирно сидить, не выглядываить.

— Где сидит? В светлице?

— У светлице али у горнице — усе рамно. Глядь, женщина идеть...

— Хорошая?

— Один вид, что хорошая, а на самом деле обманщица... «Что, — говорить, — ты, жана, скучаишь? Ай, Божий свет не мил? Как ни что, а усе погуляла б — другое дело было б... Устрела бы кого, развеселилась...»

А та и думайть: «И то правда. Похожу-ка по саду — невелик грех!» А у саду ключ бьеть.

— Какой ключ?

— Ну, навроди родника. С-под земли вода тикеть у возеро. Ей женщина-то ета и говорить:

— День нонча жа-аркай, ишь как печеть! А водица у ключе холодна, студена... Давай купатьсяя?

— Нет, не хочу! — жана-то. А сама думайть: «Ить искупаться большой бяды не будить!» Скинула сарахан на песок и у воду — прых! А обманщица спапашилась да и шлеп ее по спине: «Плыви, плыви белой вуточкой; гони, гони студену волну!»

Та и обратись у вуточку, и поплыви...

В комнате темно. Филипповну я не вижу, только слышу ее голос и встает перед глазами прохладный ключ, озерцо, а по

нему, перебирая лапками, быстро-быстро плывет несчастная белая уточка.

Живых уточек я еще не видел, но однажды на Усачевском рынке мне купили игрушечную — желтую, как свечка. Дома я пустил ее в ванну. Она не тонула. Я подплескивал сзади ладошкой, волна подталкивала уточку и она потихоньку плыла, но таяла, таяла...

— ... а он и не распознал, — слышу я нянин голос и понимаю, что отвлекся, потерял нить сказки.

— Кто не распознал?

— Князь. Етгой ведьмы-обманщицы не раскусил.

— А он вернулся?

— А то как же? А она яво жаной обратилась, я уж тебе сказывала. Ай, прослушал? И сарахван ейный на себе надела. К князю присуседилась: цалуить яво, мялуить — вроди как радывается. А он и не распознал!

— А дальше что?

— Что ж дальша?.. Вывела вуточка деток, да не вутят, а ребят. Двух справных, а третьего хворого. Вырастила их, выходила, а оне уж не хотять кылы матери находиться. И узабрались рикошетники на княжий двор. Ведьма учуяла вуточкиных ребят — сперва накормила их, напоила, спать уклала, а сама огонь развела калиновый, ножи точить каленыи... Не бойся, усе ладно будить!

— А я и не боюсь, — отвечаю не вполне уверенно. На самом деле мне страшновато, но подавать виду не хочется.

— Вот заснули два брата, а хворый не спить. Озяб дюже. Лежить у старшого за пазухой — греется. Ведьма стала под дверью да и спрашиваить:

— Спите вы, детки, спите, малыи, аль нет?

Хворый отвечать за усех:

— Куды ж тут спать? Не спим — думу думаим, как хотять нас порешить: огни кладуть, ножи точють...

Она ушла. Походила-походила, опять под дверь:

— Спите вы, детки, спите, малыи, аль нет?

Хворый ей то же поуторил.

«Что ж это, — думать, — все один голос отвечать? А остальные-то иде ж будут? Ну-ка, спытаю, узайду...»

Узашла. Братья спяць. Обвела их мертвой рукой — оне и представились.

Я лежу, не шевелясь. Жду — что дальше?

— Ты слушаишь? — спрашивает няня.

Еще как слушаю!

— Да-а...

— А вутром белая вуточка (мать, значить) кличить детушек, а те молчать. Полетела она на княжий двор, а там лежать оне белья, ромно платочки; холодныя, ромно пласточки. Закричала она у крик:

— Детьнышки мои рódныи!..

Запричитала. Князь услышал.

— Слышь, — говорить, — жана, чтой-то вутка расшумелась?

А ведьма отвечать, мол, етто тебе придеелось, быдто у во снях.

— У каких ишшо у во снях? Как придеелось, кады так кричить-убивается? Спыймайте мне, слуги, белую вуточку! Хочу дознаться, об чем она плачить-горюить, зарю не зарюить!

Ладно. Ловють ее, ловють. Обловились, а спыймать не могут. Оне — за ей, а она — порх да порх, порх да порх! Не дается...

Выбежал князь сам. Тут она ему на руки и упади. А как упала, он приказываить, дескать, становься, белая береза, позади, а ты, красная девица, упреди!

И обернулась вуточка красной девицей. Тут и признал князь жану настоящшую, а не обманную.

Чичас узяли сороку, прицапили к ей два наперстка и пустили воды принесть: живой и мертвой. Принесла. Брызнули на деток живящею водицей — оне стрепенулись. Брызнули говорящею — оне заговорили. И стала у князя семья, как положено быть. Стали жить-поживать, а худое забывать...

Лес уснул. Няня рассказывает. Я засыпаю и мне чудится, что где-то за лесом едет поезд — добрый-добрый. По окнам в желтых абажурах горят фонарики и движется он тихо-тихо, совсем бесшумно, чтобы никого не разбудить — так неслышно, как

будто колеса его обернуты рыхлым мхом, как будто рельсы под ним укрыты сухой соломой...

РЕЛЬСЫ СХОДЯТСЯ

1

У ребят я пользовался репутацией рассказчика, вернее, пересказчика, поскольку основу моих рассказов составляли переложения услышанного или прочитанного. Я был не автором, а исполнителем и потому считал за честь пересказывать как можно точнее, как можно ближе к тексту, безусловно избегая пропусков или присочинений.

Эти пересказы были, между прочим, испытанием на честность перед самим собой. Ну, кто бы стал опрашивать людей, у которых я почерпнул темы, либо рыться в книжках, мною пересказанных: доискиваться, сличать? Никто. Хотя всякий раз я непременно указывал источник заимствования, а для слушателей, опоздавших к началу, повторял, откуда именно взял тот или иной сюжет. Так что в принципе проверить меня мог каждый, но по существу добросовестность свою я контролировал сам. Была даже какая-то тайная отрада оттого, что вот никто за мной не следит — сочиняй, что хочешь, выдумывай, фантазируй, а я не прельщаюсь и не прельщусь! Мое изложение сохраняло документальность не только тогда, когда я рассказывал о подлинном событии, но и когда речь шла о чьем-нибудь художественном вымысле. И к нему я подходил как к документу: раз кто-то сочинил, то нарушать авторские права собственными прибавлениями недопустимо. К счастью, такая строгость в исполнении никому не казалась излишним педантизмом, унылым занудством, а потому: «Все по правде!» — стало высшей наградой, которую я заслужил в своем дружеском кругу и дорожил ею, как орденом, тем более ценным, что носился он не на груди, а в сердце.

С малых лет радиоэфир заронил в меня ряд замысловатых словечек. Особенно часто упоминались «пафос» и «героика».

Говорилось, например, о пафосе и героике Гражданской войны. Эти слова обычно шли в паре и я воспринимал их как брата и сестру. Героика действовала, а пафос ее вдохновлял. Я чувствовал, что пафос без героики превращается в пустые разговоры, а героика без пафоса выдыхается и никого увлечь уже не может. Брат окрылял сестру, вместе они подхватывали меня, перенося через времена и пространства чудесной силой воображения, а я заинтересовывал ребят, заботясь, однако, о том, чтобы ничто не затмевало правды. Мои личные пафос и героика состояли в увлеченном, но точном пересказе.

Хочу испытать на себе подъемную силу, отрывающую меня от лужайки, на которой мы только что гоняли выдавший виды мяч. Надо что-нибудь вспомнить. Скажем, какой-нибудь случай из истории Гражданской войны...

О, эти огромные красные тома в твердых переплетках! На лубой из них няня по неграмотности могла бы поставить чайник с кипятком, если ручка жжется, а подставка куда-то запропастилась («Иде жалеска, мать честная? Куды становить?!»), но остерегалась, терпела жар, а на «Историю...» не покушалась.

О, — говорю я, — эти массивные фолианты со страницами карт, фотографий, изображений театров военных действий с красными стрелами ударов и контрударов; карикатуры, картины, вклейки, портреты, в том числе на желтой, как масло, рыхлой бумаге под полупрозрачным папиросным покрывальцем, которое следовало аккуратно приподнимать или, — еще тоньше, — осторожно сдвигать с невидимого до поры лица, как дамскую вуальку, пуская продольную папирусную волну, как будто бы там, под вуалью, таятся черты прекрасной незнакомки, и вот сейчас, сейчас они возникнут перед тобой! Вуаль откинута, и ты лицезрешь отоженный и закаленный в борьбе лоб вождя пролетарьята, — именно так: «тарьята!» — или, по крайней мере, туго сжатые железные челюсти полководца, но никак не серые фетровые шляпы вежливо бастующих английских докеров...

Вот — диво! Тома заполняли одни мужчины: в штатском и в военном, с оружием и без, на митингах и в пикетах, на тачанках и бронепоездах, на трибунах и в кавалерийской атаке.

Тысячи, десятки тысяч мужчин. Казалось, женщины в России вымерли. Они не воевали, не митинговали, не бастовали. Их нигде не было. Куда они все подевались: мамы и бабушки, тети и няни? Где скрываются сестры? Куда попрятались невесты? Или варварский разгул войны вычеркнул их из жизни, сделал ненужными, обесмыслил природное право дарить жизнь, если ее немедленно забирала смерть?

Но — стоп! Это ты понимаешь теперь. А тогда, нечаянно обнаружив на одной фотографии женщину — медсестру с большим красным крестом на груди, ты смирился с ней только потому, что она тоже была частицей войны, что она возвращала мужчинам возможность снова сражаться. И они сражались: день за днем, глава за главой, месяц за месяцем, том за томом. О, ужас: они убивали друг друга, а тебе не было больно! Тебя тащил и тащил за собой проклятый пафос извержения, чудовищная героика кавалерийской лавы. И, обнажая лик очередного ратборца, ты верил, что защитная папирусная дымка нужна для того, чтобы сберечь потомкам драгоценные черты командарма судьбы, а не какой-нибудь жалкой рабыни, расслабленно проплывающей с букетиком фиалок в лакированном ландо¹. И если командармы сеяли по страницам одну только смерть, то это не доходило до твоего сознания, потрясенного пафосом жертвенности, героикой возмездия.

Сначала я просто рассматривал картинки, полагая, что все понимаю, однако, научившись читать, оценил в полной мере глубину своего невежества. Объем исторических сведений меня подавил. Тщетно пытался я удержать в памяти номера воинских частей, направления ударов, перечни дат, число штыков и сабель, названия станиц и станций, за которые шли бои, фамилии красных командиров, имена белых генералов — напрасно! Нет, кое-что я, конечно, помнил, но это «кое-что» растворялось сущей каплей в море содеянного, а хотелось бы знать все до деталей, до мелочей! Но я убедился, что это невозможно, и в своих пересказах старался придерживаться того, о чем судил

¹ Ландо — здесь: легкий четырехместный экипаж.

наверняка. Да, пересказы от этого проигрывали и все-таки насыщать их домыслами я не мог, а давать необычные толкования известному был неспособен. О, горюшко... Меня выручал разве что азарт рассказчика. Так в борьбе между живостью воображения и строгостью ведомой мне правды года три длилась моя маленькая монополия на историю Гражданской войны в СССР, пока однажды монополиста не потеснил друг-соперник.

2

Наш дом принадлежал двум хозяевам. Одной половиной владела Титиника, как я уже говорил, бабушка моего двоюродного брата Лени, а другой должны были командовать какие-то Колпаковы, которых никто никогда не видел. Что за Колпаковы? Кто такие?..

Потом стали просачиваться слухи, будто сам Колпаков — военный, у него большая семья: два сына и три дочери. Потом выяснилось, что он — не просто военный, каких много, а очень высокий по званию, каких наперечет: генерал-полковник. Сразу обнаружилась звучная компактность в соединении фамилии со званием: *«генерал-полковник Колпаков»*.

Это хотелось повторять. Это само просилось на язык и раззадоривало слух. Не удивительно, что в июне генерал с семьей отдыхает в Сочи, но замечательно, что в июле он собирается приехать на дачу, на которой никогда раньше не был.

Мы прождали его весь июль и весь август, а он так и не появился. Что ж, планы командования способны претерпевать... А наше дело — солдатское.

Следующим летом слухи о Колпаковых приобрели уже легендарный оттенок. Кто-то из ребят проведал, что Василий Григорьевич Колпаков не просто генерал-полковник, каких мало, а герой Гражданской войны, что его кавалерийские рейды вошли в историю, что он награжден именной тачанкой, а отцовские чувства делит между пятью дочерьми и шестью сыновьями. Вот это семья: и отец — герой и мать — героиня! Говорили, что в июне они снова отдыхают в Сочи, но уж оттуда прямо к нам, то есть к себе в «Заветы Ильича».

Однако июль наступил, а никто не приезжал. Колпаковская часть дачи продолжала беспризорно пустовать, оседая и утягивая за собою нашу половину. Доски на открытой генеральской веранде еще пуще потемнели, покоробились, разохлись, защелявили. Угловой кирпичный столбик фундамента рухнул и веранда как бы со вздохом припала на одно колено. Ребята продолжали собираться на ней, между прочим, для того, чтобы послушать мои правдивые истории. Я, и рассказывая, помнил о соседях, а тут как-то отвлекся и забыл.

Мы пошли с Климом на косогор посчитать вагоны проходивших поездов. Косогор выросал неподалеку от платформы «Заветы Ильича» и тянулся в сторону Пушкина до железнодорожного переезда. В жару просмоленная лапша шпал начинала ощутимо пованивать варом, а рельсы, блестя на солнце, накалялись до рези в глазах. Мы сидели на поросшем пожухлой травой невысоком глиняном горбу, внизу под нами пришкварились к шпалам четыре ослепительных полоза, каждый из которых упирался одним концом в Москву, а другой остужал в тихоокеанском прибое. Чтобы увидеть Владивосток до начала августа, следовало покинуть столицу до середины июля. К таким размахам пространств мы привыкали с малолетства.

Клим сказал:

— Приперлись, дураки! Днем поезда редко ходят. Вспотеешь, пока дождешься...

Расписания электричек мы не знали. Расписание скорых — тем более. О движении товарных нам бы и так никто не сообщил. Передислокация боевой техники вообще «под грифом». Поэтому каждый раз поезд появлялся внезапно, и наша цель состояла в том, чтобы успеть пересчитать вагоны, сверить статистику и сделать «стратегические выводы». Цифры обычно совпадали с разбросом до одного-двух вагонов. Иногда Клим ошибался на десять вагонов, считая, например: «... 48, 49, 60, 61...» А вот выводы бывали разные.

Ждем...

В ушах знобко стрекочет насекомая мелочь. Жую сладкую ножку травинки. Черный, точно сам облитый варом, лениво

планирует на шпалу и сливается с ней придорожный ворон. Наверно, старый. Наверно, мудрый: зря сил не тратит, ни на кого не каркает. А мог бы. Ему обедать пора, что же никто не едет, еду не везет, в окошки не кидает? И диспетчера не клюнешь. Где он там? На Ярославском, небось, колбаску раскручивает, пивко из-под пены поцеживает, а тут с утра в клюве ни шкурки, в горле ни капельки!

Ждем...

Звякнул высоковольтный провод. Напрягся — ослабел. Ложная тревога: ветерок.

— Ну, пришли... — продолжает огорчаться Клим. — Делать нам нечего! Чем шпалы нюхать, лучше бы в шашки сыграли.

Тише-тише-тише...

Ворон присел на рельс и тут же метнулся вкось. Птица не обманет. Что ей чудится, то и сбудется.

Побежали мурашки по проводам, пощекотали воображение, и шибче-шибче-шибче незримые колеса стали разматывать плотные мотки стального стука, пока ошалелая от гонки электричка в темно-зеленых подтеках не вылетела как полоумная из-за поворота, промчалась мимо и, по-страшному шипя горелыми тормозами, смирила гремучую прыть у мертвой от зноя платформы.

— Му-ра! — отчетливо подытожил Клим. — Штука в час. С таким расписанием считать разучишься. Пошли, чего сидеть?

И мы побрели восвояси безо всяких «стратегических выводов», но едва спустились с бугра, как увидели то, о чем мечтали два года. В пустой электричке нагрянули Колпаковы! Всей семьей. В том, что это именно они, сомневаться не приходилось — стоило лишь взглянуть на пестро рассыпавшееся по траве семейство.

Впереди, как ему и подобало, шагал герой Гражданской войны генерал-полковник Колпаков в военной форме со звездами на погонах — настоящими, рубчатými, золотыми: на каждом плече по три звезды! А позади отца, гомоня и трепыхаясь, чапали его чада и домочадцы — толпа народа! Взрослые дети — загорелые дядьки и тетки с чемоданами и баулами, мальчишка моих лет и еще один, постарше, и еще один, помладше; и кипучая дама в южном с лохмушками чудаковатом чепце от солнца и в платье

с пенящимся воротом — наверное, генеральша. Все тащили на себе кладь. В общем, это был командирский обоз на марше.

— Ребята, как пройти на улицу Декабристов? — по-армейски бодро обратился к нам генерал.

У Клима сперло дыхание, он даже губами не мог пошевелить. А я, окруженный в Москве военным обществом, сумел-таки выразить свою радость в форме предложения:

— Товарищ генерал-полковник, разрешите вас проводить?

— Провожайте! — согласился Колпаков, окинув меня цепкими глазками из-под козырька фуражки.

Захмелев от счастья, мы с Климом пошли впереди генеральской колонны, как проводники, сворачивая с одной дачной улицы на другую. Точнее, это были не улицы, а просеки с елями и соснами, кустами бузины, зарослями крапивы вдоль седых заборов, серых изгородей, плетней и «колючек». На одной ограде горбатился кот, другая зияла выломанной доской, третья шелушилась усохшими шершавинками краски...

Генерал спрашивал:

— Это какая улица?

— Маркса и Энгельса.

— А это?

— Сакко и Ванцетти.

— А та?

— Карла Либкнехта и Розы Люксембург!

А еще у нас в запасе были улицы Герцена и Плеханова, Ленина и Октябрьской революции, Советская и Горького... По их именам любой прохожий мог восстановить историю мирового и русского революционного движения. Названия, те же самые, что в любом поселке, в любом городе, были до того привычны, что генерал, оказавшийся здесь впервые, уже почувствовал себя как дома.

По дороге нам попался приятель Борька. Увидев нас во главе шествия, он покачнулся, ухватившись за ближайшую штакетину, потом очухался и засеменил по обочине, спрашивая шепотом:

— Ребя, это они?.. Ну, вообще... Вы их встречали?..

— Ага, — отвечивал Клим. — Целый час ждали.

— А откуда узнали, что они с этой электричкой? А почему меня не взяли?

— А ты где был?

— Обедал.

— Ну, вот. А мы с утра ничего не ели!

— И я бы не ел, если б знал...

— Не мешайся!

— Я тоже хочу проводить.

— Будь замыкающим, — согласился Клим и Борька пристроился в хвосте колонны.

Но только мы поравнялись с его дачей, как оттуда, словно стаканчик на блюдечке, неустойчиво задрезжал старушечий голосок:

— Боренька... Иди домой, мальчик... Это что за новости?..

Пора кушать...

— А говорил, что ел! — сказал мне Клим.

— Это же Персона: она и забыть могла, что они уже обедали. Ей девяносто лет, — ответил я, оглянувшись на «Бореньку», густо покрасневшего и возненавидевшего в тот миг свою прабабку. А мы с Климом довели Колпаковых до их участка и, заслужив благодарность генерала, счастливые разбежались по домам.

3

Взмахнув на крыльцо, «Колпаковы приехали!» — крикнул я Филипповне и перелетел через порог.

— Не громонись, рикошетник! Теперича спокою не жди. Пришумели...

Но мне и не хотелось никакого «спокою», я жаждал шума, веселья, многолюдья, затей, и вот все это явилось!

Вечером мы с Климом и Борькой под видом сковыривания смолы с коры старой ели вели наблюдение за раскинувшимся перед нами бивуаком. Он живописно рябил разбросанными по лужайке вещами. Все окна и двери в колпаковской половине дома были распахнуты настежь, а возле накренившейся веранды сам генерал раздувал мятым сапогом самовар до тех пор, пока длинная нога дыма, словно облаченная в мутные обмотки, ни

вылезла из трубы и ни потянулась в нашу сторону, выворачиваясь и клубясь.

А к нам подходила моя бабушка Валя, приезжавшая в «Заветы...» очень редко, но очень метко — в самый ответственный момент. Ее сопровождал мальчишка Колпаков, мой ровесник.

— Познакомьтесь, это — Гриша, — представила бабушка новичка, ускорив долгожданное знакомство. Кто знает, сколько бы мы еще ходили вокруг да около друг друга, присматриваясь да прищуриваясь...

— А тут есть, где рыбу ловить? — спросил Гриша.

— Где ловить — есть, рыбы — нет, — ответил я.

— Жалко. А я в Черном море на блесну ловил, — сказал Колпаков, и это произвело на нас сильное впечатление. Во-первых, Черное море. Одно это... А потом — рыбалка и блесна, и улов, наверно...

— Вот таких таскал! — развел руки Гриша на ширину плеч.

— А какая там рыба водится? — спросил Клим.

— Дундучки, — пояснил Гриша. — Черноморские дундучки.

Мы переглянулись. Никто из нас о такой рыбе не слышал.

— А что это за рыба такая? — поинтересовался я.

— Нормальная рыба. Окуньки, хамса, дундучки, скумбрия...

Надо сказать, что Гришкины дундучки так естественно вписались в морской рыбный реестр, что я пожалел о своем сомнении. Мало ли на свете неизвестных мне рыб?

— А где они обитают эти... дундучки? — спросил Борька.

— Под Сочами.

— А на что клюют?

— На блесну, — повторил Гришка. — А еще на старые шнурки.

— Как это?

— Берешь шнурок, насаживаешь вместо червя. Он в воде извивается, как живой. Хап — и готово!

Убедившись, что знакомство состоялось, бабушка Валя пошла к нашей калитке, пригласив Гришу заходить в гости.

— А где вы жили на Черном море? — спросил я.

— А! В санатории Ворошилова, — отозвался Гришка небрежно, как о чем-то совсем обыкновенном, будничном. — Батяка

у Ворошилова кавбригадой командовал. Дома сабля у нас висит законная: «Василию Колпакову за доблесть и отвагу».

— А тачанка? — вылез Борька.

— Что — тачанка?

— Говорили, у твоего отца есть именная тачанка...

— Не знаю, — нахмурился Гришка. — При мне не было.

— А как твоих братьев зовут? — осведомился Клим.

— Всех?

— Ну, младших хотя бы...

— Мишка и Тишка.

— А они что делали? Тоже рыбу ловили?

— Нет, рыбаки у нас — я да батя. Мишка нырлял до посинения, а Тишка камни искал драгоценные. Колхидоны.

— А где?

— На берегу. Их из Колхиды волной намывает. Вообще камней там — засыпаться можно: агаты, сердолики, колхидоны, яшма...

И, словно продолжая перечень, генерал позвал, распрямившись над самоваром:

— Мишка! Гришка! Тишка! Чай пить...

4

Если Колпаковы нагрянули, как снег на голову, — неурочно, посреди недели, то наша семья собиралась в расширенном составе обыкновенно по субботам.

С первой вечерней электричкой из Ботанического сада Тимирязевской академии в наш подмосковный сад приезжала мама. Мы с Филипповой встречали ее на станции, распределяя на шесть рук мамин груз — запас провизии.

Не успевали мы возвратиться домой и обменяться новостями: мама — московскими, мы — дачными, как появлялась хозяйка дачи Титиника, прерывавшая на время свою тассовскую стенографию (не уверен, так ли это было на самом деле, но спустя много лет сын Титиники рассказал мне, что она работала стенографисткой в Кремле на заседаниях политбюро узкого состава). В отличие от мамы Титиника везла продукты не

в обеих руках, а лишь в одной, и не полную сумку, а что-нибудь вкусненькое в авоське: не столько поесть самой, сколько нас угостить. Особенно меня.

Наконец, ближе к ужину, закончив лекции в Военно-юридической академии и переоблачившись в штатское, подъезжал папа. Он вез не продукты, а свежую прессу, свернутую тугой трубочкой, наполненной уже не дачными или московскими, а всесоюзными и всемирными новостями.

Просмотр газет я начинал с самой интересной — «Советского спорта», продолжал самой разнообразной — «Известиями», а завершал самой авторитетной — «Правдой». Она давала четкие указания, как прожить сегодняшний день: чему радоваться, на что сетовать, за что бороться. Инструкции «Известий» были более расплывчатыми, оставлявшими право на некоторую конкуренцию интересов по собственному выбору, а «Советский спорт» просто тешил или огорчал.

Папа прочитывал газеты еще в электричке, однако, в обратном порядке. Он предпочитал не постепенно приближаться к авторитету «Правды», а как бы незаметно от него уходить. Вообще ему не нравилось, когда я в чем-либо брал с него пример. Он называл это обезьянничаньем и требовал от меня самостоятельности в суждениях и поступках. В конце концов, он ее добился. Будучи военным, отец болел за «Спартак», тогда как сын, будучи штатским — за ЦДСА¹. Отец посвятил себя юриспруденции, сына законотворчество отвращало. Отцу нравилось играть в шахматы, сыну — в теннис. Отец обожал читать и не любил рассказывать. Сын же, и научившись читать, обожал рассказывать. В ту пору он переживал, как мы помним, эпоху пересказов. Устный период.

— Пап, Колпаковы приехали!

— Да ну?! — нарочито удивляется папа, подтрунивая над мной.

— Ты знаешь, у них одиннадцать человек детей!

— А у нас один... Но зато какой!.. — продолжает отец в том же духе.

¹ ЦДСА — спортивный клуб: «Центральный дом Советской Армии».

— Гришка рассказывал, что они в Сочи отдыхали. Он там рыбу ловил законную: дундучков.

— Кого-кого?..

— Черноморских дундучков.

Папа начинает негромко, но заразительно смеяться, слегка покачиваясь в плетеном кресле у соломенного столика, выставленного на воздух по случаю вечернего чая. Вслед за папой улыбается Титиника, оживает бабушка Валя и даже *сурьезная* Филипповна не может сдержать улыбки, а мама спрашивает:

— Какие еще «дундучки»? Что ты выдумываешь?

— Я не выдумываю! Это Гришка рассказывал.

— Значит, *он* выдумывает.

Я озадачен: неужели сын героя Гражданской войны привирает? Заступаюсь за Гришку:

— Что — и хамсу он выдумал, и окуньков, и скумбрию, и колхидоны?

— А это что еще за гусь такой — колхидон? — интересуется папа.

— Это — не гусь, а драгоценный камень из Колхиды.

— А дундучки откуда? Из Дундучиды?

Гришкин авторитет шатается. В моем представлении папа, как ученый-энциклопедист знает все. А если он чего-то не знает, то этого и на свете нет. Никакой Дундучиды нет, конечно, но разве Колхида — выдумка?

— Евгений Алексеич, а иде ж ето такая Колхвида будить? — спрашивает няня, разливая чай.

— В Грузии, в Грузии будет. Так греки называли Западную Грузию. Там народ такой жил: колхи, от них и пошла Колхида. А камень, о котором твой Колпаков говорил, — обращается папа ко мне, — не колхидон, а, по-видимому, халцедон. Из кварцев. В зависимости от окраски он по-разному называется: агат, сердолик, яшма...

— Господи Сусе Христе!.. — вступает няня. — И чего только на белом свете не деется... Век, говорить, живи, век вучись... Ишь, Колхвида какая...

Мы пьем чай с кексом и с конфетами, чьи фантики украшает новое высотное здание на Котельнической набережной

в шапках праздничного фейерверка. Конфеты шоколадные, а внутри — ликер. Раскусишь и как будто во рту салют!

Надо будет завтра порасспрашивать Гришку о Гражданской войне что-нибудь такое, что я точно знаю. Интересно, как он ответит?

5

Было завтра — стало сегодня. А сегодня — воскресенье. Кто на речку, кто в лес, у кого гости... Поговорить некогда. А с понедельника генерал взял младших сыновей в оборот: взрослые-то дети разъехались.

Тишка подтаскивает, Гришка подает, Мишка держит, генерал заколачивает. Террасу ремонтируют. Крышу чинят. Воду носят. Землю роют. Но надо Василию Григорьевичу и в Москву по делам наведаться. Мы все пошли его проводить.

Мишка просит отца привезти мяч, Гришка — удочки, Тишка — пистонный пистолет с запасными лентами.

Посадив Колпакова-старшего в электричку, поднимаемся на косогор. Хочется приобщить братьев к пересчету вагонов.

Не заставив себя ждать, ходко пылит к океану скорый поезд «Москва–Владивосток». Сверяем наши наблюдения. У всех одинаково. Даже у Клима столько же. На коротких дистанциях он не ошибается.

Потом задрожало в проводах, зазвенело в рельсах, пахнуло эхом дальнего гула и, набычась, с могучим упором два электроваза потащили мимо эшелон-тяжеловес, рекордно заваленный лесом по самую макушку — выше нарощенных бортов.

Я насчитал сто семьдесят три вагона. Клим на десять больше. Мнение братьев разделилось. У Мишки было, как у меня. Тихон сказал, что за сто считать не умеет, а тут — за сто. А Гришка выдал промежуточное значение.

— Да ты вообще-то считал? — спросил у брата Михаил, — или в серединке пристроился?

— Пусть в следующий раз Гришка первым отвечает! — предложил старший брат.

Однако в следующий раз от Загорска проехала не подлежащая пересчету дрезина, пронзительно нам гуднув.

Я вздрогнул, а Клим протянул:

— Что-то дрезины разъездились...

Это был знак — приглашение к «стратегическим выводам».

— Может, в Москву за шпалами? — предположил Борька.

— Или в Мытищи за квасом, — пошутил Миша.

— Проверяет состояние путей, — допустил я.

— А зачем?

— После тяжеловоза могло в слабом месте путь раздолбать, — поддержал меня старший — Мишка. — Где один стахановец прошел, там сто человек потом чинят, — добавил он, давая всем нам повод задуматься.

Гришка сменил тему:

— А в Гражданскую войну дрезину перед бронепоездом пускали...

— Ну, и что? — спросил старший брат.

— Ну, и ничего. Если проехала, — нормально.

— Все равно контрольную платформу перед паровиком гнали. Батя рассказывал...

— У-у, тяжелый бронепоезд — это сила! — взвился Гришка и стал перечислять: — Две контрольных платформы спереди и сзади — для безопасности, чтобы не подорваться. Бронепаровоз с командирской рубкой. Вагоны...

— А сколько? — спросил я, помня из «Истории...», что штук двадцать, не больше.

— Сколько? — переспросил Гришка, как бы прикидывая степень моей осведомленности, и не удержался-таки, загнул:

— До тридцати вагонов!

— Не бреши! — урезонил его Михаил. — Столько ни один паровик не потянул бы. Там же брони тонны.

— А сколько, по-твоему?

— Вагонов пятнадцать.

— Спорим — тридцать? У бати специально спрошу!

— А вооружение?

— Четыре пушки стосемимиллиметровые, шестнадцать пулеметов типа «Максим». Боевая скорострельность — триста выстрелов в минуту; емкость магазина — до двухсот

пятидесяти патронов; прицельная дальность стрельбы — две тысячи метров!

— Ну, сел на своего «конька»... Ладно, трави баланду, а я домой пойду, — сказал Миша, спускаясь с косогора.

Освободившись от братской опеки, Гришка и впрямь почувствовал себя «на коне».

— А перед боем, слышали? — бронепоезд разворачивается тендером¹ к противнику и выпускает аэростат для корректировки огня.

— Откуда же аэростат? — усомнился Борька.

— У воздухоплавательного отряда. Он по штату полагается. А еще были бронелетучки такие: паровоз и вагончиков штук пять. На вооружении Красной армии состояло семьдесят бронепоездов, а у белых — восемьдесят. Им Антанта подкидывала.

— А бывали сражения между бронепоездами? — спросил Клим.

— Бывали, — уверенно ответил Гришка.

— Расскажи! — вырвалось у Клима. Борька тоже замер в ожидании. И Тихон прижух, будто слушал брата впервые.

Вот тут-то я и почувствовал, что лавры знатока истории Гражданской войны переходят от меня к Гришке Колпаку, и не потому, что у него батя — герой, а потому, что он сам знает все до мелочей, до деталей, хотя и привирает: знает то, о чем я не подозреваю; о чем, может быть, никто не подозревает!

— Давай, — попросил я, из пересказчика становясь простым слушателем. И Гришка начал:

— Дело было 27 июля 1919 года под станцией Сетевая. Мы идем вдоль железной дороги на рысях силами 16-й Переславльской и 21-й Пролетарской кавбригады особого назначения. Плюс сорок пулеметных тачанок с матросами Волжской флотилии. В центре — четыре полевых ударных бронепоезда и у каждого — по воздухоплавательному отряду. А белые движутся навстречу нам с юга. Пять бронепоездов, две бронелетучки, аэростаты, английские танки на платформах. Справа от путей

¹ Тендер — здесь: задняя часть паровоза.

сомкнутым строем — лейб-гвардии Успенский полк генерала Велертинского. В первой шеренге — двенадцать митрополитов. Хоругви, паникадила, кресты... А дальше — одни Георгиевские кавалеры. Тысяча двести пятьдесят Георгиевских кавалеров! Цвет русского офицерства! Слева — сводные казачьи эскадроны Пурятинского-Остроухова. Две, нет, — вру, — три тысячи сабель! В живой силе мы их превосходим, в технике — они нас.

К Сетевой подходим одновременно. Маневрируя на запасных путях, наши бронепоезда выстраиваются тендерами к бою. Поднимаем в небо отвязанные аэростаты. Даем первый залп, а беляки танки с платформ спускают — и в бой. Через пять минут — все в дыму. Кавалерия рубится по откосам. Бронепоезда окучивают из пулеметов. А митрополиты идут и идут, как заговоренные, будто пули их огибают. Тогда батя разворачивает коня и к командарму:

— Товарищ командарм! У меня в обозе бабка есть одна, Потылиха. И над огнем шаманит, и от дурного сглаза спасает, и порчу наводит, и разлучает, и привораживает... Разрешите применить в оперативных целях?

— Применяйте!

Батя к Потылихе:

— Выручай!

Та пробует корешки покусать белые. Не кусаются, жесткие попались... А как в стакан воды холодной плеснула, только глянула — вся вода сразу вскипела!

— Воинство, — говорит, — не берется. Зубов не хватать. Но вертануть могу, и пушай так пройти. А машины я им погашу.

Забормотала-завозилась-заметалась... Смотрим: у белых бронепоездов изо всех щелей пар повалил клубами, и топки погасли... Бери голыми руками! Что им остается делать, золотопогонникам? Начали сдаваться. Пачками.

— А митрополиты? — напомнил Борька.

— А митрополиты и весь Успенский полк как по команде развернулись: «Кругом арш!» — и прошли мимо с развернутыми знаменами, под барабанный бой, как замороженные, строй за строем, плечом к плечу. Равнение — на степь, пока в дыму ни скрылись.

— Сила! — выдохнул Борька.

— Чудеса! — подхватил Клим. — Не может быть!

— А где об этом написано? — спросил я, не вполне уверенный в том, что точная ссылка последует незамедлительно.

— О таком не пишут, — заметил Гришка важно. — Это самому видеть надо. Или расспросить очевидцев. Только все равно никто не расскажет.

— А тебе отец рассказал?

— Дождешься от него... Он ничего про войну не рассказывает: ни про Гражданскую, ни про Отечественную.

— А откуда же ты знаешь?

Вместо ответа Гришка поднял кверху указующий перст, призывая всех нас прислушаться.

Снова провода зазвенели, прицокивая медным своим язычком, и, дремуче оглашая пространства, солидно и крупно тасуя маслянистые колеса, твердо отбивавшие стук за стыком, на нас поплыл эшелон с боевой техникой.

Зачехленные пушки на открытых платформах... Серые, приземистые танки... Гвардейские минометы... Гаубицы... Опять пушки, обращенные стволами назад... Каждую платформу охраняли часовые...

И вдруг Гришка сделал руками так, как будто поджигает бикфордов шнур, тянущийся под насыпь к mine, и на коротком взрывном: «Пых-х!..» — вскинул руки кверху, словно воздел кувшин. И что же? К нашему ужасу и восторгу эшелон как бы споткнулся и стал медленно тормозить, скрипя и лязгая, точно вот-вот готовый, грузно оседая, юзом сползти под откос.

— Братва, полундра... — прошептал Гришка, пораженный не меньше нашего, и мы посыпались с косогора.

6

Дома, отдышавшись и охладив пыл колодезной водой, я погрузился в «Историю Гражданской войны» Мне хотелось отыскать подтверждение или опровержение услышанному. Я нашел станицу Становую и станцию Узловую, но ни станицы, ни станции Сетевой не было. Зато все боевые характеристики пулемета «Максим»

Гришка привел точно. Численность бронепоездов Красной и Белой армий тоже подтвердилась. Однако об их сражении у мифической станции Сетевая, естественно, ничего не сообщалось. Книжные данные хотелось дополнить живым разговорным словом.

Защищаясь от папиной иронии, я задал вопрос обиняком:

— Ты знаешь, кто такой Велертинский?

— Певец. Подражатель Вертинского.

— А Пурятинский-Остроухов?

— Не знаю. Это из какой оперы?

— Ну, может быть, донской атаман...

— Что-то я такого атамана не встречал. Откуда он взялся?

— Гриша рассказывал, — признался я.

— А, Гриша... — улыбнулся папа. — Тогда это, по-видимому, из той же оперы, что дундучки и колхидоны. Передавай Грише привет. Симпатичный парень.

Конечно, о Потылихе я не мог папе даже заикнуться. По поводу ее правдоподобности я решил разведать у Филипповны.

— Нянь, а у вас в деревне знахарки были?

— Одна-водинная.

— А что она делала?

— Траву сушила пользительную от болестей. Отвар варила приворотный...

— Для чего?

— Все тебе знать антиресно. И кто, и что, и откуль... Ишь, как вуши навустрил! Увырастешь — узнаешь.

— Мне сейчас надо.

— Чичас-чичас... Все чисто тебе доложи!

— Пожалуйста...

— Ну, ежели та его, к примеру, любила...

— Какая?

— Увобче... А он ей, значить, поворот дал али ишшо какая пондравилась, то, дескать, отвару прихлебнешь, и твой опять к тебе прикачнется...

— Значит, она умела людей поворачивать?

— Навроди так. А там хто ее знаить...

— А огонь могла в печи погасить на расстоянии?

- Как это?
- Подумает и погасит.
- Думой?
- Думой.
- Нет, еттова я не слыхала, врать не буду.

Спустя пару дней генерал вернулся из Москвы с подарками сыновьям. Мишке — мяч, Гришке — удочки, Тишке — пистолет и пистонные ленты — бумажные полосы, начиненные крупинками пороха. Пистолет довольно громко бабахал; при выстреле от него, как от черта, попахивало серой, а иногда успевал выплеснуться и лепесток пламени.

В тот же вечер Тишка предложил всем поиграть в войну, но давать пистолет другим отказался, а строчить из немых деревяшек, озвучивая их собственными голосами, нам не хотелось.

Гришка уговаривал пойти с ним порыбачить, а Мишка — постучать по воротам.

— Постучать еще успеется, а сейчас, на зорьке, самый жор! — мотивировал свое предложение Григорий, зашнуровывая старые кеды.

— Какой «жор», когда тебе сказали: рыбы нет? Не водится, — возражал старший брат.

— Я таких червей накопал — их дундушки из-под Сочей почуют!

Короче, Тишка остался стрелять, Мишка с Борькой и Климом — стучать, а мы отправились рыбачить. Я — в первый раз.

Наша речка Серебрянка каждое лето порядочно пересыхала. В некоторых местах ее можно было перепрыгнуть. Но выше мостков, где хозяйки полоскали белье, соорудили плотину из дерна. Там воды было побольше. Кроме того, плотина, по мнению Гришки, служила ловушкой для рыб:

- Деваться им некуда — только клевать!

Рыбак насадил извивавшихся тощих червей на крючки. Забросили. Посидели молча. Гришкину леску мотнуло. Он потянул удочку из воды. Червя не было, зато вместо него с крючка уныло свешивался, стекая, рыхлый пучок позеленевшей от тоски речной тины. Снова насадил. Забросил. Коротая вечернюю зорьку,

черноморский рыбак стал вспоминать о любимом — о ловле дундучков в окрестностях Сочи. Я не отзывался.

Пока Григорий травил рыболовную баланду, банка из-под килек, в которой лежали черви, опустела. Она была, видно, плохо прикрыта коряво прорезанной жестяной крышкой и самоходная наживка расплзлась.

— Не везет! — вздохнул рыбак, обнаружив пропажу. — Придется сматываться.

— А ты говорил, что умеешь на шнурки ловить, — вспомнил я, мельком обозрев Гришкины кеды.

Однако рыболов-спортсмен признать эту идею за свою отказался:

— Я бы еще попробовал кеды червями шнуровать, это — да, а на шнурки ловить и батя не может.

Вот в это я поверил охотно.

7

После того, как Гришка чуть не пустил под откос воинский эшелон, мы некоторое время боялись сунуть нос на станцию. Так и казалось, что там, в кустах, прячется охрана с поезда и ждет, когда мы явимся.

Тем не менее, железная дорога продолжала притягивать нас к себе своей подвижной, гулкой жизнью, неожиданностью и разнообразием происходившего, а еще какой-то загадочностью, скрытой в самом понятии пути, в угасавшем и вновь нараставшем шуме вагонного ветра...

Как-то Гришка утащил у малолетнего Тихона запасную пистонную ленту, а пистолета не нашел. По всей вероятности, Тихон Васильевич носил оружие при себе. Что делать с лентой без пистолета, грабитель Григорий не знал, но догадался, взяв два кирпичика. На одном он двигал ленту, как заправский телеграфист времен сражения у станции Сетевая, а другим куском пристукивал сверху по пороховым кучкам, впечатанным в бумагу. С каждым чокком кучки поштучно взрывались. Им было безразлично, что по ним стучит: оружейное железо или тупой кирпич.

Мишка, подкидывая мяч над головой, спросил:

— Ты чего делаешь?

— Меньшому телеграмму отбиваю, — пояснил изобретатель кирпично-порохового телеграфа и стал вслух диктовать себе текст, взрывая по пистону на каждом слове: *«Кругом! Одни! Белые! Тчк. В небе — облака! На земле — березы! В лесу — грибы! Под ногами — одуванчики! Тчк. Пистоны! Исходе! Добиваю! Последнюю! Ленту! Тчк. Жду! Подкрепления! Твой! Брат! Гришка!»*

— Вот тебе Тихон сейчас придет подкрепление! — пообещал Михаил, сбрасывая мяч с головы на ногу.

— Батя, Гришка мой боезапас кирпичами подзорвал! — закричал меньшей, колобком скатываясь с веранды и размахивая пустым пистолетом.

— Придумал! Придумал! Придумал! — прыгал на месте Гришка, раскручивая, как кнут, отстрелянную ленту.

— Ничего я не придумал! — возмутился Тихон.

— Не ты придумал, а я. Я придумал, что нам делать. Все сюда! Совершенно секретное совещание командующих фронтами и начальников штабов! Крупномасштабная операция «Рельсы сходятся». Клянитесь хранить тайну до могилы. Тишка, ешь землю!

— Не буду. Сам ешь.

— Докладываю оперативный план...

Мы придвинулись головами, как заговорщики, и Гришка поведал нам свой замысел.

Старший брат отказался участвовать сразу:

— Это — не крупная операция, а полный атас. Могут и пошее надавать, если поймают. И правильно сделают. Батяка бы отстегал.

— Батяка сам еще не то придумывал... А вы что, тоже трусите? — обратился Гришка к нам, и мы, конечно, не струсил, мы поддержали его и еще как горячо — от всей души!

Тогда Колпак-Средний, почувствовав себя главнокомандующим, смягчил высшую меру сохранения тайны («до могилы») на более щадящий срок: сорок лет, а Михаила попросил хотя бы последить за атасом (то есть подежурить на косогоре, чтобы никто не помешал).

Теперь оговоренный срок миновал, и операция «Рельсы сходятся» подлежит рассекречиванию. 27 июля 1957 года Борька подкрался к своей прабабушке по беспартийной кличке «Персона», сидевшей в глубоком соломенном кресле в тени раскидистого (на один бок) клена. Персона вязала новую, «заветоильичевскую» шаль, закутавшись в прежнюю — ветхозаветную. Два клубка отменно-пушистой шерсти тихо вздрагивали на ее коленях. Спицы в согнутых пальцах медленно вращались на одном месте, а движением губ вязальщица словно бы целовала каждую удачно сплетшуюся петельку.

— Ба-буш-ка... — позвал Борька необычно ласково.

Бабушка не отозвалась.

— Ко-пу-ша...

Нет ответа.

— Персончик, — повторил правнук погромче. — Сделай доброе дело. Ты клейстер варить умеешь? Свари чашечку... А?

— Зачем тебе? — спросила Персона, не оборачиваясь.

— Бумажку клеить...

— Опять что-нибудь рвать собрался?

— Да не рвать, а склеивать!

— Значит, уже порвал?.. Довяжу рядок, сварю.

Вооружившись чашкой густого, как студень, клейстера, двумя пистонными лентами, деревянными чурбаками-«автоматами», захватив длинный шматок бинта и дырявый противогаз, который Клим нашел весной на свалке, группа двинулась по направлению станции «Заветы Ильича», но, не доходя до нее, преодолела косогор и залегла в траншеях по обеим сторонам железнодорожного полотна. Пути были пустынные, лишь неподалеку похаживал сторожевой, просмоленный, как шпала, ворон, словно прислушиваясь то к близкой Москве, то к отдаленному Владивостоку. Но ниоткуда не раздавалось ни единого звука.

Гришка напялил противогаз и что-то скомандовал, однако проникнуть сквозь резиновую маску приказ отказался. Пришлось стянуть резину с подбородка, освободив рот для дальнейших команд.

— Тишка, клей свой рельс, а Клим — свой!

Бойцы дружно засунули пальцы в клейстер и принялись мазать отполированную колесами стальную поверхность. Выяснилось, что клей плохо ложится на сталь, зато отлично схватывает между собой шероховатые пальцы партизан. Разнимая их Тишке, Гришка влип сам. Руками в клею кое-как наклепил на комки клейстера пистонную ленту по верх рельсы. Клим сделал то же самое на параллельном полозе.

Гришка махнул рукой: знак занять исходные позиции. Первым на знак среагировал ворон, подлетев чуть-чуть ближе к Владивостоку.

Тишка с Климом спрятались по ту сторону полотна в лопухах, мы — по эту, а наверху косогора сидел Михаил, следя за атасом, то есть за нами, поскольку весь атас исходил именно от нас.

Надежда «подорвать» бронепоезд оказалась липовой: хотя в природе бронепоезда еще водились, маневрировать под Москвой, им кажется, не доводилось. Не довелось и на сей раз.

По легкому, звонкому, шибкому стуку; по эху, опережавшему звук; по упругому натягу рельс, загудевших, как рояльные струны; по пружинистому, подобно клавишам, западанию шпал, когда в хроматическом раже проезжий виртуоз гонит и гонит вдоль октав свои разбушевавшиеся длани, — по всему на свете стало ясно: приближается экспресс.

И он налетел веселым вихрем: замелькали нарядные, как игрушки, вагончики, полоща в приоткрытых окнах шелковые занавески; споро топоча шустрыми колесиками; проблескивая на солнце иероглифами табличек, и в такт вагонной раскачке, в ритм беспечно-задорному выкаблучиванию сновало перед глазами по-китайски и по-русски одно и то же, одно и то же:

*«Москва–Пекин...», «Москва–Пекин...»,
«Москва–Пекин...», «Москва–Пекин...»*

Почти неслышно в общем ликующем грохоте, почти мгновенно под натиском курьерских скоростей отхлопали прилепленные к рельсам сырые от клейстера пистонные ленты, жалко вытрухнув из-под колес на растревоженный гравий тусклые при

солнце и тут же потухшие искры. А прекрасный поезд мчался уже далеко-далеко, вздымая за собой длинный шлейф подхваченного на рысях придорожного мусора...

Подрывники бешено строчили вслед ему из березовых чурбаков, метали шершавые гранаты сосновых шишек, с криком: «Ур-ра!..» скатывались с косогора, по грудь проваливались в траншею, карабкались на насыпь, бежали вдогон по шпалам до станции, а поезда и видно не было, а он — великолепный — подлетал к Александрову, нет, к Ярославлю, нет, к Уралу, к Пекину, покачиваясь на рессорах легко и счастливо, пока мы костыляли за ним в буйном исступлении погони, плененные собственными химерами.

Ну, почему, почему страсть разрушать все и вся так жива в нас, сидит так глубоко и прочно, что раннего детства не хватает ей выплеснуться стертым в порошок песочным куличом, сломанной игрушкой, подбитым носом? Нет, она клокочет в отрочестве, сталкивает с пути в молодости, а то и не отпускает до седых волос, превращаясь в саморазрушение — гнетущее, затяжное... Неужели рушить радостней, чем создавать? Неужели ставить ловушки, — сперва игрушечные, потом настоящие, — томиться в засадах, палить по вагонам — все, на что способна пробудившаяся фантазия? И отчего с таким упоением Гришка перечислял убойную силу пулемета «Максим»? Триста выстрелов в минуту — это же за каждую секунду укладывать пятерых... А если у пулемета — Гришка Колпак, а навстречу идем мы пятеро: Борька, я, братья, Клим? Секунда — и нас нет. И это лишь один допотопный пулеметик! Но мы же слушали Гришку, как опоенные, и втайне разделяли его восхищение разрушительной силой разума. Никто из нас не представлял себя мишенью — только пулеметчиком. Над нами властвовал не ужас повального сеянья смерти, а пафос его безбожного восторга, ядовитая героика мщениия — то, что погубило Россию и, аукнувшись, пыталось выпотрошить нас, устремляя подложные чувства к превратным целям. Но мы-то считали их истинными... Представляю, как Гришка рассказывал бы нам обо всем этом, не будь мы участниками событий!

— В районе станции «Заветы Ильича» успешно осуществлена крупная диверсия под кодовым названием «Рельсы сходятся». Отряд Григория Колпака пустил под откос белый бронепоезд «Москва–Пекин». Удиравшие на восток отборные части колчаковцев попали в засаду, устроенную колпаковцами...

И кто бы из нас заметил тогда, что колчаковцы и колпаковцы отличаются друг от друга одной единственной буквой? Что противостояние «ч» и «п» приводит к такому чрезвычайному происшествию в мальчишечьей голове, как воображаемая Гражданская война? Что преодолеть эту чрезвычайность труднее, чем косогор, а поддаться ей легче, чем скатиться в траншею? Что это и есть невыдуманный сигнал национальной тревоги — самый настоящий атас?

Вдруг бежавший впереди Гришка обхватил руками виски, остановился, пошатнулся и, несколько раз перевернувшись, скатился в траншею.

— Командир убит! — закричал Клим.

— Убит... Убит... — повторилось в каждом из нас. Мы сгрудились над Гришкой.

— А, может, ранен? — предположил Борька. — Давайте, я ему голову перебинтую.

Мы приподняли Колпака. Глаза его были закрыты, лицо побледнело. Борька неумело забинтовал командира, но тот в чувство не приходил. Клим взял в руку Гришкино запястье, пульса не нашел и сказал мертвым голосом:

— Готов.

— Ну, что? Где хоронить будем? — деловито поинтересовался Мишка, без разрешения снявшийся с атаса. — Предлагаю тут, под насыпью. Сейчас камней на него навалим, а потом установим плиту: *«Здесь лежит партизан Гришка Колпак, не угнавшийся за скорым «Москва–Пекин».*

Гришка не шевелился.

— Ребята, — сказал Тихон, вставший посреди рельс, — я думал, братан загибает, а рельсы-то, правда, сходятся...

— Где они сходятся? — спросил Миша.

— Вон, смотри: за станцией.

- А как же поезд прошел?
- Не знаю...
- Подумай сам: рельсы сходятся, а поезд-то едет...
- Но они сходятся, я же вижу!
- Оптический обман.
- Ничего не обман! — очухался командир, открыв глаза. —
Вдали путь становится однополосным.
- Ты имеешь в виду — одноколейным?
- Не одноколейным — однополосным.
- А как же поезд? — повторил Мишка.
- А поезд мчит, наклонившись набок, как горнолыжник на одной лыжине. Вот и все!

* * *

Теперь я думаю, что напрасно сомневался в Гришкиных рассказах, уличая его в привираниях, ведь он подходил к жизни, как к канве, по которой можно и должно вышивать узоры собственного воображения. Не в этом ли проявляет себя искусство? Оно умирает, если иссякает пафос, а героика опускает крылья. Оно расцветает, когда бескорыстный вымысел румянит лицо правды. И пусть экспресс «Москва–Пекин» радостно тараторит, летит по залитому солнцем полозу, кренясь влево-влево-влево, но удерживает равновесие, бурно вращая в воздухе всем скопом правых колес!

МОЛОТОЧЕК

Если спрашивали, Филипповна никогда не говорила, сколько мне лет, но всегда — который год. Не пять, а шестой, не шесть, а седьмой. Мне это нравилось. Я вырослел в собственных глазах, потому что шестой звучало почти как шесть, седьмой — почти как семь. Тем более что прибавка одного года начиналась сразу в день рождения. Пятого февраля мне только исполнялось шесть лет, а по-няниному уже шел седьмой. Сам я на вопрос о своем возрасте отвечал, как принято: пять так пять, шесть так

шесть. В том отсчете времени, который вела Филипповна, чувствовался какой-то подвох. Как будто все было честно, а впечатление создавалось завышенное. Семь лет мне когда еще будет, а я уже целый год хожу в сиянии своего грядущего семилетия!

Но были в году два избранных дня, когда мне доставляло тайную радость переходить от своего исчисления времени к няниному. Четвертого февраля я знал твердо, что мне пока пять лет, а пятого наслаждался тем, что пошел седьмой. В этом мнимом перескоке через год, в исчезновении шестерки таился какой-то секрет, пускай лишь словесный, но все же секрет. Дело в том, что зависить мой возраст русский язык позволял, а вот занижать отказывался. Можно сказать: «Мне шесть лет» или: «Пошел седьмой...», а как выразить то же самое, употребив число пять? «Больше пяти»? Но сколько именно? «За пять»? Но так не говорят. «За» относится к десятилетиям: «За сорок, за пятьдесят...» А «пошел такой-то год» применимо в любом возрасте. Няня и про себя говорила: «Да уж шестьдесят седьмой, почитай, пошел...»

В тот год, когда няне «пошел шестьдесят седьмой», к нам на участок стал захаживать дедушка Филимонов — настоящий дедушка моего приятеля Женьки Филимонова (Молоточка). Женька мечтал стать классным вратарем и по вечерам просил его тренировать. На майку он надевал ватник, «чтобы рыпаться не больно», а я бил ему «пéндали» — пенальти, но не одиннадцатиметровые, а с семи шагов. Причем в их отмеривании Женька проявлял жуткую щепетильность. Вначале обсуждался вопрос, чей шаг принять за эталон: мой или его? Я считал, что мой, раз я бью, а он спорил, что его, раз он отбивает. Но дело было не в том. Просто Женька шагал пошире. Я уступал, небрежно обещая Молотку забить, хоть с центра поля. И тогда он начинал шагать, безбожно жухая. Во-первых, не с «ленточки», а потом шаг от шага все шире и шире. Такой переменчивый «эталон» меня не устраивал. Я бежал к воротам и, передразнивая Молоточка, ушагивал еще дальше, чем он, нарочито вытягивая шаги до полушагата.

Тогда уступал пристыженный Молоток. Он великодушно предлагал мне отмерить дистанцию нормально. Но едва я ставил

мяч в след от своего седьмого шага, как Женька кричал, что «с такого расстояния только дурак не забудет», что пусть я сам тогда в ворота встаю, и швырял ватник на траву. Я отодвигал мяч на шаг вглубь поля. Тренировка начиналась.

В моем арсенале были три удара: самый сильный — *пыром* (носком), самый точный — *щечкой* (щиколоткой), и самый хитрый — *шведкой* (внешней стороной стопы). Я старался их чередовать, а Молоточек, екая селезенкой, плюхался по углам ворот, — Женькина кличка и пошла от его спортивного рвения.

Одобрительное «Молодец!» быстро переименовалось в ударное «Молоток!» и прилипло к Женьке как второе имя. Однако и здесь последовало продолжение. Когда вратарь парировал удар, бьющий кричал: «Женька, молоток!» А если мяч влетал в ворота, звучало: «Молоточек, Женя... Кувалдой будешь!»

Всякий проходивший по еловой аллее и не видевший лужайки, еще издали, по слуху мог отличить, отбил мяч вратарь или пропустил. Пророчество о кувалде означало верный гол. Не раз потом я убеждался, что для русского человека всякая игра, не говоря уж о деле, представляет интерес не сама по себе, а в связи с теми отношениями, которые она способна вызвать к себе и вокруг себя. Антураж подчас перевешивает игру, а вопрос о победе, бывает, вообще не ставится. Возможность, используя игру как повод, высказаться о жизни — вот что ценится, вот во имя чего и затевается игра. Женька Молоток в толстом ватнике с оборванными пуговицами, семимильной поступью отмеряющий семь шагов «пендаля» и вырастающий в Кувалду не когда он точно бросается под мяч, а когда промахивается мимо мяча, — помню, помню тебя, вратарь моего подмосковного лета!

Где-то на боковой линии поля, там, где лужайка граничила с еловой аллеей, и познакомился, верно, дедушка Филимонов с Филипповной, когда она, не докричавшись меня из дома, вышла с тем, чтобы забрать ужинать, а он пришел за своим Молоточком.

Дедушка был почтительный, почтенный, высокий, с пушистой бородой, расчесанной на два длинных дымчатых треугольника. Он ходил в легком шелковом жилете с карманными

часами и опирался на тонкую трость с резиновым наконечником, опирался более из уставного щегольства, нежели по суставной необходимости. Прошлым летом я часто просил у него полированную светло-кофейную тросточку поиграть. Я «стрелял» из нее по кустам, рисовал ею на песке, норовил сбивать яблоки с веток, а однажды решил испробовать на прочность. Третьего крепкого удара о ребро скамейки палочка не выдержала. Кривая трещина добежала до самой резиновой пяточки и клюнула в нее острым носиком. Няня принялась сокрушаться, а дедушка только улыбался, разглаживая бесподобные треугольники бороды то сверху, то с исподу, и просил Филипповну не расстраиваться по пустякам. Я не мог поверить, что дедушке ничуть не жаль своей трости, был удручен и не находил себе оправдания. Не было мне прощенья на этом свете! И тогда произошло нечто особенное. Впервые изменив характер моего летоисчисления, няня сказала:

— Ить ему ишло семи годочков нетути! — и я уловил, какая важная разница заключена в двух поименованиях одного и того же возраста: «сдьмой пошел» или «семи нетути».

— Мне шесть лет, — подтвердил я тихо, словно испрашивая своим подтверждением прощенья у дедушки.

— Он у нас ишло несмысленый... — продолжала няня.

Старик Филимонов посмотрел не «несмысленного», как бы сравнивая развитие моего разума и мускулов, но результатами наблюдений делиться не стал. Со стороны старика это было проявлением деликатности, поскольку читать я еще не умел, зато бегать целыми днями с мячом не ленился.

Вечером Филимонов-внук изменил эталонную меру:

— Шагать — фигня получается, — заметил он, подразумевая под «фигней» не столько свой переменчивый шаг, сколько мои голы. — Будем лаптями мерить, как ворота.

«Один лапоть» считался у нас самой строгой мерой длины — пределом точности. Это был шаг длиной в ступню. Удлинять или укорачивать ступни, измеряя расстояния от штанги до штанги, Молоточек не умел. Поэтому теперь, когда он предложил отмерять лаптями «пендали», я согласился, и Женька пошел валко перебирать ногами от ворот в поле. Ставя пятку одной

ноги к носку другой, он уверенно отодвинул штрафную отметку небывало далеко от ворот. Недаром на роль «лаптей» он пригласил разбитые дедушкины башмаки, в которых тонул, как клоун.

— Не жмут? — спросил я, давая Женьке понять, что его «этагоны» слишком разношены.

— Нормально, — ответил вратарь, запахивая ватник.

Тогда я разулся и отметил столько же ступней, сколько Женька, но своих и босиком. Это вызвало протест.

— Пендаль на вратарских лаптях! — огласил Молоточек правило, которое только что придумал.

— Ты что ФИФА? — спросил я.

— Я не ФИФА, — строго сменил ударение Филимонов-Младший, давая мне понять, что у меня нелады с произношением. — Пендаль на вратарских лаптях — это закон! — процитировал он себя, и его утверждение, самовознесенное в ранг цитаты, показалось ему уже абсолютно правомерным. — Первый гол не считается, — на всякий пожарный добавил законодатель. — Стукай!

Левой штангой ворот служила береза, правой — куст шиповника. Верхней штанги не было. Зная Женькину страсть к спорам, я рассчитывал только на березу. Ее ствол обозначен четко, не то что расплывчатый куст. Все удары по кусту, хоть с внешней стороны, хоть с внутренней, назывались у Молотка «штангой».

— И штанга вновь спасает ворота Евгения Филимонова! — восклицал он, даже если ближайшая к нему веточка дрожала от мяча, угодившего в нижний угол.

Молоток стоял, как лев. Время от времени, пропуская мяч, он издавал страшный рык, катаясь по траве, как лев ужаленный. Но при этом он оставался Молотком, и я предвещал ему дорости до Кувалды.

* * *

Два лета дедушка Филимонов ходил к нам в гости, после чего стало известно, что моя няня выходит за него замуж. В обеих семьях возникло смущенное замешательство, сменившееся настоящим переполохом, когда Филимонов-Старший объявил,

что намерен справлять свадьбу «по всей форме». Будущее не обсуждалось, однако Филипповна заверила, что и не думает никуда от нас уезжать.

Во дворе Филимоновской дачи расставили столы с угощениями. Народа собралось много. Это был четверг, середина дня, когда мои родители не приезжали. Я сидел между няней и Женькой, который усердно потчевался, не помышляя о том, как тяжело ему будет вечером рыпаться по углам.

— Молоток, объешься, из «шестерки» не вынешь, — нашептывал я ему, как брат брату.

— До вечера далеко, — отвечал Женька, с присвистом втягивая в недра скользкую малосольную молоку.

— Ну, я тебе сегодня наколочу, чует мое сердце...

Дедушка Филимонов был со мною ласков. Свадьба пила и шумела, как умеют пить и шуметь вырвавшиеся на дачный простор большие гулянья. Что же касается всего остального, что могло бы возбудить читательский интерес и по чьему-нибудь мнению стать «изюминкой» рассказа — ясной или двусмысленной, с пассажами в адрес «молодоженов», скромными умолчаниями или отступлениями в их былую жизнь, то, по счастью, ничего подобного я не знал, не понимал, а потому и не помню. Поворот судьбы в жизни двух пожилых людей так и остался для меня тайной, которую мне меньше всего хотелось бы разгадывать. Дедушка Филимонов и няня понравились друг другу и решили пожениться. А о том, сколько им было лет, я даже и не думал.

Наверно, в движениях человеческой души есть черта, за которую не следует заходить — допытываться правды, доискиваться истины. Ведь кроме той правды, что открывает нам явь, есть еще правда тайны. Она и придает бездонность бытию, а без нее оно, быть может, давно иссушило бы нас на своих отмелях, обезвоженных буднями жизни.

Вечером после праздника мы вышли с Женькой на лужайку постучать по мячу. Молоточек так переел, что совершенно не мог рыпаться. Тоскливо стоял он в воротах, бросая взгляды то на шиповник, то на березу, словно заклиная свои штанги не подкачать.

В бору с паузами раз от раза куковала кукушка: «Пятый... Шестой... Седьмой...»

Были сумерки. По дачам зажигались огни. Няня звала меня домой. Я набежал на мяч и легонько пульнул его Женьке. Прямо в руки.

«ПЬЯНИЦА»

Дело — к осени.

Дача. Вечер. Сыро.

За окном дождик — мелкий, противный. Спать рано, а заниматься нечем.

Неприкаянность. Скука. Все как-то тускло, серо, сумрачно. Да и сумерки какие-то пустые, неодушевленные. Стемнеть стемнело, а зачем?

— Нянь, расскажи что-нибудь, — прошу я Акулину Филипповну.

— Эха-хо! Уж все переговорила, что знала.

— Сказку какую-нибудь...

— Сказки я забывать стала. Памяти нетути ничуть.

— Ну, придумай...

— Помилуй Бог! Ето тебе бы усе выдумлять да выдумлять, а мене не выдумляется боле.

Удостоверившись, что сказок от Филипповны я не услышу, прошу тихонько:

— Хоть лампу зажги. Темно ведь...

— Чего красин зря жечь, лампу беспокоить? — отвечает няня по-хозяйски. — Усе рамно скоро спать укладываться. Вот кюхвирчику прихлебнем да и спатюшки.

Нет, это меня не устраивает. Вздыхаю:

— Рассказывать не хочешь, керосин жалеешь... — и няня входит в мое положение — грустное положение человека, как и она не умеющего ни читать, ни расписываться, но в отличие от нее тяготящегося вынужденным бездельем ненастного вечера.

— Давай я тебе у «пьяницу» играть вывчу, — предлагает Филипповна, доставая с полочки замусоленную, вытертую колоду карт без одной семерки.

Мы садимся к столу. В экономном полумраке няня перемешивает карты. Пальцы у нее крестьянские, сильные, но непослушные, лишенные той тонкой сноровки, что надобна для проворного тасования. Колода то встанет крест-накрест в широких няниных ладонях, то строптивая карточка неловко выпадет из общей кучи. Тасовальщица цепляет, цепляет ее с клеенки, а она не цепляется — прилипла.

— Да что ж ты, мать честная?! — стыдит няня ослушницу, протаскивая ее на край стола, чтобы легче ухватить.

Я оживляюсь:

— А как играть? Это трудная игра? И почему «пьяницей» называется? — спешу с вопросами, опережая ход событий.

— Ччас усе чисто узнаешь. Не тропись, быдто не поспеешь. — Няня вынимает из колоды четыре карты: две красные и две черные.

— Это — буби и черви будутъ, — показывает она на красные. — А это, значить, хрести да вини — масти. Смекай...

В картинках я разбираюсь. Пожилых, бородатых королей не путаю с молодыми валетами. И считать до десяти тоже умею. Даже до ста. Жаль, что такие познания в арифметике, равно как и в мастях, для «пьяницы» совершенно излишни. Можно обойтись и без них.

Филипповна сдает карту за картой, — то мне, то себе; то мне, то себе, — всю колоду.

— Теперьча смотри. Я кладу. Десятка виной. Увидал? Ты клади. Шастерка.

— Бубновая, — выказываю я свое избыточное понимание предмета.

— Что ж с того, что бубновая? — отзывается моя наставница. — Новая бубновая... Се одно десятка старше. Хучь бубновая, хучь червовая, хучь какая... Я беру. — Няня с удовольствием утолщает свою стопочку. — И опять кладу. Ну, ты ходи, не сумлевайся. Куды, куды две карты положил, рикошетник? По одной ходють, не мухлюй! — она строго сдвигает брови.

— Я не мухлюю. Они сами слиплись.

— Сами-то сами, а ты на что тут сидишь? Гляди унюмательно. Вот, говорить, и вышла кралечка с крылечка, — сопровождает няня выход дамы. Я перевоорачиваю верхнюю карту из своей стопки, и меня пробирает колкий холодок удачи:

— Король!

— Бери ты, раз король. Твой ход.

Хожу и уже не чую дождя за стеной, забываю о времени и скуке. Возник интерес.

Новичку везет. Нянины полколоды медленно, но верно начинают переключиваться ко мне.

— Глянь-кось, глянь-кось, и что деетсяя?! У кого картинок девать некуда, а кто с одной швалью остался! — сокрушается Филипповна превратностям судьбы, но сокрушается не безутешно, а как-то полушутя. — Ишь ты, шшибленок! Вывчила на свою голову...

Между тем игра занимает и ее. Проигрывать ей, так же не хочется, как и мне, а потому она возвращается к моей давней просьбе:

— Правда, быдто темно сделалось. Карту не видать. Дай ланпу зажгу, — связывает Филипповна свои неудачи с убылью света и, как опытный игрок, берет «тайм-аут». Коль скоро речь зашла об интересе, экономия на керосине кажется няне уже неуместной.

Человеку в возрасте бывает трудно присесть, а еще трудней — привстать: поясницу *прихватывает*. Держась за нее, Филипповна *колтыхает* в угол комнаты, снимает с гвоздика керосиновую лампу и водружает ее на стол.

Настают священнодействия с лампой. Сперва надо протереть мягкой тряпочкой *сткло*. Оно потемнело от набежавшей копоти — *вычудилос*. Потом — подрезать лохмушки фитиля («И хде у нас ножни, а? Признавайся, куды дел?») Успеть зажечь фитиль толстой короткой спичкой, пока та не прогорела и не стала кусать огнем за пальцы («Врах ее возьми!..») Спичка чернеет и гаснет, поджигая кривую кромку фитиля — стол озаряется живым, подвижным пламенем, а темнота отступает в углы и там оседает, сгущаясь.

Няня осторожно вставляет круглое *скло* в бороздку подставки, словно приручая диковато блещущий и вольно, как факел, дышащий огонь. Теперь он не бросается по сторонам, а длинно и покорно вытягивается над фитилем в узком горлышке чистоначисто протертого стекла. Впрочем, Филипповна урезонирует и фитиль — загоняет его поглубже в керосиновую баночку. Пламя ослабевает, зато потемки отовсюду делают дружный шаг к столу, но ближе няня их не подпускает («Хватить... Слава Богу!») — возносит она хвалу Господу за то, что помог ей благополучно зажечь светильник, не оставив Своим попечением).

Вот сидит она в легкой платочке, освещенная зыблущимся пламенем. Косой, ласковый свет, маслянисто лоснясь, ложится на ее подбородок, на широкую скулу; высвечивает дрожащий зрачок, всегда полный невыплаканной влагой слез; выхватывает краешек ситцевого в бледно-голубой горошек платка, завязанного под подбородком, как опущенные заячьи ушки. Няня постоянно ходит в платке, говорит, что с непокрытой головой — *не сурьезно*. Вообще ее деревенские, старинные понятия о приличиях сильно разнятся с нашими городскими. Она никогда шумно не смеется, а услышав по радио репризы комиков-конферансье, только улыбается:

— Ишь, как укуривают, анчутики...

Она ни с кем не вздорит. В ответ на дурное слово перекрестится втихомолку — и все. Вождей не обсуждает. Никакого отношения к ним ни дома, ни в очередях не выказывает. Лишь однажды наедине со мной молвит раздумчиво:

— Чтой-то Восипа Воссаривоныча усе мене поминають; усе боле Уладимира Ильича...

В ее представления о грехе входит много такого, что в моем окружении вовсе не считается грешным. Не очень строго, но посты она соблюдает, а мы — нет. Ни вина, ни водки не пьет: грех. Не поддается унынию, всегда в работе, а я вот от дождя и безделья запечалился и, если бы не игра, наверно, совсем бы раскис. И это при том, что мне, вспоминая свою жизнь, нужно было бы только радоваться, а ей, вспоминая свою, — рыдать. Однако именно няне зыбкий керосиновый свет придает бодрости, а следом к ней приходит и везение.

Филипповна перетаскивает у меня карту за картой. Полная стопка в моих руках пустеет, как у пьющего залпом. К счастью, — уже почти на доньшке, — мне выпадает туз. Я предвкушаю успех. Хорошо бы отхватить короля или даму! Но у няни — тоже туз. Ничуть не хуже.

Кладем еще по карте на тузов. Я — девятку, и она — девятку. Что за напасть?

Еще по карте. Я — валета, а она — даму.

— Вот тебе и туз — наклал в картуз, — подытоживает Акулина Филипповна, забирая сразу шесть карт.

Но я не сдаюсь! Я заклинаю всех ведомых и неведомых мне духов удачи; всех тех, что устраивают верный выбор одного из двух. Я призываю духов «орла или решки», «чета или нечета», «курочки или петушка», «правой руки или левой», и даже самого страшного духа — «жизни или кошелька»! Наконец, я зываю к тому самому «пьянице», в которого мы играем, ведь это он волен подложить мне карту старше или младше няниной. И смилостивившаяся фортуна, скрепя сердце, раскручивает колесо удачи в мою сторону.

— Чтой-то у нас хвитель опять плохо гореть стал; как-то тусьменно, — возвращается няня к известной причине своих осечек и подбавляет света.

Язычок фитиля с пламенем на кончике вытягивается вверх. Наверно, Филипповна думает, что дела ее пойдут на лад, как только керосиновая лампа покажет мне язык. Однако я беру взятку за взяткой и лишь тогда, когда фитилек вновь принимается подмигивать, теряю, спускаю с рук, отчаянно «пропиваю» ненароком нажитое!

От возбуждения картежница сдвигает платок на затылок. Кровь стучит у нее в висках, приливает к щекам. Это называется «давление ажник под сто семьдесят выскочило».

— У каком вухе стреляить? — спрашивает няня, жмурясь от азарта, и я решаю про себя: если угадаю, то выиграю!

— В левом! — Оно же ближе к стенке, а *стреляить* или *звонить*, как уверяют люди сведущие, обычно в том, которое ближе к стенке. Это многократно проверено на опыте.

— Ньюжли ж?! — торжествует Филипповна, словно разгадав ход моих мыслей. — У правом, а не у левом! — и потирает правое ухо, опровергая наблюдения знатоков.

Она богатеет, а я уже почти ни с чем, стало быть «пьян», как она выражается, у *стельку*. Керосиновое *скло* накалилось — не притронуться. Я и сам горю изнутри не хуже этого *скла*.

— И хто ж, говорить, иво знать, чиво он моргаить?.. — напевает няня, поощрительно поглядывая на *фитиль*.

Играть я впоследствии научусь, но карт так и не полюблю. Зачем заставлять других огорчаться, унижать поражением? А если не огорчишь ты, то огорчат тебя. На то и *противники*, чтобы досаждать друг другу, делать *против*, портить кровь. В этом — изнанка соперничества, и потому оно — нечисто. Однако наша игра — особенная. Она отличается от умной, то есть хитрой, коварной, расчетливой именно своей природной «глупостью», тем, что никакую выгоду соблюсти в ней нельзя. Счастливая незадачливость и оправдание «пьяницы» в том, что по условиям игры ты лишен всякого маневра для козней, хитроумия и расчета. Ты полностью зависишь от расклада карт и никак на него не влияешь. Здесь работает не мысль, а жребий. Что будет, то и будет! — вот девиз «пьяницы». Это — праздник фаталиста, перст судьбы.

Постепенно догадываюсь, что в такой игре нет строгих «сопротивников», а есть скорей «сотрапезники», теплые «субутыльнички», ласково потчующие друг дружку: тебе — карточку, мне — карточку; в твою стопочку, в мою стопочку... — и это переливание «стопки» в «стопку», вероятно, — лишь бесконечно растягиваемое удовольствие, за которым встает что-то совсем иное, нежели тонкий расчет порядочного игрока или коварство сообразительного мазурика, — нечто, доставляющее общую простосердечную радость.

Наши тени колеблются на стене: большая — Филипповны и маленькая — моя. Темнота за окном, потемки у стола словно приглядываются к тому, как в круге света ведут дружелюбную тяжбу два «горьких пьяницы»: один — лет пяти-шести, другая — лет шестидесяти пяти. Успех сопутствует то старому, то

малому. То моя, то нянина стопочка, обмелев, снова потихоньку прибывает. Карты ходят по кругу как заколдованные. Игра наша неостановима, кажется, что она длится и поныне. Мы опьянены игрой — монотонной, нескончаемой, в которой совсем нечего делать уму, — за него все решает бестолковое везенье, но эти однообразные пассы, но это волхованье теней на стене и сейчас наполняют меня каким-то чуждым, блаженно-восхитительным хмелем. Быть может, это — хмель памяти, сладковатый запашок подгулявшего керосинчика, бражный отблеск фитилька на стекле, вспышка льняной лохмушки: полыхнула, осветилась, брызнула, как умылась во тьме, и снова — ровное, уютное свечение, какое бывает разве что в старости да в младости, когда страсти улеглись или еще по-настоящему не разгорелись. А, может быть, так являет себя затаенное чувство душевного родства, того взаимного обожания, что не высказывается, а молча передается, хотя бы вот с этой кочующей из рук в руки вытертой колодой карт.

ЧАСТЬ III

КУРСОВОЙ ПЕРЕУЛОК

Маме

Была моя Москва невелика,
Всего б и счел прохожий удивленный
Четыре переулка, сквер зеленый,
А над зеленым сквером облака.
Ряд окон и пожухлая трава
Да тополей неровных колыханье —
Все пробегалось на одном дыханье:
Вдохнешь поглубже — вот и вся Москва.

Лишь только на краю ее крутом
Медь с медью затевала перезвоны,
Как на другом немедленно вороны
Взлетали в переулке Курсовом.
Границею Москвы была река,
И не могло сомненье зарониться:
Замоскворечье — это заграница,
Далекие чужие берега.

И что за дело, если все кругом
Давно уже Большой Москвой зовется?
Я крикну — и мой голос отзовется
В послевоенном городе моем.
Он для меня останется таким,
Каким он был в тот вечер отдаленный:
Четыре переулка, сквер зеленый
И облака, летящие над ним...

КОГДА-ТО...

Когда-то возле церкви Ильи Обыденного в здании, сохранившемся по сей день, располагалась 41-я школа с небольшим садом, как это водилось в Москве. Маленьких нас водили туда, смотреть листопад. Мы бегали под деревьями, собирали желтые и красные с обугленными краешками кленовые листья. Увяданье природы не печалило нас, потому что мы его не замечали. А сад после класса доставлял нам радость. Беготня, воля, факелы листвы над головой...

...Когда-то Вера Ивановна Державина — железная старуха прежней закалки, как клещами зажимала правилами грамматики все классы с пятого по седьмой, а на уроках литературы обращалась к нам:

— Что вы знаете, кроме 1-го Обыденского переулка? — И сама же отвечала: — 2-й Обыденский!

А дома ее ждала больная внучка, которая числилась в нашем классе, но не была ни на одном уроке.

...Когда-то Мишка Беридзе, знаменитый на всю школу баловник и увалень, тяготившийся своей кличкой «Жиртрестпромсо-сиска» и отвечавший любому обидчику, даже самому тощему: «А ты — «Жиртрестпромсарделька»! — кричал мне с этажа на этаж, снизу вверх выглядывая в лестничный проем: «Алеш! Выходи на третьем уроке. Меня выгонят!»

...Когда-то Федор Иванович Меркулов, учитель физкультуры, называл нам, в ногу маршировавшим по залу друг за другом, первую фамилию «двухфамильной» знаменитости, а мы должны были хором угадать вторую.

— Римский! — веселился Федор Иванович.

— *Корсаков!* — дружно подхватывал маршировавший класс.
— *Мамин!*
— *Сибиряк!*
— *Новиков!*
— *Прибой!*
— *Мельников!*
— *Печерский!*
— *Миклухо!*
— *Маклай!*
— *Минин!*
— *И Пожарский!*.. — попался кто-нибудь на удочку физкультурника.

...Когда-то учительница рисования Жанна Иванна, женщина с ангельским терпением, прежде чем поставить заслуженный кол, ставила карикатуристу два, потом два с минусом, потом два с двумя минусами, и только после этого единицу. А Нил Палыч Желнов, физик, поманив ученицу к доске, не спешил спрашивать по учебнику. Сперва интересовался у вызванной девочки:

- Ну, Любочка, как настроеньице?
- Не скажу...
- Не болит ли чего?
- Не скажу...

И уж тогда, между прочим, переходил к Ньютону или Ому.

Когда он влеплял «пару», глаза его сияли от удовольствия, лучились добротой. Ставя тройку, с улыбкой приговаривал:

— Ничего, золотце, не расстраивайся, тройка — тоже государственная оценка.

На четверке хмурился, а, рисуя пять, ворчал:

- Учишь вас, учишь, неучей... Все равно ни черта не знаете!

...Однажды наша классная Наталья Матвеевна Тарусина задумала приобщить нас к высокому искусству: в доме у одноклассницы мы слушали Первый концерт Чайковского. Нас, кое-как промаявшись до конца, с последним аккордом как ветром сдуло. Гремя башмаками по старинной барской лестнице, мы помчались в соседний дом к добродушному озорнику Вовке Бауму. У него на рентгеновской пленке с изображением грудной

клетки, которую он называл «женской», и мы охотно верили, была записана блатная песня о том, как некий кавалер польстился на прелести ночной красавицы, но она не оправдала его надежд. Утром красавица предстала кривой старухой. По рентгену было четко видно, насколько старуха костлява. Бедный Петр Ильич не выдержал конкуренции. Музыка на костях взяла верх.

...Когда-то Лариса, историчка, преподавала нам античность, и сама казалась греческой матроной: крупная, черноволосая, смуглая, со скульптурными формами. На коричневатой картинке в учебнике истории Древнего мира мы нашли похожую даму. Девочки обряжали ее в густые чернильные ожерелья, а мальчишки наградили пылкими гусарскими усами! Утром она приходила из дому томная, усталая, через силу поднимаясь по ступеням как-то боком. Опытный Валерка говорил, что это ее так муж любит.

...Некогда мальчик по прозвищу «Валёка», бледный и печальный, как романтический рыцарь, страдающий от невзгод послевоенного быта, приносил в школу литровую бутылку со щами и медленно выпивал ее на большой перемене из горлышка, встряхивая время от времени, чтобы вареная капуста не забивала узкий исток. А у школы Валеку поджидали мама и тетя, всегда державшиеся под ручку, как графини Вишенки, — одинаково худенькие, в одинаковых бордовых пальтецах и черных ботиках. Они боялись, как бы на мальчика не напало хулиганье. Подойдя к сыну и племяннику, они, как телохранительницы, с двух сторон брали его под руки — так он и шествовал между ними, тоскуя, но не смея возразить.

...Некогда дед моего приятеля — маленький горбун — читал нам на сквере «Над Тиссой» — шпионский детектив, по страничке печатавшийся «Пионерской правдой». На левом мизинце у горбуна был специально отрощенный ноготь — длинный, как у китайского мандарина. Этим ногтем он подчеркивал строку, на которой останавливался, когда приходила его жена — статная седая дама. Он не доставал ей до плеча и был похож на Риккэ-хохолка рядом с немолодой, но еще прекрасной принцессой. Они удалялись, унося с собой «Тиссу», недочитанные тайны которой меркли перед непостижимостью этой загадочной пары...

ЗНАМЯ, ГОРН, БАРАБАН

В нашей школе классом старше учился парень с двумя прозвищами: «Филат» и «Цыган». Первое произошло от фамилии — «Филатов», а второе — от чернявости и характера: любил Филат проехаться за чужой счет, так и норовил что-нибудь у кого-нибудь да выцыганить, а то и отобрать силой! Учился он плохо, но был очень спортивным, жилистым мальчишкой — складным и ловким. Отловит Филат на перемене умного тюфяка Блюменфельда, затащит в угол, зажмет ему руку и давай выкручивать. Блюменфельд извивается, просит:

- Цыган,пусти!.. Больно ведь... Честно говорю...
- Терпи, Блюма... Дашь русский списать, тогда отпущу.
- Дам.
- А математику?

Блюма соглашается, лишь бы руку выручить из филатовых клещей.

Подкараулит Цыган в коридоре Валеку, оставшегося без «охраны»:

— Ну, ты, дурень, я слышал у тебя марочка завелась. Типа «Голубой Маврикий»... Могу обменяться. На американскую жвачку. Бери, не прогадаешь.

Но Валека молча уклоняется от филатовой «филателии».

Цыган плавал по всем предметам, и только на физкультуре чувствовал себя королем. Его цепкость, ловкость и сила пригождались ему и на брусках, и на кольцах, и на канате, и в спортивных играх. Однажды его выгнали с математики и он пришел на физкультуру в наш класс. Как раз мой сосед по парте музыкант Волканя пытался что-то изобразить на перекладине, но для гимнастики был он слишком неприспособленным. Длинный, тощий, малосильный, барахтался Волканя в воздухе и никакой «подъем разгибом» у него не получался.

— Волконский, ты сегодня кашу ел? — спросил учитель физкультуры Федор Иванович — боксер и гимнаст.

— Ел, — ответил Волканя, дергая ногами.

— Наверно, манную с изюмом и цукатами — гурьевскую, — предположил Федор Иванович. — Она силы не дает.

— Вот он и болтается, как сосиска, — определил Цыган.

— Ну, а ты, Филатов, кто?.. Покажи-ка класс, — обратился к нему физкультурник.

— Сейчас эта колбаса свалится и покажу.

Волканя покраснел то ли от напряжения, то ли от стыда и обиды и упал с перекладины на маты.

Тогда Цыган разулся, небрежно подошел к снаряду, примерился, подпрыгнул, крепко ухватился, сделал несколько широких, красивых махов и — оп-ля! — оказался наверху. Даже никто заметить не успел, как он выполнил «подъем разгибом».

— Вот так это делается, князь! — пошутил Федор Иваныч, подмигнув Волкане.

В этот момент в спортзал вошла старшая пионервожатая Пеночкина, дружившая с Федор Иванычем. В руке у Пеночкиной были ключи от Пионерской комнаты. Там под ответственность вожатой хранились пионерские реликвии. Их было три: знамя, горн и барабан. На всех торжествах знаменосцем выступал Блюменфельд, барабанщиком — Волканя, а горниста не было. Кто бы ни пробовал дуть в горн, не мог издать ни звука. Даже смешно: стоит человек, тужится, раздувает щеки, аж весь напрягся, а звук-то — где он? Кто-нибудь слышал? Вот накануне торжественной линейки Пеночкина и решила кинуть клич по всей дружине: кто еще не пробовал погорнить?

Первым отозвался Филат. Очень ему захотелось прославиться перед всеми, особенно перед Зинулей из 6-го «Б». Но Пеночкина усомнилась, можно ли доверить реликвию такой сомнительной личности? Есть ли у Цыгана музыкальные способности? Да и удастся ли ему вообще что-нибудь выдуть? А за советом она пошла, между прочим, не к учительнице пения «бабе Соне», разучивавшей с малышней революционные гимны, а к своему приятелю — физкультурнику. Федор Иваныч ее обнадежил:

— Филатов — силач! Ему хватит дыхания прогорнить.

На перемене несколько охотников пошли в Пионерскую комнату. Все-таки Пеночкина первому дала попробовать Колобку, который, по слухам, хорошо играл на баяне и учился гораздо

лучше, чем Филат. Но выдох у Колобка оказался слабоват. Он дул-дул, а горн молчал.

Очередь дошла до Цыгана. Тот брезгливо обтер мундштук, обслюнявленный Колобком, и так дунул, что горн, как будто впервые в жизни, прорезался грубым и хриплым гудком. То есть звука Цыган добился сразу. Оставалось добиться музыки.

— Ну, это я порепетирываю, — заверил он Пеночкину и угроворил, чтобы она отпросила его для репетиции с русского и математики. Где он репетировал неизвестно, только на уроках его не было целый день.

Наступил час торжественной линейки. В Актовом зале выстроилась вся пионерская дружина. На сцене — директор Юлия Константиновна, завуч Рина Ароновна, представитель РОНО.

— Дружина! К выносу знамени — смирно! — скомандовала Пеночкина. — Знамя — внести!

Из коридора послышался треск барабанной дроби. Это Волканя грянул палочками по надтреснутой коже красного барабана. Четкий ритм пробирал до косточек. Дробь сыпалась как по нотам. Ну и здорово же Волканя барабанил! Недаром он усиленно занимался на пианино, вот и барабан оказался ему по плечу.

Знамя торжественно вплыло в зал. Такое же красное, как барабан. Знамя нес Блюменфельд — лучший математик и знаток русской речи. Щеки его горели.

Рядом Волканя наяривал на барабанах. А Филат как воды в рот набрал. Где же горн? Почему горнист не трубит? И тут Цыган вскинул медный, ослепительно блеснувший горн, приложил его к губам и дунул, что было сил. А сил было хоть отбавляй. Но вместо чистой мелодии, подобной той, что звучала по утрам по радио в «Пионерской зорьке», горн захрипел и потешно захрюкал, как поросенок.

И вот они идут, чеканя шаг: Блюменфельд — в центре со знаменем, а по бокам — Волканя-барабанщик и хрюкающий на каждом шагу Филат...

Так он и прославился на всю школу, прогорнив перед всеми. Но особенно перед Зинулей из 6-го «Б». Перед ней горн у Филата не просто хрюкнул, а с каким-то взвизгом.

КАМЧАДАЛ

Юрика хлебом не корми, дай отвлечься и повеселиться.

До того, как придти в наш класс, Юрик жил с родителями на Камчатке. Это так далеко от Москвы, что ему, наверно, было там очень скучно, вот он и истосковался по веселью. Правда, в классе его тоже посадили на «камчатку» — заднюю парту: ближе свободных мест не оказалось. Но эту «камчатку» в Обыденском-то переулке Юрик принял за курорт, полный шуток и смеха. Жаль, что скоро впечатление о курорте ему стали подпорчивать учителя. Знания, которые Юрик вывез с настоящей географической Камчатки, на «камчатке» московской школьной выглядели бледновато. Но Юрик не унывал. На каждую двойку он отвечал улыбкой, а на каждую тройку взрывом радости. Блюменфельд так не тешился своими пятерками. А конец четверти был уже не за горами. Тогда Волканя, Колобок и я решили, что «камчадалу» надо помочь — заняться с ним репетиторством.

Между прочим, интересное слово — «камчадал». Так зовут жителя Камчатки. *Камчадал* (Юрик), *камчадалка* (его мама), *камчадалы* (они оба). «Камчад» — корень, «ал» — суффикс. Но это знал я, живя в Москве, а Юрик, живя на Камчатке, ничего этого не знал. То есть он знал, что он — *камчадал*, но что «камчад» — корень, «ал» — суффикс, даже не догадывался. Мы как раз по русскому проходили части слова, и вот я пришел к Юрику домой, чтобы ему помочь.

Юрик ужасно обрадовался и долго развлекал меня своими рыбками с пестрым опереньем, прозрачными плавниками-опахалами. Рыбки, переливаясь, лениво повиливая, без конца мотались навстречу друг другу в аквариуме.

Потом хозяин показывал мне виды: вид из комнаты на сквер, вид с кухни на помойку, вид из ванной на металлоремонтные мастерские.

Потом мы мыли руки, и мама Юрика — приветливая, дородная камчадалка поила нас чаем с печеньем курабье, таким маслянистым, что после него снова надо было руки мыть, а то на тетради могли отпечататься жирные пятна от пальцев, и тогда бы Юрик хохотал уже до самого вечера.

Наконец, мы сели за уроки, а мама за шитье. Она вышивала синего петуха на белом льняном полотенце.

Камчадал раскрыл учебник и прочел:

— «Состав слова и словообразование».

— Какая часть слова главная? — спросил я.

— Корешок! — ответил одноклассник, рассмеявшись своей шутке.

— Правильно, корень.

— А корень еще бывает в земле, — дополнил Юрик. — Я на Камчатке один корень нашел: квадратный. Честно...

— Вот и разбери по составу слово «Камчатка».

— А чего его разбирать? И так все ясно. Камчатка — самый восток страны.

— Это географически. А грамматически?

— Мам, дай я тебе нитку в иголку вдену, — предложил Юрик и стал обмусоливать край синей ниточки, а то она у мамы разлохматилась и никак не пролезала в угольное ушко. Он так веселился, что каждый раз промахивался.

— Юрик, опять ты время тянешь, — сказала мама и забрала у него иголку с ниткой.

— Ну, как на счет Камчатки? — напомнил я в качестве репетитора. — Где тут корень? Где суффикс? Где окончание?

— Окончание «а»!

— Точно. А дальше?

— Ты знаешь, какие на Камчатке фонтаны бьют? Прямо из-под земли. Гейзеры! Кипяток! Ошпариться можно. Я в них купался.

— Как же ты в кипятке купался?

— А он в воздухе остывает, пока падает. Взлетает кипяток, а падает уже нормальный...

— Снова отвлекся? — спросила мама, не отрываясь от шитья.

— Ох, мы уже столько занимаемся... Пора отдохнуть. Перемена! — объявил Юрик, подбегая к магнитофону. — Сейчас музыку послушаем. «Бесаме мучо!» Аргентинское танго.

Он включил магнитофон, и две круглые катушки стали медленно вращаться, словно танцуют под собственный аккомпанемент:

— Бесаме... Бесаме мучо...

— Мне скоро уходить, а мы еще не позанимались, — напомнил я.

— Давай под музыку. Может, так лучше пойдет?

И мы стали разбирать слово «Камчатка» под аргентинское танго. Но и под музыку словцо у Юрика разбираться не хотело. Он никак не мог решить, где кончается корень, а где начинается суффикс. И потому сменил тему:

— Слушай, а откуда произошло слово Камчатка? Что оно значит?

Я не знал. Я же тогда еще не читал словарь Даля, где сказано: «Камчатка — льняная узорчатая ткань, идущая на скатерти, полотенца, постельное белье». Но имело ли название ткани какое-то отношение к земле по имени «Камчатка»? Неизвестно. Может, Камчатка и не от материи. Даже скорей всего. Надо спросить у Рины Ароновны — географички.

Я так и сказал:

— Не знаю. Спросим у Рины Ароновны. Но сейчас это неважно. Нас интересует не происхождение слова, а его состав.

Это показалось Юрику убедительным.

Крепко задумался старый камчадал. Работа мысли морщиной залегла на его лбу. Вдруг Юрик просветлел. Но не оттого, что нашел решение, нет! Совсем не от этого. Просто он увидел муху, пролетающую над магнитофоном. Катушки втянули муху в свое вращение. Она забыла, куда и зачем летит, и стала мерно кружить над принимающей катушкой в том же самом темпе.

— Муха, муха!.. Гляди... Муха кружится!

Юрик сиял. Все выскочило у него из головы: и состав слова, и гейзеры, и Камчатка... Рот его растянулся в улыбке, как у Буратино. А муха, перелетела с принимающей катушки на подающую и уже крутилась над ней до тех пор, пока, навертевшись до одурения, как-то боком не соскользнула с круга, зажужжала, петляя, и стукнулась о дверку шкафа.

— Это у нее голова закружилась! — догадался камчадал и на радостях, сам стал кружиться по комнате, а потом, подобно мухе, пошел, петляя, и уткнулся в стенку, закричав:

— «Кэ» — суффикс, «кэ»!.. «Камчат» — корень, «а» — окончание, а «кэ» — суффикс!

— Только не «кэ», а «ка», — поправила мама, воткнув иголку в камчатку.

«МЫ ИДЕМ ПО УРУГВАЮ!..»

Я уже говорил, что в нашем классе некоторые ребята учились музыке. Волканя играл на пианино и барабане, Колобок — на баяне, я — на гитаре. И вот мне захотелось устроить «джаз». Это, конечно, был «джаз» в кавычках. Всего три «джазмена»: Колобок — баян, я — гитара, Волканя — ударные. Он бы мог и на «фоно» сыграть еще как, но решил, что при наличии баяна для нашего «джаза» ударные важнее. Ни трубы, ни саксофона у нас не было. Правда, был в запасе пионерский горн, но, во-первых, из него, кроме Филата, никто не мог ничего выдуть, а Филат умел только хрюкать, а, во-вторых, горн служил символом пионерии, но совсем не джазовым инструментом. Пеночкина никогда не дала бы его в «джаз» и даже возмутилась бы самой мысли использовать реликвию как развлечение.

Поэтому перед новогодним вечером мы репетировали втроем. Собрались у меня дома после уроков, когда соседей не было. Колобок вынул из черного футляра огромный баян, я достал из чехла гитару, Волканя примостился у барабана и металлических тарелочек. А Юрик пришел любопытствовать и «поболеть»: он ни на чем не играл. Для исполнения выбрали две песни. Первую — лирическую: «Московские окна». Долго не могли начать, все перешучивались. Но как только Колобок развернул меха, и мелодия полилась, наполнив комнату до краев, все обомлели от красоты и силы звучания. Волканя опоздал вступить, а я вообще отложил гитару. Ее бы и слышно не было.

— Ну, Колобок, ты даешь! — сказал Юрик. — Просто гигант! Только играй потише. Ребят, я тоже хочу участвовать. На чем бы мне таком?..

И я придумал, чтобы Юрик стучал на ложках. Есть же целый ансамбль ложкарей. А тут один Юрик, но зато камчадал! И ноты не нужны. Всякие сольфеджио. Бери ложки да стучи в ритм. За отсутствием деревянных, я достал из шкафа две мельхиоровые, и репетиция пошла полным ходом.

*Я люблюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам.
Он мне дорог с ранних лет,
И его яснее нет,
Московских окон негасимый свет! —*

пел я, аккомпанируя себе на гитаре. Волканя «подрабатывал» ритм, шурша метелочками по тарелочкам. Колобок выводил мелодию, а Юрик стучал на ложках, краснея от удовольствия. А еще его веселило, как бы Колобок не прищемил себе нос мехами. Глаза Колобка — два синих блюдца — сияли над самым баяном, а курносый нос почти касался верха мехов. Но Колобок был начеку и носа не вешал.

После «Московских окон» принялись за вторую песню. На свой страх и риск взяли не эстрадную, а «дворовую»: «Мы идем по Уругваю», исполнявшуюся в ритме «рок-н-ролла» — запрещенного американского танца. Юрик пришел в полный восторг от «рока» и не столько стучал, сколько отплясывал, извиваясь между столом и шкафом. Он сказал, что это надо обязательно записать на магнитофон на следующей репетиции.

Но следующая репетиция не состоялась. Колобок был занят, а без него какая музыка? Зато неукоснительно состоялся урок географии, на котором завуч Рина Ароновна вызвала к доске камчадала, и тот поплыл между «широтой» и «долготой». Рина Ароновна была учительница строгая и не позволяла ни на что отвлекаться. Она чувствовала даже молчаливое отвлечение. Стоило мне задуматься, надо ли давать вступление к «Московским окнам», как Рина Ароновна немедленно вмешалась:

— Алеша, вернись в класс!

А уж Юрий, знаем, на все отвлекался. Он мог стоять у доски на уроке географии и чесать себе лопатку указкой, размышляя о том, поменять ли ему мельхиоровые ложки на деревянные или так оставить?

— Яснецкий, найди на карте Монтевидео, — требовала географичка, а он и не знал что это вообще за чудо-юдо: озеро? — вулкан? — горная гряда?.. Где его найдешь? Карта большая — на всю доску...

— «Мы идем по Уругваю!»... — тихо пропел с первой парты Колобок свою музыкальную подсказку, как бы совершенно бесцельно, для собственного удовольствия.

— Монтевидео?... Ну, это такое... в общем... с Уругваем связанное...

— Борису в журнал точку. Еще одна подсказка и будет «два». А тебе, Яснецкий, надо бы поставить двойку сейчас, да Новый год не хочу портить.

— А в четверти? — упавшим голосом спросил камчадал.

— В четверти «три», но смотри у меня!..

— Ур-ра!.. — воскликнул Юрий, перекрывая долгожданный звонок.

* * *

В Актовом зале горела огромная — до потолка — елка. Ребят набилось — чуть не вся школа. В первом ряду — директор, Печочкина, Рина Ароновна, наша классная Наталья Матвеевна, другие учителя.

Идет праздничный концерт.

Малыши танцуют полечку. Старшие читают стихи о Родине, о партии, басню Крылова. А в конце ведущая Зинуля из 6-го «Б» неожиданно для всех объявляет:

— Выступает джаз-оркестр!

Когда ребята увидели на сцене баян, гитару и тарелочки, они уже заерзали от предвкушения. До этого в школе, кроме горна и барабана, звучало только расстроенное пианино, на котором «баба Соня» разучивала с малышкой «Смело, товарищи, в ногу...» А тут гитара, тарелочки, «Московские окна»... Совсем другая музыка!

Все хлопают. Все возбуждены. Директор Юлия Константиновна улыбается, кивает Рине Ароновне: мол, вот как, молодцы ребята, ценная инициатива, настоящая художественная самодеятельность! И всегда строгая Рина Ароновна снисходительно щурится в ответ.

А когда «джаз» грянул «Мы идем по Уругваю», все повскакивали с мест, завопили от радости так, что слова потонули в шуме — и какие слова!..

*Мы идем по Уругваю!..
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев,
Обезьяньи голоса!*

Тут Юрик прикрыл рот ладошкой и, вибрируя, пронзительно завизжал, как макака в джунглях Южной Америки! А Волканя разразился барабанной дробью, подкинул палочки и, как жонглер, поймал их налету!

*Если вкалывать, как негры,
От зари и до зари,
Мы Америку догоним
Года за два или три!*

Такого школа не видела и не слышала отродясь!

«По Уругваю» прошлись трижды: на бис. Но мельхиоровые ложки в руках у Юрика замерли, а руки опустились, лишь только он встретился глазами с Риной Ароновной. Та сидела неподвижно. Взгляд ее был шершавым, твердым и серым, как гранит парапета на набережной Москвы-реки. И вот что прочел Юрик в этом взгляде: «Твой отец — патриот и труженик работал на Камчатке. В тяжелых условиях. Недоедал, недосыпал. А ты, троечник, живешь в центре Москвы на всем готовом. И чем же занят ты, не отличающий «широт» от «долгот»; гадающий, что такое «Монтевидео» и с чем его едят? Ты выстукиваешь какой-то дикий танец на двух мельхиоровых ложках, которые Смирнов

достал тебе из кухонного шкафа, потому что никаким музыкальным инструментом ты не владеешь! Ну, ладно Борисов... Он хоть на баяне играет и учится не в пример тебе. Волконский у нас вообще талант по всем предметам. (Кроме физкультуры). Он и в «джазе» ударник. А ты? На чем играешь ты — ложкарь-одиночка? Кому нужны твои ложки — этот жалкий довесок к тарелочкам и барабану? А главное — репертуар!.. Какую музыку вы пропагандируете со школьной сцены? На чью мельницу льете воду?.. Позор! Я этого так не оставлю. После каникул соберем классное собрание, пригласим Юлию Константиновну, пригласим пионерское руководство и прикроем вашу лавочку».

ПЕРЕД ЛИЦОМ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Вскоре после зимних каникул наша классная руководительница Наталья Матвеевна предупредила, что у нас будет собрание с участием директора, завуча и старшей пионервожатой.

Директор школы Юлия Константиновна — бывшая фронтовичка, пулеметчица — с виду была боевой и грозной. Каждое утро в 8:00 она вставала в школьных дверях, лично приветствуя всех входящих. До 8:15 она приветливо улыбалась, особенно малышам. После 8:15 просто стояла, как обыкновенная женщина. Но ближе к 8:30 (начало уроков) лицо ее принимало строгое выражение, а с 8:30 — грозное. Опоздавшие попадали к ней прямо в руки. Но слишком долго стоять в дверях Юлия Константиновна не хотела, и в 8:45 покидала свой пост. Вот тогда-то, минуя директора, в школу и просачивались самые злостные «опоздальщики». Такие как Юрик. Собрание же было после уроков, и на нем присутствовали все. Позвали даже Блюменфельда, хоть он и был классом старше. Наверно, как члена Совета дружины и знаменосца, чей слух был взлелеян светлыми мелодиями горна слева и оттренирован сухой дробью барабана справа.

Сначала Наталья Матвеевна сказала, что коллектив у нас, в целом, хороший. Есть инициативные ребята. Но они, к сожалению, иногда страдают провалами вкуса. Так она выразилась:

«провалами вкуса». А над ошибками надо работать. И все поняли, кого она имеет в виду, кого она вроде бы и поругала, но поругала мягко, по-дружески.

Потом выступила старшая пионервожатая Пеночкина — очень красивая молодая женщина в пышной белой кофточке с большим пионерским галстуком на груди. Пеночкина просто кипела негодованием. Она назвала наше новогоднее выступление самовольным, безответственным, насаждающим дурной вкус. Она ополчилась не только на наш «джаз», а на джаз вообще как на вопиющее неприличие.

— Что вы играете? — горячилась она, почему-то глядя на Блюменфельда, видимо, ища поддержки у него — знатока и ценителя пионерской музыки. Но Блюменфельд поддержки ей не оказал. Школьный «джаз» ему понравился, особенно джунгли Уругвая, а на вопрос: «Что вы играете?» — он всегда мог бы ответить: «Я лично ничего не играю. Я знамя выношу».

— Нет, пусть каждый выразит свое отношение к случившемуся! — настаивала Пеночкина. — А виновные пусть дадут ответ перед лицом своих товарищей.

И тогда в классе наступила вязкая тишина. Каждый боялся за себя, за то, что спросят именно его, а что ему ответить? На концерте он радовался, хлопал, свистел, кричал вместе со всеми: «Бис!» — а сейчас должен осуждать то, что приветствовал?..

— Ну, что же вы молчите? Где ваше гражданское мужество? — спрашивала Пеночкина, косясь теперь на Рину Ароновну, хотя говорить призывала вовсе не ее, а ребят. Рина Ароновна одобрительно кивала. Ей нравилось, как принципиально повела собрание старшая пионервожатая, отставив в сторону классную руководительницу — слишком мягкотелую, занимавшуюся явным попустительством.

Но Наталья Матвеевна не дала так просто себя отодвинуть. Видимо, ее представление о гражданском мужестве не совпадало с мнением пионервожатой. Разве гражданское мужество — это ругать то, что тебе нравится? Это не мужество, а малодушие. Не мужество, а лицемерие. Но спорить с Пеночкиной в присутствии класса Наталья Матвеевна не могла. Поэтому она сказала:

— Пока ребята думают, может быть, Юлия Константиновна хочет что-то сказать?

— Хочу! — ответила директор. Она встала, сделав такое решительный жест, каким революционные ораторы обычно сопровождали конец выступления, и обратилась ко всем с речью в защиту классического искусства:

— Вы живете в самом центре Москвы, все к вашим услугам: театры, концертные залы, музеи, лучшие образцы вааяния, живописи, зодчества, на которых воспитывается художественный вкус. Люди, чтобы посетить Третьяковскую галерею, из Владивостока летят, с Камчатки — через всю страну. А вам Каменный мост перейти лень. Скажите, сколько раз вы были в Третьяковской галерее? Один? Два?.. А когда в последний раз? В первом классе?.. Я знаю, что у вас есть музыкально одаренные ребята. Но ведь надо же расширять кругозор. Яснецкий, сколько раз ты был в Третьяковке?

— Не помню, — соврал Юрик, хотя на самом деле хорошо помнил, что ни разу.

— Ну, ладно, Яснецкий. Он у нас новенький, — уступила Юлия Константиновна. — Ну, а вы — коренные москвичи? Валерий! Ты бывал в Третьяковской галерее?

Валерка, раскачиваясь, как медвежонок, потянулся с парты вверх, на ходу запихивая гимнастерку под ремень, и расплылся в смущенной улыбке:

— Не доводилось...

— А тебе, Борисов, «доводилось»? Сколько раз ты посетил лучшую галерею Советского Союза?

— Раза два, — уклонился от точного ответа Колобок, боясь обсчитаться.

— Два раза за всю жизнь?.. Позор! — досталось на орехи Колобку, хотя по сравнению с Валеркиным «нулем» его «раза два» было бесконечно много. — Для вас крупнейшие искусствоведы устраивают бесплатные лектории, хотят приобщить вас к мировым шедеврам, детально обсуждают каждое полотно, а вы и ухом не ведете!.. Юра, дай слово, что в ближайшие дни со всем «джазом» ты посетишь Третьяковскую галерею и расскажешь мне о своих впечатлениях.

— Хорошо, — согласился камчадал.

А Наталья Матвеевна радовалась тому, что с разговора о «гражданском мужестве» Юлия Константиновна перевела речь на художественное воспитание. Получалось, что во исправление своих ошибок Юрик и все мы обязались посетить музей. *Это* стало «наказанием», а совсем не то, к чему клонила Пеночкина. Та требовала осуждения. Поведя собрание, как прокурор, она вызвала в каждом чувство страха. А выступление директора страх развеяло. Конечно, вкус надо развивать, кругозор расширять. Кто спорит? Музыка музыкой, но и живопись — тоже хорошее дело.

— Ну, влипли... — вздохнул Волканя после собрания.

— Почему? — не понял Юрик.

— Ты бывал в Третьяковке? Там же пятьдесят два зала!

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

В Третьяковскую галерею мы пошли в ближайшее воскресенье с утра. По дороге купили мороженое и посадили Юрика в сугроб.

Первый же экспонат — два железных футболиста во дворе — ребятам понравился. Скульптор изобразил нападающего и защитника в борьбе за мяч. Но уже из гардероба нас направили в зал икон, где Юрик сильно поскучнел. Все иконы показались ему одинаково тусклыми, неподвижными и печальными. Только возле «Троицы» Рублева какая-то сила ненадолго его задержала. Колобок же осматривал иконы с интересом, а Волканя даже со знанием дела. Чувствовалось, что он тут не первый раз.

По залам, представлявшим русское искусство XVIII века, мы проследовали не спеша. Запомнились портреты царей и цариц, расшитые золотом камзолы вельмож, густо усыпанные орденами...

Перешли к XIX веку. Колобок сразу разулыбался, как только увидел «Грачи прилетели» Саврасова. Он даже крикнул, показав рукой:

— «Грачи прилетели»! — и смутился, покраснев.

Колобок хорошо помнил эту картину по репродукции в «Родной речи», а здесь впервые встретился с подлинником.

Никак не мог оторваться он и от «Утра в сосновом бору» Шишкина. Была б его воля, он полез бы по сломанному стволу вместе с медвежатами.

«Явление Христа народу» поразило всех своей громадностью.

«Трех богатырей» узнали издали. Да и Левитан тоже попался прежде в репродукциях. А у нас в семье хранился старый альбом, в котором каждый левитановский пейзаж был лишь слегка подклеен сверху к рыхлой желтой страничке и закрыт листом папиросной бумаги, которую я любил даже не приподнимать, а сдувать, как пенку с молока.

Самым интересным оказалась встреча с уже известными произведениями. Одно дело видеть их на коробках конфет, в альбомах или на фантиках, а другое — в оригиналах, на тех самых холстах, по которым художник водил кистью...

В общем, XIX век нам понравился. Но впечатления уже не умещались в голове. К XX столетию картины на стенах начали сливаться в одну разноцветную мешанину. Пейзажи напознали на портреты и сами заслонялись жанровыми сценками, на них громоздились сказочные сюжеты, а тут еще пошли дворцы и парки, похожие на театральные декорации, и сами декорации... Полотна плыли перед глазами, смазываясь, потому что мозг их не воспринимал, а ноги шли все быстрее и быстрее, перегоняя бесчисленные экскурсии, толпившиеся в каждом зале.

Наконец, Колобок остановился, протер кулаками глаза и сказал:

— Ребят, я домой хочу...

— И я, — признался Юрик.

— Я вас предупреждал! — напомнил Волканя.

Почему-то никто из нас не задумался о том, к какой именно мере наказания приговорила «музыкантов» Юлия Константиновна. Может быть, к щадящей — пройти пять-шесть залов и домой. Нет, осужденные решили, что к высшей — внимательно осмотреть всю галерею.

И тут мы заметили группу школьников, плотно стоявшую возле одной из картин. Юрик просочился вперед и увидел

Зинулю из нашей школы. Он слышал, что она посещает какой-то «лекторий». Наверно, это он и был. А лекцию читал не экскурсовод, а научный сотрудник — бородатый дедуля, собравший ребят вокруг небольшого портрета. С портрета смотрела девочка в розовой кофточке. Ничего особенного. Обыкновенная девчонка за столом. Мельком взглянуть и пойти дальше, как мы до сих пор и делали. И вот результат: за полтора часа уже, наверное, залов тридцать отмахали! А этот «лекторий» стоял как вкопанный возле одной девчонки и слушал бородача:

— Смотрите: стол взят с угла, а фигура девочки — в пространстве, которое строится по диагонали. Мы глядим на нее как бы сбоку и немного сверху. На груди у Веруши темное пятно бантика, а на нем — красное пятно цветка. Это придает портрету декоративность, но тонкую, не бьющую в глаза... Вы понимаете?.. *Не бьющую в глаза...* В этом проявляется вкус художника. Когда Серов создавал свою «Девочку с персиками», картина представлялась ему окном в мир, полный воздуха и света, и розовое воспринималось как основа колорита, вызывая отклики зеленого тона...

Зинуля стояла с блокнотом и конспектировала все, что говорилось искусствоведам.

— Привет... — прошептал Юрик, пролезая справа от нее.

— Привет... — повторил Колобок, протискиваясь слева. — Ты чего тут делаешь?

— А вы?

— Нас Юлия Константиновна прислала. В наказание. А тебя кто?

— Я сама хожу.

Колобок присвистнул и покосился на блокнот. Там мелким почерком была записана целая лекция по одной картине.

— Ну, ты как аспирантка! — сказал Юрик иронически. — Тебе что, время девать некуда? Сколько ты тут торчишь?

— Не знаю. Давно.

— А мы уже залов тридцать проскакали! Есть разница?

— Ну, и что вы усвоили?

— Что надо, то и усвоили.

Этот «лекторий» ужасно нас развеселил. Придти в музей ради одной-единственной «Девочки с персиками»? Да мы за то же время все иконы пересмотрели, все царские портреты, все эти... как их?... пейзажи... Правда, разные художники уже в голове путаются...

— Я не все помню, что мы видели. А вы? — спрашивает Колбобок.

— Всего не упомнишь, — успокаивает Волканя. — Главное — уловить колорит. Слышал, что «борода» говорил? Основа — колорит!

— А что это? — интересуется Юрик.

— Цветовая гамма, ты понял, камчадал? Бывает гамма в музыке: до, ре, ми..., а бывает цветовая: красный, оранжевый, желтый... От того, как их смешивать, колорит зависит.

— Откуда ты все знаешь?

— А я тут не первый раз.

— А какой?

— Второй, — слукавил Волканя, чтобы не выделяться.

Оставшиеся залы мы преодолели в темпе спортивной ходьбы, с любопытством притормаживая только у приборов, измеривших влажность воздуха в помещении. А как здорово было выбежать во двор, поиграть в снежки и напоследок залепить хорошенько в железного футболиста!

Пришел понедельник, и Юрик рапортовал Юлии Константиновне, что ее приговор приведен в исполнение. В галерее были. Видели все.

— И каковы же твои впечатления?

— Впечатлений масса! — ответил камчадал. — Ну, там иконы всякие... портреты... экскурсий полно...

— Это — общее мнение. А более конкретно.

— А более конкретно...

И тут Юрик вспомнил про «лекторий», который так его рассмешил, про эту девчонку с персиками, сидевшую за столом в розовой кофточке. И почему-то именно ее темный бант и красный цветок, которые он поначалу и не заметил, всплыли в памяти, оттесняя сказочные мотивы, дворцы и парки, парадные портреты, золотые камзолы, ордена...

САМОСВАЛ

Вечером мы играли с Колобком в снежки на сквере между нашими домами. Меня отпустили погулять на часок перед сном. Дело пахло весной, сильно подтаяло, снег был плотным и слипался в руках в тяжелые комки. Темный сквер выходил одной стороной на тускло освещенный Соимоновский проезд, по которому проезжало в те годы полтора колеса в час.

Мы веселились, ничего такого не предчувствуя, когда к нам выбежал Валерка. Недавно он прославился на всю школу, побив подряд два рекорда. Вначале на спор за один присест смял в буфете семь жареных пончиков с повидлом. Рекорд (шесть) держался уже полгода и принадлежал Блюму. Поедая второй пончик, Валерка лоснился от удовольствия, но последний — седьмой — подгоревший с боку, в него никак не лез. Он буквально запихивал, вталкивал в себя жирный пирожок, обжигавший язык горячим повидлом. Ребята кричали: «Давай, давай, давай!» А когда проглотил и стал икать на весь буфет, Блюма — уже не главный по пончикам — любезно предложил, как бы приобняв рукою витрину:

— Валерик, вам «язычок» купить?.. А «марципанчик»?

Обсыпанные сахарной пудрой слоеные «язычки» котировались у нас выше пончиков, но ниже марципановых булочек. Однако этот иронический жест вовсе не означал, что рекордсмен признал свое поражение. Наоборот. Блюма выразил сомнение в справедливости рекорда, ведь *его* пончики были вчерашние, то есть черствые, а *Валеркины* сегодняшние, то есть свежие. А шесть черствых пончиков больше, чем семь свежих. Все согласились, что черствое съесть трудней, но рекорд не отменили, поскольку в «правилах» не значилось, какие должны быть пончики: черствые или свежие.

А на следующей неделе Валерка уже в ранге рекордсмена пришел в школу со швейцарскими часами. Ни у кого из нас часов тогда не было. Даже слухи о Петродворцовом или Московском часовых заводах до нас не доходили. А тут сразу — швейцарская работа! Мы знали, что Валеркина мать развелась

с отцом, вышла замуж за генерала и уехала в Германию, где тот служил. Валерка жил с теткой — маминой сестрой. На день рождения мать прислала сыну в подарок часы. И вот он, лучась всеми своими веснушками, закатывает рукав школьной гимнастерки и крутит запястьем, показывая обновку. Часы кажутся нам такими шикарными, с тремя стрелками — часовой, минутной, секундной, — что никому даже в голову не приходит попросить дать их померить. Эх, знала бы генеральша, на что употребит сынуля ее подарок!..

Посрамив Блюму в поедании пончиков, Валерка покусился на рекорд Филата по задержке дыхания. Количественный результат я не помню, поэтому ограничусь качественным.

Маленькие переменки для такого большого дела негодились. А вдруг Валерка задержит дыхалку на полчаса?.. Все ждали большой перемены. Опасались, что Филат станет мешать, а связываться с ним никому не хотелось. Правда, Волканя, оскорбленный Цыганом на перекладине, пообещал, что, если что, он его нейтрализует, но сам засмеялся своей шутке.

Мог помешать и кто-нибудь из учителей, но, как говаривалось в нашем кругу, кто не рискует, тот не пьет шампанского!

Прозвенел звонок на большую перемену. Мы собрались в Актовом зале возле пианино, на котором лежали растрепанные ноты «Варшавянки». Это «баба Соня» разучивала ее на предыдущем уроке пения, а забрать забыла.

Половина перемены ушла на подготовку к рекорду. Валерка расслаблял ремень, снова затягивал, потом вообще снял. Подумал и стянул через голову гимнастерку, оставшись в одной «тельняшке». Девчонки ахнули и захихикали в кулачки. Заводил часы. Все понимали, что сейчас самая важная стрелка — секундная. Вообще-то речь может пойти и о долях секунды, но их нам не уловить... Наконец, охотник дождался, пока секундный кончик наехал на число «12» вверху циферблата и стартовал.

Все затихли.

Поначалу стрелка скакала по рискам куда как шустро. Валерка улыбался одними глазами, не раскрывая рта. Но чем дальше, тем движение на циферблате становилось для него

все медленнее, а шея испытателя все краснее от приливающей крови.

Тут к нам вразвалочку подошел Филат и, равняясь на себя, мошенника, уличил:

— Он носом дышит! Заткни нос, моряк с печки бряк!.. — и уже хотел ухватить Валерку за нос, но тот его опередил и, хоть никаким носом не дышал, но прихватил себя двумя пальцами, как прищепкой для белья.

Филат балаганил, мешая устанавливать рекорд, однако на всякий случай прикидывал, что делать, если Валерка его «перенедышит». А у того кожа на загривке стала уже синеть и отдавать фиолетовым в бритый затылок, наливающийся, как чернильница.

— Лопнешь! — предупредил Филат.

Но Валерка выпученными глазами смотрел на часы, и как только стрелка перепрыгнула рекордную отметку, выдохнул... Рекорд пал.

— Ни фига подобного! — заявил Филат. — Давай снова вместе.

Но это предложение было встречено дружным смехом, заглушенным трелью звонка. Перемена кончилась.

— Ребят, я с вами! — крикнул Валерка, промахнувшись снежком по Колобку.

Мы принялись кидаться втроем, а время от времени Валерка пулял через Соймоновский проезд в дощатый забор автобазы. Тут, как на грех, и выкатился с Волхонки порожняком кургузый самосвал, заляпанный цементом. Валеркин снежок угодил ему точно в боковое стекло. Брызнуло ли оно в кабину на шофера или резко помутнело, покрывшись паутиною трещин, мы не увидели. Но явственно услышали визг тормозов. Самосвал дернулся и застыл в двух шагах от дома Перцова. Здоровый малый выскочил из кабины и в хорошем темпе погнал в нашу сторону.

— Бежим! — крикнул Валерка и первым во всю прыть рванул мимо нас вдоль теннисных кортов по направлению к баракам.

Мы с Колобком покатались следом.

И вот картина: темнота; виновник торжества меткости лупит, как заяц, петляя по снегу; две ни в чем не повинных жертвы

обстоятельств чешут в одной связке с ним, как прямые подельники, а за ними гонится тень сильно огорченного шофера, мстящего за пострадавший самосвал.

Валерка с ходу влетел в проем между железными гаражами. Я потом нарочно проверил. Проем был узок даже для Колобка, но со страху моряк, откормленный пончиками на камбузе, пролетел его со свистом, скатился в овражек и забился под крыльцо ближайшего барака, пока мы упускали время, огибая гаражи. Когда же подоспели, дырка под крыльцом была заткнута круглой попкой дважды рекордсмена, и места спасения для опоздавших там уже не было, а искать другое никому не позволил догоняющий.

Не на наших глазах, а с нами самими свершался самосуд.

Работяга схватил нас, как котят, за шкурки, стал трясти и требовать, чтобы мы выдали виновника:

— Где третий? Я спрашиваю: где третий?!

Казалось, что он точно знал, кто выбил бубну самосвалу; знал, что это не мы, а «третий». Наша же вина состояла в том, что мы покрывали виноватого. При всей ярости, вылившейся на нас, присягаю, что ни одного матерного слова не вырвалось из его груди. Это был, действительно, какой-то благородный гнев.

Тем временем горластая жительница барачков, выбежавшая не то чтобы на шум, а скорей на подозрительную возню под ее крыльцом, уже увещевала сверху:

— Да отпусти, отпусти ты их! Связался черт с младенцами! Что вцепился, Ирод чумазый? Креста на тебе нет! Отпусти, говорю...

Хорошенько потряхнув нас напоследок, как соль в двух пробирках, шофер разжал мертвую хватку, и мы выпали в осадок. А он погрозил, пообещал, что положено, и отправился к брошенному посреди дороги самосвалу.

Тут Валерка, пятясь и часто дыша от страха, выполз на коленах из своего лаза, развернулся и как-то сконфуженно стал рассказывать, как там было плохо: темно, душно, тесно, мыши шуршали... Как ему пришлось на все это время задержать дыхание, чтобы себя не выдать...

— Ребят... ребят..., — повторял он жалостливо.

Мы посмотрели с Колобком друг на друга и подумали одно и то же: нас кинул, а сам свалил — самосвал. Но промолчали. И он замолчал. Все и так было ясно. Он нас невольно подставил, мы его не выдали.

По Курсовому шли, уже слегка опомнившись от пережитого. Дома я отсутствовал около часа, и меня никто не хватился.

ДИКТАНТ

Я болел. Заканчивалась третья четверть.

Когда мама проветривала комнату, отправляя папу докуривать папиросу на черный ход, форточка втягивала с улицы сырой, острый дух пробуждавшейся весны. Он мешался с синеватым дымком «Беломора», оттесняя его к дверному косяку, выдавливая сквозь щербатые щели в коридор. Место курившегося табака занимали запахи тающего снега, прошлогодней прелой травы, потоки бодрого холода, готовые разгуляться между окном и дверью. Мама не любила духоты, но опасалась сквозняков.

— Закройся одеялом! — говорила она мне, томившемуся в простудной неволе.

Духота и сквозняк составляли неразлучную пару противоположностей, из единства и борьбы которых складывалось проветривание. Недвижную прокуренную теплынь — папину дымовую завесу — следовало привести во вращение и рассеять струей холода, однако комнату при этом нельзя было выстуживать. Искусство проветриванья заключалось в обогревании домашним теплом свежего дуновения извне. Для этого использовался набор манипуляций форточкой и дверью. Они то осторожно приоткрывались навстречу друг другу; то распахивались во всю ширь; а то вдруг захлопывались порознь или вместе. Иногда это происходило без маминого участия: исключительно попечением порывистой природной стихии. Главное было не упустить момент, когда воздух уже свеж, а комната еще не выстужена. Поскольку проветривать случалось часто, мама

достигла в этом деле большого совершенства. На руку ей было и то, что в нашем Соймоновском проезде постоянно, по ее словам, дуло, как в хорошей трубе, и дуло как раз по направлению к нам — в сторону Москвы-реки. Так что естественная циркуляция обеспечивалась розой ветров. Оставалось лишь подставлять под нее фортку и дверь.

Особенно неотступно вопрос проветриванья вставал тогда, когда я болел, то есть когда меня уже просквозило где-то там, где на диалектику природы, на тонкий баланс тепла и свежести обращали ноль внимания, где нищета философии являлась во всей неприглядности, во всем разоре, как чумичка¹ на костюмированный бал. Она чихала, она сморкалась, переминаясь с ноги на ногу, виновато улыбаясь, извиняясь перед гостями и снова обчихивая их, сторонившихся от нее возмущенно, поспешно и неловко.

К счастью, папа был философски подкован. Он приветствовал диалектический метод проветриванья и не возражал против докуриваний на черном ходе, а вот совсем бросить курить не мог. Мама безуспешно воевала с этим его пристрастием. Слабость была сильнее его: без курева работа не шла. Чтобы вникать в статьи уголовного кодекса, в хитросплетения ученой юриспруденции, ему требовалось как следует наникотиниться. Посему с малолетства Беломоро-Балтийский канал во все свои папиросные трубы окуривал меня едким дымом социалистической законности, который, однако, постоянно развеивался струями заоконной прохлады. Тогда я забирался глубже под одеяло и, откинув душный уголок, вдыхал крепкий отвар студеного московского марта.

В сущности это была печальная пора! Грязный снег на сквере; сырость; то тепло, то холодно; то солнце, то хмарь; наконец, моя собственная хвороба — какая уж тут радость, какое упоение? Природа восставала ото сна, пробуждалась от зимней спячки; она была еще полужаспанной, взъерошенной, полной дремучими снежными снами. Никакого энтузиазма во мне это не вызывало.

¹ Чумичка — замарашка, грязнуха (*прост.*)

Людей, с лирическим рвением воспевавших весну, я понимал плохо. Грех уныния находил во мне слишком удобную жертву, но тут он вынужден был отступить, поскольку случилось событие, сильно меня взволновавшее.

По общему на все коммунальное царство телефону (Г-6-11-54) нам позвонила из школы моя учительница, Софья Гавриловна, осведомилась о здоровье, узнала, что я пошел на поправку, и сообщила следующее: мне надлежит выполнить контрольную работу по русскому языку — диктант за третью четверть. Она просит разрешения завтра после уроков придти к нам продиктовать и сразу же проверить, как я справился.

— Очень хорошо! — со странной для меня беспечностью откликнулся папа. — Подготовится и напишет.

— Ты хотя бы завтра с утра в комнате не кури, а то все мозги ему задымишь! — сказала мама. — Надо будет проветриться хорошенько перед диктантом.

— И обедом надо накормить Сохвью Гавриловну, а то, небось, придет апосля уроков голодная, — резонно предположила няня.

Таким образом, высказались все. Только я молчал. Но не потому, что мне нечем было поделиться, а потому, что хотелось сказать слишком многое.

Во-первых, я обожал Софью Гавриловну и догадывался, что мое чувство хотя бы отчасти разделяется ею. Я давно мечтал о том, чтобы она побывала у нас: познакомилась с папой, который, конечно, не ходил ни на какие родительские собрания и даже не помнил, в какой школе я учусь. Увидела бы дома маму. Узнала бы, какая у меня няня — настоящая смоленская крестьянка. Пообедала бы с нами...

Однако теперь, когда это свершалось, я смутился и оробел. В школе Софья Гавриловна входит в класс — все встают. А здесь? Она вошла — я лежу. Няня встречает ее очень радушно, но заставляет меня краснеть за свою деревенскую речь. Мы-то к ней привыкли, а Софья Гавриловна не вполне может понять, что это значит: «мол», «дескать», «чичас хворточку прихлопну, а то наш-то милоскока дён из болести не вылезить, почитай,

с середины... ай, нет, со вторника». Особенно возмущает меня этот «милок» («Какой я тебе милкок?» — «А кто ж ты мне ишшо? Ну, пушай, не милкок, так птушенька». — «Я не пту-шень-ка!..»)

Несколько пропущенных мной по болезни параграфов так и остались недочитанными... Мама приносит мне в кровать бумагу, чернильницу-непроливайку, деревянную ручку со стальным перышком, похожим на острый листок, свернутый полутрубочкой; листок, в чьей фигурной прорези посередине лопается, истончаясь, прозрачная чернильная пленка.

Я сажусь спиной к подушке. Все на коленках: неудобно, тесно, горбато!.. Софья Гавриловна устраивается рядом, начинает диктовать, а я — ляпать ошибку на ошибке, ошибку на ошибке... Она переживает за меня, хочет помочь, но как? Ей же совесть не позволит мне подсказывать, хотя никто, кроме домашних, не услышит. Диктант прислан из РОНО. Государственное дело! Страна проверяет мою грамотность! А списать не у кого... Даже если бы Софья Гавриловна смотрела на все сквозь пальцы, папа ни за что бы не подсказал. Из принципа. Мама по милосердию могла бы, но она сама иногда в словах ошибается. А няня и расписываться не умеет. К тому же смотреть сквозь пальцы Софья Гавриловна не будет. Она честно подчеркнет красным карандашом все мои оплошности, ужасно расстроится и, как в воду опущенная, выведет на полях косую «единичку» со сплюсненным носиком, словно втягивающим в себя нашу общую обиду; несчастный «кол», одинаково унижительный и для меня, и для учительницы. А что потом? Что?! Мы все усядемся за торжественный пир?.. Да у меня ложка в рот не полезет! Папа в мундире военного юриста хлестко продернет кожаную португепю под негнушимся серебряным погончиком, сделает глубокую затыжку и жестко выдохнет в дверь горькую струю «Беломора». У няни задрожит в руке половник, стуча о край кастрюли. Маму бросит в жар. Она откроет форточку, а папа скажет:

— Поздравляю... Ну, вот у него все из головы и выдуло... Дпроветривались.

Будь я знаком с Бархударовым и Крючковым, написавшими учебник русского языка, я бы им признался, что без них никогда

в жизни не догадался бы о том, какой русский язык трудный. Они заставляют меня учить его по правилам, как иностранца. Пока я полагаюсь на впечатление, ошибок нет. Как только вспоминаю нужный параграф — возникают сомнения. С другой стороны, мне понятно, что иногда интуиция может подвести, а грамматика выручить. Я думаю о том, что диктант похож на мамино проветриванье: надо исхитриться обогреть живым чувством дуновение правил. Но как?..

Эх, если бы Софья Гавриловна пришла к нам просто пообедать — я был бы счастлив! Мы собрались бы за круглым обеденным столом. Папа — в штатском. Мама ставит на стол свои любимые подснежники. Няня твердой рукой разливает горячий борщ. Я стужу ложку, выжидаю, снова стужу, и каждая проходит, как по маслицу... Никто не славит шершавый мартовский снег, торчащий за окном корявыми сугробами, а все радуются тому, что скоро лето. Обед без диктанта — вот о чем я мечтал, засыпая! Но по скромности Софья Гавриловна может от обеда и отказаться. Тогда вообще останется один диктант...

Папа в полосатой шелковой пижаме сидит у окна за полированным финским столиком, по привычке подогнув одну ногу под себя. Окуриваясь дымом, он быстро-быстро, будто рыбьими чешуйками, зашелушивает чистые листы мельчайшими буквами будущей лекции. Они так и сыплются у него с перышка. Авторучек он не признает. Пишет простой школьной ручкой, — такой же, как у меня, — каждую минуту прилежно обмакивая кончик пера в чернильницу. Почерк у папы аккуратный, разборчивый, но мелкий-мелкий: чешуйки, колечки, завитушки, подковки... Папа обложен книгами, брошюрами, вырезками из газет. Я знаю, что есть такой способ ночной ловли рыбы: на свет фонаря. А папа вылавливает цитаты, плывущие к нему на зеленый свет настольной лампы, и, словно налимов столовой вилочкой, накалывает их отточенным перышком бывшего школяра.

Как-то я выразил свое отношение к его труду:

- Легкая у тебя работа!
- Да что ты?!

— Честно. Ты читаешь по-печатному, а переписываешь по-письменному.

Он засмеялся, дав мне шуточный подзатыльник:

— Ах, ты — шпингалет!..

Конечно, тому, кто исписал такие груды бумаги, перечел такие горы книг, никакой диктант не страшен. И почему в русском языке не все слова пишутся так, как произносятся? Куда проще было бы: «висна», «акно», «Биламор», «сквазняк»... Так нет, ищи проверочные слова: «вёсны», «окна», «белый», «насквозь»... А если проверочного слова не найдется?

Мама спрашивает:

— Ты почему не спишь?

— Не спится.

— Считай про себя. Или представь, что едешь на электричке мимо телеграфных столбов. Их считай.

Я мысленно вижу скользящий за окном железнодорожный откос, вереницу просмоленных, черных столбов с белыми чашечками на рейках, но, опутанные проводами, они не хотят поддаваться пересчету, а превращаются в вороных коней, ведомых под уздцы, скалящих круглые фарфоровые зубы. Ветер играет поводками; те трепещут, звенят, извиваются и незаметно вовлекают меня за собою в сон...

Раз в неделю маме полагался «библиотечный день» — редкая тогда привилегия, дарованная научным работникам для занятий в библиотеке или дома. Напрасно думать, что мама использовала это благо как-то иначе. Мой диктант пришелся на ее библиотечный день, но в установленном порядке не изменил ничего. Единственно, она не пошла в библиотеку, а работала дома. Пока я страдал в компании Бархударова и Крючкова, она вдохновенно выверяла вслух свою ботаническую латынь:

— *Humulus lupulus* — хмель обыкновенный...

Папа в коричневом костюме отправился по делам куда-то, только не в академию — туда полагался китель. А няня готовила на кухне «званный» борщ. Предстоявший визит учительницы произвел на Филипповну впечатление не меньшее, чем на меня.

Она беспокоилась, что Софья Гавриловна не знает, сколько раз нам звонить во входную дверь, и заранее предупредила соседей:

— У нашего нонча дихтант будить. Вучительница сама притить посулилась. Кады не так позвонить, вы уж откroyте, сделайте милость! Откуль ей знать, что нам три разá?

Соседи кивали головами и обещали непременно открыть, кому бы из них Софья Гавриловна ни позвонила.

Я представил себе, как она идет из школы моим путем: мимо церкви Ильи Обыденного; по рыхлому, мокрому от таянья скверу с прозрачными прутьями саженцев-тополей; пересекает Курсовой переулок и со стороны Соймоновского проезда подходит к нашему дому, к парадному, украшенному сказочной птицей Сириин. Птица выбита в медальоне, напоминающем плоскую луковку храма: женская головка, увенчанная маленькой короной; пышная перистая грудь; долгое крыло, из-под которого выглядывает птичья лапка с короткими, цепкими коготками.

Софья Гавриловна отворяет двустворчатую, отменно тонкую, наполовину стеклянную дверь в резной светло-дубовой оправе — дверь скорее служащую красоте, нежели защите. Проходит наш звонкий, каменный, холодный вестибюль с огромным зеркалом у левой стены, с черными вешалками и золотыми крючьями для барских шуб — остаток былых времен, когда дом был доходным, жильцы — богатыми, а гости подкатывали к подъезду на рысаках.

Минует дежурную:

- Вы в какую квартиру?
- В седьмую.
- Пожалуйста.

Поднимается по легким лестничным маршам, освещенным цветными витражами солнечных стекол, искрящимся сахарными крупинками, вмурованными в мрамор ступеней. Останавливается перед дверью нашей квартиры (сколько раз позвонить?) и отчетливо нажимает кнопку звонка: раз... два... три.

— Батюшки! Нам звонять. Никак пришла? — спохватывается Филипповна, потому что в дверь действительно звонят.

Пока няня спешит по длинному коридору, у входа учительницу приветствует уже целая депутация хозяек. И тех, кому звонить всего разочек, и тех, кому целых пять раз. Они же обещали... Но к нам в комнату Софья Гавриловна входит одна.

Даже сейчас, вспоминая ее приход, я испытываю нечто, похожее на недостаток решимости. Ведь именно здесь заканчиваются слова и начинается *слово*. Моя нынешняя неуверенность сродни той, что овладела мною тогда. Разница в том, что тогда меня ждал диктант, а теперь пришла пора передать чувства, вызванные приходом учительницы и самим диктантом.

Мысленно я обмакиваю деревянную с выдавленной звездочкой пера поцарапанную ручку в чернильницу-непроливайку, опасаясь пережать надрезанное вдоль перо, чтобы по стальной расщелинке не съехала на лист, вильнув хвостиком, подвижная, как головастик, жирная клякса, и понимаю, что изобразительность моя, увы, не вполне помощница мне отныне, ибо не вещный мир открывается перед ней, а красота неуловимая, подобная облаку на закате, подсвеченному невидимым, запавшим за крыши солнцем; подобная тонкому облаку, меняющему свои очертания, естественному, как творение Божье, нерукотворному, как зажегший его небесный свет. И прав будет каждый, кто скажет: «Так неужели это красота — полные виновато-влажной печали, уставшие смотреть на мир глаза под полуопущенными складками век, легкая линия не тронутых кистью бровей? Или лежащая на белой бумаге рука с больным, искривленным, коричневым ногтем на указательном пальце? Или голос задумчивый и спокойный, как лесной родник, лишенный нетерпеливого раздражения, обидчивого дрожания, убежденного в собственной правоте жара? Разве способна обратить нас в свою веру эта тихость, эта мягкая кротость, за которой скоро почувствуешь сострадание, но не сразу угадаешь возвращенную им волю?»

И вот этот голос обращается ко мне, вовсе забывшему обо всех неудобствах домашней экзаменовки:

— Я прочту тебе текст полностью, а потом буду диктовать по предложениям. Хорошо?

«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходявший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении...»

Мама осторожно прикрыла форточку и на цыпочках вышла из комнаты.

«Зелеными облаками и неправильными, трепетоллиственными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев...»

Филипповна хотела было войти из коридора, но дверь скрипнула, и няня, тут же плотно ее притулив, так и не вошла.

«Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица...»

Телефон за дверью, всегда скупно слышимый в общих шумах, зазвучал вдруг на редкость отчетливо, — так тихо стало в квартире, — но чья-то рука моментально поймала и укротила его певучую трель, чтобы ничто не мешало нам погружаться в дебри старого плюшкинского сада...

«Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу...»

Тут я почувствовал какой-то подвох для себя, но какой именно — не уследил.

«Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начал уже цеплять вершины других деревьев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом».

Сделав паузу, Софья Гавриловна стала диктовать с начала по предложениям. В одной руке она держала листок с текстом, в другой — чернильницу, куда я макал перышко, стараясь, чтобы оно не утопало слишком глубоко, чтобы фиолетовая пленка не

схватывала узкую прорезь пера, а если это случалось, то лишние чернила я оставлял на бортике непроливайки движением, похожим на отдергивание кошачьего коготка.

Учительница следила за каждой выводимой мною буквой, за регулярным чередованием нажимов и волосных линий. Школьное перышко позволяло вычерчивать буквицы не только правильно, но и красиво. Когда я усомнился в слове «остроконечный» (через черточку или слитно?), она снова перечитала мне эту часть предложения: «косой, остроконечный излом его» — с такой интонацией, что сомнение мое развеялось. Но на слове «частвокол» я споткнулся капитально. После буквы «ч» возникла мучительная запинка. Признаюсь, что верный вариант я даже не рассматривал. Выбор колебался между «че» и «чи»: «честокол» или «чистокол»? От слова «честь» или от слова «чисто»? Я решил, что «честь» тут не при чем, а вот «чистота» возможна. Например, гладко ошкуренные колья. Я так и подумал про себя: «Чистокол — забор из гладко ошкуренных кольев». Простое возражение, состоящее в том, что колья могут быть и не ошкурены, я во внимание не принял. Хотя червячок сомнения во мне шевельнулся, я им пренебрег во имя «чистоты» своей неправой идеи и поставил «чи»...

— Ах!.. — вырвалось у Софьи Гавриловны, и щеки ее как будто слегка зарумянились. Рука моя замерла на месте.

— Какое тут проверочное слово?

«Честь» в этом случае я отверг сам. «Чистота» заставила ахнуть Софью Гавриловну. Что же правильно?..

Все-таки я напоролся на «кол». Чего боялся, то и стряслось. Не часто чувствовал я себя так скверно. Можно сказать впервые... «Часто»! Вот проверочное слово.

— Частокол?.. — сказал я полувопросительно, как будто размышляя вслух.

Софья Гавриловна молча повела рукой. Этот жест означал: «Ну, конечно».

Я хотел зачеркнуть «и», а сверху надписать «а».

— Подожди, — остановила учительница. — Не надо зачеркивать. Сделай дужку. Одень на «и» маленькую шапочку — вот и будет «а».

Преодолев орфографическую преграду в лице «частокола», я утратил бдительность и забыл поставить за «частоколом» запятую. Причастный оборот остался невыделенным.

Когда гоголевские крючья хмеля, колеблемые воздухом, завершили мою работу, Софья Гавриловна попросила внимательно проверить текст. Пока я проверял, позвонили во входную дверь. Наверно, это папа пришел к обеду.

— Все? — спросила учительница.

— Все, — ответил я, передавая ей диктант.

Она еще раз быстро проскользнула взглядом по моим старательным каракулям, знакомым ей до буковки, красным карандашом проставила пропущенную запятую и вывела внизу страницы: «5 —».

— К вам можно? — спросила мама, постучав в дверь.

— Можно! — ответил я, не скрывая радости.

— Софья Гавриловна, вы пообедаете с нами?

— Не знаю...

— Пожалуйста! У нас все готово.

— Хорошо. Спасибо.

Я ликовал: диктант завершился обедом!

Мама и няня раскинули белую крахмальную скатерть с выпуклыми белыми цветами и стали расторопно накрывать на стол обеденную посуду, а папа по-военному бодро рапортовал в дверях:

— Акулина Филипповна! Разрешите обратиться? Прибыл в ваше распоряжение...

Подтрунивая, он любил говорить, что, если бы няня закончила Военно-юридическую академию, то могла бы читать лекции не хуже, чем сам полковник Чиквадзе. А я мысленно представлял няню так: «Советник юстиции I класса, генерал Акулина Ларичева!». Мое воображение охотно наряжало няню в генеральскую каракулеву папаху, галифе с двойными малиновыми лампасами и непременно нафабривало ей густые, курчавые усы, отливавшие фиолетовым колером школьных чернил!

Софья Гавриловна сразу уловила шуточный тон, царивший у нас в моменты праздничных сборов. Она любовалась мамой,

годившейся ей в дочери, ее природным румянцем, подвижной статностью и жизнерадостным гостеприимством. Она, конечно, заметила ту уважительность, то душевное почтение, с которыми няня — неграмотная — наливала ей — учительнице — полную тарелку борща — («срезь!») — так, что ложку нельзя уже было погрузить полностью: борщ мог перелиться через край. Она ощутила ту внезапную стихию карнавала, что умел заверчивать вокруг себя папа, когда бывал особенно в духе, когда гости ему нравились, а Софья Гавриловна нравилась ему заранее — по моим рассказам.

- А у меня за диктант «пять с минусом»!
- Ну-у?.. Поздравляю! И какой же был диктант?
- Про старый сад.
- Из «Мертвых душ», — уточняет Софья Гавриловна.

Папа — в штатском, как я и хотел. За обеденным столом он не курит. На маме — крепдешинное, в талию, темно-синее платье, окаймленное складчатой оборкой. Самое нарядное! Няня — в шерстяной кофточке, тоже воскресной.

Не происходит ровным счетом ничего необыкновенного. Не распахивается сама собой форточка; не хлопает дверь; не взмываются, сквозняком подхваченные с письменного стола подковки, завитушки, колечки, чешуйки, усеявшие лекционные листы. Ничего подобного не случается, но эта крахмальная скатерть с вышитыми белыми цветами и простой домашней снедью; но эта столь желанная мною, долгожданная встреча; прежде затаенная, а теперь выплеснувшаяся радость; чувство сердечной близости — неуловимой красоты, перед которой меркнут слова, замирает разбежавшееся было по бумаге перо; но этот старый сад, цветущим, «трепетolistным» клином вступающий в комнату, и хмель — счастливый, завязавшийся кольцами, легко колеблемый воздухом, вольно висящий хмель!..

ЧАСТЬ IV

* * *

Обыденная церковь на горе,
Обыденные корты под горою.
Привычно Кремль на солнце отгорел,
Переливаясь кровлей золотою.
По-прежнему покоится река,
И терем детства виден отовсюду.
Но раз душа так празднично легка,
То, что тогда — прикосновенье к чуду?

ОБАЯНИЕ СТАРОЙ МОСКВЫ

1

Итак, я вырос в доме Перцова (Курсовой переулок, дом 1), в древнем районе, когда-то называвшимся Чертольем по ручью Черторый, протекавшему вдоль оврага на месте нынешнего Гоголевского бульвара и впадавшего в Москву-реку возле храма Христа Спасителя.

В те годы, когда Иван Владимирович Цветаев на Колымажном дворе возводил по проекту архитектора Клейна Музей изящных искусств, наискосок от него на набережной Москвы-реки инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцов, разбогатевший на строительстве Транссибирской железной дороги, выстроил пятиэтажный доходный дом в стиле русского модерна с высокими крышами-щипцами, с полихромными вставками из разцовых панно, с просторным вестибюлем в зеркалах и черных с золотыми крючками вешалках для барских шуб, с роскошной лестницей, украшенной цветными витражами, с дорогими квартирами и чуть ли ни первым в Москве лифтом. Все это я застал, кроме квартир в нижних этажах. Рабоче-крестьянская власть посадила Перцова в тюрьму, потом выпустила, но за время его отсутствия в четырехэтажной квартире инженера с видом на Кремль уже разместился боевой нарком по военным и морским делам товарищ Троцкий. То, что возбранялось Петру Николаевичу (жить в собственном доме), вполне подходило Льву Давидовичу (жить в собственности экспроприированной). Троцкого не стало, однако дом закрепили за военными. Дальнейшая хозяйственная деятельность оставила не тронутыми верхние этажи, где квартировали большие генералы, а нижние

переделала под коммуналки. Вначале на третьем этаже с окном на Кремль, а потом на втором — с окном в Курсовой переулок и жила наша семья. Тем не менее, в одной из дореволюционных, а теперь «генеральских» квартир я часто бывал. Там с пожилой (как мне казалось) матерью и молодым отчимом-офицером рос мой приятель Сашка Байков, сын генерала. Не берусь утверждать наверняка, но подозреваю, что именно в нашем доме (а, может быть, даже в квартире Байковых) до революции снимала апартаменты героиня рассказа Бунина «Чистый понедельник».

Вот как Иван Алексеевич вспоминал приезды к ней лирического героя:

«Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчицьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, — и в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, — оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер — от Красных Ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него...»

И далее: «Она зачем-то училась на курсах...»

Да, Лесной переулок переименовали в Курсовой в связи с тем, что там были открыты курсы для рабочих. «Она» была далеко не рабочая, а дочь богатого купца из Твери, но желание поучиться в двух шагах от дома могло у нее возникнуть, тем более что на курсах преподавали Вахтангов и университетские профессора.

Сколько раз видел я в окно часть того пейзажа, который описан Буниным! Часть, потому что в мою бытность на месте павшего храма Христа и так и не построенного Дворца Советов зияло грязное чрево гигантской грузовой автобазы, такой нелепой в самом центре Москвы, у Кремля, между музеем Цветаева и домом Перцова.

«...за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть

Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него...»

Однажды под Новый год в подвале дома Перцова (в «Красном уголке») детям устроили елку с подарками. Комсомольцы показывали спектакль по повести «РВС» Аркадия Гайдара. Старые жильцы говорили, что до революции в этом подвальчике было кабаре Художественного театра, где в знаменитых «капустниках» выкаблучивали Станиславский и Москвин, Качалов и Сулержицкий. На смену «корифеям МХТ» с их домашними канканами и водевильной чехардой пришли молодые «артисты», к нашему восторгу бегавшие по сцене с маузерами, стрелявшие холостыми патронами, но так оглушительно, что от них закладывало уши. Глядя на революционный азарт детворы, старые жильцы непонимающе улыбались.

2

В вестибюле у нас круглосуточно дежурила консьержка, а около нее на тумбочке лежала почта: письма, газеты, журналы для жильцов. Газеты папа выписывал, но с некоторых пор меня интересовал журнал «Огонек». Зная мою аккуратность, сменные дежурные разрешали мне читать чей-нибудь экземпляр возле них, сидя на черном кожаном диване. Иногда ко мне подсаживался подремать уже упоминавшийся комендант в сером френче и белых «бурках». Но «Огонек» его не занимал. Сначала он шумно дышал, уставившись в одну точку, а потом и в самом деле задремывал, отвалившись на спинку дивана с неестественно запрокинутой головой.

Каждое воскресенье я спускался в вестибюль, где просматривал очередной номер «от и до». И ныне я ощущаю острый запах типографской краски, такой свежей, что иногда она даже пачкала пальцы. Я помню все журналы тех лет с официальными визитами и вручением верительных грамот, с фотографиями жизнерадостных рабочих и героическими «битвами за урожай», с лучезарной жизнью советских людей и мытарствами их современников, имевших несчастье родиться в странах капитала,

с продолжавшимися во многих номерах детективными романами... При этом мной просматривалось тотально все, и *все волновало нежный ум*.

Когда-то няня уже сказала, но, встретив мое сопротивление, теперь повторила снова:

— Чтой-то Восипа Воссаривоныча усе мене поминають, а Уладимира Ильича усе боле...

Хохмач из 3-го «Б» Димка Ферштейн вышел на сквер молчаливый, лохматый, загадочный и под страшным секретом рассказал ребятам, как, проснувшись ночью, услышал рассказ отца о закрытом партсобрании на работе. Отец шепотом говорил матери, что на съезде партии с секретным докладом выступил Хрущев и осудил Сталина за культ личности. У нас дома, наверно, это тоже обсуждалось поздно ночью, но я проспал обсуждение точно так же, как когда-то проспал бабушкин «ночной зефир». А Филипповна — снова нет...

Осень принесла иные смятения. Весь мир заговорил о событиях в Венгрии. К внутренней политике прибавилась внешняя. Наше право вводить свои танки куда угодно меня еще совершенно не смущало. Но меня смутило ожесточенное сопротивление этому праву со стороны венгров, вылившееся в вооруженное восстание и в танковое сражение за Будапешт. Неожиданно близко к сердцу принял я судьбу премьер-министра Венгерской Народной Республики Имре Надя, укрывшегося в посольстве Югославии, но выданного новой власти и тайно казненного. Я привык к тому, что всюду, где бы ни появлялся Советский Союз (а появлялся он везде), он оказывал бескорыстную братскую помощь и был встречаем цветами. И вдруг — венгерское сопротивление на фоне гражданской войны. Тогда я впервые ощутил какое-то отвратительно вязкое чувство своей личной причастности к нашей неправоте и смутно тревожащей ответственности за нее. Но эта неправота так изощренно оправдывалась интересами «мира и социализма», защитой наших идейных братьев, что все вместе вносило сумятицу в детскую душу и требовало таких объяснений, которые дать мне не мог никто.

Мировому господству нужны оправдания уже потому, что оно изначально несправедливо. Британия расстреливала мирные демонстрации в Индии, грабила половину земного шара, оправдывая свое стремление властвовать над миром более высоким уровнем цивилизованности и тем, что она несет эту цивилизованность колониям. Германия допустила к власти фашистов, требуя расширения жизненного пространства. Она ссылаясь на то, что утвердит повсюду железный немецкий порядок, без которого всему грозит хаос и разруха. Соединенные Штаты оправдывали выкачивание природных ресурсов других стран желанием принести им свободу. И лишь Советский Союз казался мне, десятилетнему, понятным и честным претендентом на мировое господство. Вооруженный самым передовым учением, он обещал всех любить, и никого не обижать. Всех одаривать, и ничего не требовать взамен. Но тут случилась Венгрия, и моя уверенность пошатнулась. Только Олимпийские игры в Мельбурне, которые «Огонек» откомментировал и сфотографировал день за днем, справедливо представив победой советского спорта, помогли мне на время восстановить нарушенное равновесие.

3

Итак, наше окно выходило в Курсовой переулок, а там, в части сквера прямо напротив нас Дом ученых построил теннисные корты, и с конца апреля я просыпался по утрам под тугой, упругий звон мячей о струны; под тенорок тренера Блоха: «Рука пошла, пошла рука!» или под басовитую растяжку тренера Смирнова: «Зама-а-а-х!..» Все это ужасно нравилось, тем более что корты — особенно ближе к вечеру — празднично расцветали обилием нарядной и оживленной ученой публики. В стране товарищей и гражданок возник островок, на который съезжались дамы и господа. Увитый диким виноградом деревянный домик-раздевалка от радости зажигался, как светлячок, просвечивая сквозь ветки и кудрявые зеленые гроздья. На шести площадках одновременно скрещивали ракетки не только новички-мазилы, но и классные игроки, номерные перворазрядники, многие из которых были еще и знаменитыми учеными.

Я занимался в детской секции и часто оставался после занятий поиграть с кем-нибудь из взрослых. Мои партнеры были известны мне по именам-отчествам: например, *Павел Алексеевич* или *Павел Федорович*. Но время от времени они опознавались мною более полно, то на киноэкране, то по разговорам других людей. Правда, опознавались не всегда верно. Так с *Павлом Федоровичем* вышел казус. Сам он мне представлялся, естественно, не стал, но почему-то запечатлелся в памяти академиком Юдиным. Позже из «Энциклопедического словаря» я узнал, что китаевед П. Ф. Юдин был Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Китайской Народной Республике, потом директором Института философии АН СССР, членом ЦК КПСС и вообще членом всего, чего хотите. Внешне мой партнер производил впечатление американского босса-троглодита с карикатуры Бориса Ефимова. Он был мощный, бритоголовый, загорелый, блещущий золотым зубом широкой дежурной улыбкой. Для полного сходства с «заправилами Уолл-Стрита» ему не хватало лишь гаванской сигары. Сигары не было. В обмен на наши ракеты Куба еще не поставляла нам курево миллиардеров, которое спустя несколько лет можно будет по дешевке купить в любом табачном ларьке. Разумеется, на своей должности директора философии и в пору гегемонии марксизма-ленинизма Павел Федорович мог быть никак не ученым, а только факиром истмата, магом диамата, иллюзионистом научного коммунизма. Меня поразила та быстрота, с которой он в считанные годы сделал головокружительную карьеру. Рассказывали (сугубо конфиденциально), что ее «локомотивом» послужил «китайский опыт» имярека: в рамках правительственного задания именно он, Юдин, создал вначале по-русски сочинения Мао-Цзедуна, потом сам перевел их на китайский, и они были изданы массовым тиражом пятью томами в Китае и пятью томами в Советском Союзе; причем русский «перевод» чуть ли ни раньше, чем китайский «подлинник», поскольку «перевод» и был подлинником, который сочинил не товарищ Мао-Цзедун, а товарищ «Ю-Дин»...

Возможно, это байка. Но такой человек, как Павел Федорович, мог бы сдюжить что-то подобное. Вы посмотрели бы, как

он бился за каждый мяч! Если бы я знал тогда, с кем я играю! Как веселило бы меня одно необыкновенное обстоятельство: прихожу из школы, бросаю портфель, наскоро ем и после тренировки в детской секции гоняю по углам посла, академика, члена ЦК! Да гоняю не просто так, а под колокольный звон. Это звонят колокола церкви Ильи Обыденного, которая никогда не закрывалась, а в светлые праздники собирала множество верующих, конечно, бабушек в платочках или несчастных обрубленных войной инвалидов, гремевших на своих подшипниках — на не струганых плоских дощечках по Обыденским переулкам...

Как-то член ЦК пригласил к себе в кабинет великого философа-идеалиста Алексея Федоровича Лосева, духовно и физически уцелевшего благодаря тому, что углубился в античность — мифологию, философию, эстетику древнего мира. В конце разговора Юдин спросил:

— Алексей Федорович, а Бог все-таки есть? — на что наученный опытом жизни Лосев ответил:

— Читайте Ленина. Абсолютная истина существует.

Мы ошибаемся не когда сомневаемся, а когда уверены, что правы. Всю жизнь я был уверен, что одним из моих партнеров по теннису был Юдин, и только фотография в Интернете развеяла это заблуждение. Сведения верные, но — внешность... С экрана глядит рыхловатый, с залысинами, бледнолицый, неулыбчивый партийный клерк. Совсем другое лицо! Не факт, что он вообще когда-нибудь держал в руках ракетку... «Хведот да не тот!» — как сказала бы Филипповна.

На каких только кортах я ни соревновался! Но нигде не игралось мне так счастливо, как в Курсовом переулке перед нашим открытым окном на втором этаже. Позже я понял, что дело было не в качестве утрамбованного грунта, засыпанного просеянным свежим песком; не в его праздничной желтизне, ярко размеченной белыми линиями; не в счете геймов и сетов — вовсе не в результате, а во всем необычайном антураже той игры: в знакомых лицах на соседних площадках; в панической («маяковской») реплике турнирного бойца, опаздывавшего от сетки к задней линии: «Что я наделал? Я погиб!»; дело было

в дуновении зацветающих лип, мешавшемся с крепким ароматом какао, веявшем из-за Москвы-реки от темно-кирпичных корпусов кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Дело было в теплых сумерках, зажигавших окрестные окна, в их клубившейся, постепенно сгущавшейся синеве; дело было в нарядной даме, гулявшей по переулку с двумя поджарыми борзыми, легкими, качающимися на тонких лапах и упругими, как пружинки; дело было в перезвоне церковных колоколов на взгорье и в маме, маме, машущей мне рукою из окна!..

Дело было в обаянии старой Москвы.

4

Как трудно жить без кумиров, идеалов, примеров для подражания в начальные годы, когда мир познается так горячо, так жадно!

На заре моего теннисного ученичества таким кумиром стал для меня Слава. Изящный, ловкий, быстрый, успевавший к любому мячу, подававший точно и мощно, непробиваемо надежный у сетки и при этом легкий, улыбчивый, общительный, он обладал для меня какой-то непобедимой притягательностью. А видел я его часто. Он тренировался почти ежедневно, прибавляя в технике, темпе, атлетизме, и на моих глазах вырос в мастера спорта, профессионала, лучшего игрока теннисных кортов Дома ученых, известного по Москве турнирного бойца. Постоянного времени тренировок у него не было. Он мог выйти на корты, и с утра, и вечером, а то и днем, раскованно и весело кидаясь с партнером или сосредоточенно преодолевая его сопротивление при игре на счет. Раздевалкой Слава никогда не пользовался, поскольку жил где-то рядом с кортами и приходил уже в шортах и футболке.

Бывало, возвращаясь из школы усталый, а то и не в духе, с тяжелым портфелем бредешь по скверу домой и вдруг видишь: «Слава играет!» — и как солнце проблеснет — настроение сразу меняется.

Жизнь без одушевления — довольно унылая штука, и пока ты не находишь постоянных источников одушевления в себе самом, ты ищешь их в окружающих тебя людях.

Однажды после дождя, смочившего сухой песок площадок, когда окаменевшая от жары корка размякла и набухла, а горьковатый запах окаймлявших корты тополей стал острее и резче, Слава предложил мне с ним сразиться. Мы вышли на Первый корт. Некоторое время он бросал мне щадящие, удобные для парирования мячи, ну, а почувствовав, что я с ними справляюсь, начал плотно бить по углам и загонял меня до седьмого пота. Зато, когда мне удалось подрезкой выманить его к сетке, а потом длинным ударом обвести по боковой линии, он на миг застыл, вытянувшись в полу-шпагате, и похлопал в мою честь ладошкой по струнам ракетки. Эти бесшумные аплодисменты не стихали во мне до конца игры.

Иногда к Славе присоединялся младший брат — полный нерастраченных сил творец упругих, звонких ударов, порой не совпадавших с размерами корта. Тем не менее, в паре братья энтузиазмом младшего и четкостью старшего сокрушили не один академический дуэт, притом, что среди профессуры попадались крепкие орешки, бывалые фронтовики, а ума и спортивной хитрости им было не занимать.

В школе нас выводили на «линейки» в Актовый зал. Классы выстраивались гуськом параллельно друг другу по росту: кто пониже — впереди; кто повыше — сзади. Я стоял рядом с красивой смуглой девицей из параллельного класса. Мы были одного роста. Ее звали Светкой Арабовой, а больше я ничего о ней не знал.

Перед чемпионатом мира по футболу мальчишки на сквере заключали пари: кто победит? Южноамериканский футбол казался нам таким же фантастическим, как джунгли Амазонки, потому у большинства в первую тройку попали Аргентина, Бразилия и Уругвай. Победила Бразилия, но вторыми были шведы, а наши с минимальным счетом проиграли только бразильцам.

Я жил событиями на футбольных полях, теннисных кортах и гаревых дорожках, но не все ребята из нашего класса, не говоря уже о девочках, проявляли интерес к спорту. Тогда я решил готовить внутриклассную стенгазету «Спорт» с фотографиями

из центральных газет, с общими заметками. Но никто меня не поддержал, и азарт мой стал иссякать. В это время к нам пришла новая пионервожатая — десятиклассница Нина Орошко. Она была хорошая. Легкий загар никогда не бледнел на ее лице. Красоту ее одушевляла какая-то необычайная нежность общения. Нина разделила мой просветительский пыл. После уроков мы оставались с ней вдвоем в пустом классе и делали газету: сочиняли, шутили, выбирали фотографии, вырезали, клеили. Я, который прежде после уроков убегал из школы первым, теперь ждал возможности задержаться подольше, и виной тому служило уже совсем не мое пристрастие к стенгазете... Но разницы в пять лет было не обойти. Нина оканчивала школу, а я пребывал посередине дистанции.

В пятом классе мы учились во вторую смену. Утром перед тем, как делать уроки, я слушал радио. Передовая статья и краткий обзор газеты «Правда» меня трогали мало, а вот очерки текущей жизни казались более занимательными. В череду знакомых мне радиоголосов (Качалов, Бабанова, Плятт, Грибов, Сперантова, Яншин) влился новый голос. Он принадлежал артисту театра имени Ермоловой Валерию Лекареву. Не было сомнения в том, что Лекарев — симпатичнейший человек. Тем более я жалел, что ему часто доставались самые простецкие, самые стертые тексты: о цехах и колхозах, о стройках и соцсоревновании.

Как-то слышу возле раздевалки на кортах:

— Лекарев! Валерий Петрович, давайте завтра вечером поиграем?

— Извините. У меня премьера в театре.

А на следующее утро подхожу к окну: по Курсовому деловитой походкой с папочкой подмышкой, трусит плотненький Валерий Петрович, возвращаясь с радио, по которому только что отчитал очередной очерк.

Я занимаюсь в детской секции. Держать ракетку меня научила Марьяна Васильевна. Теперь она готовит нас к первым

соревнованиям и говорит отдыхающим на скамейке взрослым теннисистам:

— Проведем турнир на юношеский разряд. Есть, кому побороться. Наши силачи: Алеша, Филатов... А Славка проиграл чемпионат Москвы — весь сезон себе испортил.

Догадываюсь, о ком идет речь, но почему Марьяна Васильевна именуется так по-свойски — «Славкой», как будто это — ее родственник? Непонятно. Однако обижаться на нее не могу, тем более что она так расположена ко мне, так улыбается, гуляя по вечерам мимо нашего дома с двумя борзыми на длинных поводках, обвивающих ее запястья и унизанные кольцами пальцы.

Я уже усвоил, что Марьяна Васильевна живет рядом с нами, напротив кортов, в двухэтажном особнячке с островерхой башенкой. Но туда же возвращается после записей на радио Валерий Петрович, а вечерами они нередко куда-то уходят вместе. Уж не в театр ли Ермоловой?..

Однажды возле их дома стоял зеркальный «ЗИМ» — персональная машина из тех, на каких шоферы возили министров, маршалов и генералов. Из дома в сопровождении Марьяны Васильевны и Светки вышел подтянутый генерал-лейтенант и, попрощавшись, сел в машину.

Я не вел никакого генеалогического расследования, но, читая женскую «пульку» осеннего турнира, невольно обнаружил, что фамилия Марьяны Васильевны — Орошко, а, читая «пульку» мужского турнира, выяснил, что Слава и его брат — Лекаревы. Все они живут в том самом особнячке напротив, который я прозвал «Вавилонской башенкой». Получалась необыкновенная семья. Каждый «семьянин» в отдельности был мне знаком, но я и не подозревал, что они — все вместе.

Слава Лекарев с братом. Девочка из параллельного класса Света Арабова. Моя пионервожатая Нина Орошко. Ее мать Марьяна Васильевна — мой первый тренер. Знакомый радиоголос — народный артист республики Валерий Петрович Лекарев. А еще имеющий к ним какое-то отношение генерал-лейтенант..

Мне только предстоит узнать, что Марьяна Васильевна и Слава — это мать и сын. А тогда разобраться в так неожиданно

открывшемся мне и таком радостном для меня ералаше, в этом «вавилонском столпотворении» было выше моих сил. Я и теперь, издалека, по прошествии целой жизни, не берусь проследить достоверно все родственные связи между этими милыми моему сердцу людьми, так светло прошедшими через годы моего детства, но ведь, в конце концов, не к замысловатости жизненных коллизий хотел бы привлечь я внимание, а к тому долгому-долгому свету, который остается в нас независимо от того, разрешены ли все хитросплетения, развязаны ли все узлы и сказаны ли все слова.

БОХ

Как же я любил порасспрашивать Филипповну о чем-нибудь таком, на что мне не мог ответить никто, кроме нее! Дух времени, в котором я рос, оставался строго светским, советским, противным духу веры. Жизнь человека укладывалась в рамки его жизни. Ни до, ни после для него ничего не существовало. Тьма. Была, конечно, память о великих людях, но ведь и память — дело временное. Пока живу, помню, а ушел и забыл. Между тем, душа не хотела мириться со своим небытием, соглашаться, что ее не было прежде и никогда не будет потом, что я есть, пока я есть. В школе говорить об этом было не с кем. Дома такой предмет мог бы обсуждаться с папой, но лишь постольку, поскольку он сводился к философским категориям, скажем, к противопоставлению временного и вечного. Хотя даже если бы папа снизошел до такого обсуждения, вряд ли оно оказалось бы мне по силам. Мама — другое дело. Она с радостью поддерживала любую тему, меня волновавшую. Однако и она вдаваться в некоторые вопросы избегала. И тогда я обнаружил, что о самом непонятном, о самом таинственном вполне возможно говорить с няней; что для этого не надо заканчивать ни Военно-юридическую, ни Тимирязевскую академии, а достаточно родиться до революции в русской деревне.

Церковь няня посещала редко, еще реже брала туда меня. Наверно, не хотела подводить папу, чтобы никто в доме не

сплетничал о том, что сына советского офицера воспитывает темный человек: верующая. Молилась она тихо-тихо и только когда в доме, кроме меня, никого не было.

Икон не имела и никаких богословских бесед со мной не вела, соблюдая свойственный ей душевный такт. Она, видимо, считала некорректным вносить в мой ум сумятицу, противореча тому, что проповедовалось вокруг. Но было одно неведомое для меня имя, одно понятие, не вспоминать которое она не могла. В ежедневной речи ее со всей естественной простотой звучало слово *Бог*, чью последнюю букву она непременно оглушала. «Помилуй Бох... Бох дал, Бох узял... Бох-то Бох, да и сам не будь плох!..» Иногда перекрестится и скажет со вздохом: «Господи Сусе Христе, Матерь Божья...»

Сперва я пропускал это мимо ушей, но однажды, будучи уже кое о чем наслышан, поинтересовался:

— А кто такой Бог? — Мне хотелось узнать это от Филипповны.

— Кто на небе править и оттудова усё видеть.

— Это человек?

— Какой ишшо человек?.. Бох!

— А Христос человек?

— А то кто же? Божий Сын.

— Как же Сын, если Бог не человек?

— Как же не человек, ежели говорить: Бог-Вотец?

— Ты же сама сказала, что Бог не человек, а Христос — человек?

— Глянь-кось, глянь-кось, увозьми его за рупь двадцать! Потому, что Бог — Триединый: Бог-Вотец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Оне уместе. Понял теперь?

— А Дух Святой — это кто?

— Усё тебе доскажи. Ишь, какой настырник! Кто да хто? Нихто!.. Голубь.

— Голубь?.. А он где живет?

— Увобче-то Дух Святой увезде, но, бываить, является голубем. Так Ён Богородице явился, а Вона и роди Младенца. Исуса, значить. Муж у Ей, конешно, был. Восипом звали. Но Вотец Исусу не Восип, а Бох.

— А тогда Осип Ему кто?

— А Восип Ему выходить навреди вотчима. Не родной. Смекаешь?

— Смекаю...

Но все-таки смекать это было нелегко. За одну беседу Филипповна просветила меня и по поводу Троиинства и по поводу Непорочного Зачатия. Правда, сама она не умела расслышать слово *зачатие*. В первый класс она водила меня в мужскую тридцать шестую школу, которая помещалась в *Зачатьевском* переулке, в бывшем женском *Зачатьевском* монастыре. От него к тому времени оставалась только часть почерневшей, спекшейся стены из литого, трехсотлетнего кирпича да худенькая арка кирпичных ворот. Переулок няня называла *Зайчатъевским*, так же как и монастырь, производя их вовсе не от *зачатия*, а от слова *зайчатина*. То, что эта звуковая тонкость меняла суть дела, Филипповну, похоже, ничуть не тревожило. Зайчатъевский так Зайчатъевский...

А я, убедившись в том, что догматы христианства даются мне туго, следующий раз повел речь о земной жизни Иисуса, особенно о Его страстях. Меня волновало, за что распяли Христа, если ничего плохого Он не сделал.

— Значить, так Антихрист распорядился. Через Ивуду-предателя.

— Как распорядился?

— Обнаковенно. Собралась шайка-лейка и постановила Его порешить.

— Кого? Иуду?

— Да не Ивуду, а Христа, несмысленный!

— Почему же Христос дался себя схватить? Не убежал, не скрылся?

— Стало быть, не хотел. Пострадать удумал, чтобы народ усовестить.

— А что народ? Почему за Него не заступился?

— А что — народ? Народу, что прикажут, то и ладно. Ишшо и сам подбавить.

— И Бог их не наказал?

- Ивуду наказал так, что тот себе жизни лишил.
- А остальные?
- Остальные спаслись, и те, что прежде жили-грешили, и те, что новые народились и народятся когда ишшо — нагрешат...
- Как спаслись?
- Через Христа. Он муки принял за их, а их спас. Вот и говорят, что, мол, дескать, Спаситель.

Как чудно все это, как странно!

Не побеждать врагов, а предаваться их суду и казни. Не призывать людей на свою защиту, а молча терпеть поношения. Не молиться о спасении, а пойти на смерть ради тех, кто проклинал Тебя, будет клясть и стать их Спасителем! Это не укладывалось в голове.

Только что кончилась великая война. Страна-победительница славилась и оплакивала своих героев. Культ праведной силы не оспаривал никто, равно как и культ вождя, слившийся с этой силой. По всем редким храмам, уцелевшим от гонений и войны, шли богослужения во славу воинства, служились панихиды по погибшим. Власть и Церковь на время сблизились. И вот тогда в соседнем с нами храме Ильи Обыденного произошел случай, о котором и няня, и родители, наверно, слышали, а я зацепил как-то смутно, чтобы подробно узнать лишь годы спустя.

На празднике в честь иконы «Нечаянной радости» в церкви Ильи присутствовал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I. После Божественной литургии отец Николай Орфенов и церковный хор стали возглашать многолетия. Переполненный народом храм внимал тому, как отец Николай, по-дьяконски все более и более возвышая голос, возгремел: «Стране Российской, властем и воинству ея и первоверховному Вождю...» И тут, неведомо откуда взявшаяся на сцене, пожилая прихожанка вывернулась из-под руки державшего крест Святейшего, плюнула в отца Николая и закричала на весь храм:

— Не смейте поминать дьявола, хриstopродавцы!

Дьякон наддал голосу, сколько мог. Регент возбудил хор так, чтобы заглушить анафему. А прихожанка плевалась во все стороны, словно в нее саму вселился тот «дьявол», которого

она призывала не поминать. Она металась по солее перед иконостасом, повторяя:

— Иуды! Хриstopродавцы! Не смей поминать!

А когда обессилила, хор и отец Николай продолжали возглашать «Многая лета!» теперь уже отцу Александру — настоятелю храма и богохранимой пастве его. Отец Александр (Толгский), попустивший в своем стаде такую овцу, мысленно прощался с жизнью, а паства со страху кинулась к выходу, и храм опустел. Не потерявший самообладания Патриарх остался в окружении горстки перепуганных иерархов.

Чудо, однако, состояло в том, что, по слову очевидца, ни для кого никаких последствий этот случай не имел. То ли дело решило личное расположение вождя к Святейшему; то ли всё удалось списать на неменяемость верующей; а может быть, тут вмешались какие-то неведомые силы...

* * *

Если по части Троиинства и Непорочного Зачатия Филипповна меня подковала, то другой догмат по-прежнему не давал мне покоя: Святое Воскресение. Что значит: «Смертию смерть поправ»? Как это — «воскреснуть из мертвых»? И почему «Воистину Воскрес!», если своими глазами в этой истине не убедился никто?

По поводу Воскресения Господня няня долго рассуждать не стала. Ее мнение сводилось к тому, что если бы Воскресение видели все, то и верить было бы не во что. Верующим хочется, чтобы Христос воскрес, и они веруют, а неверующие отрицают. Я не мог допустить, чтобы мама или папа (при всей его строгости) не хотели, чтобы Христос воскрес. Но они, конечно, сомневались: было ли это? Да и вообще не очень задумывались над вопросами веры. Мама признавалась, что мало в них разбирается. Однажды она назвала себя внучкой ксёндза, рассмешив папу. Это выражение — «внучка ксёндза» — стало у него нарицательным, когда речь шла о какой-нибудь несурзости. У ксёндза не бывает ни дочек, ни внушек. У него — celibат. В отличие от православных батюшек ксёндз не женится. Он — католик. Польский священник. Такая путаница вышла у мамы потому,

что о многом тогда не говорилось. А больше всего скрывали то, что относилось к родственникам, к семье. Мамин дедушка, Павел Мацкевич был протоиереем, последним из древнего рода православного духовенства. Но служил он в Барановичах, когда они принадлежали Польше. После Первой мировой войны там сгорел деревянный храм. Верующие собрали деньги на новый — каменный. Польское правительство добавило злотых, и православный собор построили. А строителем и первым настоятелем Свято-Покровского собора стал мамин дедушка. Но об этом никто в семье не говорил, как будто этого не было. Вот мама, наверно, и решила, что если священник служил в Польше, значит, он — ксёндз. А у этого «ксёндза» было четверо детей...

Одна из его дочерей, тетя Женя жила в местечке Юодшиляй под Вильнюсом. Мы с мамой ездили к ней в гости. У Евгении Павловны был дом и сад с пасекой. Сад окружала изгородь, состоявшая из одних столбов с пустыми слегами, а штaketника не было. Изгородь смотрела в поля. Оттуда со взятками прилетали толстенные, разгоряченные пчелки, гудевшие над ульями так, что зыбился воздух. Вечерами тетя Женя рассказывала маме о дедушке и построенном им соборе. Когда он был почти сооружен, в самом центре Варшавы поляки разрушали огромный православный храм Александра Невского, считая его перстом Российской империи, напоминавшим о ее господстве над обретшей свободу Польшей. Храм украшали русские мозаичные иконы мировой художественной ценности, созданные в Санкт-Петербурге, и мнение депутатов сейма разделилось: некоторые предлагали мозаики сохранить и передать в Барановичи о. Павлу Мацкевичу на украшение нового храма. Отчасти это и было сделано.

Варшавский собор, наследовавший красоту собора Святого Марка в Венеции, строили восемнадцать лет, собирая средства по всей России, превращая в дарохранительницу искусств. Якобы о. Иоанн Кронштадтский, пожертвовав крупную сумму на строительство, произнес: «Долго не простоит...» Через пятнадцать лет после завершения работ собора не стало. Напоминание о нем служат теперь лишь мозаики в храме дедушки Павла.

* * *

Довольно рано я почувствовал, что в самой Церкви заключено какое-то противоречие между земным и надмирным, и что привести их в согласие удастся не всегда. Но это же противоречие я ощущал и в себе самом. Меня удручала бедность церковной утвари: липкие подстеленные клеенки, подоткнутые бабьи тряпочки, болезненная бледность постящихся, одинокий, хрупкий голосок хористки, взлетающий не выше Деисусного чина¹ и вновь опадавший на клирос, как больной голубь; подслеповатое смаргивание коптящих свечек... Церковнославянская речь богослужений оставалась для меня тайной за семью печатями. Хотелось богатства, пышности, золота; хотелось, чтобы люстры раскачивались волнами гремящего хора, а каждое слово доходило до меня без обращения к знающим людям! Но когда в немых дореволюционных кинохрониках все это проступило крупным планом, а потом стало возрождаться в постсоветской России, возникло странное чувство неловкости, неуместности происшедшего: как будто в хижину внесли царский трон. За пышностью утрачивалось что-то неизмеримо более важное, нежели внешний блеск. Пышность отвлекала. Духовная красота подменялась наружным великолепием. Сердечная радость — роскошью зримого. Надмирное не выдерживало объятий земного.

Ни с чем не сравнимым было мое впечатление от церкви Покрова на Нерли, вообще лишенной всякого убранства! В ней не было ничего, кроме божественных пропорций. Или древняя деревянная церковь под Ригой с кривым порогом, разошедшимся, щелястыми досками теплых от солнца стен, казалось, пахнувших самим Древом жизни! Или в Троицын день — по щиколотку усыпанный мягким разнотравьем пол удаленной обители...

*Храм затрушен свежелою травой,
Весь увит весенними цветами.
Кажется, что Иисус живой
С улицы вошел сюда за нами.*

¹ Деисусный чин — второй снизу ряд икон на иконостасе.

*Мы еще не видим в темноте,
Как стоит Он тихо за спиною,
Чуткою своею немотою
Прикасясь к нашей немоте.*

*Солнечный, спустившись с хоров, луч
Тьму разнял и сделал пыль прозрачной.
Что он осветил, как альт, певуч,
В этой душевной полночи чердачной?
Лица материнского овал?
Детство, проступающее в грезах?
Запах трав и дух сухих березок —
Троицы душистый сеновал.*

Теперь, когда Бог вокруг нас день ото дня становится все более антуражным и позолоченным, звонким и твердым, мне вспоминается Тот, Другой, Кому украдкой без иконы и свечи чуть слышно молилась няня, и Кого звала она приглушенно: *Бох...*

ДУШИСТЫЙ ВЕТЕР «ШИПРА»

Обычно папа брился дома.

Он устраивался за письменным столом, расположив на газете чашку с кипятком, помазок, мыло, безопасную бритву, одеколон и зеркальце на подставке.

Хорошо взбитая мыльная пена превращала папу в «деда Мороза» с белой бородой и густыми усами. Я смеялся, стоя за плечом, просил подольше не сбривать пену, побыть в ней:

— Тебе идет...

Папа отшучивался:

— Ах, ты — шпингалет!.. — и легонько смазывал меня пенным помазком по кончику носа. А потом, обмакнув станочек в кипяток, освобождался от мыла и щетины.

После этого он брал в одну руку флакон «Шипра», а другой нажимал на резиновую оранжевую грушу. Та соединялась

с маленькой камерой, похожей на волейбольную. Плоская камера у меня на глазах округло раздувалась, натягивая нити защитной сетки, и облачко «Шипра», о чем-то счастливо шепча, отчаянно пришепётывая и щекоча ноздри, вырывалось наружу сквозь загнутый металлический носик. Это называлось: флакон с пульверизатором!

Как будто свежий ветер проносился по комнате, опахивая меня своим острым дуновением.

Фук-пшш... Фук-пшш... Фук-пшш...

— Освежить? — предлагал папа с неожиданной игривостью, словно копируя кого-то.

— Освежить! — отвечал я, уворачиваясь от струйной пыли.

— Хвукни, хвукни ему у нос, рикошетнику, Евгений Лексеич, — подначивала Филипповна. А когда ветер «Шипра» долетал и до нее, вскрикивала: — Ах, ты, мать честная! Как же ён прошибайть, врах его увозьми!.. — и отмахивалась от невидимого озорника, прикрывая нос кончиками белого в синий василек платочка.

Это — что касается бритья. А стригся папа всегда у одного и того же мастера в парикмахерской на Метростроевской улице. Ну, а когда стригся, то попутно у него же и брился.

— Ну, пока! Я — к Семену, — говорил папа, сдвигая перед зеркалом фуражку чуть наискосок — на правый височек.

Помимо стрижки, Семен умел еще и развеселить клиентов. Из парикмахерской отец всегда возвращался в прекрасном настроении, как будто с легкого праздника, пьянившего без вина.

Мне ужасно хотелось тоже побывать в парикмахерской, увидеть Семена, а папа все не брал меня и не брал. Но вот в конце августа было решено, что мы пойдем в парикмахерскую вместе. Мне следовало подстричься перед школой.

Недальний путь пролегал по Соймоновскому проезду. Папа был в военной форме, поэтому держал меня за руку левой рукой, время от времени козыряя встречным офицерам, — вокруг жили военные, — и мне эти взаимные приветствия очень нравились. Как будто офицеры здоровались не только с отцом, но

и со мной, из незнакомцев превращаясь в хороших знакомых, с которыми лишний раз приятно встретиться.

Парикмахерская занимала полуподвал. Туда вели три обитых железными уголками деревянных ступени. В тесной прихожей, у самой входной двери, в нише за откидной доской стоял тугухий гардеробщик в черном с золотыми шершавыми галунами кителе ресторанный швейцара. Мы не могли войти до тех пор, пока он не почистит щеточкой пиджак вновь подстриженному клиенту и не подаст ему плащ.

В полутемной, без окон, прихожей играло радио, сидели несколько мужчин, молча скучавших в ожидании своей очереди.

Зал отделялся от прихожей бархатным занавесом вместо двери. Отогнув краешек, папа заглянул внутрь и поприветствовал Семена, а я просунуть нос за занавес не успел.

По радио передавали концерт по заявкам. Шла сцена из «Свадьбы с приданным». Вася Курочкин (артист Доронин) развернул гармошку и запел с неподражаемой сипотцой:

*Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
Неужели климат здешний
На любовь влиятелен?*

*Я тоскую по-соседству
И на расстоянии,
Ведь без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии.*

Очередь одобрительно зашевелилась. Гардеробщик выставил из ниши большое желтое ухо, приложив к нему ладонь. А когда дело дошло до комплиментов, которые районный парикмахер отпускал Василию, штора отдернулась и передо мной предстал Семен. Я его узнал, хоть и видел впервые.

Семен был черноволос, упитан и смугл. В зеленоватых глазах его, как чертенята на болотце, перепыхивали огоньки. Обтянутый белым халатом, высокий животик парикмахера подрагивал от смеха.

Семен пропустил подстриженного им старика, опиравшегося на толстую трость, передал его попечению гардеробщика и пригласил папу вне очереди, как постоянного клиента и офицера:

- Товарищ капитан, прошу!
- Я с сыном.
- Кого сначала?
- Давайте меня.

Папа вошел в зал, а Семен специально не задернул бархат, заложив его за спинку стула, чтобы мне была видна хотя бы часть зала.

— Вальс из оперетты Имре Кальмана... — начал диктор, но название оперетты затерялось в помехах эфира.

Заиграл оркестр. Воодушевленный музыкой, слегка пританцовывая возле кресла, Семен взбил в железном стаканчике пушистую, мягкую как сугроб, горку пены и, покручивая пышным помазком, бережно укутал ею папино лицо до самых глаз.

Потом в ритме убыстрившейся музыки парикмахер на портертом кожаном ремне заправил длинную, как дирижерская палочка, бритву и, разведя локти, словно маэстро над первой скрипкой, замер над клиентом.

Покорная паузе, смолкла и музыка, а когда она зазвучала вновь, Семен несколькими отточенными движениями, кажется, почти не касаясь снежного покрова, снял всю пышность сверху вниз со скул; снизу вверх с подбородка; смешно оттянув кончик носа, смахнул пену над верхней губой, и папа предстал во всей красе гладко выбритым, с чисто лоснящимися щеками.

- Прическу поправить? — спросил мастер.
- Поправьте.

Парикмахер взял алюминиевую расческу с частыми зубчиками, поклацал косыми лезвиями ножниц, словно разминая пальцы и одновременно проверяя остроту инструмента: легко ли разрезает он воздух? Остался доволен: легко. После чего подстриг папе височки, аккуратно зачесал волосы назад и напоследок предложил то же самое, что дома папа предлагал мне, и с той же игривой интонацией:

- Освежить?

- Освежить!
- Чем желаете? «Красной Москвой» или «Шипчиком»?
- Давайте «Шипчиком».

Семен ухватил со столика такой же флакон, что был у нас, ловко поймав на лету оранжевую грушу, и как бы провальсировал с флаконом возле кресла.

Искристая пыльца замелькала над папиной головой; мерцающая, бисерная пыльца — веселая, как мошкара, роящаяся в теплой восходящей струе!

Парикмахер обходил папу туда и обратно по полукругу, опрыскивая лицо, снова возвращаясь к затылку, махал полотенцем, разгоняя во все стороны крепкий одеколонный дух, внимательно промокал салфеткой бусинки «Шипра» на лбу и щеках.

Папа встал подтянутый, посвежевший. Очередь была за мной.

Семен посадил меня в кресло, укутал белой простышкой, заткнув ее вокруг шеи за воротничок рубашки, и спросил у папы:

— Как будем стричь?

— А вот этого я и не знаю... — несколько растерялся папа. — На ваше усмотрение.

— Бокс? Полубокс? Полька?

— Ну... Пусть будет полубокс, — остановился папа на промежуточном варианте.

— Сейчас мы подстрижем тебя под Шоцикаса, — пообещал мне парикмахер. — Знаешь, кто это такой?

— Знаю. Боксер.

— Ха! Не просто боксер, а чемпион Европы и Советского Союза в полутяжелом весе Альгидрас Шоцикас! Хочешь быть боксером?

— Нет.

— А кем?

— Борцом.

— Каким? Вольным или классическим?

— Классическим.

— Молодец! Мне классическая борьба тоже больше нравится. Она корректней.

Тем временем Семен вовсю стрекотал надо мной толстенькой ручной машинкой с загогулиной под большой палец; прядки волос опадали мне на плечи, хаос на голове сменялся ровной стрижкой с четким чубчиком полубокса, легшим на лоб косым углом.

- Чубчик покороче? — обратился Семен к папе.
- Покороче.

Прислонив холодное ребро ножниц к моему лбу и примерившись, мастер с удовольствием отчекрыжил еще полоску.

- Устраивает?
- Вполне, — одобрил папа. — Чубчик — что надо!

Семен осторожно вынул у меня из-за шиворота край простынки и стряхнул волосы на пол. Потом он прошелся кисточкой по шее, сметая мелкие волоски. Я поежился.

- Чего ежишься? Щекотненько?
- Щекотно.

И снова последовало игривое:

- Освежить?
- Ты как? — спросил папа.

Я молчал. Шипучий одеколон пугал меня своей жгучей едкостью, а все-таки освежиться после стрижки было так по-мужски!

- Опрысните немножко, — сказал за меня отец.

Закрой глазки, — велел мне Семен. — Да не жмурься так, спокойно прикрой. Ничего страшного. Ты что — «Шипра» боишься? А борцом хочешь быть... Смелей!

Я вцепился руками в подлокотники кресла и в этот момент мальчишечий голос послал мне свой привет из радиоприхожей:

А, ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер...

Фук-пшш... И я потонул в зеленоватом облаке «Шипра» — острого, пахучего, резко обдавшего ноздри стойким ароматом.

Фук-пшш... Фук-пшш... Фук-пшш... — работал Семен.

Я отчаянно жмурился, вертя головой, но терпел, терпел эту счастливую муку.

Спой нам, ветер, про синие горы,

Фук-пшш...

Про глубокие тайны морей.

Фук-пшш...

*Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!*

Фук-пшш-ш!.. — закончил Семен.

Он обмахивал меня полотенцем, промокал и снова обмахивал, смеясь.

— Ты что? Первый раз в парикмахерской?

— Его впервые по-настоящему sprыснули, — смеялся в ответ папа.

А я слезал с высокого кресла и тер щипавший глаз.

— Зачем же ты так жмурился? Я тебе говорил: «Не жмурься». Чуть-чуть попало? Сейчас пройдет. Вот тебе в подарок расчесочку, держи. Будешь причесываться.

— Спасибо, не надо, — отказывался я.

— Дают — бери, — смеялся Семен, кладя коротенькую костаную расческу в мой нагрудный кармашек. — А бьют — беги!

Мы с папой вышли на улицу, и в неподвижном вечернем воздухе долго еще витал надо мной этот свежий, пиршественный ветерок душистого «Шипра».

УРОКИ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Я борюсь за правильное произношение русских слов у смоленской крестьянки Ларичевой Акулины Филипповны. Многие слова няня произносит неверно. Это вызывает у меня и смех, и досаду. Как-никак она живет в Москве, в центре. Кремль из окошка видно. Радио весь день работает. Она его слушает, а говорит неправильно. Я пытаюсь ее переучить.

— Скажи: Филипп.

— Хвилип.

— Не «Хвилип», а Филипп, Филипповна.

— Хвилипьевна.

— Да не «Хви», а Фи.

— На старости лет не перевучишься, хоть кажиден поуторяй. Уж как с малолетства привыкла. Это ты, дите, вучись, светлым будешь. А я — темная, что говорить? Мне скоро помирать пора.

— Другое слово. Материя, — настаиваю я, не желая прерывать урок.

— Материя.

— Ну, вот видишь? Получается. Как надо произносишь. А если — время?

— Уремя.

— Не «уремя», а время.

— Усе рамно уремя.

— Притворяешься... Нарочно коверкаешь... Хоть Владимир Ильич можешь правильно произнести?

— Могу. Уладимир Ильич.

— Не «Ула», а Вла.

— Да по мне хоть как, — няня начинает терять терпение.

— Давай еще. Постарайся. Иудушка Троцкий.

— Троцкий... Ивудушка...

— Так... А ренегат Кауцкий?

— Какой?

— Кауцкий.

— Ренегад кавуцкий, — говорит няня, понимая, наверное, так, что есть какой-то город Кауцк, вроде Курска, а при нем состоит нехороший «кауцкий ренегад».

— Теперь такое слово... Пространство, — иду я дальше, постепенно подводя ученицу к самому заветному.

— Пространство, — произносит няня на удивление чисто.

— Отлично! А говоришь — не умеешь.

— Подготовительное слово: клизма.

— Хы... Чего удумал... Клизма... Ну, хватить!

— Как это «хватить»? Теперь самое главное. Где у нас книжный магазин?

— На Милостроиской.

— Так, на Метростроевской. Представь, что ты туда пришла по папиной просьбе и спрашиваешь продавца: «Скажите,

пожалуйста, нет ли у вас «Материализма и эмпириокритицизма»?

- Чего ишло? — переспрашивает няня, грозно морща брови.
- Повтори: «Материализма и эмпириокритицизма».
- Опять рикошетничать?
- Ну, что тебе — трудно?..
- Отстань! Навыдумляли, а народ язык ломай?
- Один разочек...
- Нет!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

1

Боже мой, как я любил бегать! Ходьбы, даже валкой утиной поступью спортивного ходока, мне ничуть не хватало. Тем более невозможно, томительно, невыносимо было чинно передвигаться по коридору, важно спускаться по ступеням, степенно топтать дорожки сквера.

Нет! Вихрем промчатся до прихожей; широкими прыжками, едва не срывая перила на поворотах, слететь вниз по лестнице, с размаха, как по льду, проскользить по шлифованным — в «шашечку» — плиткам вестибюля, хлопнуть звонкой, парадной — на гулко отозвавшейся пружине — дверью, сигануть через Курсовой переулок; вдруг замереть у первых тополей и — опрометью кинуться навстречу Сережке, выбегающему к тебе с противоположной стороны сквера...

Но разве это бег? Что вы... Это лишь предвосхищение бега, легкая разминка. Главное только начинается.

- Побежали?
- Побежали!

И носимся, шныряя мимо скамеек, подрыскиваем под ветки, уворачиваемся, салим друг друга.

Плюхнулись на лавку. Передышка. В полвздоха, в четверть-вздоха. И вновь — бесконечная, беспорядочно-упоительная беготня, вдохновенная гоньба, не желающая знать ни причин,

ни целей — дурацкое со стороны, а ведь самое что ни на есть настоящее — потому что безотчетное — счастье: счастье владеть своим телом, пространством вокруг себя, ощущать биение ветра, восторженно кружиться вперемежку с падающими листьями на засыпанных осенних газонах...

Не отстать от «пикапа», бесшумно, с выключенным мотором, скатывающегося под горку по Обыденскому переулку. Оставить позади щенка, так же бурно, как ты, кувыркающегося в сухой и хрупко потрескивающей листве. Догнать велосипедиста. Перегнать самокат.

О, как это много — просто бежать, чувствуя кровь, учащенно стучащую в висках, пуская в ход тоскующие по напряжению бега крепнущие мускулы, переводя заходящееся дыхание! Упасть на газон, прижухнуть, прижаться лопатками к холодной, вылинявшей земле, поймать над собой неподвижное облако, удерживать его взглядом миг, другой, — вскочить на ноги и опять горячо, пока не остыл:

— Побежали?

— Бежим!

Куда? Зачем? Кто нас зовет, окликает, гонит? Никто. Ни за чем. Никуда. А просто *по-бе-жа-ли*, ибо бег есть жизнь, а жизнь еще не спрашивает нас, куда она и зачем.

Набегались. Устали. Присели на корточки отдышаться. А теперь — спокойно поскакали.

Цок-цок, цок-цок...

Я — на Россинанте, Сережка — на Сером. Мой конь высок и тощ, Сережкин ослик толст, мохнат, приземист.

Цок-цок, цок-цок...

У меня длинная ветка — копьё. У Санчо короткие сучки-пистолеты. Я подбрасываю копьё и на скаку ловлю его в воздухе, а Санчо, мой друг, пыхает из стволов, салютуя моим удачным маневрам.

Вот прогуливается по дорожке заслуженный артист республики Михаил Названов. Это его сочный густой баритон пропел вчера по радио куплеты дон Кихота:

На турнире, на пиру и на охоте...

— Ваша милость, сеньор дон Кихот!..

Мы приостанавливаемся, привстав в стременах, а Названов с грацией старого гранда раскланивается с нами по-испански, замысловато и плавно манипулируя воображаемой шляпой. О, мы еще ничуть не достойны того, чтобы перед нами снимали шляпу, но этот жест, словно обязывая к чему-то, запомнится на всю жизнь!

Домой я приношу подобранное на траве воронье перышко.

— Это что такое? — спрашивает мама. — Откуда ты взял?

Отвечаю:

— Это перо от шляпы славного идальго дон Кихота Ламанчского!

— Выкинь, и ничего с земли не поднимай. Там собаки бегают.

— Я еще хочу погулять...

— Опять, дитё, утекаешь? Усё б тебе бегать. Полный день туды-сюды, туды-сюды, как вертено, пра слово! — вступает няня. — Завтрева ишшо набегаисси, ай, дня не будить?.. *Несмыслённый*, — говорит она маме, точно извиняя меня.

— *Несмыслённый*, — улыбаясь, повторяет папа давно понравившееся ему словечко.

— Скоро в школу, а все *несмыслённый*, — отклоняет нянино оправдание мама.

А я и сам не знаю, *смыслённый* я или нет, только ложусь спать с единственной мечтой: завтра снова можно будет *бегать!*

2

Постепенно бесцельная беготня сменяется более осмысленным приложением сил. Бег превращается в спорт, в соревнование.

Я предлагаю Сережке бегать не просто так, а по дистанции, наперегонки. Мы отмериваем расстояние под названием «сто-метровка», хотя на самом деле в ней метров тридцать. Протягиваем между деревьями тоненькую «финишную ленточку» — серую бечевку в лохмушках с тугими узелками, которые нам лень развязывать.

Привлеченный нашей возней к нам подходит Женька Фельдман по прозвищу «Фриц». Он неуклюж, медлителен, рыжеват.

До школы Женька учил немецкий в «группе» на Гоголевском бульваре под присмотром собственной тетки «фрау Фельдман». «Группа» представляла собой несколько детей и «фрау», которая гуляла с ними по бульвару, преподнося азы немецкой речи. Вот уж где нельзя было побегать, так это в «группе»! Там можно было только чинно переступить с ноги на ногу или сидеть возле «фрау» на скамейке, повторяя хором: «Айн, цвай, драй...» Мешковатый, упитанный, Фриц идеально подходил для этих занятий, но его тянуло к нам, а перечисленные качества, никуда не годные для бега, он компенсировал природной выносливостью и волей к победе.

— Вы чего тут? — интересуется он.

— Спринтерский бег. *Ферштейн?* — *Понимаешь?* — говорит Сережка.

— *Ферштейн.* А меня возьмете?

— Давай.

Я черчу каблукком стартовую линию. Фриц обстоятельно закатывает рукава школьной гимнастерки. Мы встаем в ряд.

— На старт... — команду я.

Все пригнулись.

— Внимание...

Все подрапрямились.

— Марш!

Похоже, в последний момент Меркурий успел прикрепить к моим щиколоткам маленькие пушистые крылышки, а фортуна — набросить на плечи, как легкий венок, эпитет «счастливей!»!

«Финишная ленточка» лежит у меня на груди. Я так и хожу с ней, выпятив грудь, как штангист, чтобы бечевка — вещественное доказательство моей победы — не упала, пока за мной финиширует Сережка, пока, размахивая полуголыми руками, дотрушивает до финиша зазевавшийся на старте Фриц, пока мы готовимся ко второму забегу.

— Это был четвертьфинал, — говорю я. — А теперь — полуфинал!

Предложение нравится. У Фрица появляется призрачный шанс взять реванш.

А я вспоминаю, что до войны папа занимался легкой атлетикой в секции у известного спартаковского тренера Стеблева. Папа был спринтером и прыгуном в длину. Особенно удавался ему тройной прыжок. Здесь он приближался к чемпиону среди юношей по фамилии Замбримборц. Само трудно выговариваемое, трижды акцентируемое трехсложье фамилии воспринималось мной как жесткий тройной прыжок. Разбег, толчок правой, — *Зам*, — полет, толчок левой, — *брим*, — полет, толчок правой, — *борц*: *Зам — брим — борц!* Тройной прыжок произношения. Полное триединство имени и жеста.

Однако папа подавал надежды и без таких совпадений со своей двухсложной фамилией Смир-нов. Самые лихие трамвайные догонялы и катальщики на «колбасе» угадывали что-то неладное, когда он неторопливо шагал по Богословскому переулку, возвращаясь с тренировки. Видимо, они кожей чувствовали, что если он побежит, то они не угонятся за ним ни так, ни на трамвае. Что — их прокуренные «дыхалки» и криво загибающиеся «костыли» по сравнению с его ритмичным дыханием, классической техникой бега, ударной пружиной прыжка, усвоенного у самого Стеблева! Однако папин спортивный взлет оборвался внезапно и тихо. Перед войной тренера арестовали. Он пропал. Секцию закрыли.

И вот мне захотелось представить себя на довоенном стадионе «Динамо» перед заполненными трибунами...

Мы снова выстраиваемся на старте.

— Ребя, давай я скоманую! — просит Фриц, становясь между мной и Сережкой.

— Пожалуйста. Ты думаешь, что побеждает тот, кто командует? Попробуй.

— Ма-арш! — утробно хрипит Фриц и, растопырив руки, чтобы не пропустить нас, кидается к финишу. Уповая на свои габариты, он пытается загородить нам дорогу телом. Но габаритов не хватает и телу приходится вилять, удлинняя путь и напрасно тратя силы. Мы без труда с двух сторон обходим «растопыру» и заканчиваем бег в том же порядке, что и в первый раз.

— Финал... Теперь финал... — толком не отдышавшись, требует Фриц.

Хорошо. Пусть будет финал.

3

Тоненькая иголочка едва заметно движется в просвете между облаками. Наверно, Москву-реку ей не пересечь никогда — так тягуч ее полет.

— Я хочу быть летчиком, — говорит Женька. — У меня батя на войне летчиком был.

— А я хочу быть десантником.

— А я — зенитчиком, — добавляет Сережка.

— Смотри, меня не сбей! — предупреждает пилот.

— Я по своим не бью, — успокаивает его артиллерист. — Тебя домой зовут, — говорит он мне.

Я поворачиваюсь к дому и вижу в нашем окне на втором этаже первомайский флажок — условный знак. Раньше мама или няня звали меня вслух. Это было скверно. Особенно если они выпевали мое имя уменьшительно ласкательно по нескольку раз. Представляете? Мы выбрасываем десант на захваченный немцами Киев, форсируем Днепр, штурмуем фашистские доты, и вдруг в самый разгар боя из форточки доносится:

— А-ле-шень-ка, ку-у-шать...

Однажды я не выдержал этого безобразия и потребовал, чтобы меня перестали выкликать. И тогда мама придумала флажок. Красный с золотым кантиком, он празднично-ярко и, главное, совершенно бесшумно появлялся в форточке. Мне оставалось только время от времени поглядывать на нее, что я и делал, а если забывал, то кто-нибудь из ребят обязательно напоминал мне. Все были в курсе дела, и всех такой выход из положения устраивал.

— По машинам! — приказывает Фриц. — Задраить «фонари»!

Мы захлопываем над собой воображаемые стеклянные колпаки истребителей-бомбардировщиков. Строимся треугольником. Впереди — Фриц.

— Звено к боевому вылету готово! — докладывает Сережка.

— Взлет! — разрешает командир и со страшным завыванием, скосив руки назад наподобие крыльев, мы со всех ног взмываем в небо, то есть мчимся по скверу, лавируя между тополями и скамейками, проносясь в узкую прорезь среди железных гаражей, демонстрируя изумительную маневренность нашей авиации.

Как бомбой, ударом пятки Сережка припечатывает к земле пустую пачку «Беломора». Я пулеметной очередью поднимаю в воздух стаю воробьев, а Фриц бухает и бухает по ним из пушки. Воробьи с перепуганным чириканьем носятся над сквером.

Внезапно Женькин самолет загорается. Командир пробует погасить пламя, ныряя то вверх, то вниз. Он катается по палой листве, но огонь уже подобрался к бакам с горючим и наш боевой друг Женька Фельдман взрывается, окутываясь ворохом листьев, засыпая ими себя с головы до ног...

Разворачиваясь, мы с Сережкой траурно кружим над застывшим перед домом Перцова холмиком, по разу, прощаясь с погибшим, касаемся крылами пожухлой, бурой листвы и, тихо взмывая, разлетаемся по домам.

— Ребята! — кричит нам вдогонку Фриц, выбираясь из-под листьев. — Завтра выходите. Доиграем.

— Выйдем... — отвечаю я и по широкой дуге, как сухой листок, планирую в парадное.

4

Обычно папа уходил на работу часов в девять. Он читал лекции слушателям Военно-юридической академии. Днем обедал дома и *минут на девяносто* ложился отдохнуть. Он любил спать под мягким байковым халатом, укрывшись с головой, чтобы никто не мешал. Только ноги высовывались. Потом папа уезжал по делам до вечера, а, вернувшись, просиживал над конспектами глубоко за полночь. В свободное время он читал, со мной же занимался редко и редко куда ходил.

Как-то в будний день после обеда вместо того, чтобы привычно поднырнуть под халат, папа предложил:

— Поехали на стадион «Динамо»?

— А что там? — отозвался я, слегка оторопев.

— Легкая атлетика. Победители отправятся на Олимпийские игры в Мельбурн.

Легкая атлетика?.. Я ведь ее обожал! Начиная с самого смысла слов. *Атлетика* — это что-то мощное, а *легкая* — наоборот, нечто почти невесомое. То есть *невесомая мощь* — вот что такое *легкая атлетика!* Не разбираясь в фигурах речи, я чувствовал, однако, как внутреннее прекословие, смешение понятий придает целому некую загадочную гармонию и объемность. Тяжелая атлетика такой всеохватностью не обладала. По сути, это было масло масляное, удвоение близкого. *Сила* дополнялась *тяжестью*. Это — не фокус. А вот *невесомая мощь* — совсем другое дело.

Что же касалось Олимпийских игр в Мельбурне, то они представлялись мне чем-то совершенно сказочным, вообще недоступным воображению...

Трибуны стадиона «Динамо» густо темнели скоплениями зрителей, хотя за футбольными воротами и зияли заметные просветы. Все-таки привлекательность легкой атлетики не шла в сравнение с популярностью футбола. Мы пробились на места поближе к финишу и устроились напротив сектора для прыжков с шестом.

— Самое интересное — спринт! — сказал папа, азартно блеснув дужками очков.

— На старт вызываются участники забега на десять тысяч метров, — объявил диктор.

— Ну-у... Это они минут сорок будут трусить мелкой рысцой, — разочарованно протянул папа.

Мне же было интересно все: и спринт, и прыжки, и десять тысяч метров.

Большая группа бегунов столпилась на старте, чтобы по приглушенному расстоянию хлопку судейского пистолета, действительно, затрусить мелкой рысцой, едва не наступая друг другу на пятки.

Папа перевел взгляд в сторону сектора для прыжков и снова оживился. Его внимание привлек прыгун из команды Москвы. Ладную фигуру прыгуна облегал красивый тренировочный

костюм из тонкого трикотажа. Шестовик похаживал перед трибунами, картинно разминаясь: то приседал, то делал маховые движения, то коротко разбежался, подкидывая колени. Выяснилось, что этот красавчик в одиночку борется с высотой три девяносто, которую остальные участники преодолели с первой попытки, и теперь ждали его. На трибунах он получил прозвище «*Трикотаж*» за эффективность костюма при девичьей скромности результатов.

Аккуратно стянув с себя «треники», он остался в ослепительно шелковых майке и трусах, сияя, по слову папы, *как новый пятиалтынный!*

Тряхнув шестом, *Трикотаж* побежал с ним, точно с копьем наперевес, быстрее-быстрее-быстрее, оттолкнулся, взлетел, выгнув свою бамбуковую опору, перемахнул через планку и победно рухнул в кучу с песком.

Трибуны великодушно заплодировали. А он выбрался из кучи, проветривая сыпавшийся по нему отовсюду песок, и гоголем продефилировал перед нами, как будто уже выиграл соревнования, получив путевку в Мельбурн.

Столь же тщательно, как и прежде, *Трикотаж* закатал в руку парчинку тренировочных штанов и бережно натянул ее на ногу. Так модница перед зеркалом вдевает ножку в собранную в горсть паутинку чулка, одним движением распрямляет колено, и вот уже поглаживает голень, взыскательно проверяя симметричность пятки и шва.

Папа был в восторге. Этот персонаж определенно вознаграждал его за наше опоздание на спринт.

Между тем стайеры уже преодолели добрую часть пути. Бег стал каким-то рваным, путаным. Плотная стартовая группа сильно поредела и растянулась по кругу. Но, главное, ее постоянно дергал шуленький белобрысый бегун из команды Белоруссии. Почему-то запомнилась именно Белоруссия, хотя позже я читал, что он — москвич. Может быть, стал москвичом? То он безнадежно отставал, то, проникая в зазоры между бегущими, упорно добирался до лидеров, то снова сникал и понуро плелся в хвосте. Такая самостоятельность обеспечила ему на трибунах кличку «*Партизан*». Лидеры — три-четыре бегуна — регулярные

призеры последних лет держались цепкой стайкой, никого вперед не пропускали, но чувствовалось, что *Партизан* действует им на нервы. Серьезной опасности для них он, конечно, не представлял, однако напряжение создавал и симпатии зрителей зарабатывал. За безуспешность попыток «выйти в люди», за напрасное мыканье взад-вперед по дистанции он заслужил второе прозвище: «*Горемыка*».

Тем не менее, по примеру *Горемыки* и некоторые другие «среднячки» стали «партизанить», правда, хватало их ненадолго. И все же в заранее расчисленный ход бега с явными фаворитами и predetermined результатом был внесен такой притягательный момент неясности, что от сектора для прыжков внимание публики переместилось на гаревые дорожки к самому утомительному, к самому, как думалось, неинтересному зрелищу.

Шутливое «*Партизан*» и неприкаянное «*Горемыка*» обогатилось третьим поименованием: «*Хлопчик*». И после очередного рейда, смявшего стройные ряды лидеров, трибуны возбужденно зашумели:

- Во *Партизан* дает!..
- *Горемыка*, жми на всю катушку!
- Ну, *Хлопчик*, молоток!

Лидеры тревожно оборачивались, видели, как в кино, — во весь экран, — заседавшего на них *Хлопчика* и невольно убыстряли бег раньше времени, что вовсе не входило в их планы. Они-то в отличии от нас с папой и от трибун знали, кто портит им нервы, и на что он способен.

Когда в очередной раз лидеры, тяжело дыша, пробегали под нами свой будущий и не такой уж отдаленный финиш, я снова взглянул на прыгунов.

Кузнечик за кузнечиком пружинисто и ловко выстреливали они над планкой, установленной на рубеже четырех метров. Иногда планка падала, и зрители шумно вздыхали. Вообще, трибуны поразили меня своей единодушной и мгновенной реакцией на происходившее, тем более удивительной, что это участие рождалось одновременно в тысячах сердец, тут же обнаруживаясь общим сожалением, смехом, разочарованием, радостью.

Что касается прыгуна по прозвищу «*Трикотаж*», то высоту в четыре метра он решил пропустить как слишком для себя смешную. Казалось, Мельбурн уже лежит у него в кармане, а потому *Трикотаж* позволил себе расслабиться на скамейке, вытянув ноги и приобняв хорошенькую массажистку. Он что-то внушал ей, а она похохатывала, уклоняясь от его объятий: слишком уж они были прилюдны. Глядя на то, с каким снисхождением относится *Трикотаж* к соперникам, в поте лица добывавшим свои четыре метра, можно было подумать, что перед вами — асс, повалявший дурака на трех девяносто и готовящийся к настоящей высоте, то есть к четырем десяти, что по тем временам считалось уже очень приличным — шести-то были бамбуковыми...

Судьи осторожно подняли планку на двух длинных рогульках, установили на уровне четыре десять и столь же деликатно вынесли рогульки из-под планки, чтобы ее не потревожить.

Трикотажу пришлось расстаться с массажисткой, выпустив ее из-под крыла. На прощанье она его славно помяла — растянувшегося на скамейке, потормошила «засидевшуюся» мускулатуру и улизнула под трибуны.

Не оставляя прежней старательности, «фаворит» проделал все положенные манипуляции с раздеванием, переливаясь шелками, понаклонялся, повертел кистями, потряс икрами и вооружился шестом. Он олицетворял собой смычку легкой атлетики с легкой промышленностью. Промышленность была на высоте. Теперь слово предоставлялось атлетике.

В этот момент ударил гонг. Удар означал, что «десятитысячники» пошли последний круг. До гонга *Партизан* еле волочил ноги где-то в конце. Видно, он сам умотал себя своими рейдами. Но гонг словно привел его в чувство.

Все бежавшие перед *Горемыкой* плотно прижимались к бровке, поэтому обходить их можно было только с внешней стороны, удлиняя дистанцию. Каждый из середнячков и сам был бы рад выбиться в лидеры, но сил на это ни у кого уже не хватало. И только *Хлопчик* стал обгонять одного бегуна за другим, но не рваными, изматывающими рывками, как прежде, а регулярным наращиванием темпа.

— Смотри на белобрысика — что он делает! — взволнованно сказал папа. — Так он еще всех обставит...

Трибуны зашумели уже не на шутку. Кое-кто начал приподниматься. По воздуху прошло подобие электрического шелеста.

А пока на дорожках зрел финал героической драмы, в секторе для прыжков попевала развязка комедии ситуаций. *Трикотаж* готовился к прыжку. Он поплевал в ладони, словно приговаривая: «Чур, чур, чур!..» Глубоко вздохнул, оставил рот округло-открытым, как будто вобрал в него невидимое яблоко, и вертлявой, танцующей побежкой устремился к планке.

Тем временем стайеры разыграли последний поворот и мчались по финишной прямой под оглушительный рев стадиона. *Партизан-Горемыка* продолжал свой последний рейд. *Хлопчик* завершал финишный спурт. Когда никаких явных сил уже не осталось, он обрел *второе дыхание* — дыхание сил подспудных, копившихся в нем незримо ото всех, может быть, даже от него самого. В том, что он обгонит лидеров, не было сомнений. Вопрос состоял только в одном: успеет ли он сделать это до финиша, хватит ли ему дистанции, не окажутся ли десять тысяч метров чуть-чуть коротковатыми для него...

Прыжок *Трикотажа* и финиш *Хлопчика* произошли одновременно, совпали до секунды. Стадион ответил на них двумя синхронными взрывами: ликования и хохота. В тот самый миг, когда *Хлопчик*, на полшага опередив двух чемпионов, вынес на груди финишную ленточку, самозванец *Трикотаж* с блеском пролетел *под* планкой!

Выбравшись из песка, он, прихрамывая и делая вид, что оступись, побрел к своим одиноким штанам на скамейке, присел и неожиданно резко въехал в них двумя ногами сразу.

Мельбурн выпал из кармана, а *Хлопчик* перешел на трусцу вдоль трибун под овацию стадиона, в которой тонул голос диктора:

— Победителем забега на десять тысяч метров стал Владимир Куц!

— Все. Теперь его никто не остановит! — сказал папа, и вместе со всеми мы втиснулись в узкий выход.

Когда Сережка и Фриц появились на сквере, я поджидал их с рассказом о поездке на стадион «Динамо» и новым предложением. По примеру Владимира Куца мне захотелось испытать силы на стайерской дистанции.

— Сегодня бежим десять кругов вокруг сквера, — сказал я.

Сережка присвистнул, а Фриц принялся молча и деловито закатывать рукава школьной гимнастерки.

Конечно, в наших десяти кругах было максимум километра два, но по сравнению с тридцатью метрами спринта — все равно внушительно.

— А добежим? — спросил у меня Сережка, но ответил ему Фриц:

— Добежим!

Я снова прочертил каблуком старт. Ничего толком о своей выносливости я не знал. Не знал, что люди делятся на «спринтеров» и «стайеров». Одни настроены на короткие рывки, другие — на неторопливый долгий бег. Как в спорте, так и в жизни.

Два круга я лидировал, а потом почувствовал, что дыхание пошаливает, рот сохнет, стартовой бодрости — как не бывало, хочется сменить обстановку...

Сережка держался за мной, а Фриц поотстал, но не сильно, поскольку темп вообще был невысок.

Третий круг мы преодолели с Сергеем шаг в шаг, стопа в стопу, как братья Знаменские, а на четвертом круге у меня образовалась нежданная болевщица.

Домой из булочной по Соймоновскому проезду *верталась Хвилипгевна*. Она присела на лавочку *чуточки спыхнуть*, а заодно посмотреть, *чаво ён, коновод-то наш, навьдумлял? Куды бежить, сломя голову?*

Но болевщицей она оказалась липовой. Няня болела вовсе не за то, чтобы я победил, а за то, чтобы не устал. Увидев пробежавшего мимо ее скамейки *коновода* — бледного, с учащенным дыханием, с каплями пота на лбу, няня потребовала:

— Ребята, хватить! Ишь как увесь узмок шшибленок... Чичас кончайте! Али хворостину узять — непослушника попужать?.. Пошли домой. Я хлебушка купила горяченького, так и дышит... Ай, не слышишь?.. Зехвирчику... Скоро вужинать...

Мы начали следующий круг, не обращая внимания на Филипповну, на ее *пужание* и ласку — *хворостину* и *зехвирчик*, — но к моей усталости добавилась еще и досада: опять я становился маленьким, опять игра разрушалась, ведь именно играя, я чувствовал себя взрослым, сейчас — Владимиром Куцем, — а без игры снова превращался в себя самого. Игра не только выросла, преображала меня — она изменяла мир вокруг: сквер становился стадионом «Динамо», скамейки — трибунами, няня — болельщицей... Правда, роль свою она играла неправильно, недостоверно. Разве бывают такие болельщики, которые не подбадривают бегуна, а, наоборот, уговаривают его сойти с дистанции, суля то хворостину, то зефир? Заботятся не о чемпионстве, а исключительно о здоровье спортсмена?

Между тем няня *сыхнула* и поднялась со скамейки.

— Я те что говорю? Нет, вы только гляньте на него, только гляньте!.. Уся рубашка на ем мокрая, хоть выжми. Стой, мать честная!

— Может, кончим? — обгоняя меня, спросил Сережка из уважения к Филипповне.

— Нет, — ответил я из уважения к спорту.

Но это была полуправда. Спорт интересовал меня не сам по себе, а как момент игры, создающей другой мир. На самом деле я так устал, что с удовольствием бы закончил забег до срока, однако мне не хотелось прекращать игру, а ведь она полностью зависела от продолжения бега. Прервись он, прервется и она, трибуны стадиона обратятся в грубо окрашенные лавки, гаревые дорожки завязнут клеклой осенней глиной, футбольное поле объявится будничным прелым газоном, и Владимир Куц поплетется домой вслед за няней — на красный первомайский флажок, мелькнувший в форточке...

И все же Филипповна вмешалась как нельзя более кстати. Я понимал, что проиграю забег, что никаких подспудных сил

у меня нет. Внешняя помеха (Филипповна) могла удачно замаскировать истинную причину моего поражения (не хватило дыхания). Бег прерван — я не виноват. Но ведь это — хитрость. Нехорошо. Пока побеждал, бежал, а как стал отставать, так в кусты?.. Что мне дороже: честная игра или хитрый уход от поражения? Если игра, то надо бежать дальше. Если уход от поражения, то самое время остановиться.

Мучимый выбором, я обнаружил перед собой уже и потемневшую толстую спину Фрица. Ноги отяжелели, в боку покалывало, а спасительное *второе дыхание* все никак не приходило.

Няня потеряла терпение и загородила мне путь. Я обежал ее сбоку. Она *заколтыхала* следом с авоськой, в которой болталась густо усыпанная золотыми зернышками тмина буханка «Бородинского», любимый папин батон за 2.45 и пухлый бумажный пакет, наверное, с обещанным зефиром.

— Стой! Споддыхни. Рази мыслимо так убиваться? Стой, тебе говорю! Как сердце выпрыгнуть, что я маме скажу? Прекращай, несмыслённый!..

И силы меня покинули. Нянина любовь ко мне победила мою любовь к спорту. Сердце колотилось. Рот высох. Грудь жгла какая-то отвратительная горечь. Слюна до того загустела, что повисла нервущейся ниткой, никак не перекусываясь. Покорный судьбе, позаброшенно и тихо лег я на лавку, как бездомный.

— Птушенька, птушенька, — подбежала няня.

— Я не птушенька... — отозвался я бессильно.

— Уставай с лавки. Не лежи. Нельзя лежать! Сердце выскочить. Походить надо.

Я поднялся.

Глядя на меня, прекратил бег и Сережка. Только упорный Фриц, дыша, как броненосец, в полном одиночестве заканчивал дистанцию.

— Это у нас четвертьфинал? — спросил Женька, разгоряченный бегом и победой.

— Какой ишшо четверть хвинал? — насторожилась Филипповна. — Етто у вас усё. Боля ничаво не будить!

Прошли Октябрьские праздники. Отгрохотал парад, отшумела демонстрация. В вечернем небе над Москвой рассыпались павлиньи перья салюта. Но приподнятое настроение оставалось: 23 ноября в Мельбурне открывались XVI летние Олимпийские игры!

Необычен и весел был этот возврат лета в предзимнюю Москву. Наши спортсмены прекрасно выступили прошлой зимой в Кортина-д'Ампеццо, и ожидание новой победы витало в воздухе. Оно приняло государственный оборот.

В августе Политбюро ЦК, еще не успевшее расколоться на «партийную» и «антипартийную» группы, в полном составе присутствовало на открытии стадиона в Лужниках. Ему присвоили имя Ленина. Это означало, что спорт в нашей стране получает политический статус.

Дело прыжка и метания, штанги и бревна возглавили ответственные товарищи «из комитетов и ведомств». Лозунг: «Слава советскому спорту!» следовал в одном ряду с лозунгами: «Слава КПСС!» и «СССР — оплот мира, демократии и социализма».

Спортивные репортажи не сходили со страниц газет. Комментаторы Вадим Синявский и Николай Озеров по полтора эфирных часа от всей души озвучивали футбольные матчи команд класса «А», подробно говорили об игре дублирующих составов, не забывали упомянуть и о ситуации в классе «Б».

Сияние кинозвезд меркло рядом с блеском титулованных участников Олимпийской сборной. Всесоюзный рекорд приносил человеку, прежде никому не известному, всесоюзную популярность, а мировой рекорд — мировую.

Регулярно, как сводки с театра военных действий, публиковались последние данные о результатах пловцов, велосипедистов, легкоатлетов. Пространство линовалось на сантиметры. Время делилось на доли секунд. Физика торжествовала над философией, физкультура — над физикой, спорт — над физкультурой. Мячи, заброшенные в баскетбольные корзины, чередовались с мячами, побывавшими в сетках футбольных ворот. Сбылась

мечта миллионов: Стрельцов играл в одной команде с Яшиным, и эта команда называлась *непобедимой сборной СССР!*

К Мельбурну готовились, как ко взятию Берлина. Всей страной. Проверялся спортивный инвентарь. Шились костюмы для участников штурма. Мобилизовывались политработники, диетологи, массажисты...

В честь олимпийцев был устроен прием в Кремле. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев отдавал последние приказы метателям молота, боксерам, фехтовальщицам и стрелкам из лука. Заранее планировались показатели по рекордам и олимпийским медалям. Общекомандное место ниже первого считалось бы политической провокацией.

Пожалуй, это был уже не спорт и даже не игра, а реальность, вполне серьезная при всей ее видимой маскарадности, и, признаюсь, эта реальность меня восхищала.

Наконец, огненная чаша вспыхнула над Мельбурном. Все олимпийские дни я молился на наш радиоприемничек с белой пластмассовой чайкой, которую мне всегда хотелось отколупнуть от материи, обтянувшей громкоговоритель. Но чайка была пришкварена намертво. Расписания Игр я не знал. Просто случайно попадал на то, на что попадалось. Однажды, примчавшись из школы, я бросил портфель мимо стула и припал к «Чайке».

Няня накрывала на стол. Сквозь хрипы и потрескивание эфира до меня донесся прерывающийся от помех и волнения голос Николая Озера:

— Внимание... Говорит Мельбурн. ...рит Мельбурн. Начинаем наш очередной ...таж с XVI летних Олим...ских игр. Сегодня разыгрываются медали в беге на десять тысяч метров. Весь спортивный мир с захват... ресом следит за дуэлью двух феномен... ..гунов: англичанина Гордона Пири и нашего Владимира ...уца. Пройдена ...ловина дистанции. Как складывается забег? Со старта его ...зглавил ...адимир Куц. За ним неотступно, как тень, ...овал Пири. Они ...орвались от ...ной группы. Пири просто ...шал Куцу в затылок. Казалось волосы ...шутся на голове у нашего ...смена. Куц дважды предлагал ...глича... ..главить забег,

уступая ему бровку и даже делая жест рукой. Но Пири не ...мал пред...жения. Сейчас впереди совет... ..смен. Пири сидит у него буквально на пятках...

Пришел из академии папа и сразу, с порога:

— Ну, как? Какие новости в Мельбурне?

— Десять тысяч! Куц впереди! — выкрикнул я, боясь упустить хоть словечко из Австралии.

— А Пири?

— Да, говорить, на пятках сидеть этот Пырин у нашего-то... Или как его там? — пояснила Филипповна и добавила: — Одним словом — англичанин!

Няня очень уважала англичан с тех пор, как до революции повидала английских матросов в Кронштадте, куда приезжала к мужу:

— Рослые! Красивые! Смостоятельные! Справные ребята. И одеты в аккурат.

— А обходительные? — спрашивал папа.

— Ньюжи ж... Вочень обходительные!

Теперь папа, так же как и я, беспокоился о том, чтобы обходительный англичанин Гордон Пири ненароком не обошел нашего Куца.

Няня разлила щи по тарелкам, но заставить меня оторваться от приемника было невозможно.

— Неужели ты за Куца не болеешь? — спросил я няню.

— Помилуй Бог! У мене своих болестей хватает, ишшо я тута болеть буду, переживать...

— А мне кажется, Филипповна симпатизирует Гордону Пири, — сдерживая улыбку, сказал папа. Он дул на ложку, полную горячих щей, и от его дуновения раскачивалась свисавшая с ложки капустная завитушка. Поглядывая на Филипповну, папа добавил:

— Все-таки Пири — англичанин...

— Раз ён синпатичнай, то и *нущай*, — согласилась няня. Но что значило это «*нущай*», не уточнила. Просто так *нущай* или пропускай его вперед — *нущай побеждает*? Мне это было безразлично.

А Озеров продолжал:

— У нас идет вторая полови... ..анции. Ну, я вам скажу, и жара здесь в Мельбурне! Даже ночь не дает желанной... Простите... Неожиданным рывком Пири обхо... ..ашего бегуна и... — и дальше, как на грех, все потонуло в помехах.

Я понял, что случилось что-то роковое. Представил себе, как английский стайер, сохранив силы за спиной Куца, внезапно обошел его и, ускоряя бег, устремился в отрыв.

Папа прекратил есть, няня же оживилась и усердно принялась подрезать «Бородинский», хотя хлеба на столе и так хватало.

Я был потрясен непатриотичностью ее поведения. Смоленская крестьянка отдавала предпочтение англичанину, даже не видя его! А считалось, что космополитизмом у нас страдает лишь часть интеллигенции. Какой же интеллигенции, когда мы с папой болеем за Куца, а Филипповна — за Пири?!

Голос Озерова снова прорвался к нам в Курсовой переулоч:

— ...дирует Пири, по-преж... ..дирует Пири...

— *Дируить?* — почему-то беспокойно спросила няня. — Батюшки святы! И чего ж это ён *дируить?* — Верно, она восприняла эфирный осколок от глагола *лидирует* как самостоятельное слово с непонятным и тревожным для нее смыслом.

— Не *дирует*, а *лидирует*, — подсказал я.

— Ах, *лидирувайт*... Ну, слава Богу, раз так... Усе, значить, как следываит быть. Дай Бог здоровья...

— Да совсем не как *следываит*! — вскипел я. — Наш отстает...

— Ну, правильно. А Пырин *лидирувайт*. Агличанин... А я об чем тебе толкую? Об еттом же...

И все-таки слово «*лидирует*» тоже было няне не совсем ясно, пусть и не вызывало тревоги. Вкрадчиво, боясь помешать, она спросила:

— Еугений Алексеич, а етто что значить, дескать, «*лидирувайт*»?

— Значит, первый бежит. Впереди всех. Это — английское слово.

— Так-так... Аглицкое, не наше, — закивала головой няня. — Вот я потому и не слыхала, что аглицкое. Не забыть бы. Память

никудашшая стала, пра слово! *Лидирувайт*, — повторила для верности Филипповна.

— А Куц, между прочим, бывший *моряк*, — заметил папа специально к нянинному сведению.

— А Пырин быдто нет? — спросила она с некоторой опаской.

— А «Пырин» — *сухопутный*, — отозвался папа весело.

Его расчет оказался тонким. Филипповне нравились английские *матросы*, то есть для того чтобы поразить нянино воображение, человек должен был быть одновременно и англичанином, и моряком. В Кронштадте это совпало, а в Мельбурне — нет. Англичанин оказался *сухопутным*, а наш — *матросом*. За кого болеть? Что выбрать? Времени на раздумье не оставалось уже *ничутьочки*.

— Впереди два круга, всего два круга, — снова пробилась к нам Австралия. — Друзья, здесь на стадионе такой шум... не знаю, слышите ли вы меня, но Владимир Куц, кажется, обрел второе дыхание и начинает свой финишный спурт...

Папа встал и подошел к приемнику. Няня заторопилась на кухню посмотреть: «Макаронны не сгорели? Канпот узять и мйнтом назад вертаться!» А в «Чайке» трещал, шипел и вздрагивал Мельбурн, глотая слоги, запинаясь на своей спотыкучей связи.

Я болел за Куца. Как я болел за Куца!

— ...и вот он ...ходит Пири по внешней ...тороне и, ...ращивая ско... ..ремляется вперед! Тут на трибунах ...рится что-то невозможное. Уже шляпы, шляпы полетели вверх! Пири отстаёт ...ствляется, что он устал. Его догоняет основная группа, а расстояние между ней и ...димиром Куцем все ...личивается и уве... Последние сто метров...

Каждый преодолевает дистанцию длиной в жизнь, но в отличие от спорта никто заранее не знает этой длины: сколько ему бежать? «Стометровку» — и потому следует выкладываться сразу, или километры пути — и потому лучше до времени побережь силы? Но уж если бег продолжается, если сохнет во рту, горько жжет в груди, прерывается вдох, — потерпи, не отчаивайся, собери силы, у тебя есть надежда! Она невелика, но стойких духом она не обманет. И вдруг ты ощутишь, что бежать становится

легче... Легче? Легче! Сушь и жжение проходят. Вдох и выдох делаются ритмичней. Угасшие силы возвращаются в избытке, и теперь ты хорошо знаешь, как ими распорядиться. Это пришло твоё спасение — *второе дыхание*, — то, которого никто не подозревал в тебе, и люди вокруг с удивлением встают со своих мест, приподнимая воображаемые шляпы.

— ...Стадион просто неистовству... ..щее ликование. Так полюбился зрите... ..аш моряк. Здесь все его знают, узнают на улицах, приветств... Куц бежит один. Его не может уже догнать никто. Фи-и-ниш! Победа! Владимир Куц — чем... .. пийских игр!

Папа радостно потер руки:

— Эх, жаль выпить нечего!

Вошла Филипповна с макаронами *по-хлотски* и *канпотом*.

— Куц — чемпион! — выпалил я.

— Ну, и слава Богу, — неожиданно легко приняла это известие няня. — Агличанин так агличанин, наш так наш. Что ешь, то и ешь. Ешь шши, чай, уж чуть теплыми...

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

1

На месте дома, разрушенного немецким фугасом, того самого, что стоял между нашим в Курсовом переулке и церковью Ильи Обыденного, был разбит сквер. Так и говорили: «*Разбит сквер*», хотя, по своему детскому разумению, я считал, что разбит дом, а сквер как раз создан: перекопаны и засеяны будущие газоны с табличками: «Прохода нет!», расставлены тяжёлые, чтобы не унесли, ребристые скамейки, посажены тонкие топольки, привязанные морским узлом к ошкурённым колам, а в центре сквера сооружена высокая клумба с цветами.

И тогда появился сторож. Мы прозвали его «*дедом*». Он ходил в голубой летчицкой фуражке с кокардой, в каких-то сплюснутых ватных портках, заправленных в сапоги на манер галифе, и посасывал жёлтый от никотина мундштук. В очередной раз выбив из него догоревший чинарик, сторож резко продувал

мундштук, а тот в ответ тонко свистел. Но самое главное — дед был вооружен. Никогда не расставался он с крепкой палкой, наконечником которой служил мощный граненый гвоздь. Я удивлялся, как это деду удалось загнать такой гвоздище шляпкой в палку, чтобы острие торчало наружу? Осенью, бродя по скверу, дед, как чеки, накалывал на гвоздь опавшие листья и стряхивал их в жестяную урну. При этом он каждый раз заглядывал внутрь урны, словно сомневался: не дырявая ли она? И убедившись, что нет, целая, сплевывал в нее с брезгливым и презрительным удовольствием.

К своему делу дед относился не просто добросовестно, а ревностно. Зимой и летом, рано утром и в вечерних сумерках обходил он вверенный его попечению участок. Если требовалось, перевязывал морские узлы, поправлял покосившиеся таблички, нанизывал на гвоздь бумажный мусор и — стерег. Больше всего досаждали ему мы, мальчишки. Лишь печальный Валека вынужденно вышагивал по дорожкам, когда мама и тетя под ручки вели его из школы, чтобы никто на него не напал. Но и Валека, гуляя после школы один (мама и тетя, сменяясь, дежурили у окна), даже Валека, погруженный, вероятно, в размышления о женской любви и постыдной опеке, с которой он ничего не мог поделать, заступал иногда за черту, дозволенную дедом, а то и склонялся в меланхолическом раздумье к цветку, чтобы его...

— Куда, куда?! — поигрывая желваками, сгущалась в воздухе невесть откуда взявшаяся охрана.

— Я понюхать, — оправдывался Валека.

— Вот я те щас понюхаю!.. — предупреждал дед, и Валеке этого предупреждения бывало вполне достаточно. Мамин всплеск в окне:

— Валечка, немедленно отойди от этого человека! — оказывался излишним.

Что же касается мальчишек, хотя бы отчасти освободившихся от строгого родительского присмотра, то они вытворяли все, что им полагалось, доводя деда до белого каления.

В отсутствие сторожа (в обед) на газоне безотлагательно затевался большой футбол. Прямо после уроков, побросав

в общую кучу портфели, мы, обнявшись, разбредались парами по траве, придумывая загадки «капитанам»:

- Уругвай или Бразилия? — спрашивала первая пара.
- Уругвай, — выбирал кто-нибудь из «капитанов».
- Друг или портянка? — интересовалась вторая.
- Портянка...

Так делились на две команды. Стволы окрепших тополей изображали штанги. Особым шиком считалось забить гол от штанги в ворота... Траву не просто топтали — по ней с наслаждением катались, имитируя заслуженных мастеров симуляции и потешаясь над ними, а вратарские площадки лысели на глазах. Неподкованные в хитроумных футбольных схемах, мы полагали, что вратарь должен *рыпаться*, нападающий — забивать, а защитник — ложиться под мяч костью, лишь бы спасти ворота. Играли обычно не на время, а до десяти голов и увлекались настолько, что появление деда начисто прозевывали.

Между тем старый конспиратор, отобедав и отдохнув, со свежими силами подкрадывался со стороны Курсового переулка, сперва пригнувшись, на *полусогнутых*, держа палку сбоку, точно в ножнах, а затем, внезапно распрямившись и размахивая ею над головой, устремлялся на нас с проворностью хорошего конника, но бесшумно. И только тогда раздавался чей-то пронзительный крик над головой:

— Дед!

Он всегда действовал в одиночку, но, сколько бы ни было нас — шесть, восемь или двенадцать школяров, — мы обращались в паническое бегство, расхватывая портфели — свои и чужие.

Вратарь метался в поисках оброненной кепки со сломанным козырьком и плоской пуговкой на макушке... Кто-то никак не мог сдернуть с веточки повешенный туда школьный китель и, подпрыгивая, жалобно стонал:

- Ребят, меня подождите... Меня подождите!..
- Дурак! Рви вешалку, — кричал ему вратарь.
- У кого мой мяч?
- Где мяч?
- Мяч спасай!

— Полундра-а-а!

Все знали, что главная цель деда — не мы, а мяч. И пусть в угаре он мог *перепаять* палкой любого (потому мы и драпали), но это было, в конце концов, не смертельно, а вот мячу каюк наступал сразу: дед прокалывал его гвоздем и, воздев над собой, с видом победителя досылал нам вдогон первые и последние проклятья. До этого момента он не издавал ни звука. Его торжество было полным, но, однако, недолгим. Через несколько дней мы добывали новый мяч.

Попривыкнув к дедовским атакам и осмелев, мы решили отработать с ним одну штуку. Замысел состоял в том, чтобы вовлечь деда в беготню по газонам, сделать его как бы своим соучастником. Теперь при вопле: «Дед!» мы с той же поспешностью растаскивали портфели, но уже не удирали сломя голову, а лишь расыпáлись с ними по траве. Когда стража врывалась на газон, прицеливаясь гвоздем в мяч, мы начинали точно перепасовываться, а дед — бегать за мячом, все более свирепея. То он пробовал остановить мяч ногой, красиво растягиваясь в полушпагате так, что трещали плоские галифе, то силился зацепить его палкой. Но техники не хватало. Дед лютовал, пока, наконец, плюнув на неподдающуюся добычу, не рассеивал нас по переулкам.

Если кто-то из взрослых и подавал голос в нашу защиту («А где им еще играть?»), то многочисленные бабуся — постоянные обитательницы насиженных ребристых скамеек дружно ополчались на защитника («За *фулюганов* заступаться?») и дед не унывал, имея на скамейках такое внушительное «лобби».

Кроме того, иногда бабуся обращались за помощью к проходившим мимо военным из нашего дома. Но, слава Богу, армия сохраняла нейтралитет, хотя ее вмешательство на стороне деда не исключалось — особенно военно-воздушных сил, имея в виду защиту *чести мундира*, то бишь летчицкой дедовской фуражки. Вдобавок, в запасе у «лоббисток» были еще и органы внутренних дел. Нас уже не однажды предупреждали: «Сейчас милицию позовем!» А для начала деду посоветовали купить свисток, поскольку мундштук свистел слишком тихо и для разгона игроков приспособлен не был.

Можете себе представить, как нас переполошила атака со свистком! Казалось, что сейчас, махнув рукой на свои посты, к нам отовсюду ринутся милиционеры: с Кропоткинской площади, из-под голубых елей Музея изящных искусств, от монгольского посольства на набережной... Крупная горошина перекатывалась внутри свистка под напором воздушной струи, выбрасываемой из самых дремучих дедовых недр.

Эффект свистка был громаден. Дед чуть не захватил в плен все наши портфели, нашел в траве и конфисковал кепку со сломанным козырьком, поддел гвоздем за вешалку и снял с ветки несчастный китель, пока его хозяин драпал через весь сквер в одной майке, а потом, соблюдая приличную дистанцию, жалобно упрашивал:

— Дедушка, отдай...

И мы готовы были признать свое поражение, хором прося за пострадавшего:

— Отдайте китель...

— Пускай отец приходит! — отрезал дед.

Однако со временем мы убедились, что не только армия, но и милиционеры сохраняют железную выдержку, оставаясь на своих постах. И совершенно правильно поступает, например, сержант на набережной, когда вместо того, чтобы носиться за нами по газонам, выполняет свою прямую обязанность — хранит покой монгольского посла.

Удостоверившись в этом, мы снова вернулись к тактике «точного паса». Но отныне она стала приносить нам куда более зрелые плоды, ведь теперь дед гонялся за мячом не молчком, как раньше, а под собственные переливчатые трели. Он как бы выписывал в воздухе музыкальные вензеля, сопровождая ими те фортели, которые выделял ногами, пытаясь прервать полет мяча. При этом на его лице сменялась значительная гамма красок: первоначально серое, по мере исполнения оно приятно розовело, становилось красным, потом багровым, как чертольский закат. С новой руладой дед голубел, приобретая колер, не отличимый от цвета его фуражки. А между тем со стороны могло показаться, что это просто-напросто бегают по полю

прыткий футбольный судья, назначивший пенальти, а игроки с ним не согласны и мяч не отдают. Помимо прочего, заняв рот свистком, дед лишился удовольствия высказывать нам свое «фэ». Он нередко оказывался в замешательстве и путался, то крича в свисток, то дуя в воздух.

Кто знает, сколько бы продолжался наш футбольный конфликт, если бы вскоре на сквере ни произошли новые примечательные события.

2

В середине 50-х, в один, действительно, прекрасный солнечный день между клумбой с душистым табаком и бараками, рыхлые доски которых насквозь пропахли въедливым табачным дымом, появились люди, владевшие теодолитом и рулеткой. После тщательных измерений они таинственно удалились.

Вслед за ними приехал грейдер. Он выровнял промеченный участок. Далее шесть землекопов, обнажив мускулистые, лоснящиеся от пота спины, перелопатили землю и добросовестно укатали ее ручным катком. Тем временем мелкая металлическая сетка трехметровой высоты огородила площадку. Те же землекопы, просеяв сквозь частое сито тонкий золотистый песок, рассыпали и утрамбовали его, а получившийся идеально ровный желтый квадрат разлиновали ослепительно белыми полосами. Так московский Дом ученых построил прямо перед домом Перцова теннисные корты — может быть, первые из сооруженных в послевоенной Москве.

На краю Чертолья, хоть и не смертельно, но все же покалеченного войной, в столице переполненных коммуналок и мучительно-длинных очередей вспыхнул вдруг крошечный пятячок яркого света.

Днем площадки (а их было шесть) почти пустовали, разве что кто-нибудь разминался у стенки, ну, а когда зной спадал, расторопный, ухватистый мужик Михал Ильич — бывший гардеробщик и будущий директор ресторана Дома ученых разматывал шланг, свернутый в кольца, как змея, однако вместо жала шланг, упруго изогнувшись, выпрастывал порцию ржавой

водопроводной жижи, после чего фонтанировал хрустально чисто, с ровным шипением увлажняя нагретый песок.

— Дяденька, облей! Дяденька, облей! — веселились мы, цепляясь за сетку ограды и подтягиваясь на ней, как мартышки.

Михал Ильич великодушно разворачивал «удава» в нашу сторону и под дружный визг окатывал с головы до ног рассыпающейся радужной струей.

Полив предшествовал массовому наплыву игроков.

Вечером на сыроватых, дышащих свежестью кортах разгорались теннисные баталии. Мужчины и женщины в белом наполняли воздух звоном струн, возбужденными восклицаниями, ни с чем не сравнимой радостью изысканного по тем временам удовольствия.

Среди теннисистов были «номерные» перворазрядники и беспомощные новички, не попадавшие ракеткой по мячу, «аполлоны» и толстяки, скромники и щеголи... Тишайшая девушка в заштопанных желтых носочках обыгрывала шумную, надушенную даму, изъяснявшуюся по-французски всякий раз, когда она попадала в сетку или в аут. Говорили, что это самые страшные французские ругательства, переводимые на русский язык выражениями типа: «Черт побери!» Все партнеры звали друг друга по именам-отчествам, были предупредительны, а то и галантны.

Проигравшие в основном турнире непременно разыгрывали между собой утешительную «пульку». Пока опытные игроки молча боролись за победу, дилетанты, перекидываясь через сетку, обсуждали театральные новости, шутили; кто-то предлагал сопернику после партии выпить шампанского и отужинать в «Праге» — ресторане с чешской кухней, только что открывшемся неподалеку, на Арбате. Чей-то приятель удачно баллотировался в академики, кого-то пригласили читать лекции в Пекин, а всякое упоминание о Китае в ту пору и в том кругу вызывало веселое оживление, как будто речь шла о малыше, потешающем взрослых уморительностью своих наивных реакций.

Одно время я оставался на площадке после детской секции и моим соперником был плотный, коренастый мужчина

с серебряным ежиком волос. Играя, он сохранял немногословность и сдержанность. Я знал о нем только то, что зовут его Павлом Алексеичем, что слева он бьет слабей, чем справа, а если «подрезанным» ударом выманить его к сетке, то до «свечи» на заднюю линию он добежать не успеет. Независимо от того, выиграл он мяч или проиграл, Павел Алексеич оставался равно доброжелателен, словно утверждая, что в нашей игре имеет значение не результат, а взаимная радость. Как-то я пошел на Арбатскую площадь, в «Художественный». Перед фильмом показывали киножурнал «Новости дня». И вдруг вижу на экране крупным планом своего постоянного партнера, а диктор сообщает: «Нобелевской премии по физике удостоен советский ученый Павел Алексеевич Черенков...»

Одним словом, дощатый домик-раздевалка на кортах в Курсовом переулке в иные часы вмещал в себя столько блеска, что сам, казалось, начинал светиться, как светлячок, сквозь опутавшие его заросли дикого винограда. По существу, это был клуб, сгруппировавшийся вокруг игры, продолжавшей ее в раскованных пикировках и розыгрышах.

К кортам подкатывали «Москвичи» и «Победы». Жена народного артиста, жившая в особняке напротив, вела секцию для окрестной детворы. Секция притянула к себе всю округу. Теннис стал нашей явью, никогда прежде не будучи даже сном! Такого прекрасного сна никто бы из нас тогда не увидел. Дух захватывало от строгой красоты разлинованных кортов, от общества старших игроков — и каких игроков! Дом Перцова смотрел на этот явленный миру праздник всеми пятью ярусами своих распахнутых окон, в том числе и нашим окном на втором этаже, слева от ворот, а еще левее, в отдаленной глубине меркнувшего неба переливался золотыми куполами вечеревший Кремль...

Нам стало не до футбола. Пышно зеленели нетоптанные газоны, опушались листвой тополя, на клумбе благоухал душистый табак. Дед, подобно нам, должен был бы чувствовать себя на вершине блаженства, однако он разъярился пуще прежнего. То ли теннис, занявший полсквера, уполовинил дедову зарплату, то ли заняло у охраны ретивье, заскучала она от безделья: шпынять-то

некого... Так или иначе, но дед озверел и решил проконсуль-тироваться со своими советницами. Искушенное в дискуссиях «лобби» пришло к мысли о том, что все беды — от кортов. Корты откровенно раздражали: они выглядели слишком ярко, независимо и вызывающе счастливо. С этим надо было бороться: если счастье для всех недоступно, то пусть его не будет ни для кого! Это справедливо.

— Кормящим матерям споддыхнуть негде, а буржуи здесь жиры трясут, покою не дают никакого...

— А то как же? Им главное самим *намахаться*, а народ пускай, как хочет... Больно *умный* стали, больно *ученый*...

— Вот то-то! Мы всю жизнь работали-работали, ничего не наработали... Детям поиграть места нету, с коляской не выйтить!

— Раньше бы не допустили такого. Живо б всех переловили!

Однако, долгое время у «скамеечниц» не было лидера. Дед лишь сопел, ожесточенно прокалывая очередной окурочок. Но ситуация назрела, и предводитель явился.

Им стала наша новая соседка — старуха с мучнистым впалым лбом и лошадиной челюстью, утыканной крупными крепкими зубами. Такая челюсть могла перемолоть кого угодно. Старуха давно угробила мужа, уpekла в тюрьму сына и теперь, оставшись как бы ни при деле, искала, куда приложить свои дарования. Священным долгом почитала она проповедовать среди сограждан принцип равного распределения жизненных благ независимо от усилий и талантов — как раз то, чего так жаждало местное общество. Помимо того, Челюсть пылала классовой непримиримостью и была грамотна.

— Культура для народа, а не для элиты», — изрекла она.

В ее лице общество обрело, наконец, вождя.

И настал один, действительно, несносный, пасмурный день, когда старуха, кипя черным гневом, приковыляла на сквер в компании корреспондента «Советского спорта», представив его как «товарища Тариверди Худаверди». Товарищ Тариверди раскрыл перед бабусями коробочку с припудренными кубиками рахат-лукума и узнал потрясающие подробности о том, как буржуи оттяпали у народа половину сквера, как «ихняя машина» стерла с лица земли песочницу с детскими куличами,

а подкупленные землекопы перекопали те куличики, смешав их с просеянным через мелкое сито песком.

— У нас в Баку такое нэвозможно, — заверил Худаверди, в сердцах пробросив пустую коробочку мимо урны.

«Скамеечницы» зашумели. Пресса возмутилась с ними в унисон. И половину кортов (три площадки) отдали народу. Революция, о которой так мечтал дед, свершилась.

Но не младенцы в колясках, не песочницы утвердились на отвоеванных кортах, а татуированная амнистия в кирзе, перепавшая идеальным дренаж, бессмысленной кучей с подзаборным перематом гонявшая спущенный, хлюпающий, как галоша, «волдырь».

Наспех запеленав грудничков, матери попрятались по дворам. А бабуси, разволновавшись, обратили свои взоры на Челюсть.

— Идея была правильная, — сказала та. — Но кто же мог предположить, что свергнем аристократию мы, а власть захватят уголовные элементы?

— У нас в Баку такое нэвозможно! — категорически заявил Тариверди Худаверди, вновь затребованный из редакции. — Позор!

Все на свои места поставило время. Дед вышел в отставку. «Амнистия» не выдержала испытания свободой. Секция возбуждала вопрос о судьбе кортов, и он решился естественным образом — в ее пользу.

3

Новые времена опять поставили под вопрос будущее кортов как части кардинально изменившегося чертольского пейзажа. Гений места мог бы его теперь сразу и не узнать.

Сначала упразднили бассейн «Москва». Потом закрыли сквер, проведя через него наружную теплотрассу к восстановленному взамен бассейна храму Христа-Спасителя. Сквер огородили металлической сеткой. От храма на другой берег Москвы-реки перекинули пешеходный Патриарший мост. Кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» закрыли...

В доме Перцова уже давно расположилось управление по обслуживанию дипкорпуса. В «Вавилонской башенке» (особняке напротив кортов) — канцелярия посольства Мадагаскара.

Наконец, очередь дошла и до самих площадок. Слишком влекущим оказался для многих этот клочок земли в самом центре Москвы. Слишком низко пал авторитет науки в век бухгалтерии.

Теперь вымахавшие в небо «дедовы» тополя, окружавшие корты, частично вырублены, сами же площадки до поры зияют пустотой. Домик-раздевалка снесен вместе с обвивавшим его диким виноградом. Теннисные корты московского Дома ученых похоронены под напором изменившегося времени. Они родились, жили и умерли в пределах моей судьбы. Примерные годы их бытия: 1954–2013. Когда-нибудь никто и не узнает о том, что они были, равно как и о том, какая жизнь кипела на них и вокруг. Может быть, мое «краеведение» отдалит их кончину хотя бы в памяти ныне живущих.

Я стою на углу дома Перцова и набережной, не около главного входа с наполовину стеклянной двухстворчатой дверью, а возле крохотного изящного подъезда, в котором жила когда-то наша дворничиха с красавицей-дочкой. У них был свой ключ не просто от квартиры, но как бы от персонального подъезда — одной из входных дверей в дом Перцова!

Ко мне приближаются двое доходяг. Один следует мимо, другой приостанавливается у керамических сказочных птиц над входом и спрашивает:

— Вы что так смотрите?

Отвечаю:

— Любуюсь на красоту. Вы видели где-нибудь еще такой дом?

Кажется, он пытается припомнить, но что-то не припоминается. Помедлив, задает иной вопрос:

— А вы что здесь? Турист?..

Теперь с ответом медлю я. Кто я здесь? В подробности не вдаюсь.

— Да... Турист.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ТАРАНТЕЛЛА

В седьмом классе я попал в старый московский особняк на Кропоткинской (ныне — Пречистенке). Его хранили сторожевые львы

над воротами, а богатый интерьер еще не был поваплен вкусом позднейших распорядителей. Стоял апрель. Подтаявший, подсохший, полный добрых предчувствий, такой апрель, каким он обычно и бывает в Москве — не холодным, но и не жарким. Теплым. Предпраздничным. Когда шубы давно уже сменились на пальто, а пальто вот-вот готовы уступить место пиджакам и кофточкам, а те — рубашкам и весенним платьям. Когда в одно прекрасное утро город внезапно опускается первой зеленью, переодевается и предстает совсем иным, нежели он был вчера: не хмурый и заспанным, а просветленным, солнечным, бодрым. Апрель — месяц надежд. Месяц вернисажей, поэтических вечеров, театральных премьер...

Студия Дома ученых готовила мольеровского «Скапена». Готовила тщательно, всю зиму. Пьесу играли старшекласники. Роли были распределены еще осенью и постепенно выучены. Однако в целом спектакль не складывался: текст не «отскакивал от зубов», а вяз, теряя свою свежесть. Отдельные сцены не ложились в общую мозаику и слипались, как тянучка. Артистам становилось скучно от самих себя.

Томительно было слушать, как девочка с комсомольским значком на школьном фартуке, смущаясь того, что ей приходится говорить, произносила:

— Да, Октав, я верю, что ты меня любишь, но не знаю, всегда ли ты будешь любить меня?

А красавец Октав хлопал в ответ длинными черными ресницами и вопрошал:

— Да как же можно тебя полюбить не на всю жизнь?..

— Хорошо, хорошо, — подбадривала мнимых влюбленных Ольга Ивановна — режиссерша, ставившая спектакль. Когда-то она играла в Театре транспорта у Курского вокзала, а Театр транспорта в московской афише занимал далеко не первую строчку.

Ольга Ивановна медленно закуривала сырую толстую папиросу, похожую на серую макаронину, на треть набитую табаком, и присила артистов:

— Пожалуйста, не спешите! Октав, Гиацинта, ну куда вы так торопитесь? Больше проникновенности.

Гиацинта, надав слезу в голосе, продолжала, комкая носовой платочек, а на самом деле как бы в полудреме:

— Говорят, что вы, мужчины, не способны любить так долго, как женщины, и будто самая сильная страсть у мужчин угасает так же легко, как и возгорается.

— Октавчик, на колено, — подсказывала Ольга Ивановна.

Коленопреклоненный Октав, тяготясь собственной наигранностью и не веря ни единому своему слову, признавался:

— Значит, мое сердце устроено не так, как у других, дорогая Гиацинта: я уверен, что буду любить тебя до могилы.

— Боже! Как заунывно, как печально! Простите, что я вас прерываю, но ведь это никуда не годится.

Полный пожилой мужчина с коричневатым, словно не отмытым от грима лицом, чрезвычайно подвижный, вальяжный, распахнув кремовый пиджак и демонстрируя узкие узорные подтяжки, выбежал на середину Белого зала. Репетиция шла в шикарных покоях с картинами старых мастеров в курчавых липовых рамах.

Мы сидели на стульях, которые в музеях служат редкими экспонатами, а перед нами стоял настоящий артист театра имени Вахтангова Вацлав Липинский — некогда блеснувший Хлестаков, несыгранный Чичиков, поклонник французской школы. Его сын, Липинский-младший, играл в «Скапене» слугу Сильвестра и по просьбе Ольги Ивановны обратился к отцу за помощью — проконсультировать постановку, то есть вдохнуть в нее жизнь. Так же как и я, Липинский-старший пришел на репетицию впервые, но в отличие от меня он знал, что делать с этой закисавшей самодеятельностью.

— Детка! — обратился он к Гиацинте. — Вы догадываетесь, сколько идет «Тартюф» во МХАТе? Нет? Четыре часа. Это же смертоубийство! А «Комеди франсэз» играет «Тартюфа» за два с половиной часа без купюр. Вот что такое ритм! Вот что такое темп! Ольга Ивановна, милая, они у вас совсем спят, еще от зимы не очнулись, а уже апрель на дворе. Гиацинта, детка,

*Сумеет ли тебя сегодня добудиться
Крылатый бог Амур, тобою восхищен?
Ты слишком долго спишь, души моей царица!
Проснись! Жизнь без любви — не более чем сон.*

*Не бойся ничего: в стране очарований,
Где властвует Любовь, печали не страшны.
Ведь даже и в тисках сомнений и страданий
Возносят ей хвалу сердца, что влюблены.*

*В себе ее таить — нет тяжелее казни...
К чему казнить себя? Да будет жизнь легка!
Стеснения отбрось и мне в своей приязни
Признайся, не страшась лукавого стрелка...*

Мольер играет с выдумкой, с озорством, расторопно, ходко. В нем есть пафос лирического поэта. Он — смесь изысканности и балагана, эксцентрики и лирики. А главное в нем — темп. Имя «Скапен» происходит от «*scappare*» — удирать, убежать.

— Но ведь здесь... признание в любви, — возразила Ольга Ивановна.

— Ну, и что? Его тоже надо проворачивать в темпе. Гиацинта, дайте мне вашу последнюю реплику... Октав, где текст? Благодарю.

— ... будто самая сильная страсть у мужчин угасает так же легко, как и возгорается, — прошелестела испуганная Гиацинта.

— Значит, мое сердце устроено не так, как у других, дорогая Гиацинта! — пылко откликнулся консультант. — Я уверен, что буду любить тебя до могилы.

И если юный Октав интонационно лег в могилу, то старый вахтанговец отпрянул от нее.

— Мне хочется верить, что ты чувствуешь то, что говоришь, в искренности твоих слов я ничуть не сомневаюсь, — пролепетала Гиацинта, замирая от того, что обращается к Липинскому на «ты». — Я боюсь только, чтобы родительская власть не заглушила в твоём сердце нежных чувств, которые ты, быть может, питаешь ко мне.

— Темп! Произнесите все вдвое быстрее, — взмолился партнер.

И Гиацинта проснулась, оживилась, а живость вернула ей ее очарование.

— Ты зависишь от отца, который хочет женить тебя на другой, а я твердо знаю, что умру, если со мной случится такое несчастье.

— Нет, прекрасная Гиацинта! — снова воскликнул Липинский вопреки Мольеру, ведь в тексте после обращения к Гиацинте стояла всего лишь запятая. — Никакой отец не заставит меня изменить тебе, я скорее расстанусь с родиной и даже с самой жизнью, нежели покину тебя... Октав, подключайтесь! Это ваша роль!

И Октав подхватил заданный ритм. Репетиция пошла, набирая обороты, вдохновленная примером и авторитетом артиста.

Ольга Ивановна не спорила. Роли ребята выучили. Мизансцены Липинский почти не трогал. Все его усилия были нацелены на темп и тон; ими он собирал рассыпанную мозаику явлений.

Но тут возникла новая трудность. Актеры не могли совместить быстроту произнесения с разборчивостью речи.

— Какая у вас каша во рту! Боже мой, какая каша! — сокрушался Липинский, хватаясь за голову. — Где же дикция? Вы совсем не думаете о зрителях. Они как минимум обязаны разобрать текст. И текст не какой-нибудь, а классический. Это же Мольер! А вы превращаете его в неразборчивый анахронизм. Думаете: раз XVII век, то, что с него взять? Нет, классик всегда современен, на то он и классик. Когда говорят, что классика не подвластна времени, именно это имеют в виду: классик созвучен любому времени, не только своему. Но что же нам делать с вашим бормотанием? Куда деваться? Кошмар... Придется кланяться в ножки нашей дражайшей фее.

На следующее занятие Липинский привел под руку наипочтеннейшую даму, передвигавшуюся уже с трудом. Но, как только она добралась до кресла и уселась, едва лишь расправила вокруг себя края золотистой вязаной шали, так, собрав морщинки возле румяных уст, на удивление отчетливо проскандировала:

— *От то-по-та ко-ыт*
Пыль по по-лю ле-тит... —

Внутренне загораясь, фея артикуляции касалась волшебной маленькой ладошкой по очереди каждого из нас и почти губы в губы показывала работу речи:

— *Сшит кол-пак, да не по-кол-па-ков-ски...*

На-до кол-пак не-ре-кол-па-ко-вать,

Пе-ре-вы-кол-па-ко-вать! — Повтори, дружок.

И «дружок», путаясь в зубах и языке, повторял:

— *Сшит кол-пак, да не кол-по-па-пов-ски...*

— *Не по-кол-па-ков-ски,* — терпеливо улыбаясь, повторяла фея, взмахивая крыльями шали.

Зато после того как мы превзошли *не-ре-вы-кол-па-ко-вы-ва-ни-е* колпака, артикуляция мольеровского текста казалась уже до смешного простой, и Скапен легко «околпачивал» папашу Арганта, внятно строя ему свои бессмертные аргументы:

— Да вы посмотрите, что в судах делается! Сколько там апелляций, разных инстанций и всякой волокиты, у каких только хищных зверей ни придется вам побывать в когтях: приставы, поверенные, адвокаты, секретари, их помощники, докладчики, судьи со своими писцами! И ни один не задумается повернуть закон по-своему даже за небольшую мзду...

Перечислив все прелести судопроизводства, Скапен дал Арганту добрый совет:

— Нет, сударь, если можете, держитесь подальше от этой преисподней. Судиться — все равно, что в аду гореть.

Я аккуратно ходил на репетиции, радуясь тому, что спектакль крепнет; наблюдая, как вертится по залу хитроумный слуга; как два обманутых им семнадцатилетних отца-негоцианта Аргант и Жеронт дружно воздевают руки к люстрам, каждая из которых стоит целое состояние; как хорошенькие шестнадцатилетние «дочки» этих «папаш», Гиацинта и Зербинетта, подбирая воображаемые кружева, то есть школьные фартучки, капризно топчут на месте, желая немедленно выйти замуж за своих ровесников, Октава и Леандра; как тугодум Сильвестр, оставшись один, произносит вполне уместно:

— Вот уж, можно сказать, удивительный случай!

Я замечал, что Липинский нет-нет да и посмотрит сочувственно на меня, сидевшего без роли. Пьесу я знал близко к тексту, однако вакансий не было. Правда, Ольга Ивановна пообещала мне роль в новом представлении на будущий год.

До премьеры оставалось три недели. Наш спектакль уже значился в календарном плане Дома ученых на май:

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
МОЛЬЕР
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия в трех действиях
Постановка — О. И. ЛУРЬЕ
Консультант — заслуженный артист РСФСР
ВАЦЛАВ ЛИПИНСКИЙ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 15:00

Папа прочел календарный план с карандашом в руке и поставил напротив Мольера жирную красную птицу. Мама уточнила, во сколько начало, а Филипповна довела до сведения соседей, что «у воскресенья усе идуть в Дом вученых на спихтакаль. Наш не вучаствуить. Роли не хватило. Но на другой год бешшають...»

Кроме родственников и друзей, на представление могли прийти ученые, в том числе театроведы, знатоки Мольера. Артисты трепетали, а я даже радовался, что у меня нет роли: можно не волноваться.

Репетируя, мы добрались, наконец, до последнего, тринадцатого, явления последнего, третьего, акта.

Липинский прочел вслух авторскую ремарку:

— «Те же и Скапен».

Скапен (с обвязанной головой, будто бы ранен; его вносят два носильщика...) — Стоп! А где у нас носильщики?

Ольга Ивановна закурила «Беломор» и, выпустив синеватый дымок, ответила:

— Носильщиков у нас нет. Поскольку обмен репликами ведется между Скапеном и отцами, внести Скапена могут сыновья.

— Слугу вносят господа? — усомнился Липинский. — А в действующих лицах носильщики значатся?

— Да. В самом конце. Два носильщика.

— Значит, они нужны! Вот вы, детка, и будете у нас «два носильщика», — обратился Липинский ко мне. — Идите сюда. Возьмите Скапена под мышки и тащите его на середину.

Скапена играл Сережка Ширингин, давно переименованный нами в *Ширинкина*, так же, как его Скапен стал *Шкапеном*. Сережка был старше меня, но легче, дробней. Я подхватил его под мышки и выволок в самый центр зала, под люстру. Он провис у меня на руках. Ему было неудобно, однако поза отвечала неловкости ситуации, в которую он попал по Мольеру.

— Ах, ах! Видите, господа... Видите, в каком я положении! — повторял Скапен, сползая с рук, так что мне невольно пришлось его встряхнуть и подпереть сзади коленкой.

— Йошкар-Ола! Ты что делаешь? — дернулся было Сережка. Но у «двух носильщиков» не забалуешь. «Мы» держали его крепко.

— Продолжайте! — смеясь, крикнул Липинский. — Это в духе мольеровского балагана.

— Ах! Господа! Прежде чем испустить последний вздох... — продолжил плут, но тут «носильщики», войдя в роль, снова дали ему легкого пинка.

Привыкший озоровать сам, Скапен почувствовал себя беспомощным. Тем более что он был связан репликами, а «мы» — нет.

— ...простите за все, что я вам сделал...

И начались переговоры Скапена с папашами.

— Говорят тебе, перестань...

— Ах, как вы добры, сударь!..

— Ну, да, прощаю...

— Ах, сударь...

— Ну, нет...

— Как же так?..

— Если ты выздоровеешь...

— Ох, ох! Мне опять хуже!..

Сережка совершенно обвис, и держать его «нам» стало невозможно. Ну, за что автор лишил носильщиков дара речи? Хоть бы какая реплика, освобождающая от груза!

Шкапен навалился, «мы» оступились, и все загремели на паркет.

— Я так не играю! — закричал *Ширинкин*. — Он меня уронил. У Мольера этого нет!

— Идемте, отужинаем вместе и повеселимся как следует, — в согласии с автором предложил один из отцов.

— А меня пусть поднесут поближе к столу... — начал Скапен и, увернувшись от «носильщиков», поскакал в угол зала на своих двоих.

— Поздравим нового исполнителя со вступлением в роль! — сказал Липинский, взяв меня за руку.

— В две роли, — уточнила Ольга Ивановна, улыбаясь.

— Жалко, что мы не играем «Много больного», — съехидничал *Ширинкин*. — Там бы тебе могло перепасть сразу восемь ролей!

— Каких? — спросила Гиацинта.

— Восемь клистироносцев!

— Фу!..

— Если бы мнимым больным был ты, я бы согласился.

— А если ты мне, Йошкар-Ола, и на сцене пинка дашь... — сжал кулак Скапен.

— ...то все обхохочутся, — заключила Гиацинта.

И мы, подталкивая друг друга, побежали в киноаудиторию — двухэтажный зал с античными гипсовыми головами — в зал, где днем занималась изостудия, а вечером танцевали мы.

Никаких танцев в спектакле не было. Просто нас учили «движению».

Кареглазая бабушка-хореограф, постукивая шпильками туфель и мягко приседая на поворотах, разучивала с нами польки, вальсы, танго и фокстроты. Толкотни на этих занятиях было больше, чем прока. Все предавались веселью. Но если девочки веселились всерьез, то парни выкаблучивались, как могли, поэтому в девичьей радости была красота, а в нашей — одна шкода. Почтенные папаши, вальсируя, припадали на якобы разбитые подагрой колени; Октав и Леандр наступали друг другу на пятки; Сильвестр норовил превратить фокстрот в рок-н-ролл. Только я на правах новенького удерживал свой пыл.

— Как успехи? — спросил однажды Липинский у хореографа.

— Молодые люди валяют дурака, — честно призналась бабуся. — Танцуют лишь девочки и новенький.

— Вот и отлично! Разучите с ними тарантеллу¹. Это будет вставной номер. У Мольера сказано: «Действие происходит в Неаполе». Так пусть нам украсит спектакль «Неаполитанская тарантелла»!

Вива, Италия! Вива, Мольер!

Генеральная репетиция была на носу. К ней мы и подготовили тарантеллу. Дома я рассказал о том, что теперь у меня три роли: «двух носильщиков» и танцора.

— Не было ни гроша, да вдруг алтын! — отреагировал папа. — А слова у тебя есть?

— Слов нет.

— Нету слов... — улыбаясь, развел руками отец.

— Зато я целое явление держу Скапена, а потом падаю с ним...

— Что же это за роль такая: держал-держал да и грякнул-си? — спросила Филипповна.

— Роль эпизодическая. Он занят в эпизоде, — пояснил папа и добавил. — С этого все великие артисты начинали: Раневская, Мартинсон...

— А костюмы у вас будут? — поинтересовалась мама.

— Не знаю. О костюмах речи пока не шло.

— Куды уж тут костюмы — на пол-то грякаться? — усомнилась Филипповна и вышла в коридор:

— Телехвон звонить...

— Узнай про костюмы, — забеспокоилась мама. — Может быть, надо самим готовить?

— На три роли, — уточнил папа.

Тем временем Филипповна объясняла кому-то по телефону:

— На следующее воскресенье у их спихтакаль... Да... У Доме вученых... На какой Миластроиской?.. Не на Миластроиской, а на Кропотинской... За аптекой. Нашему нонча роль дали. Одного парня держать, а посля вместе с им грякаются. И смех, и грех...

А перед генеральной репетицией произошло событие, взволновавшее всех артистов. Особенно девочек. Мамины опасения

¹ Тарантелла — итальянский народный танец.

оказались излишни: шить наряды самим не пришлось. Напрокат нам привезли шедевры театральных мастерских — настоящие французские костюмы XVII, ну, от силы XVIII века!

Скромный Скапен переоблачился из школьного кителя в шитую серебром тужурку, белоснежное жабо и какой-то фартовый кепадь. Папаши утонули в непомерных париках, куделями свисавших на грудь. Они плыли в роскошных камзолах и широких плащах с меховыми муфтами. Оба отца были одеты по существу одинаково, отличаясь не столько деталями туалета, сколько их распределением, но распределение вносило во внешность каждого иное качество, подобно тому, как перестановка слогов превращает существительное «*модельер*» в имя собственное: «*де Мольер*».

Сыновья немедленно схлестнулись на гибких, точно прутья, бутафорских шпагах, переливаясь всеми позументами добротного жюстокора¹, стуча один — башмаками с бантами, другой — туфлями «а ля кавалери».

А девочки... О, девочки превратились в светских красавиц, щеголяя приподнятыми, собранными в рюмочку талиями, распашными юбками, разрезными рукавами, кружевной отделкой манжет, неподвижным твердым кружевцем стоячих воротников!

В костюмах мы вышли репетировать на сцену Большого зала. Мы учились не путаться в кулисах; не наступать на хвосты дамских платьев; засовывать шпаги в ножны легко, не глядя, вместо того чтобы мучительно тыкать острием мимо, и — увлекшись этим занятием, — забывать текст. Мы тренировались ходить по грубым доскам сцены, как по зеркальному паркету Белого зала, куда больше напоминавшему Версаль или дворцы неаполитанских негоциантов, нежели напоминали о них эти корабельные подмости.

Прогон пролетел на одном дыхании. Тарантелла гремела и ликовала. Девушки с цветами кружились вокруг меня, мелькавшего белой рубашкой, перетянутой красным кушаком. Рыжая аккомпаниаторша за кулисами всаживала пальцы в клавиши по

¹ Жюстокор — длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с карманами и короткими рукавами.

вторую фалангу, перебирая педалями, как «тормозом» и «газом». А я брэнчал на струнах расстроенной мандолины, гремя высокими каблуками старинных туфель с блестящими пряжками.

Липинский сказал, что тарантелла — камертон спектакля, что весь его надо играть так, как мы танцуем ее.

В тринадцатом явлении третьего действия «носильщики» по обычаю уронили Скапена, смягчив его гнев тем, что хлопнулись рядом. А последняя реплика Арганта: «Идемте, отужинаем вместе и повеселимся, как следует», — была воспринята всеми буквально. После прогона мы отправились на «французский ужин» — в Савельевский переулок, домой к Зербинетте, мнимой цыганке.

Намечались: красное бургундское, сыр с плесенью и бисквиты. Наличествовали: водка московская, сельдь тускло-сизая, хлеб черный. Аристократические изыски опрокинуло нормальное рабоче-крестьянское меню.

Нож не резал. Буханку черного в ключья разорвали в воздухе голодными руками. Зелье подействовало безотказно. Воспоминания о Неаполе померкли в грохоте «рока». Тут пошла уже совсем другая музыка и другая география:

*Й-Истамбул, Константинополь.
Й-из Парижа в Андрианопись
Два дня й-ехали, три дня топали.
Й-Истамбул, Константинополь!.. —*

дорывался папаша Аргант, а коллега Жеронт подхватывал «рок»-эстафету:

*Ай-вай-вай!
Парижский ай-вай-вай!
Положишь на ложечку варенья —
Почувствуешь под ложечкой
У-дов-лет-во-ре-ни-е!*

И все горланили как один:

Й-Истамбул! Константинополь!..

Сильвестр извивался посреди комнаты между Зербинеттой и Гиацинтой, по очереди рывком привлекая к себе то одну, то другую. Сыновья чокались, размахивая стаканами, а Скапен вопил на всю квартиру:

— Ребята! Вы посмотрите, что в сосудах делается, Йошкар-Ола! Почему водки нет?

...Поздно вечером «два носильщика» тащили на себе потерявшего устойчивость *Шкапена*. В глазах у него двоилось. Время от времени он повелевал:

— Рабы, к морю! Хочу купаться...

Но купаться ему, подгулявшему, пришлось сперва дома — в материнских слезах, заодно брызнувших и на «носильщиков», а потом — в лучах славы. Друзья и родственники артистов аплодировали им со всей щедростью жаждавшейся представления публики. Родители не узнавали своих чад, задрапированных в наряды времен Людовика XIV. Под самый финиш «носильщики» уронили-таки Скапена, но по дружбе поймали на лету. А неаполитанская тарантелла — камертон спектакля — и поныне звучит во мне, осыпаемая цветами — той первой, подмосковной, дымчатой, майской сиренью, что так быстро увядает наяву и никогда — в памяти.

ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТеноЙ

1

Во время войны, когда меня еще и на свете не было, в наш дом попала бомба. Немецкий летчик не долетел несколько сот метров до защищенного зенитным огнем Кремля и метнул фугасы двумя секундами раньше, чем от него требовалось, — на жилой квартал.

Представляю, как мелькнули в его прицеле колокольня церкви Ильи Обыденного, серая лента Москвы-реки, дом Цветкова на набережной, наши переулки, которые станут такими родными

для нас и останутся такими безразличными ему; как бомбы, ускоряясь, пошли к земле и соседнее строение, взмучиваясь клубами пыли, опало в руинах, а наше — дом Перцова — фугас прошел насквозь и застрял в подвале, так и не взорвавшись.

Все внутренние перегородки в квартире на втором этаже, куда мы переедем лет через семь после налета, оказались тогда разрушены и заменены временными — фанерными. Стоило постучать костяшками пальцев по внешней, капитальной, и внутренней стенам, чтобы убедиться в разнице отклика.

Вообще такое отвратительно-грубое физическое воздействие, как бомбовый удар, породило массу акустических недугов — последствий иногда весьма тонких, но не о них пойдет тут речь, а о тех влияниях, которые переменявшаяся слышимость оказала на жизнь населявших квартиру жильцов, когда понятие «*звукоизоляция*» утратило смысл, уступив место понятию «*звукопроницаемость*»; когда старое иносказание: «*стены имеют уши*» обогатилось дополнительным оборотом: «*а уши стен не имеют*».

Внутренняя перестройка сделала звуковую индикатрису квартиры достаточно прихотливой, как говорят, анизотропной; иными словами, звук распространялся в разные стороны по-разному. Крепкие перекрытия между этажами предохраняли нас от шума сверху и снизу. Капитальная внешняя стена и широкое окно с двойными рамами защищали от тишайшего и не требовавшего никакой защиты Курсового переулка. Окна с противоположной стороны квартиры выходили в глухой колодец двора. Короче, весь звук гулял между поделенными на четыре семьи четырьмя комнатами: двумя по левую сторону коридора и двумя по правую.

Нашим непосредственным соседом был дипкурьер Сверчков с женой и сыновьями: меланхоличным меломаном Гошей и младшим Шуриком — щупленьким и шустрым, как атом водорода. Сверчковы жили сравнительно мирно. Отец часто бывал в отлете, Шурик более или менее слушался маму, а Гоша, от природы задумчивый, бледнолицый мальчик, никогда не создавал никакого шума. Это был идеальный сосед.

Напротив нас через коридор квартировала охочая до мужского пола уборщица Nadin с дочерью Диной — девушкой на

выданье и поклонницей Бальзака. А к ним примыкал пенальчик с коллегой Филиной — женщиной мертвой вратарской хватки и джамбульского возраста. Поскольку женские летá всегда есть дело сугубо личное, то ограничимся лишь двумя пояснениями:

— под «*джамбульским*» понимается возраст старейшего акына Советского Союза Джамбула Джабаева (1846–1945). Таким образом, женщина джамбульского возраста настолько же богаче летами женщины возраста бальзаковского, насколько долгожитель Джамбул богаче мужчины средних лет Оноре де Бальзака (1799–1850);

— а под акыном разумеется человек, который пишет о том, что видит, в отличие от писателя, который видит то, о чем пишет.

Звукопроницаемость между Nadin и Филиной была точно такой же, как между нами и дипкурьером, а именно: желанию оставаться в курсе всех соседских событий удовлетворяла самая скромная острота слуха. Однако коридор надежно отделял нас от дружественной оппозиции, а ее — от нас. Здесь уже индикатриса призывала к ухищрениям. Скажем, к замедлению шага при прохождении в ванную комнату. Этот способ сбора информации успешно применяла Глафира Поликарповна Филина, мотивируя неторопливость своей поступи как годами прожитой жизни, так и экономией электрической энергии: обычно Глафира пробиралась по коридору впотьмах на ощупь, но уже заранее на свету начинала исподволь шевелить, как локаторами, загнутыми желтыми ушами и, как антеннами, выставленными вперед пальцами обеих рук.

А наш недостаток сведений об умонастроениях оппозиции с лихвой окупался тем, что как раз напротив нашей двери помещался общественный телефон. Реагировал он исключительно на повышенный голос, а спокойный доносить до абонента категорически отказывался. Это означало, что всю информацию, в том числе совершенно секретную, по телефону надлежало прокрикивать. А если вы не хотели, чтобы ваша тайна становилась достоянием гласности, ее, тайну, следовало метафорически камуфлировать, переводя в разряд загадочных кодов. Но и коды приходилось время от времени менять.

Главной шифровальщицей в нашей квартире работала Глафира Поликарповна, а главной дешифровальщицей — Nadin. Филиновская шифровка типа: «А у нас опять в гостях любитель «Казбека» — успешно употреблялась два, от силы три раза, после чего Nadin становилось ясно, что понимать ее надо так: «А Надежда Петровна снова сдает койку приезжему с Кавказа». Работа мысли приводила Филину к новой шифрограмме: «Скоро, скоро воды Куры потекут в Москву-реку...», — и этот гидротехнический феномен некоторое время надежно вуалировал истинный смысл предполагавшегося события: приезд торгового гостя с берегов Куры.

В самом деле, благодаря общительности Конкиной-старшей номер нашего телефона быстро снискал всесоюзную известность. Можно было подумать, что по радио регулярно объявляли: «Граждане! Пользуйтесь услугами московской городской телефонной сети. К сведению иногородних: по всем вопросам, связанным с временным проживанием в Москве, обращайтесь по телефону: Г-6-11-54. Повторяем номер: Г-6-11-54». И от желающих не было отбоя.

В этих условиях важным становилось умение переключаться: когда интересно — слушать; когда не интересно — не обращать внимания. Но подобный совет, пригодный для сеансов телефонии, оказался неприемлемым по отношению к ближайшим соседям за стеной. Если бы они говорили всегда с одинаковой громкостью! Но нет. В том-то и штука, что общались они то тише, то громче, а то и вовсе умолкали, и зависело это строго от серьезности обсуждаемой темы.

Пока речь велась о какой-нибудь ерунде, Сверчковы стрекотали напропалую. Дипкурьер что-то доказывал супруге; дипкурьерша его оспаривала.

Иногда, чудесно расширяя отведенный ему природой вокальный диапазон, Сверчков-отец спускался до громоподобных низов, взывая:

— Людмила! А совесть у тебя есть?!

Порой она уходила в заоблачную колоратуру, по-алябьевски певуче солируя:

— А что-о у *тебя-то* есть, а что-о у *тебя-то* есть, можешь ли ты мне ска-а!-ска-а-ска-а-а-а-зять?!

Порой голоса сплетались в дуэт:

- Людмила!
- Уйди с глаз моих!
- Бессовестная!..
- Постеснялся бы соседей!..

К солистам с воодушевлением подключался Шурик. Начиналась полифоническая перебранка на манер итальянской оперы-буффа¹, когда каждый настойчиво проводит собственную партию, не слушая партнеров и не заботясь о том, слышат ли его они. Бывало, за стеной что-то падало, иногда со звоном.

Однако, как только речь заходила о чем-либо существенном, крик мгновенно стихал, и комната за фанерной стеной словно вымирала, превращаясь в глухой погреб, в подвал, в бетонное бомбоубежище, откуда не просачивалось ни единого звука. Можно было сколько угодно прикипать ухом к обоям, скользить им от плинтуса к потолку и обратно, выискивая хоть какую-нибудь звуковую протечку, хотя бы малейший ее след — тщетно. Ничего кроме сладкого голубиного радиоворкованья из-за стены не доносилось: «К сведению иногородних... Повторяем номер телефона: Г-6-11-54...»

Благо, о существенном соседи по обеим сторонам коридора говорили редко, так что хроническим перенапряжением слуха никто из жильцов не страдал.

Случалось и так, что тишина у Сверчковых воцарялась тогда, когда страсти накалялись у нас. Вообще синдромы гнева, равно как и флюиды умиротворенности, ничуть не хуже, чем звуковые волны, пронизали фанерный лист, пасторально оклеенный с двух сторон бумажными обоями в цветочек. В конце концов, раздраженность или покой чувствовались и без вспомогательных сигналов, возбуждая или успокаивая наши сердца.

¹ Опера-буффа — итальянская комическая опера.

2

В сложившейся акустической обстановке серьезную озабоченность жильцов вызывал вопрос о музыкальном образовании детей.

— Аристарх сказал, у Динки слуха нет, — делилась по телефону Nadin, ссылаясь на авторитет бывшего мужа — динкиного отца, и ни в какое обучение дочь не отдавала.

Я поначалу только баловался музыкальными приношениями ближайших родственников. То у меня появлялся какой-нибудь пластмассовый кларнет с четырьмя дырочками, дисциплинированно издававшими одну и ту же ноту, то детский ксилофон, рассыпавшийся мелкими колокольцами расстроенной музыкальной шкатулки. Как-то дедушка подарил мне красный пионерский барабан с кленовыми палочками впридачу.

Сверчковы за стеной напряженно затаились при первых же тактах воинственно треснувшей дробы. Но недолго изображал я движение русских полков по полю Полтавской битвы. Уже отдаленный грохот приближающихся войск выкурил папу вместе с папиросой в коридор; утомил маму, сказавшую, что ее барабанные перепонки этого не выдерживают; замкнул в себе Акулину Филипповну и, признаться, несколько разочаровал меня самого монотонностью ратной побудки.

Все же в целом вопрос оставался открытым. Сверчковы чувствовали, что кларнет, ксилофон и барабан могут вылиться в нечто более постоянное, пусть и менее однозвучное. Они, например, очень насторожились, узнав, что мы с мамой побывали в десятой квартире у художника Куприна. Конечно, пейзажи — дело тихое, и шорох беличьей кисточки по выпуклым клеточкам шершавого холста не способен посеять панику даже в трепетных курьерских ушах. Однако им стало известно, что наше внимание привлекли не только пейзажи благообразнейшего Александра Васильевича. Пленэр пленэром, но ведь старичок изготовил домашний орган собственной конструкции — достаточно полнозвучный инструмент, обладавший удивительно долгим эхом; инструмент, на котором конструктор с авторским удовольствием исполнил нам свои трехголосые инвенции (заметьте: *трехголосые!*)

Нет, опасения, вызванные органом, не оправдались, второй орган для меня Куприн делать не стал, зато однажды, ничего не подозревавший и чуть-чуть сизый от «Бренди» голубь дипломатической почты, прилетев из Сан-Франциско, получил прекрасную возможность познакомиться со всеми особенностями звучания натурального мажора в исполнении начинающего пианиста. Мне купили черную черниговскую «Украину» — настоящее пианино, спорившее грацией со старинной купеческой горкой¹, — пианино, которое на широких лямках через плечо внесли в квартиру два лохматых грузчика на дюжих лапах. «Лапы», мелко перебирая, пританцовывали на поворотах; грузчики по-товарищески предупреждали друг друга:

— Ноги, ноги береги!

А от меня требовали, напрягая багровые шеи:

— Мальчик, уйди отсюда... И отсюда уйди!.. Поторонись!..

Я уходил отовсюду; меня не оставалось нигде; няня тоже сторонилась, давая проход, отодвигала обеденный стол и распоряжалась:

— К стеночке, к стеночке ея, пиянину-то, становьте, к стеночке. Уп-лотную. А вывеской чтоб наружу.

— Паркет не поцарапайте, — просила мама, только вчера до зеркального блеска натершая вощеный пол жесткой засаленной щеткой.

Единственное свободное место, куда помещалось пианино, — впритык к сверчковой стене. Туда его и поставили.

Дипкурьеры ответили на наш непреднамеренный вызов буквально тем же. Недолго думая, новые мелко семенящие «лапы» попытались втащить в нашу комнату вторую «Украину», но догнавшая их дипкурьерша велела заносить покупку в соседнюю дверь. С противоположной (курьерской) стороны — инструмент в инструмент — стало пианино для Гоши. Это был сильный ход, поскольку, кроме Гоши, к открытой клавиатуре то и дело подскакивал шустрый Шурик, но в отличие от брата Водород брякал по всем клавишам подряд, ища гармонии в случайных

¹ Горка — здесь: пирамидальный шкафчик для дорогой посуды.

комбинациях пальцев. Правда, из этого у него ни фигá не получалось. Музыкальные пробы продолжалось до тех пор, пока Сверчков-папа не вспылил как-то со сна, разбуженный непринужденностью шуркиных импровизаций, и не отходил его подтяжками по чему попало.

Если верить «фонограмме», Шурик изворачивался вокруг отца, как мог. Дипкурьер пытался слегка отстранить сына, чтобы не стегнуть по себе, а Водородик, напротив, активно сближался с папашей, хватая того за руки. Так образовалось новое соединение, которое по всем правилам химической номенклатуры следовало бы назвать *гидридом дипкурьера*. Соединение это, лишённое вкуса, запаха и металлического блеска, вопило однако со страшной силой. К счастью, оно оказалось неустойчивым и скоро распалось на элементы. Один из них (а именно Водород) моментально испарился и прямо перед носом у Филиной захлопнул за собой дверь коллегиального туалета.

— Шурик! Я — последняя, — удивилась ветеранша. — Почему без очереди?

— Глафира Поликарповна, предупредите: я за вами! — выглянула из своей комнаты Nadin.

— Вы — за Шуриком, я первая подошла.

— Но ведь Шурик уже там...

— Безобразие! Сейчас отца позову. Выходи, слышишь?

— Не могу, — голосом атлета, выжимающего десять пудов¹, отозвался Водород.

— Вот я те щас покажу «не могу»! Вот я те щас покажу... — твердо обещал курьер, сотрясая дверной крючок. Тот соскочил, и сын с отцом снова обнялись после недолгой разлуки. На сей раз вновь образовавшийся гидрид бурно прореагировал со спущенной водой и, не распадаясь, а только дрыгая во все стороны свободными связями, продиффундировал восвояси.

— Ишь, какой барчук выискался! — заметила коллега Филина. — Ему бы на каждую семью по туалету, чтобы утонуть в роскоши. Буржуй! И свет за собой не погасил...

¹ Пуд — мера веса, равная 16 кг.

— Подождите, Глафира Поликарповна. Сейчас моя очередь, — подоспела Nadin. — Вы же сами сказали, что я за Шуриком...

— Шурик влез без очереди, а вас я не пропущу!

— Ну, и не надо.

— Вот и все.

— Подожду.

— То-то же.

Между соседками затеялась любимая у женщин игра: «Кто оставит за собой последнее слово?»

— Мне не к спеху, — известила оппонентку Надежда Петровна.

— Существует порядок, — ответственно, как депутат, резонировала Глафира Поликарповна уже из-за двери.

— Еще позвонить успею, — произвела утешительный маневр Nadin.

— Вот и звоните, куда вам надо, — сделала свой ход Филина.

— Да вот уж у вас и не спрошу, куда мне звонить...

Тем не менее, Конкина оставалась на месте. Что-то удерживало ее, подсказывало: не уходи, не уходи... Она чувствовала, что дебаты мешают депутатше справляться со своими основными обязанностями, и, хотя в интересах Надежды Петровны было поскорей выдвинуться самой, захотелось не просто отозвать коллегу досрочно, а полностью предотвратить осуществление ее ближайших перспективных планов.

— Глафира Поликарповна, вы там живы? — заинтересованно полюбопытствовала Nadin.

— Отойдите от двери, — сурово ответила Филина, шурша решениями очередного «внеочередного» Пленума ЦК КПСС и будучи уверена, что ее регламент еще далеко не исчерпан.

— Не грубите! — возвысила голос Конкина, обратившись за поддержкой к хронологии. — Я тут испокон века живу, а вы только три года как въехали.

— Вы мне мешаете, — признала свое поражение Глафира.

Удовлетворенная Nadin пошла звонить, проявив свойственное ей в таких случаях человеколюбие. Сдавшихся она всегда щадила. Даже женщин.

А Гоша тем временем занялся разучиванием натурального мажора, поднимая настроение отцу с матерью и сбивая меня, худо-бедно справлявшегося уже с натуральным минором. Такая эмоциональная противофаза сложилась только из-за того, что наша «Украина» образовалась раньше курьерской, а потому, если я, «*дольче глиссандо*» (*нежно скользя*) спускался по клавишам, то Сверчков-Младший «*квази уриозо*» (*как бы иступленно*) начинал молотить за стеной в четыре руки с подоспевшим Шуриком. А если Георгий «*лакримоза деларозо*» (*слезно, с тоской*) взывал ко мне из-за бумажных цветочков на стене, я «*помпозо мистериозо*» (*величественно и таинственно*) отвечал на его мольбы, переходя на «*порландо морморандо*» (*ворчливый стариковский говорок*), чуждый как слезной тоски, так и *певучей жалобности* («*констабиле ламинтабеле*»).

В конце концов, годы испытаний закалили нас до такой степени, что каждый, слушая чужое, мог играть свое с не выключенным радио и говорящим телефоном. Ни Гошу, ни меня композитор Сергей Сергеевич Прокофьев не смог бы провести так, как он провел одного господина полковника.

Вот эта история, изложенная самим рикошетником Прокофьевым:

«В одно сухое осеннее утро я шел на репетицию, звонко отстукивая каблуками по пустынному тротуару. Из бокового переулка появился полковник и, позвякивая шпорами, пошел сзади меня. По военной привычке, чувствуя мой мерный шаг, он попал в ногу со мной и в течение некоторого времени топ-топ-топ моих каблуков сливались с дзинь-дзинь-дзинь его шпор... Я это заметил; мне сначала понравилось, а потом захотелось пойти синкопой¹. Я задержал ногу на полшага и дальше пошел нормально, попадая как раз посередине между позвякиванием его шпор. Получилось топ-дзинь-топ-дзинь-топ. Полковник, который, вероятно был занят собственными мыслями, вдруг заметил, что идет не в ногу, и выправился, но я уже уловил игру и одновременно с его перестройкой сам перестраивался

¹ Синкопа — смещение ритмической опоры с сильной доли такта на слабую.

на новую синкопу. То обстоятельство, что он никак не может попасть в ногу, видимо, стало раздражать его: шпоры зазвякали нервнее, я услышал несколько перестроек с топаньем подошвы, затем шпоры зазвучали слабее и откуда-то сбоку. Я покосился в ту сторону, и увидел, как полковник по диагонали пересек улицу и ушел на противоположный тротуар».

Синкопа оказалась услышанной полковником, поскольку улица была тиха. Мы же с Гошей сбить друг друга такими тонкими ухищрениями не могли, ведь наши «синкопы» тонули в куда более мощных коммунальных эффектах.

— Але! Это Тбилиси? Кто у телефона? Мне Автандила нужно! — кричит в трубку Надежда Петровна. — Это Автандил? Здравствуй! Ты когда же приедешь со своими мандаринами, еж твою клеш?! Мы уж тут заждались. Динка все просит: «Мать, мандаринчиков охота...» Смотри, а то я твою койку сдам. Ко мне Рашид набивается. С Ташкента. Помнишь его? Такой — с золотой фиксой...

— А у нас скоро появятся цитрусовые... — прозрачно кодирует подруге переговоры с Грузией Глафира Поликарповна.

И только глубокая ночь делает тишину в квартире по-настоящему чуткой, такой, что слышен лишь легкий шорох школьного перышка по бумаге. Свет погашен. Горит одна настольная «лампада» под зеленым абажуром. От нее тепло и уютно. Это папа готовится к лекции.

Тш-ш-ш...

3

Ночь, ночь...

Она придает нашей обители облик, полный безмолвия, закутывает ее плотным покрывалом немоты. Прекращаются комические дуэты и трио за стеной. По обеим ее сторонам иссякают каскады обильно льющих гамм. Умолкает междугородний телефон. Никто, шмыгая шлепанцами, не пробирается на ощупь по коридору. Давно спит Nadin.

Погружается в сон Дина с томом Бальзака, пересыпанным закладками-фантиками на каждой симпатичной ее девичьему сердцу страничке.

Супостат умственного труда — бестолковый дневной шум сдает свои позиции до утра. Тишина обостряет слух и позволяет улавливать то, что днем не уловить.

Вдруг коротко «стреляет» платяной шкаф. Мышка с перепугу ворохается в углу под плинтусом. Вдруг толстая рояльная струна, как бы обрываясь, сама собой подает голос, и гулкий отзвук некоторое время колеблется в воздухе.

За стеной суматошно всхрапывает дипкурьер. Может быть, ему снится кошмар с пропажей дипломатической почты, которую, по слухам, он возит зашитой в специальном поясе на себе.

Весной, когда рамы открыты, и ночная прохлада волнами вливается в комнату, долго-долго дрожит в окне стук каблучков по Курсовому переулку — такой пустынно-отчетливый, такой очаровательно-чуткий...

Потом все заволакивают пеленой густые рассветные сумерки. А в ту самую пору, когда спится особенно беспробудно и сладко, от реки тянутся косые полосы тумана, и уже утром, после шести, с кортов под окном начинает доноситься шум пенящейся водяной струи, свежо и мягко опадающей на песок. Это дежурный поливает из шланга высоким, бьющим в небо фонтаном празднично размеченные оранжево-белые площадки, еще не занятые ранними игроками.

Во входную дверь нашей квартиры несмело звонит молочница, привезшая из пригорода бидон парного молока. Ее чистая телогрейка стойко пахнет хлебом, а молоко она наливает в кувшин через подсиненную марлю. Струя ласково плещет по дну и, увлажняя жирные марлевые соты, тягуче-медленно, сосредоточенно-опрятно наполняет кувшин до самого горлышка.

Под эту музыку я и просыпался.

4

Теннис все чаще отвлекал меня от пианино: чем дольше держал я мяч над сеткой, тем короче делались мои музыкальные вылазки. Одно время мы с Гошей играли в унисон и могли бы разучить что-нибудь в четыре руки на двух пианино. Затем

снова возник диссонанс, но на сей раз оттого, что Гоша меня обогнал.

У меня сменилась учительница. Вместо молодой, порывистой, требовательной мадемуазель Мгебровой, иногда от досады шлепавшей меня по рукам крепкой душистой ладошкой, пришла пожилая, уравновешенная, мягкая Елена Михайловна, никогда не делавшая замечаний, а только поправлявшая ученика без тени раздражения. Тем не менее, занятия принимали принудительный характер, но принуждение исходило не извне. Я принуждал себя сам. Из уважения к учительнице. Из неловкости перед домашними. Из нежелания бросать учебу на полдороге, когда маленький сольный концерт стал уже пройденным этапом. Из чего угодно, но только не из душевной потребности.

О, клавиши черно-зеркальной «Украины»! Вас оказалось слишком много на десять моих непослушных пальцев... О, едва тронутое мной по краям безмерно великое поле классики! Ты раскинулось слишком неохватно, ты обескуражило меня своей необозримостью, ты требовало от меня виртуозности, которая казалась мне недоступной, как черта горизонта. Я не смог тебя перейти и потерпел поражение. Я бежал с поля битвы, словно русская армия под Аустерлицем, бросая оружие и теряя боевые знамена. Это было грандиозное отступление. Быстрый и полный разгром.

Единственное, чего мне удалось достичь, так это закрепить-ся в подвале соседнего дома, где помещался так называемый «Красный уголок» и давал уроки одновременной игры на гитаре всем желающим гитарист Саша, страдавший *от* радикулита и *по* французской киноактрисе Марине Влади. Вечерами в «Уголке» собиралось человек двадцать, каждый брэнчал что-нибудь свое, а Саша подсаживался то к одному ученику, то к другому, помогая разобраться в путанице ладов, пальцев, струн и колков.

Переход от «Хорошо темперированного клавира» к «Во саду ли, в огороде», от перцовских — пусть и звукопроницаемых — апартаментов к заваленному перевернутыми стульями и кумачовыми призывами «Красному уголку» — вот мера моего

падения. Я сам загнал себя в этот угол. Началась болезненная ломка представлений. Заданная мне со стороны — родителями, учителями, радиопрограммами, грампластинками, — всем взрослым, умным, образованным миром — установка на классику, на лучшее, отобранное поколениями, что есть в мировом искусстве, эта установка не выдержала напора улицы, двора, моей собственной духовной бедности и уступила место дворовой песне, потугам хрипачей, королям рентгеновских пленок, скверной музыке «на костях». Можно сказать, что с той вершины, куда я был вознесен в удобном креслице фуникулера, я скатился вниз, в музыкальную яму, и теперь мне предстояло (или не предстояло) новое восхождение, но уже самостоятельное, без подъемника — восхождение, каждый шаг которого становился моим личным выбором, определялся моей собственной потребностью, интуицией, волей.

Папа говорил:

— Я понимаю, как работает писатель. Особенно историк-романист. Он много читает, вживается в эпоху, в судьбы героев, делает выписки, заготовки. Потом их обрабатывает, анализирует, беллетризует. Но мне уже трудно понять, как пишет поэт и совершенно загадочен труд композитора. Откуда черпают темы Шостакович, Прокофьев, Хачатурян?

Это спрашивалось, конечно, риторически и не у меня, а у мамы, но при мне. А я не представлял себе не только как создавался вальс к «Маскараду» или сам лермонтовский «Маскарад», — они являлись мне как бы спущенными с небес в уже готовом виде. Я не мог уловить и тайны сотворения простой мелодии, невзыскательной уличной песенки. Вместе с тем чувствовалось, что простое доступно подражанию и постижению. Мелодически воспринятый гитарный перебор волновал, будил воображение. Вспыхивали какие-то отдельные словечки, что-то расплывчато шевелилось в душе, и в этой завораживающей смутности угадывалось нечто такое, чего, в самом деле, нельзя было придумать, что как бы снисходило на тебя само.

Короче говоря, итог моего поражения вылился в то, что я скатился с относительных исполнительских «высот»

к абсолютному сочинительскому подножию, причем, к подножию без горы. Ее предстояло возводить мне самому, и один Бог знал, как это делать.

5

Если бы явления жизни строго подчинялись законам симметрии, то через некоторое время Людмила, подобно моей маме, должна была бы принести из ГУМа завернутую в ломкий кофейный крафт¹ ленинградскую семиструнку, а Гоша с положенной задержкой стал бы разучивать «Во саду ли, в огороде», когда я перешел бы уже к «Среди долины ровныя». Переносная симметрия была бы соблюдена во времени. Но жизнь предлагает массу отклонений, случайностей и непредвиденных обстоятельств.

Раз сосед сменил инструмент, то и нам надо предпринять что-то подобное. Это — закон. Это обсуждалось на семейном совете у Сверчковых. Однако результат обсуждения не смог бы предсказать никто.

— Людмила, может, Гошке гитару купить? Пусть учится, как Алеша.

— Зачем же пианино бросать?

— А кто говорит, бросать? Второй инструмент...

— Тогда уж лучше скрипку!

— Скрипку-скрипку... Не люблю я ее! Пиликает очень.

— Да тебя дома не бывает по целым дням: что тебе «пиликает»?

— Я не гуляю. Я деньги зарабатываю!

— Ну, и много ты зарабатываешь? То пропьешь, то потеряешь. Раньше был человеком, в Америку летал. А теперь?

— А что теперь?

— А теперь на «автопилоте» по Соймоновскому носом летишь с полочки.

— Людмила! У меня работа нервная. С людьми. Ты в кадрах никогда не сидела?

¹ Крафт — оберточная бумага.

— Слышать не хочу про твои «кадры»! У тебя все кадры — «на троих».

— Бессовестная!.. Что с тебя взять?

— Соседей бы постеснялся, говорю!..

И вот, когда я от «Во саду ли, в огороде» перешел к «Среди долины ровныя», за стеной у Сверчковых послышалось какое-то странное шебуршение.

Вначале раскрылось нечто тяжелое. То ли чемодан, то ли футляр, но очень большой, на отщелкнутых металлических замочках. Потом оттуда было извлечено, судя по всему, что-то весьма ценное. Вдоль стены — зигзагообразно — задвигался стул, словно ища и не находя себе места. Наконец, воцарилась тишина, и отвратительно-длинное, как кнут, неизвестное, издавая немилосердный скрежет, проскребло по струнному железу.

С таким акустическим эффектом мы столкнулись впервые. О том, что в своей основе он имеет музыкальную природу, можно было только догадываться.

— Что ж это такое, Пресвятая Богородица? — спросила няня, перекрестившись, как всегда, украдкой.

— Это — виолончель, — ответила за Богородицу мама, остановившись посреди комнаты со стопкой тарелок.

Сказанное, однако, вовсе не означало собственно инструмент. Сказанное означало конец света.

— Ньюжли ж виланчель? — тревожно спросила Филипповна, отродясь никаких виолончелей не выдавшая.

— Виолончель? — оторвался от занятий папа. — Красивый инструмент!

— Особенно у новичка за фанерной стеной, — усомнилась мама.

— Особельно, ежели дитё вучиться будить, — добавила няня.

— Жаль, на гитаре смычком не играют, — посетовал папа, обращаясь ко мне. — Сейчас бы ты дал фору виолончелисту!

— Смычком громчей, — согласилась Филипповна.

— Рычаг! — освежил папа знания школьной физики. — Гоша теперь, как Архимед, всю квартиру перевернет нам этим смычком.

И в ответ что-то удивительно громкое и фальшивое хмуρο проскребло по ушам.

Идеальный сосед Гоша, ни разу не соблазнившийся на участие в родительской буффонате, деликатный исполнитель воздушных фортепьянных идиллий за цветочной стеной — неужели ты додумался до этого сам? Какой искуситель вложил тебе в ладонь кнутовище смычка, придвинул к ногам бездонную бочку резонатора, уговорил натянуть на колки медные волосы струн? И как вообще взаимные упреки старших в утрате совести и отсутствии стеснительности породили идею домашнего «виолон-чудища»?

— Але! Это Ташкент? — допытывалась у телефона Nadin. — Ты, Рашид, что ли? Але! Плохо слышу... Да у нас тут сосед на виолончели учится... Рашид, ну, ты едешь или нет со своими дынями, еж твою клеш?! Я говорю: тебя когда ждать? А то ко мне Автандил просится с Тбилиси. Помнишь его? Видный такой... С мандаринами. Я боюсь, как бы вы вместе не нагрязнили. Где мне вас тогда укладывать? Что?.. Дынька? Какая дынька? Ах, Динка! А то «дынька-дынька»... Хорошо Динка. Десятый кончает. Одно плохо: учеба туго идет. Математика замучила. Аристарх говорит, у ней памяти нету ни грамма, а сама в артистки собралась. Бальзакá учит день и ночь. Уж худая вся стала, иссушилась. То математика, то эта — как ее? — репетирует...

— Мама, ты долго будешь обо мне всему свету трезвонить? — проходя на кухню, спрашивает Дина — смышленная, упитанная девушка с неплохим слухом и отличной памятью.

— Ничего-ничего, ты у меня еще не артистка, а уже в Средней Азии известная! Помой полы. Я на работе намылась... Да ну тебя, Рашид! Ничего ты литературу не знаешь. Приезжай, хоть Динку мою послушаешь... Тряпку-то на кухне возьми... Узнаешь, кто такой Бальзак был... Да иди ты со своим Джамбулом!.. Они же в разное время жили. Теперь понял? Слушай! Мне капитан все какой-то названивает с Владивостока, еж его клеш! Это не ты ему мой телефон дал? Нет? Может Автандил?.. Не знаешь?.. Ну, ладно. Прощаюсь. Больше некогда.

— Динка, полы помыла?

— Я что — метеор?

— Вот тебе и Ташкент... Дыни спели, а самолет не летает! В Москве, говорят, туман, не видно куда садиться. С неба

Москвы не видать. Эх!.. Глафира Поликарповна, вы дыньку давно не брали?

— Я дынь вообще не ем. И ананасов. У меня закваска пролетарская.

— А я люблю!.. Ну, звоните, звоните, если вам надо...

И по проводу течет новая «глафирограмма»:

— ...Так что живем, как в тумане. Никак не дождемся антициклона из Каракумов...

6

Днем, когда в квартире никого нет, коридор занят мной. Я гоняю мяч в спортивных паузах между занятиями. Все двери плотно закрыты. Мой стадион темен и нелюдим. Коллега Филина, как рыбак с пустой «авоськой», поплыла в сберкассу открывать счет. Водород на продленке. Виолончель в футляре.

Я разыгрываю матч века между командами двух сторон коридора. Всего в квартире одиннадцать жильцов, так что и сокращенный состав приходится доукомплектовывать «варягами».

Наша команда

Вратарь — Гошка.

Защита — Людмила, мама, Филипповна.

Полузащита — гидрид дипкурьера.

Нападение — я и папа.

Их команда.

Филина — вратарь-гоняла

В защите — Динка, Автандил (Тбилиси), Бальзак (Париж).

В полузащите — Рашид (Ташкент), Джабаев (Алма-Ата).

Нападение — Nadin, капитан (Владивосток).

Судья — Куприн (Москва).

У них испытанный вратарь-гоняла и сборная всех звезд. Главное — кто кого держит. Пока в темноте не разобрать. Время покажет.

Мяч введен в игру. Автандил, отклонившись назад, идет по левой, филинской стороне коридора, вместе с мячом подтапливая впереди себя коленками огромный чемодан с мандаринами. Пяткой передает мяч Бальзаку. Французский футболист смотрит, кому отдать, и пасует вдоль коридора Джабаеву. Но ветеран к мячу не успеваает... Его перехватывает Водород. Остро реагируя на мяч, Водород проходит одну дверь, вторую... Запутался в коврике перед порогом...

Первое удаление. За вбрасывание из-за боковой дыни вместо мяча с поля удален узбекский форвард Рашид.

Филина не согласна. Она вступает в пререкания с арбитром и... и кажется получает желтую... Сейчас... Да! Желтую фотокарточку с индустриальным пейзажем Куприна. Это — предупреждение.

Мяч в игре.

Наигранная комбинация Динка–Бальзак. Удар! Мяч рикошетит между стенами. Джамбул — длинный пас на Филину.

Вратарь-гоняла — неуязвимая Глафира Филина, набирая скорость, устремляется к воротам Георгия Сверчкова! Теряя шлепанцы, выставив руки вперед, она, как по маслу, проходит гидрид дипкурьера. Надо пасовать открывшейся Nadin. Но вместо этого Глафира Поликарповна спотыкается на том же коврике и упускает мяч... Где он? Никто не видел? А-а! Закатился под ванную.

Сразу три ноги пытаются выковырять его оттуда. Но пока это еще никому не удавалось. Слишком темно и тесно.

Nadin неожиданно включает свет в ванной. Глафира Поликарповна немедленно его гасит. Разногласия в команде не способствуют успеху.

Ситуация обостряется. Выключатель переходит из рук в руки. Арбитр Куприн требует, чтобы все освободили помещение.

Мяча там нет. Там только закатившаяся под раковину дыня, а мяч в руках у выбывшего из игры Рашида.

Вбрасыванье. Все бегут к воротам Филиной. Папа — старый спартаковец навешивает мяч на ворота.

Свалка перед телефоном. Все абоненты тут: Nadin, Владивосток, Динка, Тбилиси... Чемодан, распахиваясь, падает из рук Автандила, мандарины рассыпаются по полю...

Ну?! Кто же будет бить?!

И тогда я, набегаая из глубины коридора, несильно, но точно посылаю мяч в сетку вернувшейся из сберкассы Глафиры Поликарповны.

Счет открыт.

А вечером узкое и длинное футбольное поле коридора превращается в такую же узкую и длинную сцену. Когда, отужинав, соседи укладываются на боковую, Дина раскрывает третий том собрания сочинений Бальзака, новеллу «Обедня безбожника», которую готовит к экзамену в театральное училище, и выходит на коммунальные подмости.

— Оноре де Бальзак. «Обедня безбожника». Композиция по новелле, — объявляет абитуриентка.

— Доктор Бьяншон долгое время был хирургом, — тщательно артикулируя, начинает свою каватину Надежда Аристарховна. — В студенческие годы он работал под руководством прославленного Деплена, одного из величайших французских хирургов, блеснувшего в науке, как метеор.

— Как метеор... — повторяет понравившееся ей сравнение Дина. — Даже враги Деплена признавали, что он унес с собой в могилу свой метод, который невозможно было передать кому-либо другому, — с чувством продолжает чтица. — Как у всех гениальных людей, у него не оказалось наследников: он все принес и все унес с собой...

— Он унес, и ты заканчивай, — просит мать, приоткрыв дверь. — Спать пора.

— Подожди, мам. Я репетирую.

Дина рада, что выбрала эту новеллу: она сюжетна, в ней много верных жизненных наблюдений.

— Слава хирургов напомунает славу актеров: они существуют, лишь пока живут, а после смерти талант их трудно оценить. Актеры и хирурги, а также, впрочем, великие певцы и музыканты-виртуозы, удесятеряющие своим исполнением силу музыки, все они — герои одного мгновения. Судьба Деплена служит доказательством того, как много общего в участи этих мимолетных гениев...

Дина еще в таком возрасте, когда хочется говорить о самом высоком, недоступно-прекрасном. А потом это так приятно и так печально думать, что даже гении мимолетны, что даже их слава быстротечна и почти всегда существует лишь до тех пор, пока живы они сами. В семнадцать лет понятие жизненной черты — только фигура речи, ведь твой собственный итог кажется таким неправдоподобно далеким, что лишь томная меланхолия и философическая смиренность ласково овевают тебя краями своих нерасторжимых крыльев.

Людмила сказала, что у Дины есть талант, а таланту в искусстве трудно пробиться. И Дине снова приятно и печально. Да, есть... Да, трудно... Может быть, неисполнимо! Но надо пробовать. И она мечтает о большой трагической роли. И проходит по темной сцене от Глафиры к Сверчковым мимо нашей стены, читая монолог Деплена, обращенный к Бьяншону так, как будто Деплен адресуется к ней.

— У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Проиграете ли вы вечером двадцать пять луидоров — на следующий день вас обвинят в том, что вы игрок, и лучшие ваши друзья будут рассказывать, что вы проиграли двадцать пять тысяч франков... Вырвалось ли у вас какое-нибудь резкое слово — и вот уже вы человек, с которым никто не может ужиться. Если в борьбе с этой армией пигмеев проявите и силу и решительность, ваши лучшие друзья завопят, что вы не терпите никого рядом с собою, что вы хотите господствовать, повелевать. Словом ваши достоинства обратятся в недостатки, в пороки, и ваши благодеяния станут преступлениями...

— Динка! Если ты сейчас же спать не ляжешь, я дверь запру. Ночуй тогда на коидоре со своим Бальзаком!..

— Ну, иду-иду... Порепетировать не дают.

Репетиция прерывается.

Сейчас я думаю о том, почему в ранние годы мы так охотно драматизируем жизнь, а свет ее радости пропускаем через себя как бы незамеченным? Радость представляется в юности чем-то поверхностным, бездумным, беспечным. Отсюда тяга

к трагичному, роковому. Может быть, это происходит оттого, что юность просто не в силах осознать всю животворящую неисчерпаемость счастья.

8

Пока я с увлечением осваивал гитару, за стеной с не меньшим упорством длились виолончельные бдения.

Визг и скрежет слесарной мастерской постепенно преобразовались. Стон вытягиваемых из тугой доски ржавых гвоздей; хруст стекла, крошащегося под алмазом; раж тупой ножовки; металлическая хватка пассатижей претворялись в нечто более музыкально организованное. Мучитель-смычок уже не столь пронзительно пилил по верхним струнам или, жирно треща и переламываясь, тормозил на басах, сколько проскальзывал, как наканифоленный, издавая прирученные звуки, насыщенные густой тембровой окраской. Иногда они приобретали очертания вечеряющего луга, наполненного приглушенным шмелиным гуденьем. В них появилось что-то живое, гибкое, серьезное, почувствовался какой-то отдаленный зов.

Той осенью у нас на подоконнике перед приоткрытой рамой долго-долго стоял букет из одиннадцати белых хризантем. Однажды его навестил настоящий шмель. Бог весть, откуда взявшийся, он кружил над цветами, вторя голосу виолончели, может быть, принимая ее за другого шмеля, и никак не желал улетать.

Его спугнул только стук молотка. Мама решила отделить часть комнаты шторкой. Для этого надо было вбить гвоздь в сверчкову стену. С первого же удара гвоздь влетел в нее по самую шляпку и, видимо, выскочил острием у курьеров. Мама потянула его назад. Он легко, без уговоров выдернулся вместе с бумажной начинкой.

— Вот вам и фанера... — сказала мама обескуражено.

— Ньюжли не хванера? — спросила Филипповна. — Дак, что ж тогда?

— По-моему, картон клееный или что-то в этом роде... Боже мой, стена-то бумажная...

— Как в японской хижине, — отозвался папа, прошелестев газетой.

— Картон он и есть картон, — заметила Филипповна. — Одна слава, что — картон! А так — бумага...

Дырочку от гвоздя временно залепили пластилином, что дало папе повод снова пошутить:

— А представляете, если бы вся стена была пластилиновой? Прислонился и влип!..

— Шурик бы живо дырок напротыкал, — обоснованно предположила няня. — Се-таки картон лучше пластилина. Спасибо, Гоша уж не больно стал докучать своей виланчелью. Вывчился. Скоро артист будет, чтоб по радиву слышали.

— Интересно, а стена в коридор тоже бумажная? — спросила мама.

— Давай спытаем.

— Нет, уж лучше не испытывать...

За коридорной стеной раздалось знакомое шмыганье. Это Глафира Поликарповна возвращалась из удачного похода в ванную, что-то напевая про себя после душа. Может быть, в манере народных сказителей? Кто знает...

— Вот я из ванной иду по коридору к себе.

Далалай-далалай!

Света не жгу. Электричество я экономлю.

Вот уж Сверчковых прошла, и Надинки шумят позади.

Далалай-далалай!

У телефона теперь постою, как Рашид на бахче.

Тёмен и долог мой путь.

Далалай-далалай!

Но в перспективе — кумыс.

Хорошо, хорошо мне!

Тут Глафира Поликарповна спотыкается и оглашает квартиру кипучим экспромтом:

— Что такое? Что за безобразие? Кто подложил? Это — диверсия. Я чуть не упала!

Все двери разом распахиваются. В коридоре вспыхивает свет.

— Глафира Поликарповна!

— Что случилось?

— Вы живы?

— Откуда дыня?

— Это я вас хочу спросить, Надежда Петровна! Почему дыни в общественном месте разбросаны? Это вы вели переговоры с Ташкентом. Это ваша дыня!

— Откуда у меня дыням быть? Рашид еще не приехал. Все видят! Я его не прячу.

— Ничего не знаю! Упала бы — платили бы мне компенсацию.

— Может, это мальчишки в футбол играли?

— Дыней?..

— Да они, чего хочешь, гоняют: и банки, и тряпки... Акулина Филипповна, не ваша дыня?

— Помилуй Бог!

— Людмила, не вы дыню в коридор положили?

— Да что вы!

— Раз она ничья, так давайте ее вместе и разъедем! — внесла предложение Дина.

— Я ни дынь, ни ананасов не ем. И рябчиков не жую. Не та закваска! — подтвердила устойчивость своих вкусов Глафира Поликарповна.

Тем не менее, Дина вымыла никем не опознанную дыню, разрешила на ломтики и предложила всем желающим. Первой попробовала мать.

— Похоже, со Средней Азии. Сахарная.

Шурик ухватил было два ломтя сразу, но курьер так на него взглянул, что Водород немедленно угостил Филину.

Та отказывалась. Ее уговаривали. Ведь это же она дыню нашла! Ладно, согласилась. Выяснилось, что и до этого «куш-тевала». Знает толк. Сравнила с астраханской, молдаванской, кавказской. Отдала предпочтение Нижнему Поволжью, но приняла и добавку.

После десерта Людмила пригласила собравшихся к себе на небольшой концерт камерной музыки.

Гоша играл что-то очень умное долго и выразительно. Казалось — еще немножко и он научит виолончель по-настоящему рыдать.

На следующий день, когда в квартире никого не было, и я подумывал, а не погонять ли мне по старой памяти какую-нибудь «дыньку» в коридоре, что-то меня привлекло, точнее, окликнуло, но окликнуло не снаружи, как обычно, а изнутри. Да, это был внутренний оклик, некое видение... Сумерки, лес, последние блики теплого солнца на еловых ветвях... И я ощутил себя в этом волшебном лесу совершенно реально.

Не могу сказать, как долго длилась греза, потому что время для меня остановилось. Но когда я очнулся и снова увидел все, что меня окружало: букет хризантем на окне, зеленую лампу, пианино и услышал голоса в коридоре и у Сверчковых, я обнаружил перед собой тетрадный листок и десяток строчек на нем — таких слабых, таких беспомощных, что их никак нельзя было бы принять за стихи, однако тогда они показались мне необыкновенными. Сосредоточенная тишина, воцарившаяся во мне, была настолько глубокой, что внешний шум долго еще не мог ее нарушить.

Потом это иногда повторялось.

Теперь я об этом рассказал.

9

В доме Перцова — учреждение.

Никто из моих героев там давно не живет, а иные живут только в строчках памяти.

Когда я прохожу по Курсовому переулку, то порой наше окно бывает приоткрыто, и ничто на свете не мешает мне увидеть на подоконнике все тот же букет хризантем. Только цветов в нем уже не одиннадцать. Меньше.

Цветок — Глафире... Цветок — курьеру... Цветок — папе... Цветок — Филипповне... Цветок — маме...

А над теми, что остались, по-прежнему задумчиво и счастливо гудит и гудит хмельной осенний шмель, и протяжный зов виолончели вторит ему за бумажной стеной...

...ТОГДА

...Было время, когда наша соседка Nadin, уборщица из академии Фрунзе, врожденная Солоха, задумала сдавать на ночь «грузинам» комнату, в которой жила сама. Вечером туда, утром обратно по коридору не без смущенья засновали продавцы мандарин и прочие южане с коротко стриженными усиками и огромными черными чемоданами, а сквозь щелку в двери, как путеводный маяк, им светил глаз темпераментной уборщицы. Квартира выразила ей свой протест.

...Однажды Гришка Горняк — крепкий, румяный малый хлестался в подъезде со своею мамашей в проеме между двумя дверьми, тонкими творениями русского модерна. Он — молча, она — вопя на всю округу. Они били друг друга по щекам, а поскольку каждый мечтал оставить последнюю пощечину за собой, били и били, никак не могли остановиться. Разнять их звали отца — полковника в отставке, но он предпочитал гонять шары на бильярде Дома ученых и не вмешиваться в семейные распри, чтобы прервать честную ссору сына с матерью лицемерным, а потому коротким, перемирием.

...Иногда на парадной лестнице мне встречался пожилой, благообразный господин с седой бородкой клинышком, как у тогдашнего премьер-министра Булганина, и непременно в шляпе — фетровой или соломенной. Зимой он носил меховой «пирожок», похожий на сильно растолстевшую пилотку. Я знал, что это пейзажист Куприн из дореволюционного общества художников «Бубновый валет». Маме хотелось думать, что он — родной брат ее любимого писателя. Позже выяснилось, что это маловероятно по двум причинам: во-вторых, писатель тоже был Александром. Вряд ли в одной семье двух сыновей назвали бы одинаково. А во-первых, папу писателя звали Иваном, а папу художника — Василием. При встрече Александр Васильевич всегда улыбался мне и со старомодным почтением приподнимал шляпу или «пирожок». Однажды он пригласил маму и меня в свою мастерскую, где играл нам на крохотном органчике собственного рукоделия нечто собственного сочинения — что-то

бесконечно переливавшееся и не имевшее никакого отношения к жизни вокруг...

...По радио и во всех газетах пропагандисты тех времен громили «клику Тито» — югославских предателей-ревизионистов, совсем недавно наших прославленных товарищей по оружию. Но еще неожиданной было разоблачение внутренних врагов — преступных врачей. Стало ясно, что теперь врачам не поздоровится. Потом разоблачили предателей-чекистов во главе с английским шпионом Берией. Потом развенчали не то, чтобы «Самого», но культ его личности. Потом в танковой битве с боем взяли Будапешт...

...А навстречу мне по лестнице спускался насуспенный, погруженный в себя сосед с четвертого этажа — художник Фальк. Он не только не улыбался, но, кажется, вовсе меня не замечал, пока его жена говорила по единственному в доме телефону, стоявшему на юру в вестибюле, и потому не столько говорила, сколько односложно отвечала: «Да... да... Это ужасно!.. Это ужасно!..»

...Было время, когда известное мне семейство бобовых пополнилось новым членом. Всюду появился китайский арахис и всех умиляло то, что в серой сухой скорлупке с перетяжкой посередине умещаются два орешка: не один, а два! К тому же скорлупа легко шелушилась... Народ обувался в китайские кеды, а произносил — «кеты». В моду вошел пинг-понг, и я, не умея играть, учил Филипповну на круглом обеденном столе. Китайский фильм «Отрубим лапы дьяволу» поражал революционностью призыва и признанием того, что нечистая сила существует.

...Было время, когда к праздникам готовились загодя. Я терпеливо выстаивал с Филипповной бесконечные очереди в бакалею за рассыпчатой белой мукой, за вязкими кислыми палочками в серовой обертке, которые няня называла с подчеркнутым ударением: «Дрѳжжы!» — и, казалось, что тесто от них должно дрожать. Вместе стояли мы за сахарным песком или творогом не только потому, что меня некуда было деть, но и потому, что на одного человека давали кило, а на двоих — два «кила», независимо от возраста покупателя. Пуще всего очередь начинала бушевать и содрогаться, если что-нибудь ценное

заканчивалось, — сахар, мука или те же дрожжи, — а желающих было хоть отбавляй.

- Касса, не пробивайте!
- Пробивайте! Мне уже взвесили...
- Дуся, почему два кила в одни руки?
- Этому не давайте — он не занимал!
- Я занимал, но отошел.
- Всё! Последний пакет. Больше нету.
- Ну, и слава тебе, Господи, отмучились...

...Когда-то по всему нашему дому хозяйки ставили тесто в кастрюлях и ведрах, укутывали его одеялами, подвигали ближе к теплу под батареи, чтобы быстрее подходило, и оно начинало свою медленную сдобную работу роста, поднимая крышки и выползая из-под них вязкими желтыми языками. Его осаживали, но упорная дрожжевая сила снова толкала его вверх. Потом в жаркой темноте духовок долго зрели капустные кулебяки; пахучие, пышные пироги с изюмом и орехами или сочным маком, ванилью, корицей, и весь дом наполнялся знойным, сладковатым ароматом хорошей пекарни, чем-то тропическим, экваториальным.

...Та жизнь ушла. Ушла невозвратно. Но как бы хотелось, чтобы не бесследно, чтобы к приметам, оставленным по себе другими, добавился и твой опыт. Она достойна того, чтобы сберечь ее в памяти, в слове, звуке, краске. Хотя бы потому, что это жизнь — наша. Единственная. Такая, какая была.



Повести

КАРЛ И КЛАРА

Уезжали, уезжали, уезжали...

Распродали, роздали, раздали все, что могло перегрузить таможенные весы или оказаться лишним в новой жизни. Она не смогла расстаться со своим раритетом — дореволюционным чугунным «Зингером» — швейной машинкой с антикварной инкрустацией, широкой педалью и колесом привода, мягко и неспешно мелькавшим выгнутыми спицами; он — со шведскими спиннингами и рыболовной снастью, привезенными ему когда-то по дружбе из Стокгольма.

Она упаковывала подлежавшее перелету, прижимала коленкой очередной тюк, до звона натягивая лохматую серую бечевку, ловко и крепко перехватывала концы. Он по обыкновению полужелал в шезлонге на лоджии, перелистывая старый журнал, уверявший в том, что знание — сила, мистика — вздор, а Бога нет.

Конечно, в их отъезде не было той остроты, которая превращала прежние проводы в невыносимые драмы прощания навек под безучастными сводами «Шереметьева», когда путь назад отъезжавшим был отрезан, а путь к ним для оставшихся заказан. Эти времена отступили.

— Через годик приеду порыбачить. Мне без зимней рыбалки — труба! — говорил он, бодро вскидывая голову над журнальной страницей, но в его оживлении чувствовалась какая-то наигранность; казалось, что он не вполне верит в исполнение собственного желания, как будто что-то ему помешает, а что — он и сам не знал. Во всяком случае, никакого стремления уезжать у него не было, а вот стремление возвратиться было, еще не уехав, — да какое! Но верилось ему в эту возможность почему-то слабо.

После того, как она умолила его согласиться на отъезд, он всячески убеждал себя в необходимости и разумности такого шага. Все родственники жены — давно там. Они его любят. Здесь же ни у нее, ни у него почти никого не осталось. Там — хорошо, а будет еще лучше. Здесь — плохо, а будет еще хуже.

Там — дружно, здесь — розно. Там — честно, здесь — лживо. Там строится, здесь разваливается. Там звездный час впереди. Здесь их было два, но оба сделались достоянием истории: 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961-го. Да, там Палестина, не развлочная куча-мала с арабами. Ну, а здесь — Кавказ. Чем лучше? Там жарко, но он, слава Богу, на сердце не жалуется. Бывший военный летчик.

Если он включал телевизор и видел перед собой «говорящие головы» депутатов, то вспоминал гоголевских чиновников, сновавших по коридорам департамента с глазами косыми от постоянного вранья. А когда экран показывал ему какого-нибудь физика в рясе, совершенно светского, не владевшего даже церковной лексикой, но бойко взывавшего к патриотическому чувству верующих и неверующих, то думал: «Всё. Надо тикать. Как у Щедрина: вспомнили о патриотизме, значит, опять проворовались». Стоило ему, однако, углубиться в работу или, вскинув удочки, отправиться на подледный лов, как мысли об отъезде отступали на второй план. Он просто о нем забывал.

Между тем жена была одержима желанием уехать. Никакого отношения к этому русская классика не имела, равно как и соблазны «колбасной эмиграции». Не они, а зов предков и память о холокосте сделали из нее идейную сионистку. Она трижды побывала там у сестры и племянниц, а последний раз уговорила составить ей компанию и мужа.

Когда они подлетали к ночному Иерусалиму и внизу открылось море тлеющих огней до самого горизонта, как будто разгорался гигантский костер, у него только и вырвалось:

— Ух, ты, елки-палки!..

Иллюминированные шоссе, двухъярусные автобусы, переполненные снедью супермаркеты, приличная московская и ленинградская речь в кафе и на улицах, иногда с грузинским или армянским акцентом, украинская мова, толпы туристов со всего света, палисадники за белым штакетником, цветущая алая бугенвиллия, средиземноморские пляжи — все это производило впечатление южного курорта, ежедневного праздника, который средние поколения создали своим детям и старикам. А они

с женой были люди в возрасте, то есть могли рассчитывать на обеспеченную старость. Там. Но не здесь.

Он еще ничего не знал о предстоявших реформах Пенсионного фонда, об аферах с «гробовыми» деньгами стариков, об их разворовывании и угоне «за бугор», об одобрительной реакции «забугорья» на вливание в него похищенных русских капиталов, но сердце подсказывало, что здесь на безбедную старость не надейся. Надейся там. Тем более что воевал, что война задела его своим крылом, хоть и на излете. Там это вызывало особенное почтение. После того, как он посмотрел на все собственными глазами, решил: «Будь что будет! Торопиться не хочу, но и тормозить не стану».

А ей только этого и надо было. С юности она, как старшая сестра в большом семействе, привыкла брать всю заботу и всю ответственность на себя. Родилась она вскоре после первой великой войны. Дом деда в Вене — еще недавно столице империи — казалось, был заговорен от всех напастей их законопослушной, ветхозаветной семьей, глубоко верующей, строго почитавшей Священную историю, все обряды и праздники, соблюдавшиеся иудеями; все, что явилось миру до Христа. Вместе с тем светскость столичной жизни, окружавшие памятники искусства, разнообразие утонченных развлечений влияли на сознание детей. Воспитание красотой ничуть не менее значимо, нежели поощрение религиозного чувства или тренировка ума. Теперь, на склоне лет, детство ее представлялось ей таким же безоблачным и головокружительным, как венский вальс. Крахмальные салфетки и столовое серебро торжественных ужинов, мрамор и позолота Императорских музеев, путешествие с родителями в Зальцбург, детские праздники, молодые офицеры в парадных мундирах, как орден получавшие в награду за храбрость билет в Оперный театр на оперетту Кальмана... Но когда отец внезапно умер, оказалось, что средств к такой жизни у семьи нет. Дороговизна и долги заставили мать с детьми перебраться в Польшу, в какое-то местечко, кажется, под Вроцлавом, в какое-нибудь Псе-Поле или Бжег-Дольны, точно не скажу. Мать хорошо шила и научила этому старшую дочь.

Взамен учебы маленькая Клара стала одевать окрестных пани и панночек сначала во все простое, а потом взялась и за модные выкройки из Варшавы. Но все это снова оборвалось.

Немцы вошли в Польшу. Их рыскавшие по полям и нырявшие в оврагах танки гнали перед собой волну лютого страха. Польша оказалась между германским молотом и советской наковальней. Клара бежала из дома на восток с одним чемоданчиком под автоматные очереди зондеркоманды, очищавшей местечко от «коммунистов и жидов». Эти очереди стояли у нее в ушах, преследовали во сне. Страх не отпускал ее до самого Казахстана.

Всю войну проработала она на аэродроме под Алма-Атой. Там познакомилась с Костей. К тому времени мальчишка-москвич с Серпуховки, водивший свой «небесный тихоход», был ранен в воздушном бою, а после госпиталя, отвоевав, готовил самолеты к вылетам. По паспорту он был моложе ее года на два, а по существу, может быть, на целую жизнь. Легкий, улыбчивый, он всему радовался, все его веселило. Если бы не наркоз, то он, всегда предрасположенный к шутке, и на операционном столе мог бы рассказать какой-нибудь анекдот, мешая хирургу и отвлекая медсестер.

Для нее, пережившей гибель почти всей семьи и ужас бегства в неведомый Советский Союз, для нее, учившей русский язык у летчиков на аэродроме, эта встреча стала спасением, продолжением жизни. Вот почему теперь, завершая сборы, она бережно сняла со стены их свадебную фотографию, где они смотрят в мир с удивлением и счастьем двух только что вылупившихся птенцов, провела ладонью по стеклу, словно стирая пыль времени, возвращаясь в давно прожитую юность, и уложила фото отдельно в дамскую сумочку, как семейную реликвию.

* * *

Я знал Клару Данииловну всю жизнь. Мне было года четыре, когда она впервые появилась у нас в доме. Моя мама работала тогда в Тимирязевской академии, и у нее была подруга по работе — широколицая, румяная девушка (а для меня — тетя), приходившая к нам в гости в Курсовой переулок. Звали ее Маргарита. По своему четырехлетнему разумению я считал, что

у необыкновенных родителей должны быть и необыкновенные дети, перенявшие все их замечательные, в том числе и героические, черты, а фамилии родителей должны быть непременно говорящими. Особенно у полководцев. Суворов — суровый. Багратион — ратный. Рокоссовский — роковой для врага.

Поскольку ничего, кроме румяной лунности лица, я в Маргарите не наблюдал, то и не проявил интереса ни к ней, ни к ее родителям. Как-то мама сказала мне, что Маргаритин отец был генералом. Это меня весьма удивило. Но когда я узнал, какую фамилию он носил, я был просто обескуражен. Генерал *Младенцев*... Что это за фамилия для воина?!. Много позже в мемуарах маршала Жукова я вычитал, что в битве под Москвой отлично зарекомендовали себя войска под командованием генерала Младенцева. Получалось, что не Ирод-Гудериан учинил избивание Младенцева, а наоборот Младенцев избил Ирода.

Однако тогда Маргарита к нам уже не приходила, и подробно расспросить ее об этом подвиге отца мне не удалось. Зато она успела предложить маме Клару как превосходную портниху, шившую на дому у заказчиц. Они договорились о пошиве демисезонного пальто для мамы, и Клара стала приезжать в наш дом, как на службу, к девяти утра, когда мама и папа уходили на работу, а ее принимали мы с няней. Меня приучили звать взрослых по имени-отчеству. Поэтому я говорил: «Клара Даниловна». Няню в ее смоленской деревне приучили звать по имени-отчеству не только старших, но и уважаемых младших. Поэтому она говорила: «Клава Данильевна». А мама звала устроившуюся к нам на работу гостью просто Klarой. Они были примерно ровесницы.

Каждое буднее утро Клара Даниловна располагалась у нас посередине комнаты за круглым обеденным столом, с которого заранее снималось все лишнее, включая негнущуюся белую клеенку в цветочек на тонкой матерчатой подкладке. Вот там-то, на голом дубовом столе, портниха и раскладывала то, что так меня интересовало: «штуку» габардина, которую мы с мамой покупали в магазине «Ткани» на Метростроевской; мелкие иголки, воткнутые в пухлую бархатную подушечку;

огромные — ого-го! — ножницы, кладавшие, как челюсти крокодила; серебряный наперсток в крохотных «оспинках» — толкать игольное ушко; измерительный инструмент в виде длинной клеенчатой полоски, которую Клара Даниловна называла «метром»; мама, скатав, как рулетик, — «сантиметром»; а няня, не раскатывая, — «сантиметром»; и еще почему-то кусок серого мыла и несколько обмылочков, чье предназначение было мне непонятно.

Не отрываясь от работы, Клара Даниловна слушала со мной по радио детские передачи, обсуждала их, вообще с удовольствием беседовала о чем угодно и учила жить: с какими мальчиками водиться, с какими нет; как помогать маме и няне по хозяйству; как не обижаться на папу за то, что вместо того, чтобы покачать меня на ножке, он все готовится к своим лекциям; как набираться терпения и не капризничать, выстаивая с няней длинные очереди за крупой или творогом.

— Потому што на тебе вопше будут давать полную порцию, как на Филипповну, понимаешь? — говорила она по-русски, но с каким-то нерусским акцентом, будоражившим мой слух, и мне было лестно, что в любом магазине с дефицитными товарами я самым фактом своего появления на пороге повышал свой статус с ребенка до взрослого, как бы до «второй Филипповны», а раз «две Филипповны» пришли, то и продуктов давать им надо вдвое больше.

Когда Клара Даниловна меня от чего-нибудь предостерегала, она строго покачивала указательным пальцем, одетым в наперсток, как в серебряную шапочку:

— С девочками не дерись, а мальчишек не бойся.

Нехорошие слова услышишь — не повторяй.

Мы вместе кушали за тем же столом, на время снова превращавшимся в обеденный: портниха, няня и я. В одной комнате (а другой у нас и не было) я на глазах у Клары строил и рушил башни из кубиков и баловался («Не трожь ножни! Клава Данилевна не велить...»), и хотел гулять, и не хотел спать...

Она реагировала на все мои выкрутасы: хвалила, журила, приводила примеры, достойные подражания. При этом ее

мнение никогда не расходилось с мнением мамы или няни, но часто расходилось с моим. В ее лице я получил третью воспитательницу, пожалуй, самую строгую.

По счастью, однако, ее резонерство и мою фронду сдерживало отсутствие кровного родства. Все-таки мы приходились друг другу не близкими родственниками, а добрыми знакомыми, и она была у нас не совсем в гостях, а на работе, поэтому мы не считали себя вправе переходить границы взаимной учтивости. Я не позволял себе фамильярностей, а она никому на меня не жаловалась. К тому же каждый день над нами довлела неминуемая вечерняя разлука, а мы уже так привязались друг к другу, что по утрам встречались, как старые друзья, забывшие и думать о предмете вчерашнего спора или о поисках какой-нибудь пропажи со стола — поисках, обернувшихся вереницей вопросов:

Клара — маме: «Елена Сергеевна, мило на месте, но что-то я вообще не вижу «метра». Бил да сплил. Вам не попадался?»

Мама — няне: «Филипповна, вы не видели “сантимéтр”?»

Няня — мне: «Ихде «сантимéтр, рикошетник? Куды дел?»

Ни на мыло, ни на обмылочки я не покушался, но с любопытством узнал, для чего они нужны портнихе. Обмылками Клара Данииловна размечала материал. Она рисовала ими по габардину, как я простым карандашом — по бумаге. Только я рисовал целые парады на Красной площади, а она — одни белесые полоски.

На Украине у нее жили сестра и племянницы с племянником. Его в честь деда называли Даниилом. Тетя ездила к ним с полными сумками еды, а потом рассказывала, какие они хорошие и как им трудно. Каждый раз я готовился услышать что-нибудь об их поступках, достойных подражания, особенно со стороны Даниила, но ничего такого не сообщалось, может быть, из деликатности ко мне, подобных поступков не совершавшего. Некоторое время я не совершал вообще никаких поступков, порой совершал проступки, но большей частью жил, словно кружась в воздухе как снежинка.

Иногда за Кларой Данииловной заезжал с работы ее муж — дядя Костя и, пока она собиралась домой, он играл со мной в коридоре в надувной шарик, толкая его пальцем кверху,

подпрыгивая и веселясь не хуже меня, или раскидывал руки, хватал меня в охапку и подбрасывал к потолку. Жену он звал по-своему: «Мадам Клара», — очевидно, исходя из ее венского происхождения и природного чувства стиля. Я слышал, как она говорила маме, что Константин всю жизнь трудится, «как папа Карло», и она его очень жалеет. При этом оказалось, что он не вытесывает деревянных Буратин, а ремонтирует грузовики.

Однажды, придя с гулянья домой, я застал такую картину: мадам Клара рисует на габардине, а за финским письменным столиком, сидя боком к нему, мой папа играет в шахматы с «папой Карло». Мой папа был опытный игрок, кроме того, он знал теорию. Нередко свой досуг он посвящал разбору классических дебютов, предпочитая партии эстонского гроссмейстера Пауля Кереса, которого считал наиболее элегантным шахматистом того времени.

Первые ходы мой папа делал очень быстро, а «папа Карло», не владевший теорией, медлил, засиживался и при своей непоседливости начинал ерзать, нервничать и ошибаться. К моему приходу партия уже заканчивалась, хотя фигур на доске теснилось еще много. Чтобы смягчить гостю горечь поражения, мой папа вместо привычного: «Мат!» — воскликнул:

— Как мы вас — летчиков, а?!

И оба рассмеялись.

После армии, возвратившись с Кларой в Москву, дядя Костя устроился механиком на автобазу Генштаба напротив метро «Парк культуры». Там, по уже известному нам мнению, он всю жизнь не вылезал из ямы, на которую напозлали сверху сломанные, грязные грузовики, поэтому папа Карло всегда заканчивал рабочий день чумазым, как кочегар. Моющие средства были для него не фигурой речи, а жизненной необходимостью, и если бы вы хоть раз увидели, каким опрятным, с иголки одетым и даже щеголеватым выходил он за ворота автобазы, то подумали бы, что перед вами — не механик, а знаменитый артист. Я узнал, на кого он был похож больше всего: он был похож на французского певца Ива Монтана, который приехал в Москву со своими песенками и всех подкупил веселостью, легкостью,

ритмичностью и обаянием. Такой же вывод сделали и рабочие с автобазы. Они диву давались, глядя на товарища: не пьет, не курит и такой ухоженный!..

— Да у него, наверно, жена — еврейка!

Побалагурили-побалагурили и перестали. Привыкли.

Если Косте покупалось пальто, то оно сидело на нем, как на модели из Дома моды с Кузнецкого моста. Если для Кости готовился карп, то запекался он, как в ресторане. Крахмальные сорочки менялись им с такой частотой, будто у него их был целый платяной шкаф. Правда, и на сорочки, и на пальто он зарабатывал сам, и карпа сам вылавливал из проруби, но все покупки, уборки, глажки и готовки делала «мадам Клара». Мама говорила, что он живет у нее, как у Христа за пазухой, хотя с учетом ее вероисповедания точнее было бы сказать: «как за пазухой у Моисея».

Детей у них не было. Свободное время она посвящала дому, он — чтению и рыбалке. Милое дело — растянуться после рессор и глушителей в шезлонге с книжечкой или журналом. Ум его не был засушен науками, но и не был ими дисциплинирован. Читал он много и беспорядочно. Его интересовало все. И модный роман, и классика, и чудеса селекции, и тайна Бермудского треугольника, и юмор, и фантастика, и технические диковинки...

На автобазе его постоянно отмечали как лучшего механика, а дома всеми починками занималась мадам. Она так жалела его за тяжелую и грязную работу, что старалась оградить от всего, как любимого сына. Наряду с книгами, самым главным для себя увлечением он признавал рыбалку. На вопрос: «Так какому же хобби вы отдаете предпочтение?» — отвечал: «У меня “обе” хобби: и читалка, и рыбалка...»

По воскресеньям уезжал рыбачить на целый день на Пестовское водохранилище и никогда не возвращался с пустыми руками, даже в тот вечер, когда подтаявший лед треснул под ним, и он ушел под воду со всеми причиндалами. Выбрался и улов не упустил! В магазине на банку с рыбными консервами он смотрел, как на пережиток капитализма. Отправляясь на работу, заказывал «мадам» к ужину тройную уху и судака в кларе.

А вечером его встречал такой рыбный дух, что, вымыв руки, он немедленно устремлялся к столу.

Аппетитом отличался отменным, ел в три горла и при этом был поджар, как гончая. А Клара баловала его разносолами и деликатесами. В ее меню значились фирменные блюда пяти кухонь: австрийской, венгерской, еврейской, польской и русской. Она обратила на мужа все свои нерастраченные материнские чувства, но их было так много, что она охватывала ими и сестру, и ее детей, и даже меня, как бы выбрав себе в племянники, если не по кровному родству, то по душевной склонности. Зимой ко дню рождения даря мне кожаные ботиночки на тонкой подметке, она ослабляла шнуровку, потом, присев на корточки, отворачивала язычки и долго дула внутрь, согревая своим дыханием, чтобы ножкам не было холодно в обуви, принесенной с мороза. И делалось это совершенно машинально. Заботливость была у нее в крови!

Однажды на улице от приятелей я подхватил скороговорку про Карла и Клару. Желание немедленно приступить к Филипповне с тем, чтобы она проговорила эту путаницу вслух, было неодолимым.

— Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет!

— Ишшо чего? — отозвалась няня неодобрительно. — Усядься, — но я почувствовал, что ее покорило само содержание происшествия — две взаимные кражи, а подвохов с произношением она и не заметила. Я этим воспользовался. Если бы Карл *преподнес* Кларе кораллы, а та *подарила* ему кларнет, никаких возражений у Филипповны не было бы. Но тогда терялась трудность произношения, — оно слишком облегчалось, и нянин язык мог бы это выговорить. Весь же смысл скороговорки, насколько я понял, состоял вовсе не в ее содержании, а в том, кто как «заплетык языкается» в зарослях между «Р» и «Л».

Я взмолился. Я просил няню не обращать внимания на суть дела, а просто произнести то, что есть.

— Да как же не бращать унюмания? Чего ж тогда понапрасну языком-то молоть? — удивилась она. — Да я и не упомяну.

Клара Даниловна улыбалась, но, как бывшая иностранка с родным немецким и вторым польским, тоже, видимо, не

вполне подозревала, какие фонетические сюрпризы готовит Филипповне русская скороговорка.

Наконец, няня сдалась и согласилась произнести за мной в два приема то, что не могла запомнить целиком:

— Карл у Клары украл кораллы, — начал я в среднем темпе и внятно артикулируя.

— Карл у Клары уклал колары, — повторила Филипповна чуть медленней, но так же внятно.

— ... а Клара у Карла украла кларнет! — продолжил я, еле сдерживаясь от смеха.

— ... а Клава у Клары уклала кларнет!

Тут уже и Клара Данииловна не выдержала. Она смеялась, я скакал вокруг стола, а няня пеняла мне:

— Ишь, чего навывдумлял! Язык сломаешь...

По вечерам портниха устраивала примерки. Мама надевала перед зеркалом смётанное на живую нитку пальто, тогда как мастерица с зажатыми в губах булавками, толстенная и кругленькая, похожая на симпатичного ежика, суетилась вокруг: то приседала к самому подолу, то вставала на лапки, то опять опускалась, поправляя свою работу, закалывая булавками исправленный силуэт. Говорить при этом она не могла, а только гудела в нос и дирижировала мамой руками.

Успех демисезонного пальто и наша дружба обеспечили Кларе Данииловне следующие заказы, и время от времени она снова появлялась у нас в доме.

Между тем ее любимый племянник Даня сумел-таки стать для меня примером, достойным подражания. Приехав в Москву из далекой провинции, он поступил на мехмат МГУ и закончил его с красным дипломом. Вот это был поступок! После университета он занимался наукой в каком-то НИИ, но не захотел делиться результатами своих изысканий с заинтересованными в соавторстве лицами, и они его основательно притормозили. Он обиделся. Ушел. Поторкался-поторкался, — никуда не берет. Видит: дело — швах. Взял да и махнул в Америку.

А вот это уже был проступок. Да еще какой!.. На долгое время всякая связь с ним оборвалась. Клара Данииловна исстрадалась,

и у нее, как огня, боявшейся каждого постового милиционера, созрел дерзкий план. Как только Даня возобновил переписку с матерью, тетя Клара купила себе тур в Болгарию из Москвы, а он, догадавшись, в чем дело, купил себе тур в Болгарию из Америки так, чтобы в Софии они оказались одновременно. Каждую группу советских туристов сопровождал замаскированный чекист. Но маскировка часто шилась белыми нитками. Клара Данииловна вычислила его моментально. Когда люди идут на такой риск, на какой пошла она, все реакции у них обострены. Кроме того, эти люди должны быть внутренне готовы принять страдание в случае неудачи. Дрожа, как осиновый листок, она обманула бдительность стража и встретила с племянником в центре Софии. Мучивший ее душу державный страх встал на колени перед зовом крови. Возвратившись в Москву, она шепотом рассказала мужу, что у Дани — хорошая работа, собственный дом под Сан-Франциско, и что он составил счастье беглянке из Молдавии. У них родилась дочка, которую он назвал Klarой...

А жизнь текла, меняя русло, и дотекла до того, что сестра с племянницами переселилась из Винницы на Средиземное море в древний Ашдод и, обустроившись на библейских берегах, пригласила туда Klarу с мужем. Сначала — просто в гости, а потом — и жить. К тому времени шитье сделалось для Klarы обременительным — глаза стали не те, а «папа Карло» все продолжал ворочать грузовики, но после перестройки всей жизни страны на коммерческий лад и полного устранения рабочего класса отовсюду, после лишения его даже фарисейских дифирамбов смысл в ежедневной надсаде пропал, потому Карл и поддался на уговоры Klarы:

— Константин, послушай меня. Может быть, работа тебе и по силам, но не по возрасту! Надо выходить на пенсию... Надо выходить на пенсию... Надо выходить на пенсию...

Он и не собирался, да вышел. Препятствий для отъезда у них не осталось.

Всю бумажную волокиту и нервотрепку, связанную со сменной места жительства, она взяла на себя. Сбылась ее мечта — она уезжала на родину предков. Взволнованная ходила она по

квартире, завершая последние приготовления перед отъездом, и только просила мужа ничего не трогать.

— Я все сделаю сама...

Квартира их напоминала бивуак, с которого вот-вот должны сняться войска.

Я приехал их проводить. Мы ждали машину в аэропорт. Может быть, Косте было неудобно передо мной за то, что она все делает, а он ни при чем, и он пытался ей помогать, но она его останавливала и просила лучше поставить чайник на дорожку.

Взволнован был и он, однако причины их волнений не совпадали. Она оставляла то, что навязала ей война. Она уезжала к себе, к своим, при этом она не возвращалась в прошлую жизнь, а жила надеждой на будущую. Если бы ей предоставили выбор между Польшей и Ашдодом, между Веной и Ашдодом, даже между Америкой и Ашдодом, она все равно выбрала бы Ашдод. Для нее это было тревожное, но счастливое волнение встречи с родиной. А он свою родину покидал и не в лучший для нее час. Оставлял свое, уезжал в чужое, и никакие меркантильные соображения не могли бы подвигнуть его на отъезд.

Он уезжал ради Клары точно так же, как она ради него претерпевала полвека жизни вначале в бараке с обледенелой по зимам лестницей на второй этаж, где свекровь, так и не принявшая ее до самой своей смерти, делала их общую жизнь несносной; а потом, воспитанная в духе частной инициативы, Клара страдала от невозможности иметь свое дело, от страха перед фининспектором, олицетворявшем власть во всей ее жестокой и устрашающей силе.

В Советском Союзе нашла она спасение, могла считать его приемной родиной, но теперь уже и Советского Союза не стало... А Костя-то жил со *своей* матерью, на *своей* земле, трудился на *свою* страну. Его волнение было пропитано горечью расставания с родиной, и не верил он в то, что в любой момент они смогут сюда вернуться насколько захотят.

Он поставил чайник, а она отправилась принять душ — освежиться перед дорогой.

Мы сидели с Костей на диванчике. Он повернулся ко мне лицом и, когда в ванне полилась вода, заговорил тихо и горячо. Такого смятения я никогда в нем не замечал:

— Дело прошлое... У меня перед войной девушка была, из Подмосковья. Русская красавица: белая, как сливки, щеки румяные, коса толстая, с руку толщиной — веришь? — а дли-и-нная... Во! До попки. Такая девка — просто клад: умная, обходительная. Они вдвоем с матерью жили — отец погиб на финской. А тут немец белены объелся. Уже Москву бомбил. Меня призвали. Ну, я поехал с ней прощаться. Туда, в Пушкино. Вечером пошли мы в лес через железную дорогу. Уж поздно было. Пока шли, дождик посыпал. Ну, ничего. Сели под елкой, вроде сухо, лапник густой, не пропускает. Молчим. А что скажешь? Тут не до слов... Чему быть, тому не миновать. Только сердце рвется, разлука-то какая!.. Гляжу: что-то в деревьях мелькнуло. А вроде и нет... Потом опять, ближе. Ну, думаю, помстилось. А она мне: «Ты видишь?.. Там белеет что-то. К нам идет». И, правда, как приведение белое, все выше, выше делается... Мы обмерли — веришь? — елки-палки! — не пошевелиться. Страх Божий! Зарницы пыхают. Я как обхватил ее, так и рук разжать не могу. Держу и дрожу. Но храбрюсь: дескать, не бойся, а у самого зуб на зуб не попадает... А что делать? Страхов — много, смерть — одна. Вместе, значит, и примем. Глядь, а это, — что шло-то на нас, — обогнуло сторонкой и тихо-тихо стало удаляться, удаляться, удаляться...

Ты мне веришь, что это все было?.. Я об этом никому не рассказывал. Никогда.

Я не знал, что ему ответить. Скажу: «Не верю», — обижу в самом заветном, может быть, воспоминании, которое всплыло в нем, когда судьба снова так круто переворачивалась. Да и как не верить, когда человек говорит тебе — и только тебе одному, больше никому! — о том, что таил в душе всю жизнь?

— Верю, — ответил я.

— Чему ты веришь? — спросила Клара Данииловна, выходя из ванной.

— А! Мадам Клара... С легким паром! — отозвался за меня Костя. — Мы верим, что чайник уже закипел, и пока нам подадут к подъезду машину, мы успеем попить чайку. Ага?

Машину подали вовремя. Это был «джип» — просторный, как микроавтобус. Мы свободно проехали до аэропорта по вечерней Москве, выгрузились и на двух небольших тележках ввели в раздвинувшиеся двери предназначенный для «репатриации» скарб — ту униженно обидную малость, которую оставила прожитая жизнь этим двум своим разноплеменным чадам.

Я заполнил декларации. Такая работа была не под силу ни ей, ни ему. Она не могла сосредоточиться, волновалась по поводу возможного перевеса, скорого вылета, встречи с родными, а почему волновался он, я уже рассказал. Им было не до деклараций.

Мы обнялись вместе — втроем.

— Устроимся — пришлем тебе приглашение. Маме огромный привет! — сказала она, сдерживая слезы.

— Приезжай! — поддержал он. — И жить будет где, и прокормить мы тебя прокормим. А зимой я приеду на Пестовском порыбачить. Ага?..

И они прошли в зону, недоступную для провожавшего. Там им предстояло договариваться с таможеней.

* * *

Я и не заметил, как промелькнула одна зима, за ней другая... Мы обменивались письмами с Кларой Данииловной. Потом пришло приглашение. А когда я осенней ночью прилетел из «Шереметьево» в аэропорт «Бен Гурион», то на большом кружащемся колесе с багажом никак не мог опознать свою сумку. Чужие чемоданы, рюкзаки, саквояжи, проплывавшие у меня перед глазами не первый раз, были мне уже известны «в лицо», но моего багажа среди них не было. Разгадка состояла в том, что я искал свое — на рейсе из Хельсинки, а едва перешел в соседний зал, сразу же увидел знакомую сумку, в полном одиночестве вращавшуюся по кругу.

«Ну, и хорошо, — подумал я. — Меня должна встречать Клари-на племянница, с которой мы никогда не виделись. Как бы она узнала меня в толпе? А теперь все пассажиры из Москвы давно прошли. Я пойду один. Ни с кем меня не спутаешь».

— А я бы и так не спутала, — сказала она, поджидавшая у выхода из аэропорта. — Когда мы были маленькие, тетя нам столько о вас рассказывала!

— И что же она рассказывала? Что за мной нужен глаз да глаз?

— Нет. Она говорила, что вы можете служить примером, достойным для подражания.

— А сколько мне тогда было?

— Не знаю. Года четыре...

Такси примчало нас в Ашдод к палисаднику за белым штакетником. Клара Данииловна жила в многоквартирном частном доме, принадлежавшем хозяину — эмигранту из Эфиопии. Каждый месяц он лично обходил жильцов. С новоселами из Москвы у него сложились самые добрые отношения. Платили они исправно, без опозданий, квартиру содержали в образцовом порядке. Клара хлопотала вокруг меня, поила чаем. Было уже очень поздно, и все разговоры мы оставили до утра. Перед сном я достал глазные капли.

— Хочешь, я тебе буду закапывать? — предложила она.

— Спасибо. Я сам привык.

Утром за завтраком она не могла со мной наговориться, еще и еще подливала кофе, чтобы продлить трапезу. Посоветовала обратиться в туристическое агентство «Сохнút» и купить сразу несколько туров по стране.

Если тур начинался в пять утра, то в четыре, как условились, и ни минутой позже, она будила меня, кормила и отправляла в путь. Она перезнакомила меня со всеми родственниками. По вечерам мы вместе с ней смотрели московское телевидение и обсуждали увиденное, как когда-то — детские радиопередачи.

Через неделю в нежаркий солнечный полдень мы отправились на городское кладбище на окраине Ашдода. Там, при входе, располагался мемориал погибшим в войнах солдатам и офицерам израильской армии: надгробия из белого мрамора под стальными касками защитного цвета. На каждом постаменте — живые цветы. Ветер шевелил их разноцветные лепестки, темно-зеленые листья. А дальше по-военному ровными рядами выстроились точно такие же высокие беломраморные надгробия для всех, нашедших здесь свой последний приют.

Я уже знал, что Клара и Костя получили приглашение из Америки от Даниила на свадьбу его дочери — их внучатой племянницы. Однако оказалось, что по здешним законам всем гражданам, прибывшим на постоянное жительство, положен «карантин», так что ни в Россию, ни в Америку они до поры поехать не могут. С большим трудом из почтения к возрасту Кларе Данииловне даровали исключительное право побывать несколько дней в Сан-Франциско, чтобы встретиться со всеми родственниками, а Константин остался в Ашдоде как залог ее неперемennого возвращения. Она звонила ему ежедневно. Все было хорошо. Но однажды телефон не отозвался.

Клара Данииловна открыла маленькое стеклянное окошечко в торце надгробия, поставила внутрь свечу и попыталась ее зажечь. Ветер загасил слабое пламя. Еще раз — тоже самое.

— Дайте я попробую.

— Нет. Я все делаю сама.

Фитилек поколебался, поразмышлял и разгорелся. Она приотворила окошко, поправила цветы на прохладном мраморе, и мы медленно направились к воротам.

* * *

Вечером я вышел на берег. Солнце тонуло в море, заливая зыбь текучей пятнистой рябью, отбрасывая багряные отсветы ввысь — на выцветшую голубизну. Вдоль кромки двигалась всадница в черном, с хлыстиком и в цилиндре. Ее силуэт четко рисовался на багрянце. Вороной конь вдавливал в твердый песок печати подков, замываемые набегавшей и кружившейся пеной, а в небе над нами появился бесшумный «небесный тихоход» береговой охраны со световыми сигналами, мерцавшими на кончиках крыльев. Постепенно он скрылся из глаз, а потом и всадница исчезла в сумерках. Они сгустились быстро, как это бывает на юге, когда темнота не надвигается, а падает вдруг бесплотной завесой и, словно прощаясь со мной, уже невидимое летучее создание вновь обозначилось высоко над головою двумя светящимися огнями — как будто ангел нес два фонарика в широко раскинутых руках. Карл и Клара...

«ФРАУ ХУБЕРТ» (Монолог венского кельнера)

— Meine Damen und Herren, sprechen Sie deutsch? Leider nicht. Dann müssen Sie sich mit der Übersetzung meiner Geschichte beschränken, die für Sie einer Russe, der mit mir gewesen war, wenn ich mich nicht irre, im Juni gemacht hat?.. ja, in Juni 2014.¹

* * *

— Заведение, в котором я служу, точнее, в котором я имею честь служить, носит имя «Фрау Хуберт». Из венских кофеен оно — старейшее, и я, признаться, уже лет тридцать исполняю в нем обязанности кельнера. Вы спросите: что такое кельнер? Отвечаю: кажется, ничего необычного, ничего требующего особых дарований, высшей образованности. Подготовить столик, приветствовать и разместить гостей, принять заказ, обслужить, рассчитать, проводить... Дело нехитрое, но апеллирующее к вашей *четкости*, к вашей *корректности*. Если, говоря условно, вы начинаете работу в полдень, тогда как освобождаетесь в полночь, то все эти двенадцать часов вам надлежит проявлять четкость и корректность в отношениях с посетителями, с коллегами, с кем угодно, кто попадет в поле вашего зрения. Хорошо вы себя чувствуете или недомогаете; бодры или утомлены; беспечны или печальны; приятны вам ваши гости или вы хотели бы видеть их в первый и последний раз, — вам предписано на протяжении всех этих двенадцати часов оставаться четким и корректным.

Разгильдяй не удержится в нашем деле и двух недель. Разгильдяю здесь делать нечего. Четкость и корректность должны быть у вас в крови, иначе, даже и не будучи путаником

¹ Господа, вы говорите по-немецки? Жаль, что нет. Тогда вам придется довольствоваться переводом моего рассказа, который сделал для вас один русский, побывавший у меня... в июне?.. да, в июне 2014 года. (Нем.)

и невежей, вы не сможете вынести однообразное бремя труда, доставляющего столько радости тем, кто приходит к вам в гости. Ваши будни — это их праздники, ваша сосредоточенность — их рассеяние, ваш труд — это их отдых.

Иногда среди заглянувших «на огонек» попадают чрезвычайно любопытные персонажи. Однако вам, помимо чисто профессиональной опеки, ни в коем случае не следует выдавать свой интерес к их персонам, прислушиваться к разговорам, которые они ведут между собой, может быть, и не конфиденциально, а вполне открыто, ничего ни от кого не скрывая, но ведь и не предполагая вас в роли слушателя, не так ли? В этом случае простейший способ удовлетворить собственное любопытство, не нарушая неприкосновенности приватного диалога, — это начать, не спеша, убирать соседний столик, желательнее, не поворачиваясь лицом к говорящему. Не видя его, вы полнее сосредоточитесь на смысле произносимого, искренности интонации, темпе и темпераменте речи.

Незадолго перед вами, то есть тоже в июне, в объятия «Фрау Хуберт» пожаловали два почтенных и далеко не молодых уже господина, а лучше сказать, два многомудрых мужа — импозантных, убеленных сединами, прекрасно одетых и светящихся тем детски-счастливым восприятием жизни, которое свойственно людям не только материально благополучным, но и связавшим свою судьбу с каким-либо творчеством, изобретательством, игрой — людям душевно подвижным, не обремененным заботами быта или коммерческим риском, и в этом смысле беспечным, но вовсе не бездумным. Они много ездили, много видели, узнавали, много пережили; а самое главное — они много размышляли об увиденном и пережитом. Естественно, они привлекли мое внимание не только внешне, как *very important persons*¹, но и по существу.

Скорее всего, вновь пришедшие продолжали тот разговор, который они вели только что в прогулочном фиакре², когда его мягко заносит на повороте со *штрассе* (улицы) в *гассе*

¹ Очень важные персоны (Англ.)

² Фиакр — легкий экипаж.

(переулок), и один из седоков невольно припадает к другому; а, может быть, совершая пеший моцион, они попутно продегустировали черничное мороженое в итальянском кафе неподалеку и теперь вознамерились запить его чашечкой душистого горячего кофе. Так или иначе, в распоряжении «Фрау Хуберт» всегда имеется несколько уютных залов, а, поскольку дело было летом, я предложил им более прохладный и светлый, — тот, в который вы попадаете сразу с улицы, а в нем — второй столик от окна. По преданию, именно за ним любил пригубить кофейную пеночку наш великий писатель Стефан Цвейг. Надеюсь, вам знакомо это имя, и оно вызывает в вашей душе такое же благоговение, как и в моей.

Между тем, приняв «меню» из моих рук, клиент, внушающий всяческое расположение, видимо, уроженец Вены, сказал по-английски, обращаясь к своему зарубежному другу:

— My father was born in one thousand eight hundred sixty seven year.¹

И сказано это было совершенно буднично, констатирующим тоном, как формальная информация, не более того!

Самые невероятные сведения хорошо маскируются интонационной безучастностью. Очевидно, прежде речь шла об отце жителя Вены. Для ориентации во времени был назван год его рождения, только и всего. Эта бесстрастность меня обманула. Я, что называется, в одно ухо впустил, а из другого выпустил то, что должно было задержаться, но не задержалось у меня в голове. Все-таки на первых порах меня более привлекала внешность посетителей, веющий от них шарм, нежели названный год, к тому же вырванный из контекста, поскольку я не имел счастья разделить с ними фиакр или сопровождать их по пути из итальянского кафе.

Рекомендовав гостям некрепкий кофе-декаф со сливками и яблочный штрудель², я вынужден был их покинуть, выполняя заказ. Впрочем, они и не удерживали меня в своей компании. Короче говоря, я ушел на кухню, никак не осознав только

¹ Мой отец родился в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году. (Англ.)

² Штрудель — рулет из листового теста с той или иной начинкой.

что услышанного, а сосредоточившись на заказе. Мои гости расположили меня к себе самым фактом своего визита, и мне захотелось уделить им, конечно, максимум внимания.

Итак, *четкость* и *корректность*. Это — основа основ. Но на нее накладывается еще одно свойство, присущее венцам. Пусть кто-то считает нас большими брюзгами и нытиками, уверяю вас, что это не совсем так. Напротив. У нас всегда *все хорошо*. Светит солнце — хорошо, льет дождь — хорошо. Потеплело — хорошо, похолодало — тоже хорошо. Есть работа — замечательно, нет работы — значит, будет. Никто не проявляет к вам интереса? Радуйтесь, что некому отвлечь вас от любимых занятий. Вы знамениты? Прекрасно! Весь мир — у ваших ног. Он раскинут перед вами, как Вена у подножия горы Каленберг. Солнце постепенно гаснет за лесистым холмом, лучи его выгорают в хвое, меркнут на тропинках Венского леса, краски темнеют, воздух насыщают синеватые сумерки, а глубоко внизу, в долине, вспыхивают огни вечерней столицы. Гроздья их рассыпаются по изгибам улиц, по берегам Дуная, иллюминируют ниточки перетянутых над ним мостов...

Но мало того, что у нас всегда *все хорошо*, у нас еще и *все — хороши*. В настоящем, в будущем и в прошедшем. А потому не вздумайте при нас осуждать императора Франца-Иосифа за недопустимость его шестидесятилетнего восседания на престоле или за постоянные адюльтеры в обществе розовых фрейлин, разливавшихся вокруг императора, как весеннее половодье! Он был образцовым государственным мужем, ежедневно с пяти утра и вплоть до вечернего бала вникавшем в заботы вверенной ему Богом империи. В те же самые часы, то есть большую часть суток, он оставался и образцово-показательным семьянином, преданным своей любимой Сисí.

Однако не позволяйте себе щелкать по носу и сочиненного Гашеком бравого сапожника Швейка, в чьей обувной лавчонке в Праге висел портрет верховного главнокомандующего, «глуповато улыбавшегося» заказчикам. Видавший виды штабной лекарь комиссовал Швейка, собравшегося на войну только для того, чтобы сражаться до последней капли крови за государя императора. Причиной комиссования послужил именно этот

мотив, признанный лекарем вовсе не проявлением патриотического долга, а полным и не подлежащим излечению идиотизмом. Но когда вам станет ясен едкий юмор простака Швейка, не торопитесь негодовать и требовать сапожнику вместе с его сподвижником-сочинителем пожизненной гауптвахты. Подумайте: почему бы bravому вояке — любителю пивка и кнедликов¹ не пошутить над своим государем?

Семьсот лет с Габсбургами² и сто лет после них мы стремились к четкости и корректности. Семьсот лет с Габсбургами и сто лет после них мы внушали себе, что у нас все хорошо и что у нас все хорошие. И вот результат: мы живем в процветающей стране, историей которой мы гордимся, нынешнему дню радуемся и верим в то, что и в грядущем все у нас будет хорошо. Сто лет назад мы потеряли империю кавалерийских атак, но, по счастью, еще раньше мы создали империю органных соборов, где царствует Моцарт, а не пан генерал Виндишгрец³. И эта империя стоит непоколебимо, как сами соборы.

Вы можете спросить: «А действительно ли все так хорошо у вас, почтенные венцы? Не выдаете ли вы желаемое за реальность? Не ваши ли зеркальные трамваи с выключенными моторами вытянулись один за другим наподобие бесконечной гусеницы перед зданием парламента? Движение застопорено. Вдоль путей в темпе столичного фланера перебирает ногами турецкая демонстрация. Сотни две турок с флагами и барабанами в сопровождении своих пластичных турчанок выражают протест политике правительства и требуют отставки президента. Но не австрийского, — упаси Боже! — а своего, турецкого “султана”, в Анкаре».

На это я отвечу вам так: задержка в движении транспорта всегда неприятна. Но это ничтожно малая цена, которую мы платим за свободу волеизъявления турецкой эмиграции. Она возмущена тем, что происходит у нее на родине? Имеет право. Но

¹ Кнедлик — блюдо из теста или картофеля.

² Габсбурги — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы в Средние века и в Новом времени.

³ Виндишгрец, Альфред (1787–1862) — австрийский фельдмаршал.

ее возмущение выкипает в безопасной, цивилизованной форме под надежной охраной городских служб. Вы думаете, турки идут одни? Ошибаетесь. Перед демонстрантами, выстроившись клином, как почетный эскорт, со скоростью пешехода ползут полицейские мотоциклы. Сбоку по обеим сторонам колонны следуют многочисленные чины полиции в полном боевом облачении. Сразу за колонной в несколько рядов идут оранжевые куртки: нечто вроде ваших русских дворников. У них в руках — совки и метлы. Они тут же убирают мусор, оставленный демонстрантами. Замыкает шествие отряд полиции, ненамного меньший, чем сама демонстрация. Любые эксцессы исключены. Вопрос в другом: куда идут протестующие? Они идут к парламенту чужой страны, чтобы адресовать небу Австрии свои кричалки, предназначенные сугубо для турецких небес!

* * *

Тем временем заказ был готов, и я с особенным удовольствием подал моим гостям кофе, сливки и яблочный штрудель. Подходя к столику и слегка балансируя уставленным подносом, я услышал, как венец, обращаясь к своему собеседнику, спросил скорее себя самого:

— Was born my father in one thousand *eight hundred sixty seven* year?..¹ Причем слова «*eight hundred sixty seven*»² он интонационно как бы выделил курсивом. Теперь это не была безучастная констатация. Теперь это прозвучало как нескрываемое изумление, произнесенное со всей гаммой сопутствующих ему эмоций от почтения, сомнения, недоверия до оттенка мистического ужаса перед той бездной времен, которая открылась вдруг за этой вестью, казавшейся прежде такой заурядной, вовсе не располагавшей ни к каким рефлексиям.

Вот тогда и я внутренне вздрогнул и попытался осознать, что возле меня за столиком кофейни «Фрау Хуберт» июньским

¹ Мой отец родился в тысяча *восемьсот шестьдесят седьмом* году?.. (Англ.)

² ...*восемьсот шестьдесят семь*... (Англ.)

вечером 2014 года сидит человек, родной отец которого родился в 1867 году...

Не может быть! — такой была моя первая реакция. Лишь профессиональная этика не позволила мне выкрикнуть свое недоумение вслух, ведь я не участвовал в разговоре, я только молчаливо творил его деликатесный фон. За меня высказался достойный уважения иноплеменник:

— Не верю! — смеясь, но весьма убежденно возразил он по-английски. — Этого не может быть. Ты представь себе, что такое 1867 год... Мне сейчас — восемьдесят, а ты старше меня всего на два года.

Я стал мед-лен-но сер-ви-ро-вать со-сед-ний столик и вспоминать, с чем в нашей истории связан 1867 год. Мне вспомнились только два события, но каких! В 1867 году сложилась двуединая Австро-Венгерская монархия, которая продержалась полвека и которой уже целое столетие как нет на свете! В том же году маэстро Йоганн Штраус сочинил прелестный вальс «Голубой Дунай». Если кто-нибудь из иностранцев подумает, что два эти факта несопоставимы, то ему непременно надо приехать к нам еще раз. Вена бесподобна ансамблями дворцовой архитектуры, обилием ваяний — мифологических, аллегорических, исторических. А попробуйте найти более светлый город! Белые дворцы, светло-серые соборы, белизна скульптур. Готика, барокко, ампир, модерн... Но музыка, как драгоценная корона, венчает нашу архитектуру и нашу государственность.

Впрочем, ни на секунду не покушаясь на приоритет музыки, мне, тем не менее, приятно думать, что и кондитерские *vaterland*¹ знамениты не в последнюю очередь. Аромат подаваемого здесь кофе, отменные деликатесы, элегантность интерьеров, равно как и безупречность обслуживания давно снискали им добрую славу. Они не нуждаются в рекламе. Скорее наоборот. Они анонсируют тех, кто переступает их порог. Не буду рассуждать о том, часто ли заходят сюда потомственные венцы, но иностранцы считают своим долгом побывать в этих эталонах вкуса.

¹ Отечества (*Нем.*)

Кстати, мы не делаем секрета из наших фирменных блюд. Милые дамы! Посетите Шёнбруннский дворец — летнюю резиденцию Габсбургов, но прежде, чем усладить взор великолепием раззолоченных залов, посмотрите в левом флигеле дворца оригинальное «Штрудель-шоу». У вас на глазах очаровательная кондитерша, как кудесница, раскатает вязкий блин желтого теста в тончайшую, едва ли не прозрачную ткань и обернется ею, как венгерская цыганка — кружевной шалью! Тайна штруделя состоит в том, что теста в нем должно быть мало, а начинки — много. Чтобы форма с трудом удерживала тяжесть густой и сочной яблочной массы, уже не обжигающей, но еще горячеей.

Летом «Фрау Хуберт» раскидывает столики прямо на улице перед раскрытыми окнами кофейни. Располагайтесь! Тут вам будет прохладней, здесь отчетливей станет доноситься до вас цокот копыт по булыжной мостовой. Это фиакры, запряженные парами белых, гнедых, серых в яблоках лошадей катают мимо ампирных дворцов и памятников модерна нарядных японок или толстощекого, обросшего щетиною сикха в лиловой чалме или разнеженного шейха, вывозящего на вечернюю прогулку семнадцать любимых жен своего гарема и нанявшего ради них вереницу из девяти экипажей.

Фиакр в Вене — все равно, что гондола в Венеции. Медленно покачиваясь, проехаться между венскими дворцами все равно, что в том же темпе проплыть меж венецианскими. То и другое — непременно удовольствие из коллекции богатого странника-иноземца. На ушках лошадок игриво торчат конические позолоченные колпачки, а под хвостами мотаются вправо-влево кожаные сумки-«подгузники», блюдущие гигиену мостовых. За этим городские стражи следят строго. К фиакрам никаких претензий у них нет. Турецкие демонстрации тоже не подлежат суровым ревизиям. Но с некоторых пор заметное беспокойство доставляют вошедшие в моду гей-парады. Их режиссеры превращают их в оглушительные массовые шоу, парализующие центр города под маркой современных балов-маскарадов, длящихся по несколько дней.

Представьте себе толпы ряженных, отовсюду несущийся тяжелый рок, пригнетающий к земле все живое, гигантскую

двухэтажную автоплатформу, заполненную танцующими лесбиянками, целующимися геями, мужественными женщинами и женственными мужчинами. Звезды вокала рвут друг у друга микрофоны. Шарабан пульсирует на все стороны пестрыми фонтанами конфетти. Все гремит, искрится, переливается, трясется. Гей-генерал в бюстгальтере на металлических заклепках, с одной эполетой на голом плече... Пляшущие пожилые господа в котелках и с тросточками, но без штанов... Крашенные юноши с петушиными гребнями... Непомерных размеров старуха-цветочница, увитая виноградом... Голый «качок» на каблуках, с ангельскими крылышками за боксерскими плечами и с лорнетом у прищуренных глаз, который он жеманно наводит на возлежащих по обочинам дам в цветастых париках... Бледный Нарцисс в балетной пачке, на пуантах, с веночком из мелких роз, как в зеркальную раму, вписанном в овал воздетых рук...

Моторизованное шествие Вакха и менад. Смесь порока, гульбы и веселья. Молодежь — в восторге. Дерево познания Добра и Зла выкорчевано и выброшено из Рая. Все перемешалось. Все предъявляет свои права на вольное произрастание. Вот — вызов общественному вкусу, буржуазной морали, церковному лицемерию, ветхим уложениям предков, трусости обывателей... Общество вязнет в болоте традиционных нравов, а мы хотя бы на миг взбаламутим эту тину. Лови момент! Когда еще голубым голубкам позволят целоваться в губы на ступенях ратуши под окнами мэра, а голубкам прилюдно ласкаться маршем ниже? Сейчас это возможно. Идет гей-парад!

Вы спросите: «Неужели весь этот бравирующий колоб на показ и беспрепятственно катается по историческому центру европейской столицы, разбивает свой табор у дверей правительственных зданий?»

Именно так.

Вы скажите: «Если турецкая демонстрация еще имела цель — пусть и недостижимую: докричаться из Вены до Анкары, то что преследует гей-парад, кроме обращенного в карнавал эпатажа, вызывающего то потеху, то брезгливость; кроме желания ощутить себя единым чувственным прайдом, выплеснуть наружу свои комплексы?»

Не горячитесь. Он требует равноправия прайда со всеми другими слоями социума. Наверно, он возмущен тем, что духи войны охотятся на людей даже там, где их появление повергает в шок старушку Европу. Может быть, гей-парад — это альтернатива парадом военным? Оружие сексуального поражения бросает вызов оружию поражения ракетного? Новое разрушение протестует против старого? Очень, очень спорно... Потому все и оцеплено. Кругом — машины полиции, рации, хорошо экипированные полицейские-мотоциклисты. Но дворников нет. Тот мусор, который оставляет за собою шествие геев, сразу не уберешь. Его надо будет выметать всю ночь.

Как к этому относится общество? Как к данности. Запретить ее нельзя: порочные комплексы — в натуре человека, в том числе — в генетических ошибках природы. Борьбаться следовало бы с ними, а не с ней. Пока же выход один — давать выпустить пар, но ограниченно; разрешать, но от сих и до сих. И только под охраной, а, значит, под контролем полиции. Ничего не поделаешь, господа! Ни одно общественное устройство не избегает жертв, которые оно вынуждено приносить своим принципам. Запреты рожают демонов угнетения. Свобода рождает демонов своеволия.

* * *

В кофейне «Фрау Хуберт» — благодатная тишина. Не слышно даже той музыки, что по заведенному здесь распорядку звучит несколько тише человеческой речи, не мешая беседе гостей.

Возвращаюсь мыслью к отцу господина, заказавшего у меня, кроме кофе, двойную порцию зеленого чая в маленьком стеклянном чайничке с поршнем и две венские булочки, мокрые от мака. Какая, действительно, безумная бездна времени разделяет нас и год 1867-й! Он кажется неправдоподобно, фантастически далеким. Эта бездна поглотила в себя Первую мировую, гибель империи, аншлюс 1938 года, Вторую мировую, по завершении которой четыре страны-победительницы четвертовали Австрию, пока не признали более разумным вернуть ей независимость при условии бессрочного нейтралитета.

А сколько поколений сменилось за эти годы! Сколько преданных и горячих, обольщенных и обманутых сердец перестало биться! Какие волны борцов за веру и справедливость, родину и свободу схлынули и растворились в небытие! Националисты и либералы, коммунисты и консерваторы, социалисты и евро-скептики; католики, гностики, атеисты... Так в чем же истина, друзья мои? А истина в том, что июньским вечером 2014 года кофейню «Фрау Хуберт» посетил господин, который вкупе со своим отцом все это превозмог и физически пережил! Непостижимо. Нет, все-таки не может быть.

И тут я вспомнил слова, произнесенные его спутником. Так бывает. Ум что-то ухватывает, но не осмысливает сразу, а до поры отправляет в анналы памяти, чтобы спустя срок возвратиться к услышанному и попытаться его понять. Во-первых, приятель венца ему не поверил. Во-вторых, сказал: «Мне — восемьдесят лет, а ты старше меня всего на два года...» На два года? Значит, ему сейчас — восемьдесят два, то есть он родился в 1932-м. Сколько же было тогда его отцу? Так... шестьдесят пять лет. Гос-по-да... Но если мужчина дожил до шестидесяти пяти лет и не надорвал себе сердце трудом, не обуглил нервы женскими изменами, не забил сосуды никотиновой смолой и не растворил мозги алкоголем, то он еще орел! Тот, кто родил сына в 1932-м в возрасте шестидесяти пяти лет, сам неизбежно родился в 1867-м!

Очевидно, подобную же незамысловатую цепочку сковали и мои гости, потому что, когда я подошел к ним справиться, приятно ли им у нас, всем ли они довольны, мой венец с оттенком уже мистического восторга и оттого забыв перейти на немецкий, воскликнул, обращаясь ко мне по-английски:

— My father was born in one thousand *eight hundred sixty seven*!..¹

А его друг, откинувшись на спинку дивана, радостно подтвердил:

— Yes!..²

¹ Мой отец родился в тысяча *восемьсот шестьдесят седьмом*!.. (Англ.)

² Да!.. (Англ.)

Каким же близким оказывается то, что казалось таким далеким!

Признаюсь, нас — всех троих — охватила такая веселость, как будто мы только что узрели мост через бездну; осознали, что для его создания потребовалось участие всего двух человек, и один из них — перед нами!

У меня мелькнуло: а если бы я познакомил с ним моего пятилетнего внука, моего Даниэля? Что тогда Даниэль, перешагнув свое восьмидесятилетие, смог бы сказать другу-ровеснику июньским вечером 2091 года? Он смог бы сказать: «Я лично был знаком с человеком, чей отец родился в 1867 году!» Вопрос, правда, состоит в том, будут ли наши внуки испытывать такое же чувство почтения, радостного удивления и благодарности по отношению к предкам, какое испытываем мы. *Благодарение* — вот, пожалуй, еще одна благодать, дарованная нам, венцам, Владыкой миров.

Если в первый четверг после Троицы вы окажетесь в Вене, придите с утра к собору Святого Стефана. Это — день Праздника Тела Господня, день Причащения Святым Дарам, день благодарения. Как чиста, как свежа и признательна своей звездой Вена, воспрянувшая ото сна! Залитая неярким и нежарким утренним солнцем, она затаенно празднична, ибо праздник ее — в ней самой, он благочестив и не кричит о себе.

Накануне не вульгарные баннеры, натянутые через улицы; не двухэтажная реклама, а узенький листок на входной двери собора оповестил прихожан о том, что завтра в восемь утра будет исполнен Реквием Моцарта. Но придите пораньше! Миновав очаровательно пустынные в этот час переулочки старой Вены, вы совершенно неожиданно для себя попадете в собор, все просторнейшие нефы которого еще задолго до назначенного срока будут заполнены до отказа не только благоверными прихожанами и их семьями, но и духовенством, и такими же путешествующими, как и вы.

Нет, господа, вы попадете не на концерт, хотя Реквием, конечно, прозвучит, многократно отраженный и умноженный акустическим чудом собора. Вы попадете на торжественное

Богослужение, посвященное Евхаристии — таинству Причащения Святым Дарам, а по завершении службы станете свидетелями католической процессии, исходящей из храма и направляющейся к Хофбургу — бывшему дворцу императора, нынешней резиденции президента Австрийской Республики.

Опишу церемонию по-светски.

Итак, процессия покидает собор и ступает на площадь. Впереди идут молодые офицеры в старо-гвардейских красных мундирах с обнаженными шпагами и воздетыми хоругвями. Они печатают шаг, как на смотре, не без потешного усердия и отрешенности во взоре.

За офицерами следуют священники римско-католической церкви в белых мантиях с черными крестами. За ними — священники в черных сутанах с белыми крестами на правых рукавах, потом — с белыми крестами на левых рукавах. Эту симметрию символов обобщают иерархи в черно-белых облачениях в пол.

Продолжает шествие в окружении офицеров полиции его средоточие — архиепископ Вены в кремовой тиаре и золотистых одеждах. Служители несут над ним расшитый балдахин. Кажется, архиепископ не в духе. Он как-то нахохлился и словно на кого-то обижен. Возможно, его огорчает па́ства, его прихожане-журналисты, которые осветили без должного внимания к деталям миссионерскую поездку понтифика по Камеруну. Какое небрежение! Папа Римский достоин большего пиетета. Сегодня прессе предоставлена возможность замолить грех самым ревностным бдением, но где она? Видно, ее религиозная совесть не повелела ей склонить колени пред алтарем даже в Праздник Тела Господня...

Архиепископа сопровождают дамы-патронессы в черном, с накрученными шляпками и подобием вуалей. Но без «мушек». Преклонный возраст патронесс не позволит вам заподозрить иное предназначение вуалей, нежели то, что обязывает незнакомку скромно скрывать свои увядающие черты.

Дамам сопутствуют совсем юные послушники, а следом бесконечной чередой движутся верующие, многие — в национальных одеждах: мужчины — в ярких гольфах и тирольских шляпах

с перышками; девушки и молодые женщины — в сарафанах и длинных фартуках, часто с колясками, откуда выглядывают любопытные глазенки... И, кажется, что вся Вена устремляется к Хофбургу под неумолкаемый праздничный перезвон колоколов собора Святого Стефана!

В детстве эта процессия производила на меня неизгладимое впечатление. Однако, став взрослым, я однажды спросил себя: «А куда они собственно идут? К Хофбургу? Но ведь это — символ той империи, которой давно больше нет. Ныне там пребывает федеральный президент. Значит, они идут на поклон к нынешней светской власти? Их благодарение адресовано ей? Неужели в этом конечный смысл церемонии? Но, простите, в демократических республиках президенты меняются с непреложностью закона. Кто там сегодня? Шнайдер?.. Шредер?.. Штрудель?.. А шествие остается. Оно неизменно. Такой же была и процессия 1867 года: офицеры — священство — архиепископ в кремовой тиаре — патронессы — послушники — народ... И тогда в шествии вполне мог участвовать младенец, родному сыну которого осталось лишь рассчитаться с кельнером и покинуть кофейню «Фрау Хуберт».

Пожалуй, только теперь я прочувствовал, что смысл католической процессии состоит в том, чтобы забвение не разрушило мост над бездной времен; тот мост, один из пролетов которого сооружен моим венцем и его досточтимым отцом — пролет длиною в сто сорок семь лет.

На прощанье мне захотелось доставить гостям удовольствие, прямо связанное с годом, вызвавшим в них и во мне столько недоумений, переживаний; столько счастливого кружения души.

Я поставил вальс Штрауса «Голубой Дунай».

ВИТВИК

В. Р. Регелью

1

Старик лежал почти раздетый поперек узкой, разворошенной постели так, что ноги его, согнутые в коленях, не свешивались, а просто стояли на полу, волной приподняв пестрый шерстяной коврик, упершийся краем в ножку стола.

Лежавший всхрапывал как-то нерешительно, с паузами, и казалось, что скоро храп его стихнет вовсе, колени разогнутся, ноги съедут под стол, вытянувшись и одеревенеют; прервется дыхание; некто, незримо затаившаяся в углу комнаты, щелкнет серебристым когтем по лезвию косы, впившейся острым носиком в цветок на обоях, и лезвие отзовется легким звяком — недолгим и плоским, лишенным того эха, что придает всякому звуку протяженность и отзывчивость жизни. Впрочем, надобность в косе, пожалуй, уже отпала для этого дыхания, державшегося на тоненькой ниточке, способной оборваться и так, без всякого пресечения со стороны. И все-таки присутствовавшая медлила, и он еще дышал полукоткрытым ртом, дышал напряженно и жадно, подхрипывал, выпевая иногда что-то горловое, недужно-причудливое, что представлялось ей вместе и отвратительным, и забавным.

Шорты на нем замялись, ляпка ветхой маячки съехала с покатоного плеча. Он напоминал выжатого дистанцией марафонца, пробежавшего весь путь и упавшего перед самым финишем. Хватит ли у него сил подняться или это уже и есть последняя черта? Она полагала, что — да. Есть. Последняя.

Она знала его давно. Она долго ждала этого часа.

Впервые она заметила его на Балтике, когда ему не исполнилось и тридцати, а на вид было чуть за двадцать. Бравый и кряжистый, в широких раскидистых клешах, во взлетающей ленточками бескозырке он отплясывал «Яблочко» на палубе линкора под дырявую тульскую гармошку, шумно всхлипывавшую на каждом вздохе и присвистывавшую на выдохе. Глаза его

сияли, щеки заливал юношеский румянец. Он сбросил на доски палубы тяжелый форменный бушлат и мелькал бело-синей «зеброй» тельняшки. То был танец жизни, радостно-буйная пляска спасшейся души — души (если не верить в ее бессмертие), поистине, обретшей второе рождение.

Только что линкор «Марат» пересек минное поле. Быстроходные немецкие катера и летчики вражеской авиации унастили выход из бухты магнитными минами, забросали ими фарватер. Гибель русского флота считалась предрешенной, но в порту инженеры-физики сумели размагнитить корабли, и все они благополучно выбрались из ловушки.

Подумав об этом, невидимка в углу поднесла было руку к лезвию косы, однако, подержав в воздухе, опустила.

Вспомнилось, какой хитроумный трюк едва не компенсировал ей этот первый досадный промах. Танцевавшего матроса звали Виталием Бергом. Так вот, ей удалось внушить особисту мысль о том, что Берги против Германии не воюют, что у каждого из них есть своя секретная миссия, своя строго поставленная диверсионная задача в пользу исторического отечества. Есть она и у Виталия Викторовича. Между тем немцем он был только наполовину — по отцу, а по материнской линии происходил из рода русских купцов Тимашевых. Однако это последнее соображение на бдительность особиста не повлияло. Все было на мази. Оставалось лишь подписать ордер на арест. Но тут неожиданно в дело вмешался Батя — главный человек по спасению флота.

Оказалось, что в молодости Батя снимал комнату в Ленинграде у матери Берга и знал его с детских лет — еще Талькой. Позже Батя переехал на другую квартиру, поближе к Политеху, где делал дипломную работу, а его место заняла девушка, в которую он влюбился, позабыв о дипломе. Его эксцентричности вполне хватило на то, чтобы, не пользуясь входной дверью, залезать на второй этаж по пожарной лестнице, но это, увы, не тронуло девичье сердце. Батя не добился взаимности от новой квартирантки, страшно перестрадал и был на грани самоубийства.

Отрок Виталий (Талька) вызвался их примирить. Ничего из этого не вышло, однако время он выиграл. Мрачная полоса

миновала. Отвергнутый Батя смирился со своей неразделенной любовью, а всю душевную страсть, весь освободившийся от любовного смятения разум направил в науку, чтобы поразить знатков остротой технического гения. Еще до войны он изобрел способ борьбы с магнитными минами предполагаемого противника, а когда война началась, успешно применил свое изобретение на практике. После того, как целая эскадра была выведена из таллиннской западни, пройдя, как по маслу, через наспигованные минами воды, и ни один корабль не получил ни малейшего повреждения, авторитет Бати так вырос, что прислушались к нему, а не к особисту, и атмосфера вокруг Берга была «размагничена».

На фронте Батя дал ему рекомендацию в партию, а когда война отгремела и началась атомная эпопея, устроил начальником сверхсекретного опытного цеха. Виталию предстояло освоить метод разделения изотопов урана; метод, без которого бомба не получалась. Тогда-то дважды точившая на него косу крепко поверила в то, что на сей раз доконает везунчика. Условия труда были для этого самые подходящие: радиоактивность, рабочий день не нормирован, в цехе жара тропическая, техника безопасности на нуле: все понимают, что смерть рядом, но когда секанет и откуда — неизвестно.

Талька — молодой, обросший ходил по залу, раздевшись до трусов, а защищался от безносой исключительно ректифика- том. Батя курировал тему, но цех навещал нечасто, доверив Виталию право тихо, не афишируя, поддельвать свою роспись в ведомостях, в том числе и выписывать спирт. Кладовщик так привык к Виталиевой версии, что подлинный батин росчерк уже не признавал. Этот баланс между возможным облучением и угрозой спиться поддерживался два года, а когда бомбу испытали, начцеха Берг подстриг поседевшие от страха волосы, гладко побрился, до блеска наодеколонив опавшие скулы, сшил костюм из темно-синего английского шевиота, украсил петлицу орденом вождя и укатил с двумя дамами на голубой «Побед» в новую жизнь, празднуя свое третье рождение.

С тех пор церемониал его дружеских застолий упрочил любимый тост: «Выпьем за то, что, несмотря ни на что, жизнь

прекрасна!» А если кто-нибудь добавлял: «...и удивительна!», он недоуменно спрашивал:

— Почему удивительна?

— Как же? По Маяковскому. Помните, в поэме «Хорошо»: «Радость прет. Не для вас уделить ли нам? Жизнь прекрасна и удивительна!»

Однако в таком контексте, в одном ряду с футуристически беспардонно прущей радостью престиж Маяковского, приравненный к весу власти, Берга, человека безусловно законопослушного, почему-то не убеждал. У него было другое мнение. Он не удивлялся жизни, а любовался ею. Он принимал ее как данность в любых проявлениях, но прежде всего впечатлялся именно прекрасными чертами. Поэтому с упорством, переходящим в упрямство, слегка помрачнев, переспрашивал: «При чем тут “удивительна”? Что значит: “удивительна”? Нет, просто прекрасна!» И, воодушевляясь, возвращая себе свое всегдашнее приподнятое настроение (а цветущий вид был вновь обретен вскоре после изотопов), провозглашал: «Жизнь прекрасна!» Этим усекновением цитаты слева и справа он, низложенный было до роли подражателя, опять оказывался на высоте и выглядел вполне независимо.

На самом деле его независимость, конечно же, оставалась мнимой. Он жил в государстве единомыслия и зависел далеко не только от цитат. Судьба закатала его в тот запутанный и противоречивый клубок обстоятельств, которые определяли карьерный успех одних единомышленников и неудачу других. Клубок этот дышал, страдал, взывал к справедливости... Но, и будучи большим начальником, никогда не позволял себе Виталий Викторович унижать людей, срамливать их между собой, использовать затруднительность положения. Его детская открытость, доверчивость и врожденное благородство обрели теперь контуры благожелательности, внимания, готовности прийти на помощь. Безотказно, к примеру, ссужал он нуждающихся деньгами, причем возвращение долга лежало исключительно на совести должника. Сам заимодатель никому не напоминал о недоимке и вообще не держал в голове адресов и сумм своей благотворительности.

По природе являясь скорей охранителем, нежели созидателем, Берг искренне уважал творческий дух, приветствовал чужие инициативы и в этом качестве был, действительно, проводником нового. «Вы предлагайте, — говорил он сослуживцам, — а я поддержу». И поддерживал, и не настаивал на своем соавторстве. Правда, его и так охотно включали всюду, куда только могли: и в соавторы, и в содокладчики, и в сопредседатели, и в премиальные списки, — настолько приятным было общение с ним — то улыбчиво-возбужденным, то строго-спокойным, равно готовым и к серьезному обсуждению, и к дружеской шутке; настолько гипнотизировала его близость с Батей — близость такая естественная и прочная, что ему не было никакой необходимости козырять ею, а пользоваться он считал бы позором для себя. Зато запросто, сложив в портфель «малый военно-морской набор» (водка, ром, коньяк, шампанское) и, приветливо махнув секретарше, являлся он в большую батину семью, где все были ему рады («Талечка пришел!»); где, крепко выпив, вспоминали они с Батей минные поля, матросиков и особенно пережитый ими однажды вместе морской десант из тех, что без счета бросались «на алтарь Победы», когда надеяться ни на кого не приходилось, когда отчаянье уступало место отчаянности, когда стальные каски дружно летели на бруствер окопа, а их сменяли подбитые ветром беззащитные бескозырки, когда штыки примыкались к винтовкам, и батальон вставал в рост под шквальным огнем, чтобы посмотреть в лицо той, безжалостной и всесильной, сведшей море и землю в единой кровавой каше рукопашного боя. Это связывало их намертво. Этого было не разнять.

2

Она вздрогнула. Ей показалось, что он очнулся. Нога немного подвинулась, смяв шерстяную волну, плотней прижав ее к столику. Старик пошевелился еще и перестал храпеть, сменив позу. Теперь он лежал неподвижный, безмолвный, как мертвец, но глаза его были раскрыты. Он смотрел на противоположную стену, оклеенную бумажными обоями в розовый цветочек, а между цветков с монотонной симметричностью орнамента

раскинулись тусклые серые веточки, тонкие виточки, изогнутые то влево, то вправо. Зрение у него было острое, и он отлично различал все мелочи рисунка. В углу напротив он заметил короткий порез в стене, как будто туда вдавили что-то отточенное, а потом вынули.

Нет ли там кого? Ему померещилась кто-то в белом. Как будто какая-то дама. Лица ее было не разглядеть, поскольку она наклонилась в проход, и громадный темно-вишневый карбункул качнулся у нее на груди. Граненый рубин, оттягивавший серебряную цепочку. Старик застонал, но в этот момент за дверью возник шум, и видение исчезло.

Втаскивая пылесос, в номер входила горничная. Это означало, что сейчас — утро. Горничная всегда прибирала комнату по утрам. Она поздоровалась, по опыту не рассчитывая на ответ, и в полном молчании принялась протирать мягкой тряпочкой пыль на подоконнике, настольной лампе, полированной мебели. Размотав удлинитель, включила пылесос и взялась за пол. Временами воздушная струя била в подол ее халата, он надувался, топорщился, извиваясь, но ни эта возня искусственного ветра с женским платьем, ни рев пылесоса не привлекали внимание жильца.

Пожалуй, именно так правильной всего и мог бы он назвать себя в нынешнем своем положении: жилец. Его поселили здесь сравнительно недавно, хотя с некоторых пор время перестало занимать его вовсе, и он затруднился бы ответить на вопрос: как долго живет здесь, в этом обособленном от мира доме ветеранов жизненной сцены, постепенно и незаметно сходящих с нее. Часы на столике — забытая советская «SLAVA» — замерли на SUN¹, 31-е, 23:57, и это красное «SUN» уже покосилось в своем прямоугольном окошечке, вот-вот готовое пасть, уступая место надвигающемуся черному «MON»².

Та, что затаилась в углу, хорошо знала, какой он жилец. Разве что постоялец, заброшенный сюда, в это последнее пристанище

¹ Sunday — воскресенье (англ.).

² Monday — понедельник (англ.).

одиноких, поштучно расквартированных по номерам и встречавшихся за едой или на прогулке в широком коридоре с перилами вдоль всей стены, делающими коридор похожим на неестественно вытянутый балетный класс с той разницей, что доживающие свой век «девочки» и «мальчики», упражнявшиеся у стенки, репетировали не театральный выход, а реальный уход. Впрочем, жилец не появлялся в коридоре. Еду ему приносили в номер, и жильцом он оставался для горничной или официантки, но никак не для хозяйки его жизни, невидимо покоившейся в кожаном кресле напротив и твердо знавшей про своего *vis-à-vis*¹: не жилец.

Пылесосная струя похолодила ему ноги. Горничная, огибая ступни, чистила коврик, сгорбленный у стола. Щетка пылесоса то сучивала, то разглаживала шерсть, и холодок набегал волнами, как на Волге, когда дует с реки, и пена, курчавясь, опадает к ногам, вода всасывается в песок, чтобы снова прихлынуть, а он — полторагодовалый голыш в белой панамке — с визгом отступает от брызг, переминается на песке, опять подшагивает к самой кромке, и Волга по-матерински ласково щекочет ему ножки коротким, влажным прикосновением. Он смеется, отец подхватывает его на руки, сажает к себе на плечи, и они бегут, бегут по краю прибоя навстречу своему нескончаемому счастью...

Спустя несколько лет, в бедствиях гражданской войны, профессор Виктор Эдуардович Берг умер от тифа. Он — ботаник, специалист по болезням хлопчатника был сподвижником Вавилова, другом Четверикова — основателя русской школы эволюционной генетики. Разгром лаборатории Четверикова послужил сигналом к «Варфоломеевской ночи», которую новая пролетарская власть учинила генетикам. Не раз Виталий Викторович думал: «Хорошо, что отец успел рано умереть. Доживи он до той поры, когда “жить стало лучше, жить стало веселей”, то есть до эпохи Большого террора, он бы с его благородством и прямоотой погиб среди первых, если не от физических мук, то от моральных».

¹ *Vis-à-vis* — тот, кто находится напротив.

Но вслух Виталий не говорил об этом никому. Он вообще не распространялся о своих родственниках. «Отец? Из служащих. Умер в 1920 году. Мама — домохозяйка. Умерла в 1951-ом». Старший брат Альберт, расстрелянный в Ленинграде в 38-м, никогда не упоминался. Где-то оставались дядья и тетки, двоюродные и троюродные братья, но их раскидало, и почти никаких связей с ними он не имел.

О своем отношении к власти Берг мог бы сказать одно: лоялен. Нет, никогда не стремился он бежать впереди паровоза, размахивая свежим номером двухкопеечной «Правды». Но «Правду» читал регулярно, к мыслящим «иначе» оставался нейтрален, а карикатурный вожизм «геноссе Полыхаевых» не делал мишенью для приглушенных насмешек. Здесь, как и во всем другом, он прислушивался к мнению Бати, а мнение это было определенным: всё, чего достигла страна, она достигла такой дорогой ценой, что наше дело честно трудиться, а не лебезить перед властью или грязнеть в критиканстве.

Лоялен... А каким еще ему надлежало быть в той совершенно секретной системе, в которую он попал вслед за Батей, в которой весьма преуспел, из чьей сети долго не мог выпутаться, а однажды она его чуть не задушила?

Вскоре после войны — в разгар атомного проекта — Берга вызывают в институтский Первый отдел и ответственная дама tet-a-tet сообщает, что завтра к 10.00 ему предписано быть в «Большом доме» на Литейном. Пропуск уже заказан. Но об этом визите не должен знать никто: ни на работе, ни дома. Ни одна живая душа.

Сказать, что Витвик струхнул, значит, не сказать ничего. Всё внутри у него похолодело и оборвалось. «Большой дом» в Ленинграде был аналогом московской Лубянки — Ленинградским управлением. Просто так туда не приглашали. Берг стал лихорадочно перебирать возможные мотивы вызова. Старший брат? Едва ли. Его давно уже нет в живых. Собственная неосторожность? Исключено. Даже в сильном подпитии Берг никогда не терял контроля над собой. Что же, что же тогда?.. И тут он отчетливо представил себе причину вызова: Батя! Подчиненный

будет следить за начальником и регулярно отправлять доносы на Литейный... От одной мысли об этом Витвика стало тошнить. Он слышал, что такая практика применяется постоянно, что вполне нормальные люди ставятся в положение филеров, но представить в этой роли себя был не в силах. Чекисты поймали его на крючок и завтра утром они предъявят ему свой ультиматум: или сотрудничество или... Он вспомнил, с каким пристрастием Первый отдел потребовал от него сохранения тайны вызова. Но здесь его законопослушность споткнулась о природную порядочность поколений Бергов. Фискальство было им противопоказано. А как же предостережение Первого отдела? Да будь что будет! Он плюнул на всё и открылся Бате: как быть? Батя выслушал, задумался, машинально поиграл серебряным портсигаром, открыл и, щелкнув, захлопнул литую крышку, потом откинулся на спинку кресла и как бы в забытьи слегка нараспев процитировал своего любимца Вертинского:

...Как бабочки, они сжигают крылья
На холоде бенгальского огня...

После чего решительно, как он это делал всегда, окончательно определившись, изложил план действий. Позвонить на завод «Красный выборжец», где в рамках атомного проекта под его руководством готовят термодиффузионную колонну для разделения изотопов, и срочно созвать производственное совещание. Завтра в 11.00. Пропуска́ заказать для него и для Берга. Потом он подробно проинструктировал Виталия, как вести себя со следователем вообще, а в особенности, когда тот как бы ненароком спросит: «Да... Товарищ Берг, а вы никому не говорили, что мы вас вызываем?» На это надо ответить «по-лопоухому» начистоту: «Никому. Кроме своего прямого начальника. У нас в 11.00 сегодня на «Красном выборжеце» назначено совещание по вопросу разделения изотопов, я участвую, и начальник сказал, что подъедет за мной на служебной машине прямо сюда к вам — к бюро пропусков».

На следующее утро Витвик ни жив ни мертв отправился на Литейный. Встретивший его внизу провозжатый в качестве

психологической увертюры долго водил будущего сексота по этажам нескончаемого «Большого дома», пока не ввел в нужный кабинет. И там, точно по батиному сценарию, после незначительных вопросов следователь, как бы спохватившись, спросил: «Да... Товарищ Берг, а вы говорили кому-нибудь, что мы вас вызываем?», на что Витвик ответил как по нотам: «Никому. Только прямому начальнику. У нас сегодня в 11.00 совещание на заводе «Красный выборжец» по проблеме разделения изотопов. Начальник обещал подъехать за мною на автомобиле прямо сюда — к бюро пропусков, чтобы я не опоздал на совещание». Теперь глубоко задумался офицер. Слежку за «объектом» требовалось организовать в полной тайне от самого «объекта», а тайна эта открылась ему сразу. Как быть?.. Следователь попросил минуточку подождать и надолго вышел. Видимо, наводил справки. Да, «Красный выборжец»... Да, совещание... Да, Батя ждет в машине у «Большого дома»... Всё подтвердилось. Офицер вернулся и сказал, что больше Берга не задерживает. Но по тону, каким он это сказал, и по взгляду, каким посмотрел на Витвика, тот понял, что чекист разгадал батин ход и признал, что Батя его переиграл. Потрясенный пережитым, Витвик не открывал рта в машине, а Батя, войдя в его состояние, ни о чем не спрашивал. И только после совещания на заводе, они заехали в ближайшую «Рюмочную», которую в их случае правильной было бы назвать «Бутылочной», где Витвик, расслабившись, рассказал обо всем, что произошло. Он хотел закончить свой рассказ благодарностью за то, что Батя спас его честь, если не жизнь, но эти самоочевидные слова никак не наворачивались ему на язык тем более, что он чувствовал: слушать такие признания Батя избегает. И так всем всё ясно.

Узы секретности не отпускали Виталия еще целые десятилетия после окончания атомного проекта. Даже в самый пик «перестройки и гласности» его больше года не выпускали в Австралию: «проветривали» от «секретов», которые он, якобы, потенциально был способен увезти с собой и выдать аборигенам или их кенгуру, хотя в ту пору все настоящие советские тайны давно уже стали явью и публиковались чуть ли не в открытой печати по всему миру.

Но невзирая на эти нелепости жизни, Витвик не изменял своему врожденному эпикурейству. Его жизненная философия делилась на физику и этику. Материальный мир подчинялся законам физики, духовный — этики. Цель человеческой жизни Берг видел в физическом и душевном здоровье, отсутствии страданий, в достижении состояния внутренней безмятежности, уравновешенности, покоя, как их представляли себе знавшие в этом толк древние греки. Он верил, что познание природы делает человека свободным не только от суеверий, но и от главного земного страха — страха смерти, а, значит, вполне отменяет религию. Вера в загробную жизнь нужна для того, чтобы победить страх перехода из нашего мира в мир иной, но если никакого «иного мира» нет, то нет и перехода, а тогда каких страхов бояться? Он был убежден, что существует только реальность; ничего, кроме реальности; что эта реальность есть жизнь, и, несмотря на все свои ужасы, жизнь прекрасна!

С детства запомнил он поразившие его строки из пушкинской «Полтавы» — портрет Петра накануне битвы:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза.

Лишь в зрелые годы Виталий Викторович обратил внимание на парадокс, заложенный поэтом в портрете императора: «Лик его ужасен», но при этом «Он прекрасен». Так *ужасен* или *прекрасен*? А вот и то, и другое. Одновременно. Пушкин уловил в слове двойственность бытия; угадал, что прекрасное и ужасное живут в человеке рядом. Молодой царь объят ужасом перед наступающей битвой; в него самого вселяется воинственный дух Марса; исход сражения неизвестен, страх борется с отвагой, угроза поражения — с верой в победу; и глубина переживаний делает его прекрасным, похожим на «Божью грозу», внушающую испуг и восхищение. Так и жизнь. Волны страстей будоражат ее поверхность, но, пройдя сквозь них, пережив их, по

возможности успокоив душу, достигнув берега, убеждаешься в том, что жизнь прекрасна.

Эта вера в конечную красоту и разумность жизни помогала Бергу не раз. Что касается ежедневного бытования, то здесь он старался как можно легче относиться к болезненным казусам судьбы, залечивая их работой или искусством. Он любил театр, особенно оперетту, а в ней — Кальмана, и сам порой чувствовал себя эдаким блестяще-беспечным Бонни, танцующим уже не «Яблочко» в тельняшке на палубе линкора, а зажигательный канкан в ласточкином смокинге, на авансцене, в сиянии восьми юных фей кордебалета, ритмично взбрыкивающих ножками вместе с ним, как цирковые лошадки.

Запонки, рубашки, галстуки, костюмы летали вокруг него направо и налево, менялись им с завидной частотой. От него веяло здоровьем и неистощимой жизнерадостностью. Всегда он был свеж, элегантен, моден, молод, а, значит, по мнению молвы, всегда нов. «Ну, брат, ты у нас и франтиссимум!» — как за петельку на пальто, поддел его однажды Батя, и этот «франтиссимум» пристал к нему, казалось, навечно — как товарный ярлычок.

Когда первый брак распался, Виталий Викторович отдал дань друзьям, которых у него было не счесть и которых он и так никогда не забывал. Квартиру он без раздумий оставил жене и детям, полагая любой дележ недостойным себя, а сам снял комнату в старой коммуналке на Плющихе. Он очистил от хлама вместительную антресоль, забив ее большими и малыми «военно-морскими наборами», и заявил друзьям: «Не женюсь, пока все не выпью!»

Эра мифических героев, ковавших ядерный щит Родины, — потомков разночинцев, купцов или дворян-«недобитков» вроде Бати да и самого Виталия Викторовича миновала. Пока одни дважды и трижды герои, уподобившись небожителям, погружались в космологические гипотезы и, как языческие боги, играли мирами, изгибая пространства, пуская время вспять, то разворачивая, то сворачивая Вселенную, другие вступили в пору эпических «трудов и дней», верша административные подвиги, собирая грандиозные конгрессы или неумоимо борясь за мир.

Наука процветала; дискуссии били фонтанами от Калининграда до Курил; пятнадцать республик слетались на «всесоюзные школы», не уступавшие мировым; производство буксовало, производительность падала, за границу ездили строго по двое: приглашенный и сопровождающий в штатском. А, главное, никто не знал, чем это кончится. Даже Батя. На вопрос Берга: «Что будет в 2000 году?» — он ответил: «Сто лет мне стукнет, если доживу. Вот что будет». Поистине, до батиного столетия в 2000-м было еще дальше, чем до коммунизма в 80-м. Кто об этом тогда думал?

Прекрасная жизнь подкатывала свои эпохальные воды к четвертой четверти века, когда, не исчерпав и половины антресольных запасов, Виталий Викторович женился вторично. К его трем детям от первого брака присоединились два ребенка от первого брака жены. Запутавшись в этой арифметике, Батя не смог остаться равнодушным к семье с пятью детьми и выхлопотал ей большую квартиру в академической новостройке. Хотя все пятеро отпрысков сходились вместе нечасто (виталиевы жили с матерью), тем не менее, такие сходки случались. На одной из них накануне очередных выборов в «бессмертные» Батя сказал Виталию: «Подавай документы. Поддержу». Однако Виталий Викторович при всем уважении к спиртному умел посмотреть на себя трезво. Со стороны. Чужими глазами. Что же открывалось беспристрастному постороннему взору?

Новых идей Берг не генерировал, больше работал на подхвате. (Как язвили зоилы, «прикуривал Бате сигареты»). Должности, которая обязывала бы «бессмертных» принять его в свои ряды, он не имел. Высоких партийных протекций — тоже. Научная элита относилась к нему с ласковой иронией, как к баловню, батинкой слабости. Вообще люди его любили. Сослуживцы звали между собой *Витвиком* по первым слогам имени-отчества, и в таком прозвище слышалось что-то озорное и доброе, щебечущее в полных листвою ветках, что-то радостно-птичье: «Витвик... Витвик, Витвик... Вит-вик!..»

Его общительность не знала границ, это верно, но она была бескорыстной (за это и любили). Он абсолютно не владел

искусством интриги, необходимым в конкуренции с более сильными противниками. А их у него хватало. Мало того. Всякая интрига и связанное с ней хотя бы маленькое лицемерие были ему чужды. Они отсутствовали в его природе.

Перечитывая роман Цвейга о Бальзаке (а Берг с удовольствием перечитывал старые книги), он наткнулся на то, как легкомысленно герой романа отнесся к выборам в академики. Он понадеялся на свой талант, на всемирную славу и работал над очередной рукописью вместо того, чтобы, как подобает, заранее нанести визиты всем голосующим и, как минимум, выразить им свое глубочайшее почтение. А соперник Бальзака это сделал. В итоге ныне никому не ведомый автор прошел, а великий Бальзак провалился. «Так то Бальзак! А я?..» — резонно спросил себя Виталий Викторович и закрыл тему.

3

Он по-прежнему много ездил. Командировки были его страстью. На службе он мог и полениться, и отвлечься, и посвятить, как птичка, но в командировке скорее напоминал пчелу. Неугомонно собирал он нектар идей и сносил в свой кипящий молодыми энтузиастами улей, чтобы совместными усилиями выработать божественный мед знаний — такой сладостный и такой горьковатый...

О, как обожал он суету больших вокзалов; комфортабельные вагоны дальних поездов; мягкий бег затемненной, колеблющейся на рессорах «Стрелы» вдоль пустых и заснеженных дачных платформ! Как сладко тревожили его душу огни ночных светофоров, опущенные зимним туманом! Как питали воображение дорожные знакомства; как возбуждали новые лица, имена, непостижимые сюжеты, невероятные человеческие судьбы! Сколько прелести находил он в менявшихся за окном пейзажах среднерусской равнины или в отороченной пеной волнистой линии морского прибоя, когда ранней осенью, сбавляя скорость, состав приближался к Сухуми! Как живо откликался на зов учеников и коллег, празднуя с ними сборы урожая в Алма-Ате и Душанбе, в Махачкале и Ереване!

Словно боевой адмирал, седовласый и гордый, с четкими чертами германского рыцаря, смягченными славянской добротой, восседал он за флагманским столом бесконечных восточных пиршеств. Местные жители — простодушные дети долин смотрели на него, как на чудо, повторяя: «Виталий Викторович, ты — как алмаз в короне наших гор!» Он от души пил вместе с ними за щедрость земных даров, за мудрых аксакалов, за их детей и внуков, за прекрасность жизни, а в изрядном подпитии по-простецки подсаживался поближе к гитаристу, чтобы исполнить свое любимое:

Чувствуем с напарником: ну и ну!
 Ноги, словно ватные. Все в дыму.
 Чувствуем: нуждаемся в отдыхе.
 Что-то нехорошее в воздухе.

Ни голосом, ни слухом Берг похвастаться не мог, но ритм улавливал и, энергично жестикулируя согнутой в локте рукой, с нескрываемым азартом пересказывал сотрапезникам историю русско-французского пари, ведя дело к последней строфе и видя в лирическом герое себя самого времен разделения изотопов:

И лечусь «Столичною» лично я,
 Чтобы мне с ума не стронуться.
 Истопник сказал: «Столичная»
 Очень хороша от стронция!»

На одном из таких сборищ судьба свела Витвика с женщиной по имени Фаина. Она, ладная и горячая, как пропеченный на солнце кувшинчик, была почти вдвое моложе него, но как-то сразу возымела над ним двойную власть: молодости и житейской зрелости. Она потешалась над его «пением», и он смеялся вслед за ней. Она просила вина, и он торопливо хватал бутылку, тщетно пытаясь налить через не вынутую пробку. Из рук ее выпадала роза, и он смущенно и ловко подхватывал бутон. По расставанию у них завязалась переписка. Потом они встретились в Ленинграде. Потом она приехала к нему в Москву...

Люди рождаются, мужают, старятся, но физическим возрастом дело не ограничивается. Очевидно, у человека есть два возраста: тела и души. Первый — лета по паспорту. Второй — ощущение своих лет. Первый неумолимо нарастает. Второй может остановиться и дальше не расти. По паспортной дате Виталий Викторович годился Фане в отцы, а по внутреннему ощущению — в сыновья. Между тем именно возраст души определяет человеческие отношения, дарует первенство, узаконивает неравенство.

Ему нравились ее пыл, предприимчивость, настойчивость, точнее, тот колоссальный напор, с которым она бралась за любое дело, даже если оно было ей не по нутру. Положительные знания давались ей с трудом. В учебные сессии она выезжала на «баянах» — длинных шпаргалках, сложенных гармошкой. Диссертацию защищала в открытом — в пол — вечернем платье с глубоким декольте. Доклад вызубрила, на вопросах поплыла. Положение создалось критическое. От позора ее спасли два старичка-оппонента. На мужчин пореволюционного поколения чары ее действовали неотразимо.

Конечно, Виталия Викторовича несколько шокировали ее профессиональная малограмотность и провинциальность, ее манеры: громогласность, внезапный резкий смех, — все то, что в приличном обществе некогда именовалось английским «vulgar»¹. Но она окружила его таким вниманием, такой материнской опекой, восхитила такой ненасытной страстностью, что на вопрос: «Кто для вас идеал женщины?» — он, уже не задумываясь, отвечал: «Фаина Иосифовна. В ней — моя жизнь». А в мужской компании добавлял с улыбкой умолчания: «Нет, братцы, шестьдесят семь лет — это здорово!»

Он подарил ей сказочный карбункул — темный индийский рубин на серебряной цепочке. Она тут же предложила ему пригласить ее в консерваторию, чтобы обновить подарок.

— Слушаюсь и повинуюсь. Всегда и во всем, — ответил он, как юный паж, но пока прособирился в кассу, королева купила билеты сама.

¹ Vulgar (англ.) — вульгарный; грубый; развязный.

Она вообще все предлагала ему сама и все сама делала. Он только соглашался и финансировал исполнение. Это вполне укладывалось в стиль его жизни, с годами выработанную привычку жить как можно проще, легче, без утомительных умственных усилий, «трудных решений», тем более без душевных страданий и обыденных забот. Жить под девизом: «Вы предлагайте, а я поддержу».

Она идеально вписалась в этот стиль. В ее присутствии Витвик молодец на глазах, душа его начинала петь, а по возрасту души он и так всю жизнь оставался мечтателем, романтиком, юнгой, пятнадцатилетним капитаном, влюбленным в паруса и стяги, в матросскую дружбу, в пенную дорожку за кормой. Он никогда не мучился вопросом, куда ему плыть? Он плыл туда, куда несли его ветра, куда подхватывали течения: в бурю, так в бурю, на рифы, так на рифы, к райским островам? — значит, к ним!

Он был фаталистом (Виталий — фатален), тогда как Фаина Иосифовна с фатализмом вовсе не рифмовалась. Она напоминала штурмана, вычисляющего маршруты своей судьбы, а, вернее, вынюхивающего их по древним картам в разводах пролитого на них кофе, в крошках рассыпанного табака... Там, на картах, в пунктирах и стрелках, изогнутых, как выныривающие дельфины, в сгущениях цвета, в микроскопических значках, похожих на синих чаек, стаями круживших к югу от Австралии, увидела она для себя что-то пророческое. Впрочем, охотно бралась и за карты игральные. Однажды она нагадала Виталию Викторовичу не лететь в Киев («Карта плохо легла»), но не упростила поменять авиабилет на железнодорожный (Берг заупрямился: «Суеверия!»). А ведь, действительно, наворожила! Рейс задержали на двое суток из-за сильнейшего тумана. А когда гадала, небо было ясное...

Она звала его Талькой и управляла им с мертвой хваткой врожденной колдуньи, ворожащей и привораживающей к себе всех, кто сам хочет быть околдован и приворожен.

Он ввел ее в свой круг, познакомил с Батей, который определил ее коротко и сразу:

— Из ведьмусь.

— Да, ведьма. Но добрая, — уточнил Виталий.

— Хорошо, если добрая, — не без сомнения согласился Батя.

Поначалу они снимали квартиру в писательском доме у метро «Аэропорт». Некоторое время Виталий тянул с разводом, но Фаина Иосифовна помогла ему решить и эту проблему, а потом настояла обратиться к Бате за достойным их молодой жизни собственным жильем.

Как ему не хотелось идти! Как было стыдно!

— Талька, ты же никогда ни о чем его не просил. Он тебе не откажет.

— Не могу.

— Эгоист! Думаешь только о себе, а обо мне не хочешь.

— Фаня...

— Ты ведь обещал мне во всем повиноваться... Забыл? Ну, давай я схожу...

— Ты что??!

— Тогда ты... Ну, Талюша...

И он шел, и Батя хлопотал, и они вне очереди получали новую квартиру в «цековском» доме, а все остальное — оформление, покупку мебели, переезд она брала на себя. Неподъемное для него — для нее это было делом техники.

Еще раньше Витвик устроил ее в один солидный космический «ящик», а когда она там закрепилась, организовал в научном издательстве, где по совместительству сотрудничал, выпуск ее «чрезвычайно актуальной» монографии — чудовищной компиляции из тысячи ста одиннадцати ссылок, которую она наворочала на материале реферативных журналов, а он (как научный редактор, консультант, стилист, корректор — все на свете!) выверил до запятой и привел к более или менее читабельному виду. Она предложила ему соавторство. Он поморщился (компиляция!), но согласился. Книга вышла под четырьмя инициалами и одной фамилией: Ф. И. Берг, В. В. Берг.

Потом она задалась следующей целью, настоящей идей-фикс: провести Тальку в «бессмертные».

— Ты сам говорил, что Батя обещал тебя поддержать.

— Ну, и что? Этого хватит, чтобы баллотироваться, но мало, чтобы котироваться, — смеялся Виталий Викторович. — Я — *шансонет*.

— Кто-кто?

— Наш брат-претендент делится на шансонье и *шансонетов*. У первых шансы есть, а у «нетов», сама понимаешь... Так вот я — *шансо-нет*.

— Прекрати! Ты на себя наговариваешь. С такими заслугами, с такой поддержкой...

— А ты по картам погадай... — шутил муж.

И она всерьез раскладывала на скатерти свой атласный паянс. Долго кумекала, всплескивала руками, чертыхалась, снова бурчала что-то себе под нос и, наконец, подводила итог:

— Пройдешь, если не случится форс-мажорных обстоятельств, каких никогда еще не было. Подаем документы!

— Ты с ума сошла, коза: бьешь семеркою туза! — возопил Виталий Викторович. — Ты знаешь, какие у меня соперники?!

— Не дрейфь... Не боги горшки обжигают!

Она все готовила сама: печатала бесконечные списки его трудов, «сопроводиловки», автобиографию, обзванивала нужных людей, наносила «визиты вежливости», таская его вместе с собой, втихую от него козыряла именем Бати, намекала на возможную родственную связь мужа со знаменитейшим и почтеннейшим Аксель Ивановичем Бергом — адмирал-инженером, отцом отечественной бионики и технической кибернетики. («Могет быть, может быть...», — приговаривала она, копируя Райкина, которому подражала бесподобно). Эти намеки возмущали Виталия до глубины души. Чистое надувательство! Никакого родства, просто однофамильцы. Так или иначе, Фаина Иосифовна приложила массу сил, чтобы «взрыхлить почву». А перед приемом у Бати, — самым, как ей казалось, важным, — уговорила мужа купить костюм, которого он покупать не хотел.

— Тебе очень идет. Брусника с искоркой.

— Не делай из меня Чичикова.

— При чем тут Чичиков?

— При том, что это у него был брусничный фрак с искрой.

— А ты откуда знаешь?

— Гоголь говорил.

— Но ты же совсем не похож на Чичикова, а цвет этот тебе к лицу, факт! Он тебя облагораживает. При том — последний писк моды.

— Батя и так зовет меня, знаешь как? Франтиссимус...

— Ах, Батя — прелесть!.. — смеялась она, жмурясь, и он уступал.

Прием прошел на ура. «Бруснику с искоркой» заметили и оценили. Высший титул среди щеголей был подтвержден. Фаина Иосифовна ликовала. По ее ощущению профессор Берг уверенно лидировал среди соискателей своей секции.

Но тут разразился Чернобыль. Он застал ее врасплох точно так же, как всех остальных, и смял все ее планы.

Батя был слишком высоким куратором, чтобы нести прямую ответственность за катастрофу. Никто даже в мыслях не решался попенять ему на какую-либо его личную причастность к случившемуся. Но он воспринял «украинскую Хиросиму» как свой жизненный крах. Каждая новая смерть облученных пронзала его, как гвоздь, забиваемый в крышку собственного гроба. Каждый взрыд оркестра на Припяти или на Митинском кладбище звучал в нем как собственное отпевание. Каждый залп траурного салюта — как приведение в исполнение высшей меры по отношению к нему. Обремененный огромным семейством, заботой о судьбе и благополучии тысяч подчиненных ему людей, познавший животворные глубины жизни, он не посмел расстаться с ней так, как хотел это сделать однажды в молодости. Но приговор, который он вынес себе сам, был максимально суровым: он подал в отставку со всех постов.

— Как он мог? — чуть не плакала Фаина, имея в виду, что выборы еще не прошли, а без поддержки сверху шансы Виталия резко падали. Она уже не говорила о своих стараниях. Все: и авральная подготовка документов, и визиты, напрягавшие необходимостью постоянно держать ухо востро, и «брусника с искоркой», и ресторанные разведки в преддверии будущего банкета — все, все летело к чертовой матери!

— Я же предупреждал, что я *шансонет*, — как будто даже без особенного огорчения сообщил ей Виталий Викторович весть о своем провале. — Ничего, и Бальзак провалился..., — попробовал он реанимировать былой аргумент, но встретил хмурое молчание.

— Ты не Бальзак. Тебе надо было проходить, — после паузы в мрачной задумчивости произнесла Фаина Иосифовна и, как «безбровая сестра» у Саши Чёрного¹, буквально изнасиловала рояль, семь раз подряд сыграв «Революционный этюд», чтобы выпустить пар. С тех пор Виталий, боготворивший Шопена, долго не мог слышать ни одной его ноты, тем более, что супруга изрядно раздолбала инструмент. Он стал фальшивить.

Однако ни лихорадочные дневные компиляции, ни оглушительное музицирование по вечерам, ни театры, ни вино, ни гости, ни сласти, ни ночные — до изнурения — предпочтения Амура Морфею не смогли исчерпать всех резервов ее темперамента, и она загорелась экзотическим желанием поехать поработать в Австралию. Витвик помог ей с приглашением. Речь шла о небольшом вояже месяца на два-три. Своих детей она пристроила бабушке.

Однако по истечении срока она позвонила мужу и сообщила, что работа — очень интересная и ей предложили остаться еще на полгода... Тем временем случился ГКЧП, она, и вправду, струхнула, перезвонила снова и сказала, что боится возвращаться без австралийского гражданства: запрут и больше никуда не выпустят. Договорились, что Фаина задержится до получения подданства. Новые друзья обещали максимально ускорить дело...

Берг между тем стал сдавать. Сказывались возраст, жизнь вынужденного холостяка, непривычные бытовые тяготы. Он ходил на службу уже не на целый день, а лишь на часть дня. Все больше времени уделял редактированию или предавался воспоминаниям. Да и служба тоже стала сдавать... Народ, посаженный новой демократической властью на голодный паек, разбежался, кто

¹ Саша Чёрный (1880–1932) — русский поэт и прозаик Серебряного века.

куда. Классные специалисты уходили, оставляя за собой пустоту. Приток молодежи иссяк и передавать знания было уже некому.

Нить, связывавшая поколения, оборвалась. Понятие «наука» исчезло из лексикона «особо важных персон». Оборудование старело и разваливалось, а покупать новое было не на что. Там, где раньше все гудело, звенело и наполнилось жизнью, ныне царили тишина, запустение, мрак. Цеха стояли обезглавленные, темные, безглагольные.

Метафорически это называлось «квантунской армией», хотя никакой «армии» давно не было и в помине — одни пустыющие «казармы». Зато по комнатам, сдаваемым в наем, озабоченно засновали молодые толстяки-коммерсанты в брусничных, «чичиковских» пиджаках или шествовали, покачиваясь на высоких платформах, тонконогие, как цапли, девицы с горками пирожных и виноградными гроздьями, свисавшими с подносов, а у подъезда разгружалась какая-нибудь вытянутая на полдвора фура с зимними — в хлипкой картонной таре — сапогами, чьи подошвы лопались поперек, спустя первый же месяц бережной носки.

Берг купил себе две пары. Результат оказался одинаковый. «Плоды конверсии: был номерной ящик, а стала обувная коробка», — подумалось ему с горькой иронией.

Во власти таких настроений поведал Виталий Викторович в письме Фаине, как будто еще интересовавшейся делами на родине, как однажды заглянул в фотолaborаторию, когда-то образцовую. У грязного холодильника над поваленным набором и обхлеснутым паутиной трансформатором поблизости от раковины висела выцветшая за ненадобностью надпись: «Просьба отработанный фиксаж сливать только в бачки!» Не понял: какой еще «фиксаж»? В какие такие «бачки»? Все, что можно, давно уже слито. Прямо в канализацию...

Что — фиксаж?! Зарплату слили, науку слили, Союз слили!.. А Москва хорошеет. А частная инициатива творит чудеса. Бывшие облупленные халупы в центре красуются, как игрушки. Пахнувшие мочой и мышами подвалы превращены в торговые залы, книжные лавочки, кофейни. Полуразвалившиеся или заваленные хламом церкви восстают из руин, блещут новенькими

иконостасами. Храм Христа Спасителя подняли! Возвели на грубом гранитном цоколе, как две капли воды, похожем на державный цоколь бывшего КГБ на Лубянке. И вот — храм сияет окрест всеми своими нитридтитановыми куполами, а старуха с Тверской, стоя на коленях, просит милостыню, протягивая вверх две руки бездомности и недоли, пока у нее за спиной, как из зазеркалья, из вращающихся дверей ювелирного рая, выпархивает молодая парочка и, нежно целуясь, садится в несметный по стоимости полированный лимузин с затененными стеклами.

Больше всего угнетало и тревожило Виталия Викторовича это расслоение общества на сверхбогатых и сверхнищих — как раз то, что, среди прочего, и вызвало революцию, а сейчас повторялось с новой силой. Но разбираться во всем этом, доискиваться причин, строить предположения на будущее у него не было ни малейшего желания. Опыт подсказывал ему, что жизнь сама найдет выход и без его участия.

Он очень тосковал по Фане и в очередном письме попросил, чтобы она пригласила его к себе в гости, если пока не может вернуться домой в Москву. Она долго не отвечала. Потом приглашение пришло. Как воспрянул духом, как повеселел Виталий Викторович! К нему возвратились его обычные благодушие, шутливость, жизнерадостность. Он купил модный пиджак и почти превратился в прежнего франтиссимуса. Тут Первый отдел и тормознул его на двенадцать месяцев. Берг высказал про себя нечто нелестное по адресу широко рекламируемой свободы и прождал целый год. Перед отлетом узнал о смерти первой жены, с которой давно не общался. «Ну, вот... Варя умерла, а я лечу в Австралию к Фаине!», — подумал он, как о чем-то нехорошем, но сбросил камень с души, примиряюще заключив: «Такова жизнь...»

Она встречала его в аэропорту Сиднея все такая же горячая, стремительная, ладная, в белом костюме, подчеркивавшем ее легкую полноту, в больших зеркальных очках, совершенно скрывавших глаза. Знаком долгожданной встречи темнел на груди дареный карбункул. По пути к Ньюкаслу рассказывала, что с помощью друзей приобрела частную косметическую фирму и дела идут — тьфу-тьфу! — совсем неплохо; что

Ньюкасл — портовый город, довольно многолюдный («Но, конечно, не Москва!»); что бизнес требует человека целиком («На музыку уже времени не остается!»); что за все эти годы она только однажды слетала на десять дней в Англию, и все.

— Из космоса — в косметику, — начертил Виталий Викторович траекторию свой «кометы», но шутка успеха не имела.

Дома она познакомила его с новым мужем — благообразным седеньким господином примерно одних лет с Виталием. Господин не понимал по-русски, Берг владел английским «со словарем». Удар внезапного знакомства он выдержал стоически, с улыбкой, хотя в душе у него все перевернулось. Фаина Иосифовна служила им переводчицей и, пользуясь ситуацией, переводила то, что хотела, и так, как хотела. Австралийскому мужу она представила русского супруга обобщенно, в качестве своего близкого родственника. Разумеется, «со словарем» «родственник» мог бы объясниться и рассказать правду, неведомую аборигену, но смешанное чувство ревности, стыда и обиды настолько его парализовало, что он сделался равнодушным к выяснению отношений.

Сначала он собрался немедленно уехать, но она доказала ему, насколько это глупо: залететь в такую даль, ничего не увидеть и умчаться прочь; что брак свой она заключила фиктивно, иначе ей бы вовек не дожидаться гражданства, а так у нее на руках — австралийский паспорт, с которым она может лететь хоть куда и хоть сейчас. В принципе, даже в Россию. Но сейчас лететь, конечно, смешно, раз Талька сам к ней прилетел. Уж побудем здесь, потерпим буржуйский рай! Очки при этом она не снимала...

Виталий Викторович ей не поверил. Ни единому слову. Такой фальшивой показалась ему ее попытка облечь в «дружескую» форму совсем уж предательское содержание. Фиктивным получалось все: и там и тут...

Две недели провел Берг в обществе не столько Фаины Иосифовны, целыми днями пропадавшей на фирме, сколько ее здешнего мужа. Они гуляли, обедали в кафе на набережной, купались в Тасмановом море. Берг пополнял свой «словарь»,

а абориген учился произносить по-русски три главных слова эпохи: «гласность», «перестройка», «выпивон»...

Спустя две недели Виталий Викторович вернулся в Москву один. В почтовом ящике его ждало извещение. Он сходил на почту, и там ему передали телеграмму: скоростижно скончался Батя. Когда для похоронной процессии стали отбирать ордена, то выяснилось, что к трем золотым звездам Героя социалистического труда, к девяти орденам Ленина и ордену Октябрьской революции следует добавить Георгиевский крест за храбрость, врученный в Крыму двадцатилетнему юнкеру бароном Врангелем. Эту тайну Батя пронес через всю жизнь.

На похороны своего «второго отца» Витвик опоздал.

4

— А я вам ужин привезла. Будете ужинать? — спрашивает официантка, подталкивая к постели тележку на колесиках.

Старик утвердительно кивает и берет ложку. Рука дрожит, ложка мелко позвякивает о тарелку с кашей.

— Давайте, я вам салфетку повяжу, а то испачкаетесь, как младенец, — предлагает женщина, грустно глядя на старика.

И он смотрит на нее, не мигая, как будто глубоко ошеломленный ее участием.

Входит дежурный врач:

— Есть какие-нибудь жалобы? На что жалуетесь? — повторяет он громко, с нарочитой внятностью. — Сердце тянет? Ноги не беспокоят? А температуры нет?

Уловив слово *температура*, пациент отрицательно качает головой.

— Ну, вы — молодец! Ничего у вас не болит. Так держать! — итожит врач, выходя из номера.

Старик молча ест не оттого, что голоден, а потому, что регулярность в еде вошла у него в привычку. Так привык, так принято. Вот и ест. Простую полу-больничную пищу.

Никогда не жаловался он на здоровье. До сих пор не знает, что такое зубная боль. А зубов ни разу в жизни не чистил. Принципиально. Объяснял, посмеиваясь:

— У меня — своя теория. Во рту существует естественно сбалансированная микрофлора. К чему ее тревожить, нарушать баланс?..

— Да, — отвечали сослуживцы, тоже посмеиваясь. — При таком иммунитете любая теория пройдет, — и чистили зубы лучшими пастами, а потом, схватившись за флюсы, бежали к стоматологам.

Но теперь иммунитет дал сбой. Однажды после работы дождливой осенью жилец долго ходил вокруг своего дома и никак не мог попасть в нужный подъезд. Зацепился ногой за бортик, огораживавший газон, и повалился ничком. Соседка подняла его растерянного, грязного, привела в квартиру, умыла, переодела, вызвала «скорую». Оказалось: сильно упало давление, и он потерял способность ориентироваться.

Друзья наняли ему помощницу, вроде приходящей домработницы. Хозяйство наладилось. Витвик как будто приободрился. Он оживил свое давнее увлечение сценой, составил список интересных его театров и в течении всего сезона аккуратно посещал те спектакли, которые приходились на субботние вечера. Такой подход был, конечно, формальным, но дисциплинировал, а искусство по-прежнему доставляло ему удовольствие. Большой... МХТ имени Чехова... Малый... Вахтангова... Оперетты... Сколько великолепных открытий! Сколько актерских удач!

Снова пробуждалось в нем чувство прекрасного, которое рождает чистота правды, явленная в совершенных образцах исполнения, достигающая той заветной глубины, на которой жизнь — прекрасна. Он чувствовал, что эта глубина есть, есть! Иногда ему казалось, что он коснулся ее, но как постоянно удерживаться на ней, каким именно подвигом мудрости, праведности, затворничества или, наоборот, открытости людям — не знал. После спектакля возвращался он в свою холостяцкую квартиру, и одиночество подступало к самому горлу. И тогда он звонил Фане, просяживая массу денег, бодрился, балагурил, а потом не выдерживал — отбрасывал браваду и просил приехать... Она объясняла ему, что бизнес ужасно затягивает; что она открыла филиал в Новой Зеландии — отлично идут мужские

одеколонны в фигурных флаконах — и ей приходится теперь курсировать между островом и континентом.

— Талька, у тебя же есть атлас в кабинете! — кричала она ему из-за тридевять земель, а казалось, как будто с их кухни... — Посмотри на карту: где Ньюкасл, а где Веллингтон... Соображаешь?..

Он смотрел. Расстояние, в самом деле, было приличным, но те четырнадцать — или сколько там? — тысяч километров между Ньюкаслем и Москвой его просто убивали.

По утрам он перестал убирать постель. Даже разогреть еду ленился, не то что готовить. Ел без аппетита. Прекратил слушать радио. Потерял вкус к вещам. Ходил, как Плюшкин, в расползавшейся на локтях и коленях замызганной затрапезе, так что вряд ли кому-нибудь удалось бы узнать в нем бывшего франтиссимуса, покорителя женских сердец. Интерес к жизни угасал в нем постепенно, но неумолимо.

Московские друзья сообщили в Австралию, что Витвик плох, что он нуждается в уходе (не вселить ли к нему кого-нибудь из родственников?), но особенно ему необходимо личное присутствие Фаины Иосифовны. Против вселения кого бы то ни было она возражала категорически и придумала перевезти Тальку из их общей квартиры в центре (из которой она, между прочим, не выписывалась) в Дом престарелых на окраину Москвы, а оплату за пансион взяла на себя. И он подчинился, хотя это повинование через весь земной шар выглядело каким-то дьявольским закляньем, на которое он пошел с молчаливым отчаяньем. Можно было подумать, что она, действительно, держит в руках нити его судьбы, что от нее к нему проложены невидимые трассы, и по ним она управляет его волей. Без телефонных звонков и почты чувствовал он на себе эту магию чужого повелевания и не мог противиться ей, словно вошел в заговоренный «круг», переступить который был не в силах.

К нему приезжал сын, звал к себе. Он отказался. К нему приезжала дочь, звала к себе. Он отказался. Не хотел стеснять собою детей, которых давно покинул и не считал вправе теперь, когда стал немощным, обременять своей затянувшейся

старостью. Может быть, в этом проявляла себя его гордость — смиренная гордость одиноких, скорбная гордость победителей жизни, опрокинутых и отторгнутых на ее обочину.

Он часто думал об отце, который ныне годился бы ему во внуки, об его ранней гибели, спасшей его от стольких несчастий, в том числе, возможно, и от сомнительного удовольствия быть прижизненно списанным в тираж.

Ему снова виделся тот десант, участником которого он стал вместе с Батей, и его посетила крамольная мысль: а что если бы тогда на бруствере его настигла пуля? Как чиста осталась бы его оборванная жизнь! С какой верой в ее трагическую красоту принял бы он смерть! Но сколь многого не случилось бы в ней иного, необычайного, что раскрывается постепенно и не дается в юности. И что означают по сравнению со всей прожитой жизнью эти нынешние жалкие дни беспомощности, унижения, безысходности, на которые обрекла его судьба?

Вспомнились друзья, маленький пароходик под Самарой. Они спешили на него, путаясь в траве, тропинкой, вившейся по склону вдоль берега. Утреннее солнце мелькало в листьях прохладной столетней дубравы. Пароходик, готовый к отплытию, гудел осанисто, басовито.

Смеясь, выбежали на дебаркадер — гулкий, почерневший, ржавый, замусоренный какой-то раструженной повсюду лузгой, заляпанный мазутом... Проскочили по разошедшимся скособоженным сходям на палубу, и тут же борт отлепился огромной сплюсненной шиной от щеки дебаркадера, и волна заплескалась, и закачала, и рябящие солнечные блики побежали по речной глади, и остро запахло простором, сыростью, ветром, а суденышко уже развернулось против течения и пошло, тарыхтя и подрагивая, к Жигулевскому створу.

На носу, в кают-компании, пили чудесную «Хванчкару», а закусывали почему-то воблой, распухшей от икры, соленой и черствой, как наждак. Хотелось купаться. Причаливали к песчаной косе, и Волга, как детей, принимала их в объятья, и дух захватывало от красоты и шири пространств — речных, земных, небесных, — и казалось, что душа, вдохнувшая счастья,

расправляет крылья и сейчас взлетит, взлетит в этот океан света, распахнувшийся повсюду: над ними, над берегами, над заливой солнцем речной стремниной...

5

Вторично приехал сын. На сей раз его желание выручить отца из богадельни было твердым, но он не представлял себе, как убедить Виталия Викторовича согласиться. По пути из Питера сын продумывал аргументы, возможные возражения, подыскивал новые доводы, но, помня об упрямстве отца, понимал, что договориться с ним будет нелегко. Однако то состояние, в котором он застал Берга-старшего, просто ошеломило его. Отец утратил всякую волю к жизни. Ничто его не интересовало. Он ничего не утверждал, но и ничему не сопротивлялся. Будь что будет... Вы предлагайте, а я соглашусь...

Никаких возражений по поводу переезда высказано не было. В считанные часы собрались, оформили выписку, вызвали такси и уехали на вокзал. В поезде, глядя на пробежавшие мимо березовые рощи, овраги, платформы, шлагбаумы, шоссе с перегоняющими и отстающими от состава машинами, хмурое небо, подсвеченное бледно-желтым пятном заоблачного солнца, Витвик стал понемногу оживать...

По прошествии некоторого времени произошла метаморфоза, казавшаяся почти неправдоподобной. И, тем не менее, это именно он — Виталий Викторович — свежевыбритый, спрыснутый крепким одеколоном, запахнув новое пальто, сел в присланную за ним машину и ехал в институт к друзьям своей молодости, собравшимся вокруг бутылок с настоящей на спирту «клюковкой», чтобы «клюкнуть» хорошенько и расслабиться, как бывало, в общем гомоне, хохоте, пенье под лабораторную гитару с потрескавшимся лаком на пыльной деке, с дребезжащей оплеткой третьей струны. Друзья замечали только, что стал он относительно немногословным и почему-то не провозглашал больше свой любимый тост.

Это именно он — Витвик, улыбающийся и галантный, в модном, впервые надетом костюме встречал в канун Дня Победы шумных телевизионщиков, нагрянувших брать интервью

у него — ветерана Балтийского флота, и ребята не пожалели о том времени, которое провели в кампании старого петербуржца. А он — пусть лаконично — вспоминал военные годы, Балтику, Батю, родных матросиков, проходивших с ним по минным полям; и все те немногие, кто знали об его злключениях последних лет, а вскоре увидели на экране почти прежнего Витвика, не могли скрыть удивления и радости.

Однажды он задумал выбраться в филармонию. Сколько можно оставаться без классической музыки?! Разбрызгивая весеннюю слякоть, такси промчалось по Невскому, подрулив к филармоническим дверям. Берг прибыл на концерт, как привык, заблаговременно и гулял по фойе, любуясь блеском люстр, медленным водоворотом пребывающей нарядной толпы. Дважды с ним здоровались незнакомые ему люди. А потом в зале, когда заиграл оркестр, и нежный, быстрый, переменчивый, вдохновенный Моцарт наполнил собой эти строгие своды, в памяти Витвика всплыли слова, которые он, казалось, позабыл уже навсегда: «Жизнь прекрасна!»



Новеллы

СВЯТОЕ ОЗЕРО

Блаженная, предосенняя, пропитывающая душу теплынь — сладкая на припеке, благодатная в сумраке, ласкающая прикрытые веки легкими смещениями света и тени, едва уловимой игрой солнечных струй, заставляющих тебя улыбаться, не раскрывая глаз.

Непродолжительна на Руси эта пора между летним зноем и промозглым осенним ненастьем. Тем любимей она своей краткостью, кротостью, спокойной ясностью, отчетливостью каждого вздоха, отзывающегося в природе, гулкостью ее заколдованной тишины.

Кривое, заросшее озерцо занавешено рябыми желто-зелеными, свисающими до самой воды куделями стареющих берез, чья шелушащаяся береста, истончаясь, розоватится на просвет, а худые, словно подгоревшие по краям, грубо раскрытые трещины узорит мелкая резьба бледно-серых лишайников, их цепко пластающееся мертвенно-оловянное кружевце.

Вниз по маркому, как мел, мягкому покрову ствола, по его то гладкой, то собранной морщинками бересте, будто подстегивая, понукая себя, поспешает юркий муравьишко, расторопно минуя невольные запреты, капризные зигзаги шероховатого пути: порезы и складки, расщелины и выемки, загогулины и бугорки — растрескавшиеся колеи порченной веком древесной дороги. Однако преграды не обескураживают, а лишь возбуждают его ретивую прыть. Он устремлен к земле — туда, где, вспучивая, распарывая и отряхая бурый перегой, словно плети, горбатятся рваные корни; где упорные папоротники торопливо стелются взамен травы; где прощается с летом беспощадно разросшееся дикое царство хвощей; где упруго и молодо встает колючий пружинистый ельник, призванный вытеснить, затмить, заглушить собою меркнувший, седой, угасающий березовый свет. И будто стараясь не упустить его, отчаянно, как в последний раз, колеблется, вьется на пригреве серая мошкара. Внезапно возникают ниоткуда и пропадают в никуда щеголевато-четкие, неумоимо

и резко рыскающие стрекозы. Одна села тебе на плечо. Осторожно скашиваешь глаз. Облик ее прельстительно великолепен: черный глянец гоночного шлема; бледно-зеленые шестиугольники очков; блестяще-узкий в перетяжках комбинезон; ажур двойных, ячеистых, стеклянно подвешенных крыл — натянутых в движении, а сейчас полусогбленных, подобно опущенным лопастям вертолета. Замерла навек, а взлетела вмиг — так, как ей вздумалось: спиной — наискось — вверх.

Ветра не слышно. Только по вспыхиванью и дрожанью листы виден ветер — тот, что заставляет подсохший листок отрываться от ветки и, рисуя широкие медлительные петли, плавно соскальзывать к темным граням озерных зеркал, недвижнотвердым, легко принимающим на себя бремя увядшей листвы.

Дуновенье, тяготенье, исполненный срок.

Он настает, и малейшего сдвига воздушных штор достаточно, чтобы отцепить осеннего гонца, пуская его по вольному контуру полета, в конце концов всегда замыкающемуся на толщах воды или тверди.

Вот некий, — желто-ржавый, в кляксах едкой зелени, — задержался в воздухе и, похожий на опрокинутое перышко, проворно вертится над водой, то закручиваясь, то раскручиваясь, на липкой паутиновой ниточке. Он попался. Он раскачивается по сторонам, словно прицеливаясь в точку, но мишени меняются, «точки» перемешиваются под ним, и кажется, что не он выбирает их, а они его, сурово и прочно приклеенного к паучьей нитке. Только обрежется и она, даст опать ему на сырую, шершаво-подергивающуюся шкуру воды, где густо усыпанную полуутопленной, отяжелевшей листвой, где тускло-свободную, отражающую искривленные силуэты берез, а в прогалах плотно покоящую пластины неживого, как платина, слепо застывшего света.

Разбитые мостки косо приткнулись к берегу. Никак не укрепленные, просто лежат они на воде — благо не тонут. Качнешь, словно точильщик, плоскую лапу не струганной долгой доски и, ширясь, побегут-побегут-побегут от нее, как заведенные, округлые маленькие волны, просверкивая солнечными

искорками, подбрасывая водомерок, сдувая пушистые одуванчики пены, шевеля пышные заросли курчаво-цепкой ряски, тяжело колыша набухшую пегую скатерть листвы.

Но и без того гладь озера только кажется неподвижной.

Плеснет ли где блуждающая потаенно по хитрым своим лабиринтам ходкая прибрежная рыбка; клонет ли воду остроносый комар; стрелнут ли врассыпную, застигнутые кем-то врасплох, перепуганно-всполошенные водомерки; вынырнет ли кверху пузом из мрачных потемок распираемый счастьем пузырь; капнет ли с небес поевшая кашки пичужка — все возбуждает поверхность, все принуждает ее вздрагивать, смаргивать, ерошиться, рябить, испускать торопливые кольца, поступаясь мнимым покоем. Но едва ли сыщется он и в пущах подводной травы, и на кипящем мальками песчаном вареве мелководья, и на той глухо-студеной, плотно-сомкнутой глуби, коей так и не вымерил любопытный рыбак, бросивший лот посередине озера из вихлявшей, будто с похмелья, грубо обугленной лодки-колоды, некогда словно литой, а под старость хлипко лакавшей водицу щелястым, расхлябанным днищем. Повис валун на размотанной дочиста привязи, а дна не коснулся.

Да, где оно — дно? Бог весть.

Облетают, сыплются на зеркала седовласые пушинки татарника, крошечные сердечки приозерных семян — березовые шелушинки... Но зачем засевают они воду? Что чают взрастить на бесплодно тоскующей зыби? Чем укрепят свои корни в бездонном?

Свято-озеро.

Да за что же *свято*? Почему не *берестяно* по окаймившем его берегам, не *ветхо* по почтенной древности лет, не *заповедно* по всей первозданной, полноте и сущности жизни, сохраненной им в себе и вокруг?

Разве где-нибудь иссушенной, точно пеплом припорошенной, репчатой луковкой выглядывает над ним из ветвей пошатнувшаяся часовня? Разве когда-нибудь криво проскреблет по крыльцу ее туго осевшая дверь, приглашая тебя пожаловать внутрь — туда, где дрожащая вишенка вечной лампадки бросает

маслянисто лоснящийся отблеск на почивший во тьме выпукло-черный лик Пресвятой Богородицы?

А, может быть, жил на сих пустынных берегах умиленный отшельник — случайный свидетель нескончаемых Божьих чудес или задумчиво-строгий анахорет, предпочтивший мирскому надмирное, суетному лесное, одинокое; без самочинной гордости противоположивший слову общебратской молитвы безмолвно-умную молитву души, орошенное слезами прошение затворника, молчальника, духовидца, не завещанное ему святыми отцами, а прямо вложенное в сердце Отцом Предвечным?

Или заслужило озеро святость свою великим подвигом страстотерпства, не дошедшей до нас жертвой? Или исцеляют калек его живые и мертвые воды, трудно и скрытно точащие твердь животворные сверла-ключи?

Хоть однажды явилось ли в нем убедительно-зримое чудо, без которого нет святости? Хоть раз выдала ли себя эта странная бездна, эта отдушина океана, бесшумно взбурлив и выпростав жестко проросшие ракушками, облепленные скользкими слизнями, опутанные синей гниущею тиной обломки корабля, затонувшего в южных морях Бог знает когда и где, останки расколотого ядрами парусника с полустертою, окисленной в прозелень бронзою имени? Нет, не здесь, не здесь всплывали его разбитые в бою сосновые кости!

Так что же тогда такого в нем — этом озере, погребенном в дебрях Русской равнины, что и поныне веришь ты в его святость, ничем не доказанную, никем не воспетую, самому ему не ведомую, но властно внушенную тебе Отчим попечением, чьей-то благословившей тебя твердой и молчаливой волей?

ИЗ «АНЕКДОТОВ О БАЛЬЗАКЕ»

«ОТЕЛЬ НА БОБАХ»

Должник Бальзак так наловчился конспирироваться и уходить от кредиторов, что когда король Луи Филипп издал указ каждому гражданину отслужить положенный срок в национальной гвардии, Бальзак рассмеялся прямо в лицо указу. «Ха, ха, ха!» Чтобы европейская знаменитость встала под ружьё? Упражнялась в стрельбах? Печатала шаг на плацу? Несла караул у пороховых погребов? Чтобы всем этим занимался тот, чья рабочая ночь расчислена по минутам и любая на вес золота, а дневные часы заполнены бесценными листами авторской правки? Чтобы он, созидающий миры, мыслящий романами, забил себе голову параграфом армейского устава и текстом казенной присяги, наказанной казарменным писарем?.. Не смешите меня, Ваше Величество!

И господин Бальзак за злостное уклонение от воинской повинности был приговорен к восьми (внимание!)... к восьми *дням* тюремного заключения. Смысл наказания не в строгости, а в неотвратимости. Однако попробуйте еще привести приговор в исполнение... Приговоренного никогда не бывает дома. Как его застать? Квартира на Рю Кассини постоянно пуста. Консьержка и слуги на месте, а хозяина нет. По утрам он потрошит кошельки издателей, днем обедает с друзьями в ресторанах, вечером его можно арестовать только в Итальянской опере, но заглянуть туда жандармам невдомек, а ночами он работает у себя в кабинете, готовый в любой момент бесследно улетучиться через потайной ход.

Однако на зло великому писателю комиссар полиции превращает арест этого писучего проходимца в дело своей жизни, а при таком энтузиазме можно и зайца поймать за задние лапы. Филёры выслеживают жертву и препровождают в тюрьму, прозванную в народе «Отелем на бобах». Там Бальзак, едва отдышавшись от настигшей его погони, вместо того, чтобы предаться

стенаниям, добивается, чтобы ему выдали стол и стул, перо и кипу чистых листов, а чуть свет присылали с мальчиком порции свежих корректур из типографии. Как дома. Так на восемь дней переносит он свой кабинет с уединенной Рю Кассини в громадный, переполненный уклонистами общий зал полицейской тюрьмы — «Отеля на бобах». Брань, картеж, потасовки вокруг ему не помеха. Он умеет отгораживаться от них непроницаемой стеной сосредоточенности и прямо здесь, на месте, страницу за страницей вписывает в новый роман обстоятельства погони, устроенной за ним комиссаром с филёрами по всему Парижу. Арестантов сочинитель не интересуется, а его главные враги — кредиторы и судебные приставы надежно отделены от него спасительной тюремной стеной. Закон, преследовавший преступившего, исполнен, и на вопрос заимодавцев:

— Господин Бальзак у себя? — консьержка имеет честь ответить со всей прямоотой и откровенностью:

- Его нет дома.
- А где он?
- В тюрьме.
- В какой тюрьме?..
- В «Отеле на бобах».

Именно там сейчас государство защищает свободу слова от всяких посягательств извне, и только утром девятого дня, выйдя на волю, бывший узник обречет себя на продолжение преследований за финансовые грехи, вспоминая как радостно и беззаботно трудилось ему в «Отеле на бобах»!

СОЙТИ СО СЦЕНЫ, НЕ ВЗОЙДЯ

1

Поскольку расходы знаменитого романиста разительно превосходили его доходы от печатания книг, он решил укрепить свою материальную базу сочинением пьес. Дело это представлялось ему прибыльным и крайне неприхотливым. Никаких описаний, пейзажей, характеристик героев, проникновений

в их внутренний мир; никаких исторических отступлений. Одни диалоги. Всё настолько просто, настолько элементарно, что разбазаривать на это свое драгоценное время показалось будущему драматургу совершенно не рентабельно. Мастер задумал нанять себе литературного слугу, который воплощал бы идеи патрона на страницах пьес. Таким образом, Бальзак планировал жертвовать замыслу и эскизу каждого сочинения два-три дня, не больше, поручая всю кропотливую отделку заботам своего подмастерья. В случае успеха, расширив штат подсобных рабочих, мэтр смог бы ваять за год несколько десятков представлений, сколачивая на них неплохой капитал.

Начинающий драматург предполагал, как и положено, прежде сочинить комедию, потом заключить договор с театром, а напоследок подсчитать барыши.

Итак, для того, чтобы приняться за дело, ему требовался подручный, поэтому перво-наперво из каких-то темных закоулков, из дремучих углов, где ютилась нищая парижская богема, выудил он несчастного невротика, уже не твердо помнившего алфавит; в пять часов вечера досыта накормил его роскошным ресторанным обедом и предложил лечь поспать перед работой. Ничего не подозревавший подсобник вообразил, что он проспит до утра, но ровно в полночь, облаченный в белую хламиду Жрец искусства без всяких сантиментов растолкал мертво спящего и поставил перед ним конкретную творческую задачу: к утру по только что составленному наброску представить в завершённом виде первый акт комедии «Старшая продавщица».

Согласитесь, что наниматель действовал вполне добропорядочно. Он накормил работника, предоставил ему ложе, а пока тот спал, приготовил наметанный в общем виде сценарий первого акта и лишь после этого отправил подсобника к письменному столу, а сам параллельно продолжил за конторкой работу над текущим романом. Но наниматель не учел ряда обстоятельств, оказавшихся решающими. Во-первых, того, что не все способны трудиться по ночам из ночи в ночь. Во-вторых, того, что не все способны трудиться в таком темпе, как Бальзак. В-третьих, того, что не все способны вообще трудиться на литературной

ниве. Быстро выяснилось, что подручный: а) не может ни ночью работать, ни днем спать; б) потому водит пером по бумаге, как бы пребывая в постоянной дрёме, и в) не имеет никакой склонности к сочинению диалогов.

Через несколько дней вместо надежного подмастерья мастер обнаружил у себя в кабинете записку отказника, который предпочел привычное полуголодное существование клошара сытому, но непомерному для него напряжению творческих ночей.

Бальзаку пришлось временно отставить текущий роман и самому взяться за старшую продавщицу, отказавшую подсобному рабочему. И хоть мастер с ней справился, но директор театра пьесу отклонил, что унизило европейски известного писателя, оскорбило его гордость и оставило без сантима денег.

2

Ожегшись на логичном течении событий (пьеса — договор — барыши), а равно и на непроверенном подсобнике, Бальзак, никогда не отступавший под натиском обстоятельств, изменил тактику. Вначале он подсчитал барыши за ненаписанную вторую пьесу, потом умудрился заключить на нее договор с другим театром и только после этого подумал, что и как сочинять. Здесь его изобретательность прочертила два хитроумных зигзага. Первый: зачем корпеть над новой пьесой, когда можно инсценировать старый роман? Зигзаг второй: зачем нанимать одного ни на что не годного поденщика, когда можно свистнуть четырех вундеркиндов? Выставлять их имена напоказ в театральной афише необязательно, зато гонорары будут им перечислены с точностью до сантима.

Барыш подсчитал, директора уговорил, вундеркиндов свистнул.

Вечером того же дня Жан, Жак, Жик и Жук предстали перед мэтром в кабинете на Рю Кассини.

— «Вотрен, трагедия в пяти актах», — произнес Бальзак, обвел взглядом соавторов, слегка намекнул им на сюжет и подробнейше обрисовал перспективу предстоящего гонорара.

Жану был поручен первый акт, Жаку — второй, Жику — третий, Жуку — четвертый. А пятый, завершающий, распределитель оставил за собой.

Сроки, как всегда, сжатые: одна ночь.

Ливрейный лакей подает господам драматургам поднос с пятью перьями в пяти чернильницах и пять стопок чудесной виленевой бумаги.

Работа закипает.

Слуга подливает чернил.

Хозяин подваривает кофе.

Драматурги строчат каждый свой акт.

Нельзя сказать, что к утру пьеса сочинена. К утру исчерпаны чернила, домолота последняя горсть кофейных зерен и сварганен сценарий — предвестник театра абсурда. Поскольку каждый из вундеркиндов не знал, что пишут трое других и досточтимый мэтр, акты не состыковались, и всякий, как промахнувшийся космический корабль, гулял по своей орбите. Тем не менее господин Бальзак читает труппе этот разнобой, лишь из пощады к себе и своим младшим друзьям не озаглавленный: «Вотрен, халтура в пяти актах».

Прямо на репетициях идет лихорадочное исправление и пригонка текста. Правятся сюжетные линии, реплики, ремарки. Переделываются концы предыдущих и начала последующих действий. А тем временем Бальзак трезвонит на весь Париж о том, что близится день мировой премьеры, какой еще не видывал белый свет; предвкушает, как, венчая раскаты последнего монолога, под овации зала автор пятого акта (а в афише — единственный) взойдет на сцену, усыпанную белыми хризантемами... Что же касается труппы, то она, опасаясь банкротства, вынуждена заранее рукоплескать и вторить этой преждевременной похвальбе.

Наконец, настает час расплаты. Публика терпит до четвертого акта, а потом раздражается диким свистом и срывает представление.

На другой день король, когда-то тщетно призывавший сочинителя под ружьё, с явным негодованием и тайным удовольствием запрещает пьесу. Министр изящных искусств готов оплатить автору пять тысяч франков компенсации, но Бальзак, рассчитывавший на сто тысяч, а не по «штуке» на брата, отказывается от этой смехотворной подачи и сходит со сцены, так и не взойдя на нее.

ТИТУЛОВАННАЯ ОСОБА

Известно, что Бальзак отличался безмерным тщеславием. Он мечтал стать носителем всех мыслимых и немыслимых титулов, какие только существовали в аристократической Европе. Он примерял их на себя, как дама полусвета примеряет фальшивые драгоценности перед венецианским зеркалом, изготовленным в Шанхае.

Граф... Барон... Маркиз... Лорд... Князь...

Отправляясь из Парижа в Вену на пышные чествования, которые при австрийском дворе устроила ему его поклонница и тайная возлюбленная Эвелина Ганская — жена польского барона Российской империи, Бальзак укрепил над дверцей своей кареты чужой графский герб, и, отдыхая на почтовых станциях, исподволь наращивал титулы собственного тщеславия, расписываясь в дорожных книгах со все более раскрепощенной фантазией.

Из Парижа, где его знали все, он выехал *господином Бальзаком*.

Удалившись на некоторое расстояние от столицы, прибавил себе дворянский титул: «*Господин де Бальзак*».

Дрожжи спеси были брошены в чан похвальбы, тесто хвастовства стало неудержимо подходить, а пузыри земной тщеты, покачиваясь, лопаться от счастья в теплом сумраке покойной кареты.

По пути до следующей станции страннику вспомнился его роман с маркизой де Кастри, которая отвергла искателя ее руки, но не смогла помешать ему уведомить всех проезжающих, что очередную почтовую станцию миновал *маркиз, господин де Бальзак*.

Богатая вдова герцогиня д'Абрантес не стала его женой в тусклой яви, в серых буднях Сен-Жерменского предместья, зато на пиру воображения он без всяких замешательств аттестовал себя *герцогом Его Величества короля Франции, маркизом, господином де Бальзаком*.

Наконец, на последнем почтовом бивуаке перед Веной, где его родословную не знал никто, он позволил себе заглянуть в их ожидаемую с Эвелиной лазурную даль и представился

полностью как *барон Русский и Польский, герцог Его Величества короля Франции, маркиз, господин де Бальзак!*

Въезжая в Вену, он чувствовал себя триумфатором.

Но самой неприятной неожиданностью стал для него тот факт, что реальность обратного пути потребовала от путешественника тех же титулований на тех же станциях, что и туда. Постепенно дорога домой раздела его догола, и в Париж он вернулся снова *господином Бальзаком*.

ПАСЬЯНС «ОНОРЕ»

Играть в карты такому писателю было некогда, но те «пасьянсы», которые он раскладывал в жизни, по своей авантюристности далеко превосходили карточные многоходовки.

Бальзак обожал мистификации и маскарады, путаницу реальности и фантазий. Его артистическое пространство было куда шире жизненного, включая в себя последнее, как часть, а разнообразные розыгрыши, переодевания и плутни пронизывали оба.

Туз пик (Оноре) предпочитал иметь дело с замужними женщинами, а по возможности дружить и с их мужьями. При этом близкому знакомству с одной четой ничуть не мешала столь же сердечная привязанность к другой. Так вхожий в дом барона и баронессы Ганских (король и дама треф) одновременно был вхож в дом графа и графини Висконти (червонные король и дама), что не возбраняло ему параллельно встречаться с замужней госпожой Марбути, выдававшей себя за пикового вале-та, а на поверку оказавшейся дамой пик.

Фортуна туза состояла в том, что все три короля относились к личной жизни своих жен с одинаковой индифферентностью, а все три дамы питали к творческим и мужским достоинствам туза живейший интерес. Все они завязали знакомства с ним по переписке, а мужья достались счастливицу в качестве необременительного приданого. Барон пропадал на охотах, граф по прозвищу «Блаженный меломан» растворялся в волнах болеро,

а господин Марбути расправлял складки судейской мантии, председательствуя на важных процессах в провинциальном Лиможе. Тем временем изобретательный и любвеобильный составитель амурных пасьянсов засыпал своих пассий романтическими письмами, заимствованными со страниц собственных романов или вновь сочиненными и скопированными для будущих творений прежде, чем полететь к любимым на Пегасах королевской почты.

И что же в итоге? Какими раскладами завершились пассы композитора пасьянсов с «картинками» атласной колоды?

А такими, что дама треф находила тайный приют в женевской гостинице, куда по случайному стечению обстоятельств тогда же пребывал из Парижа некий маркиз, господин де Бальзак; червонная дама имела прямоту и отвагу принимать его отдельно от мужа в семейных апартаментах на Елисейских полях; а пылкий пиковый валет-паж, перевернувшись рубашкой вверх, обращивался госпожой пик не раньше, чем туз накрывал его в узкой келье за монастырской стеной у отцов-бенедиктинцев. Этому грузному козырю уступала любая масть, пока король треф, как в копеечку, палил в белый свет из тульских двустволоков; пока червонный король погружался в небесные колоратуры скопцов; а лиможского судью, — хоть бы и прознай он всю правду, — уже не возбуждала и не приводила в ярость звонкая страсть его юной супруги, так бесстыже сместившаяся из-под домашнего балдахина под гулкие своды святой обители.

Пасьянс «Оноре» раскладывался годами снова и снова. При этом туз никогда не содержал дам. Напротив, богатые дамы охотно поддерживали туза, вплоть до возмещения ему расходов на менее состоятельную госпожу из Лиможа. Но всему есть предел. Баронесса отчаянно ревновала в своей вольнской глуши, графиня устала оплачивать нескончаемые долги ветреного кавалера, а лукавый маленький паж, перепробовавший с тузом столько пленительных комбинаций, в конце концов воспылал жгучей завистью к червонной даме и мстостью к тузу, так ловко крившему всякую масть, пользуясь тем, что дамы, завязавшие с ним побочные связи, сами отодвигали на края

своих королей. Постоянно пасьянс как бы самовыстраивался под туза. Но в один несчастный день мнимый валет (предатель) выдал судебным приставам конспиративную квартиру — дворец графини Висконти на Елисейских полях, где туз пик — гонимый судьбою подпольщик любви скрывался еще и от кредиторов. Червонной даме пришлось спасать Оноре очередной раз, гася его просроченные платежи. Никакого желания снова отправляться в «Отель на бобах» у туза не нашлось. «Хорошенького понемножку», — сказал он себе и смешал карты.

ПИР

Поначалу труд писателя часто не воспринимается им самим как призвание. С юности завистливо смотрит Бальзак на богатых аристократов, одним только рождением гарантировавших себе родовитость и наследство. Они, не ударившие палец о палец для того, чтобы в баталиях или дипломатических схватках стяжать славу и титулы, вызывают в нем — внуке крестьянина — смешанное чувство неприязни и подобострастия. А рантье, коротающие жизнь на иждивении у собственных рент? Им дано несправедливое право пользоваться благами чужого труда, ничего не создавая взамен. Они предаются тому, что итальянцы зовут *dolci far niente* — сладкое ничегонеделание. Они греются под солнцем жизни, обласканные его лучами, томясь от безделья, но эта вечная гульба представляется молодому Бальзаку именно тем, к чему следует стремиться всеми силами. В тридцать лет он составляет план жизни, венцом которого должны стать слава, титулы, богатство, праздность. Чтобы их достичь, ему придется отдать сочинительству ближайшие двадцать лет непрерывной работы. Своей «Человеческой комедией», которую симметрично Данте с равным правом можно было бы назвать и «Безбожной», он охватит все слои общества, все его институты, возрасты людей, их внешние и духовные портреты. Этот труд, каким бы непосильным он ни оказался, обеспечит ему витающее пока лишь в грезах *dolci far niente*. Тогда автор опрокинет каторжную

тачку сочинительства, рассчитается с литературой и оставшиеся в его распоряжении годы разделит между наслаждениями чревоугодия, прелестями алькова, путешествиями и утолнением своего необъятного тщеславия. Никакая сила не притянет его назад к письменному столу. Каторжник отслужит над ним обедню безбожника, поставит на нем крест, и стол сгинет, как наваждение. Чур, чур, чур!

Впрягшись в ярмо бесконечно сочиняемых новых и новых романов, испещряя листы синеватой бумаги бисерными завитками черных чернил, летящих с вороньего пера со скоростью мысли, непревзойденной никакими иными скоростями на земле, доходя до изнеможения от работы, лишенной всякого намека на роздых, он мог бы воскликнуть: «О, сладкая участь дилетантов! Они берутся за дело только с тем, чтобы умерить аппетит пожирающего их любопытства и прекращают работу при первых же признаках утомления или разочарования. Поэтому они всегда бодры, веселы, энергичны, полны надежд. Им всё внове. Всё интересно. Сегодня они узнали то, чего не знали вчера. Глаза их горят ясным пламенем личных открытий — открытий для себя, ведомых остальному миру со времен Хаммурапи. Они преисполнены иллюзиями, а если ближайший опыт обратит их прожекты в прах, не беда. Возникнут другие, еще более интригующие. Над дилетантом не довлеет необходимость сосредотачиваться на единственном предмете внимания, доводить бесформенный природный алмаз фантазии до огранки бриллианта. Любопытному достаточно наметить две-три грани, пройтись по четвертой фетром шлифовального круга и переключиться на иное, с иного — на третье..., пятое..., семнадцатое, поражаясь прекрасному разнообразию бытия, восхищаясь мудростью Творца, замыслы которого так и пребудут для непосвященного закрытыми навсегда. Зато к его услугам все искусства, все жанры литературы, в которых он волен упражняться, выпуская накопившийся пар впечатлений. Кто из этих вечных новичков, жонглирующих скороспелыми плодами своих меняющихся увлечений, мог бы сказать: «В моем бриллианте сто две грани. Я отдал ему всё»? И валясь от усталости, Бальзак

был готов проклясть свой «бриллиант» — свою «Человеческую комедию», которая лишала его сил и времени на всё остальное: не давала разминиваться на коммерческие трюки, упасала от соблазнительной праздности странствий, отвлекала от безуспешных доказательств собственной изысканности, сохраняла бесценные часы из тех, что он мог бы с наслаждением посвящать смелым поклонницам адюльтеров, тайно проходивших к нему в дом под именем «кузин Бетт». Преградой всему этому служил письменный стол, полная чернильница, отточенное перо, заставшие пол листы перемаранных черновиков.

Коммерция не могла утолить его жажду обогащения. Путешествия по высшему разряду (а странствовать по-иному он не соглашался) требовали таких трат, какие оказывались ему не по карману. Грезы о богатой вдовушке, которая взяла бы его на полное попечение, как ребенка, играющего только не «в солдатиков», а в литературных героев, так и остались грезами. Отсутствие изящества в манерах говорить, двигаться, одеваться делали его предметом насмешек. Чашей эlegantности, как и прочими, судьба дальновидно обнесла напрасного претендента. Но и любовный напиток, к которому он был так пристрастен, давался ему дозами, далеко не умиротворявшими его могучую плоть. Читающие дамы Европы, его горячие поклонницы мечтали завести с ним близкую дружбу, однако осуществить свои намерения удавалось лишь единицам. У него не было времени на знакомства, ухаживания, искушающие пассы! Все силы высасывала ненасытная чернильница, возмещающая эти досаднейшие потери единственной наградой — пиршественным столом воображения, в который превращался его письменный стол, когда на нем и над ним возникали герои и сюжеты его романов, то фантастическое пространство свободы, что творил и заполнял он сам — полубог, осуществивший свое призвание в мире «Человеческой комедии».

ИЗ «ЧЕХОВСКИХ МОТИВОВ»

ЗАПИСКИ СТАРОЙ СОБАКИ

Н. Ю. Ванханен

Января дня 17-го.

Солнышко. Около трактира намело чистого снежку, всю грязь прикрыло. Очень приятно. И лапы не проваливаются и глядеть весело.

С утра кухарка выбросила прямо на снег кучу говяжьих костей. Они еще теплые и с остатками вареного мяса. Люди — странный народ! Самое вкусное не едят. Им даже в голову не приходит, какое это наслаждение погрызть мозговую косточку, покопаться носом в помоях, а то и слямзить кабачковую лепешку с кухни и зарыть про черный день где-нибудь в тайном месте.

Марта дня 28-го.

Снег у трактира растаял, и вся грязь вылезла наружу.

Сегодня знакомился с новыми друзьями. Гоняли вокруг заведения, облаивая друг друга почему зря, перепугали кухарку, передрались из-за костей, а после справили свадьбу. Кофейный пудель с претенциозной на мой взгляд кличкой Артемон, как жених-очевидец, правдоподобно запечатлел событие в стихах:

Хоровод клубится брачный,
Где кобелятся кусты,
Сцеплен силою собачьей:
По носам метут хвосты.
Ав!

Июля дня 9-го.

Вечером прогуливался лугом вдоль тракта, и ко мне прибилась какая-то смазливая дворняжка. Представьте себе,

немедленно выясняется, что она свободна и полна решимости. Суббота. Настроение приподнятое. Мы устраиваем призывную возню на траве, и я приглашаю непоседу отужинать в трактир. Но тут откуда ни возьмись выскакивает еще одна любительница готовой кулинарии, вертя хвостом в мою сторону и скаля зубы на дворняжку. Соперницы затевают перебранку. Дело едва не доходит до драки. Я сохраняю нейтралитет. Жду, кто возьмет верх и составит мне компанию. Но силы равны. Одна претендентка крупней, зато другая берет шустростью. К трактиру подкатываем втроем. Что у нас сегодня в «Меню»? Принимаю. Так... Цыплята-табака. Шкварки. Фаршированная щука... Выбор есть. Ананасы я не ем. Шампанское не лакаю. Оно колет язык и бьет в голову.

За дверь проникаю без труда — кухарка меня знает, а спутник видит впервые и отказывается пускать наотрез. В итоге — я лежу на коврике под граммофоном, подвывая Шаляпину, а дамы ругаются на улице под дверью.

Нехорошо получилось.

Октября дня 13-го.

Ну-ну, щенки, попищите мне еще! Каким ветром вас надуло? Трактир закрыт. Все ушли на японский фронт. А вы думали — куда? На лужок?..

Пицца растет в цене. Голодный молодняк рыщет по помойкам. Ровесники стареют. Из чувственных удовольствий у меня осталось только одно — лепешка от *17-го января*.

НАЙЛУДШАЯ КНИГА

Иван Дмитриевич, мещанин из Углича, приехал на Великий пост в Москву к свояку Жукову и поселился у него на Разгуляе. Сперва одну неделю, потом другую родственники говели и читали святые книги, а там дали себе поблажку: Иван Дмитриевич как путешествующий, а Жуков по слабому здоровью. Вечером зажгли они желтую восковую великопостную свечку, изогнутую

на конце, выпили для аппетита ледяной водки из погребца, оскоромились жирной кулебякой с мясом, и уже по привычке потянуло их на чтение. Подошел хозяин к шкапу, позвенел ключами на железном колечке, выбрал ключик с кривой бородкой и несет свояку книгу в картинках: «История блудницы Раав с подробностями, кои у Иисуса Навина опущены».

Стал вполголоса читать свояк свояку: «...два юноши пошли и пришли в дом блудницы именем Раав и остались ночевать там на широком кипарисовом ложе, где обыкновенно принимала она прохожих странников...»

Жуков читает мерно, монотонно, с расстановкой. Ползет по строке пожелтевшим указательным пальцем, изогнутым на конце, как та восковая свеча, а Ивана Дмитриевича в тепле от выпивки и сытной кулебяки разморило. Слушал-слушал да и заклевал носом...

Чтец уловил, что к его собственному голосу примешивается какой-то посторонний тоненький свисточек, как будто кто носом подсвистывает. Глядь, а слушатель-то уж готов: уснул.

— Иван Дмитриевич, да ты никак спишь?

Тот очнулся:

— Нет. И не думаю.

— На чем я кончил?

— На кипарисовом ложе, где блудница странников принимала.

— Правильно. Ну, не спи. Книга поучительная. Читаю дальше.

«...когда же они познали ее и там, Раав тайно спустила их по веревке, а веревку скрутила из простыней, еще теплых от...»

Опять подсвистывание.

— Иван Дмитриевич, да ты снова того... задремал.

Свояк встряхивается, придвигает свечку поближе к чтецу.

Говорит:

— Ежели с вечера спать, то ночью-то что делать?

— Раз не спал, скажи, какие были мои последние слова?

— Что, дескать, веревку она им из простыней скрутила.

Жуков удивляется:

— Как ты так можешь: и спишь и все слышишь?

Ну, будь внимательный. Дальше читаю.

А сам для хитрости вернулся назад, что уже раньше прочитывал: «...а потом блудница отвела юношей на кровлю и возлегла с ними в снопах льна, разложенных у ней по всей кровле».

— Иван Дмитриевич! Проснись же ты. Для кого я стараюсь?

— Да не сплю я, Михал Иваныч! Ей-Богу... Правда, книга старинная, поучительная...

— Повтори, на чем я кончил?

— На снопах льна, разложенных по кровле.

— Верно. Никак тебя не подкараулишь... Давай еще по стопочке для аппетита.

Тут Иван Дмитриевич окончательно проснулся. Свояки выпили, закусили кулебякой. Гость обтер полотенцем руки, жирные от коржа и сочной начинки; попросил дозволения взять книгу; полистал, останавливаясь на картинках, приговаривая: «На кипарисовом ложе, где принимала...» Или: «Прямо во льну, на кровле!..» А потом позаимствовал у хозяина перо, склянку чернил и вывел наискось по титульному листу: «Сию книгу читал я, углицкий мещанин Иван Дмитриев и нахожу ее изо всех читанных мною книг самой наилучшей. о чем сообщая Михайле Ива́нову Жукову как владельцу оной бесценной книги. *3-я неделя Великого Поста*».

ИСПОВЕДЬ СТАРЦА АНТОНИЯ КРЫМСКОГО

Матушка!

Если бы я знал, с чего начать, то никогда бы в жизни не начал с того, что Крым зимой похож на выстуженный и отсыревший рай, от которого всё можит. Он продут насквозь такими ветрищами, засыпан такими мокрыми снегами, что здешние гнилые плюс 2 куда хуже наших ядерных минус 20-ти. Аквариум с рептилиями некому содержать, гадов не на что кормить, они разбежались, и вот вокруг по горам извиваются, выпуская жала, беззубые гадюки и клацкают холодными клыками молоденькие крокодильчики.

Погода поганая — до того промозгло. Пишу эту исповедь не в кабинете своей иеромонашеской кельи, а в уютной спальне, ибо здесь есть печка, а в кабинете температура почти такая же, как на улице.

Однако и у печки исповедоваться тоже не мед. Вначале сел к ней спиной. Спине жарко, в затылок печет, а грудь и руки мерзнут.

Повернулся наоборот.

А теперь спина стынет, зато в грудь и в руки пышет жаром, как прежде в спину.

Правда, есть еще две позиции: правым боком и левым боком. Исповедуюсь в каждой.

Спиной к печке

Хотя бы покаюсь в прегрешениях самых легких.

Представьте, матушка, по утру молюсь об упасении от переедания и дремы. Потом весь день ем и сплю, всхрапывая, как целый собор архимандритов. Вечером встаю на шаткую табуретку и, словно с амвона, фарисействуя и боясь оскандалиться и свалиться, предаю анафеме чревоугодие, сонливость, после чего, пожелав себе ангела к ночи, с чистой совестью укладываюсь под одеяло, намереваясь заснуть сном праведника. Ан не тут-то было. Сон мой тяжел, и снятся мне всё какие-то кухни, кухни, кухни, а в них — колбы, колбы, колбы, то со льдом, а то такие, что кипят на огне и брызжут слюною расплавленной. Думаю: не от переедания ли чудится?

Сон и пища поглощают короткий зимний день так, что времени на работу совсем не остается. Какой-то я заторможенный. Или сказывается возраст? Ума не приложу. Иной раз по весне и захочешь хотя бы розочки развести сортовые, голландские. Придет лето, будут радовать взор. А то дай, думаю, засяду-ка за житие, опишу день за днем свою несправедную жизнь, чтобы юноши лет через эдак зачитывались и спрашивали друг у друга: «А ты, нечестивец, читал “Житие старца Антония Крымского”? Нет?! Иди и погрузи лицо свое. Вот где кладезь премудрости, лишенной словесного сору!» И, как Вы полагаете, матушка, чем дело кончается? А тем, что подсунет

мне нечистый какую-нибудь книженцию для отвлечения, хоть вот эту:

«СТИХИ
госпожи Алины Тэ,
ею самую сочиненные»

Раскроешь и начинаешь осуждать, и начинаешь осуждать...
Что это за строчка?

Один порыв сплошной, суммарный...

Разве в стихи годятся такие паршивые словечки как *сплошной* или того пуще: *суммарный*?

А то вдруг:

Ощупывал палкою прочность поверхности снега...

Зачем же *прочность*? Точно речь идет о ступеньке или о порожке. Тут нужна *плотность*, а не прочность.

И поверхность снега — неловкое в стихах выражение.

А как Вам такое:

*Никифор отделился от столба
И крикнул: «От столба я отделился!»*

Так меня госпожа Алина раздосадует, что сижу и осуждаю, и осуждаю вместо того, чтобы трудиться самому, воспевая хвалу Всевышнему. Но, возвращаясь к стихам: что тут хвалить, скажите на милость?.. А ведь есть что! Человек при деле, к тому же чувствую, что госпожа Тэ только прикидывается богемой, а так — рассудительная, добрая женщина. Ей бы в монастырь уйти, ежели набожна, была бы примерной послушницей, а стихи не ее епархия. Стихам подавай женщин самовольных, нервных, переменчивых, отчаянных, изощренных в словесах, не знающих страха Божьего.

Честное слово, руки уже окоченели и грудь стынет.

Переворачиваюсь.

Лицом к печке

Хорошо, что вспомнил!

Мне Лиана Львовна платок дарила оренбургский из серого пуха. Для тепла. Сейчас спину прикрою, погодите минутку... Ну, вот.

Вчера заходил в келью трудник Максим-босяк. По Волге баржи тягал с бурлаками. Такой силач! Насажает полную баржу бурлаков и один тянет против течения от Астрахани до Нижнего. Как пупок не развяжется? Отрастил усы, не отесан, груб, а душа нежная. Надо его с Лианой Львовной познакомить.

Максим принес крымского вина — «Финагории». Игристая шипучка. Рецепт знаменитый, дедовский: сок забродившего на лозе винограда, утренняя моча горного козла (взятая натошак) и побольше дрожжец. Пить можно, не отравишься, но что ни глоток, то отрыжка. В обществе даже неприлично. Мешает разговору. Опять же винопитие — грех. Но без него в кабинете, например, околеешь и не успеешь исповедаться перед тем, как отойти. Каюсь, матушка, согрешил. Выпили этих дрожжей, в голове зашумело, и стал я Максимку наставлять да похвалиться перед ним:

— У тебя еще мозги зеленые в крапинку, хоть и силищи не меряно. Не сиди сиднем. Плюнь ты на свой Нижний. Ничего не высидишь. И в Крыму тебе делать нечего. Тикай в Москву, езжай в Питер. Всё — там. А тут один миндаль цветущий. И то не круглый год. Про Нижний я уже молчу. Послушай меня. Я в твои годы весь Торжок пешком обошел, всё Лефортово. Из Святой земли не вылезал. Сколько на Форосе с католиками красного перепил, — мамочки мои! — бургундского, брюссельского, амстердамского... В нашу веру хотел их обратить и перевести на кагор, но хуже нет обращать упертых. Я бы и до Каира дошел, если б выдерживал крик ревущего верблюда. А где был ты, босяк? По Волге шлепал? Как колесный пароход. Одни брызги во все стороны... И за что я полюбил тебя — не пойму. А за то, что душа у тебя нежная. Но ты есть большой невежда, хоть и книжек начитался, да самоучкой. Без образования. А, главное, женщин не знаешь. А женщина — у-у!.. — это, брат, энциклопедия. Надо тебя с Лианой Львовной познакомить.

Максим отвечает, окая:

— Отчего же, познакомьте. Мы тоже не лыком шиты.

И достает из кармана две сигары.

— Угощайтесь. Это я в Лондоне покупал. На Джермин-стрит. В угловом.

Вот как он, грех-то, заманивает. Сперва «Финагория», потом похвальба, а там и сигары...

Помилуйте, матушка! Отпустите провинности мне — старцу Антонию, сыну купеческому, отца Павла отпрыску нерадивому.

Нет больше сил моих жара терпеть.

Переворачиваюсь.

Правым боком к печке

Завидую я босяку. Он молодой. Его кровь греет. Ему и печка, что есть, что нет. Он и так счастлив. А то перемахнет через монастырскую ограду и — айда! — к своим бурлакам на Волгу или в Москву к старообрядцам на Рогожскую заставу новизны искать. Что ж, вольному воля.

А мы, матушка, в Крыму спасаемся по-стариковски, и ничего нового нам уже не нужно. Это поначалу все делают вид, что устали от старого, требуют новизны, однако новое редко кого устраивает, поскольку из старого мы имеем лучшее, а из нового всё подряд, всё подряд... Новое еще не устоялось, отстоя нет, вперемежку: и доброе и дурное. Вслед за новым опять хочется старенького, а пока оно возвращается, глядишь, и прошлая новизна отстоялась — подоспела без нашего ведома, без нашей суеты. Как хорошо! И шевелиться не надо. Сам собой приходит день, сама собой приходит ночь.

Теперь мне правый бок напекло.

Поворачиваюсь.

Левым боком к печке

Сегодня с утра заходила в келью Лиана Львовна. Принесла мне в подарок фарфоровую чашку кузнецовскую: чай пить, а то я свою разбил. Еще принесла шоколад и анчоусы. Попили китайского жасмина с шоколадкой, хорошо поговорили:

о болезнях, о политике, об удобрениях. На миндале уже побелели почки, скоро зацветет. Закинул удочку насчет Максима. Лиана Львовна готова взять его под опеку. Как считаете, матушка, простятся мне винопитие с чревоугодием да сигарка с похвальбой, если я двух хороших людей познакомлю, и из этого знакомства толк выйдет?

Пока был я молод, пока жил в Москве, в Камергерском переулке, женатый на Дусеньке-артистке, ходили обо мне слухи, будто страшно ее ревную и никуда одну не пускаю. Даже на репетиции в Художественный театр, хоть тот и был от нас прямо наискосок. Сам с ней хожу, терплю все читки, высиживаю часами, дабы ни случилось что неудобопочтенное... Артисты хихикают, злословят. Пьесы, дескать, уже все наизусть выучил. Особенно господина Чехова. Может, и мужские роли суфлировать и женские. Его, мол, сам Станиславский в суфлеры приглашал, обещал на сцене будку новую построить раковинкой: кровля волнистая, а я, как моллюск, под ней утоплен, чтоб видно не было, только шепот мой слышен на сцене и в партере до седьмого ряда. Молюсь теперь за тех, кто возвел на меня эту напраслину. Прости их, Господи! А в театрах нравы известно какие. Тут и ангела бес попутает.

Миндаль тех лет отцвел давно, и я вспомнил их только затем, чтобы исповедаться перед Вами, матушка.

Помолитесь и Вы в Вашей смиренной обители за припадающего к стопам Вашим недостойного страстотерпца иеромонаха *Антония*.

ПЕРЕПИСКА

Чехов — Левитану: Сижу без денег.

Левитан — Морозову: Чехов сидит без денег.

Морозов — Левитану: Посылаю вам две тысячи для Чехова.

Левитан — Чехову: Получите две тысячи от Морозова.

Чехов — Левитану: Я не просил этих денег, не хочу их и прошу позволения вернуть.

Левитан — Чехову: На каком основании?

Чехов — Левитану: На том основании, что они пятнают мою честь. Я выгляжу бессовестным в собственных глазах.

Левитан — Чехову: «Пятнают честь»?.. А вы не боитесь обидеть отказом Морозова? Или меня, который хлопотал за вас?

Чехов — Левитану: Конечно, вернуть деньги надо в такой форме, чтобы никого не обидеть.

Левитан — Чехову: В какой же, позвольте спросить?

Чехов — Левитану: Могу я, например, внезапно разбогатеть?..

Левитан — Морозову: Чехов благодарит, но от денег отказывается. Ему приснилось, что он разбогател.

Морозов — Левитану: Пусть проснется и не выдумывает.

Левитан — Чехову: Морозов просит не выдумывать и принять деньги.

Чехов — Левитану: Собаки! Благотворители! Охотники запускать лапу в чужой кошелек и набивать его так, чтобы он разбухал от дукатов! Знайте: я отомщу, и месть моя будет ужасна! Как только издатель Маркс купит меня с потрохами, я пошлю каждому из вас по две тыщи, но не думайте, что это будут новенькие ассигнации. Дудки! Это будут потемневшие от хождения по рукам серебряные рубли!

КУМ МИРОШНИК

Милая Полинька!

Вы сердитесь, что я так давно Вам не писал, Вы надуваете Ваши толстенные губки и капризно топаете ножкой в беленьком носочке и туфельке на низком каблучке.

Какой, однако, вздор! Я пишу Вам постоянно, но, по-видимому, все мои письма перехватывает завистник-почтальон — ревнивый юноша-каланча, безумно в Вас влюбленный.

Лишь только с высоты своего роста он замечает на конверте ненавистный ему адрес отправителя, как тут же вскрывает конверт, чтобы без зазрения совести, — подлый перлюстратор! — прочитать вовсе не предназначенный ему текст. А лишний раз

убедившись в том, что опасения его не беспочвенны, кладет письмо себе в карман. До Вас оно не доходит. Вы гневаетесь на мое невнимание, ссоритесь со мной, и тем самым невольно подливаете масла в огонь — потворствуете злодеяниям почтальона, поощряете его и впредь перехватывать частную почту, хотя его карманы уже и так не прилично оттопырены моими письмами к Вам.

С Новым годом, моя радость!

Будьте счастливы, здоровы и веселы, как я.

Мы с Вашей любимицей Аленкой живем ничего себе. Много и вкусно едим на ночь, так же как и по утрам. У нее хороший аппетит, и мне не приходится долго уговаривать ее, сопровождая каждую ложечку овсяной каши словами: «Скушай, светик, за ленточку, скушай за бантик, скушай за дедушку-тирольца, дымящего трубочкой... Вот увидишь: он покурит-покурит, отложит трубку и тоже поест, как и ты, за обе щежки».

Сознаюсь, что мы все, — и Еленка, и тиролец и я, — часами болтаем, перемывая косточки знакомым и незнакомым, бездельничаем целыми днями, сыплем экспромтами, много смеемся и о Вас вспоминаем очень часто.

Какая же Вы все-таки бяка! Полинка, немедленно прекратите дуться. Сдуйтесь. И никогда больше не надувайтесь. Если б Вы знали, как мы Вас любим! Особенно я. Вчера нарочно написал Мейерхольду, чтобы он не был с Вами резок, как он это умеет, изображая из себя чувствительного неврастеника, размахивая во все стороны руками и ногами. Что же, что он в Вас влюблен? Что же, что любовь его безответна? Страдания надо выражать не жестикуляцией, а грацией. Тонем и взглядом. Никак его не научу. И симпатии лучше выказывать не обещаниями бросить к ногам Париж, а врученным фунтиком жареных каштанов. Но теперь не беспокойтесь, моя красавица, он это учтет и не заглянет к Вам без хороших подарочков.

Конечно, перебороть свою тревожность измаянный Вами сын Эмиля не сможет, но будет робок и тих, как тонкорунный ягненок, заблудившийся в полях.

Кстати, попеняйте папеньке на то, что дал своей дочке такое простонародное имя: Полинка. Оно более подходит

к поселянке, к молочнице, к вернувшейся с вечерней дойки тете Поле, но уж никак не к Вам, моя прелесть! А если папенька вздумает поменять имя, то, ради всего святого, не соглашайтесь на Юлию. Имя Юличка к лицу хорошенькой горничной, ну, не Вам же, моя догаресса! В имени Юля чувствуется что-то увиливающее, юлящее, юли-юли... Какая-то юла внутри своей расклешенной юбки. Умоляю, убедите отца не льстится на эту рискованную игривость! От Юлии, между прочим, происходит собачкино имя Жулька, а уж оно совсем жуликовато, в нем так и слышится какая-то жулябия, подтибрившая сахарную косточку. Но не поддавайтесь и противоположному, ежели Ваш почтенный батюшка, желая подчеркнуть Ваше постоянство, предложит Вам строгое имя Констанца. Оно слишком обязывает, чтобы Вы смогли пронести его через всю жизнь, ни разу не уронив. В самом деле, вокруг столько притягательного, такие высокохудожественные соблазны! Не даром я слышал, как тронул Вас последний пейзаж Левитана, где он изобразил лунную ночь во время сенокоса: луг, копны, вдали лес, а надо всем царит луна... Ох, бойтесь этого дамского угодника! Он влюбчив до чертиков.

Между тем я близко знаком с одним очень симпатичным работником на мельнице. Его зовут Кум Мирошник. Это спокойный, рассудительный господин, который не будет мучить Вас припадками ревности, истериками на почве неразделенной любви или напротив подозрительно частыми отлучками из дому под благовидным предлогом участия в Выставках передвижников, которые почему-то неизменно пропитывают его ароматом женских духов. Кум Мирошник — мельник. Он лично задает корм пожирающим зерна жерновам — хрустящим от возбуждения обжорам. Главная забота его — мера. Мало зернышек — жернова прокручиваются вхолостую. Много — тормозят и заклинивают. Поверьте, чувство меры присуще Куму Мирошнику во всем. Я говорил, что он не будет мучить Вас припадками ревности, но не настолько, чтобы Вы смогли заподозрить его в равнодушии. Он не вздумает устраивать Вам истерики, когда, рассказывая о перемолотых пудах

пшеницы, видах на овес или о свойствах смазочных масел для мельничного колеса, заметит Ваш отсутствующий взгляд. Но он постепенно, исподволь привьет Вам уважение к предмету и аксессуарам своего труда. Тем более, что труд его протекает в романтической атмосфере уединенной водяной мельницы, чьи жернова приводятся в движение водопадом лесной реки, перед живописностью которой (особенно в лунную ночь порой сенокоса) отступает воображение Исаака Ильича, и кисть выпадает из его рук. Тогда ему остается только признать, что эта вода льется не на его мельницу.

Уже по моим рассказам Кум Мирошник совершенно Вами очарован и смиренно просит прислать ему Вашу фотографию. Контрастную. Сепией. На плотном кремовом картоне.

Кстати, а когда Вы сделаете и пришлете свою фотографию *мне*?

Эти отговорки, — «Плохо выгляжу», «Не в настроении», «У фотографа кончились реактивы», — считаю абсолютно несостоятельными.

Целый год не допрошусь. Бог знает что! Ваши увертки возмутили и отвлекли меня до такой степени, что вчера я засыпал в мельницу вместо пуда пшеницы два пуда овса, и еще удивлялся, почему она так скрипит?

Полина!

Долго Вы будете изводить меня своей благосклонностью к долговязому юноше-почтальону; принимать у себя дома влюбленного в Вас Мейерхольда; выражать сдержанное раздражение Левитану, без Вас выезжающему на пленэр — к волжскому Плёсу?

Когда, наконец, Вы отправите мне свою фотографию?!

Что за легкомыслие, матушка?

Вспомните: все семь лет, которые я имею честь знать Вас, я питаю к Вам самые нежные, самые искренние чувства.

Уже месяц прошел с Вашего седьмого Дня рождения, когда мы вдвоем с Вами задували все семь свечей праздничного пирога, и этот месяц показался мне длинней полярной ночи, длящейся полгода. Какая радость, что недавно Вы научились читать! Какая грусть, что еще не освоили письмо! Мечтаю о времени,

когда на горе юноше-почтальону стану, счастливец, ходить
с карманами, оттопыренными от Ваших писем.

Низко кланяйтесь батюшке и будьте благополучны.

Подбрасываю вас до потолка!

Ваш кум *Мирошник*.

ЗА КУЛИСАМИ

РОЖДЕСТВО 45-ГО ГОДА (Из рассказов художника Чижикова)

Поскольку с нашим домом соседствовала газета «Британский союзник», то перед Рождеством 45-го года англичане предложили нашему домоуправу или коменданту, все равно, выбрать двух детей на Ёлку в английское посольство. Не знаю почему, но он выбрал Пряткина и меня — Чижу. Ну, Пряткина понятно. Васька отличился — заложил Чижика, рванувшего патрон рядом с «Британским союзником», во дворе перед будкой охранника — дяди Казбека, исполнил гражданский долг предатель: выдал друга как социально опасного элемента. А я-то? А меня, подрывника, за что награждать?

Это выяснилась накануне Рождества.

Вызывает нас с Васькой домоуправ и велит померить два френча защитного цвета.

Я возражаю:

— Что мы будем на Ёлке, как два чучела, в этих френчах? Дети такое не носят.

А комендант:

— Одевай, тебе говорят, не разговаривай. Эти френчи — спецпошив. У них вся подкладка — один большой карман. Пока не набьёте, ничего себе в рот не класть, поняли? По приходу с Ёлки сразу ко мне и спецодежду сдать под расписку с полными подкладками.

Тут я и сообразил, почему комендант выбрал меня и Пряткина. Ему нужны были ребята честные, патриоты своего двора, но и способные на военные, а точнее на штатские хитрости по отношению к союзникам. Это же авантюра: на глазах у англичан в их собственном посольстве отовариться на весь двор! Законно такую операцию повернуть было невозможно. Пригласили только двоих детей, а не со всех подъездов. Видимо, по мнению коменданта, после того как я не побоялся подрвать патрон

возле будки дяди Казбека, моя кандидатура по части смелости сомнений не вызывала. А чтобы я тырил сласти честно, патриотично, без подвоха, не перепрыгивал куда-нибудь для себя, он приставил ко мне Пряткина как хорошо зарекомендовавшего себя друга-осведомителя.

На Рождество комендант приводит нас в посольство к англичанам. Я во френче чувствую себя, как чучело на огороде. Васька тоже не в своей тарелке: чай, не штопанная фуфайка. Но скоро мы об этом и думать забыли.

Нас встречает дама — вся в серебре. Ведет к Ёлке. Там детей полно. Красота! Но когда за стол сели, мы с Васькой опомнились, поозирались по сторонам, — как бы нам управиться понезаметней, — и давай в четыре руки подкладки набивать конфетами, печеньем, мандаринами... Ничего подобного да плюс в таких количествах мы никогда не видели. Все блюда вокруг себя опустошили. Я щупаю френч — мёста в подкладке еще много, а сласти кончились. Тут посольские дамы переглянулись и снова насыпают полные блюда. Мы и это распихали по подкладкам. Уже без всякой конспирации. Стыдно, а что делать? Там же друзья, им тоже хочется. Тем более нас раскрыли. А англичанки что-то между собой «ла-ла-ла, ла-ла-ла» и смотрят сочувственно, а потом отворачиваются, как будто ничего не видят, и добавку подсыпают.

Пряткин пыхтит:

— Гляди, все едят давно, а мы все натыриваем. Я тоже есть хочу. Мне уже класть некуда.

И мы стали уплетать за обе щёки.

Наелись — до тяжести.

Френчи набили — не встать.

Кое-как вылезли из-за стола — толстые, подкладка оттягивает, — и домой.

А у коменданта уже праздничные пакетики наготовлены. Ждет.

Как стали мы всё вытряхивать: конфеты с мандаринами, вафли с печеньями, кексикки, леденцы, шоколад... и по пакетам расфасовывать, и по пакетам!

А под Новый год Дед Мороз (комендант) разнес подарки детям на квартиры. Но раз операция наша была тайной, то едва ли жильцам открылось тогда, откуда у Деда-то Мороза это всё. И вот теперь я рассекречиваю тайну. Новый 1946-й год мы встречали в Москве с подарками английского Рождества.

ВОЖДИ РЕВОЛЮЦИИ

Пока Ленин был жив, у них со Сталиным как-то не очень складывалось. Я имею в виду личные взаимоотношения. Нет, Владимир Ильич ценил кипучую энергию генсека, но упрекал его за нечуткое отношение к товарищам по партии, а Сталин прозвал Ильича *Стариком*, намекая на то, что смена поколений в политическом руководстве назрела. Кроме того, Сталин недолго любил жену Ленина Надежду Константиновну. Видимо, как женщина она его не интересовала, а как член партии мешала.

Он говорит: «Старик совсем плох. Надо его подальше увезти, к морю, в Ялту».

А она говорит: «Нет, поближе, в Горки».

Он говорит: «Всё. Хватит. Побаловались. Сворачиваем НЭП».

А она говорит: «Володя этого не перенесет».

Но, — на все воля Божья, — Ленин и так умер.

Вот тут отношения между вождями стали налаживаться. Усопшему выделили жилплощадь в центре Москвы, определили почетный караул. Сталин стал ходить к нему в гости, цветы носить, приглашать на Траурные заседания в Большой театр.

Ленин удивляется: «Я же умер».

А Сталин и слушать не хочет: «Пока тебя помнят, ты жив. Когда забудут, тогда умрешь. А пока живи — *живее всех живых*».

Ленин (*с любопытством*): «Это кто сказал?»

Сталин (*веско*): «Это Маяковский сказал. Политически верно».

Ленин (*сомневаясь*): «А насчет поэзии — не знаю...»

Сталин: «Он — талантливый. Я-то в стихах разбираюсь не плохо, сам писал. Но в порядке самокритики должен признать,

что как поэт Маяковский крупнее меня. А Гёте с ним я вообще не сравню. Гёте — это так... художественная самодеятельность.

Но у товарища Маяковского есть один недостаток».

Ленин (*насторожившись*): «Какой?»

Сталин: «Он живет старым багажом. Как застрелился, так больше ничего нового не пишет. Ни строчки. Пожалуйста, стреляйся. Никто не запрещает. (С епархией мы всегда договоримся). У нас свободная страна! Но потом работай: пиши, выступай, публикуй. Для партии, для государства, для народа. А то, понимаешь, у нас некоторые люди думают: “Вот застрелимся и всё! Ничего больше делать не будем. Ни на работу ходить, ни партвзносы оплачивать, ни изучать труды классиков. Будем жить как тунеядцы, как нахлебники. За счет рабочего класса”. Это — что? Правильно?! У меня даже во рту пересохло. Так я разволновался.

Вообще у нас с поэтами — беда. Вот тоже товарищ Пастернак свалился на мою голову. Я после войны капитально отремонтировал Колонный зал Дома Союзов. Всё блестит, всё сияет: люстры, колонны, паркет! И в первый же вечер выходит на сцену Пастернак с этой монашенкой Ахматовой, и все встают. Весь зал. Вы что?.. С ума сошли?! Кто они такие, чтобы перед ними вставать? Один, понимаешь, ремонтирует, а перед другими встают. Я до сих пор не могу добиться от компетентных органов, *кто организовал вставание*».

Ленин слушает, соглашается. Действительно, один ремонтирует, а перед другими встают... Короче говоря, отношения наладились. Но тут умирает Сталин, и Похоронная комиссия не придумала ничего умней, как уплотнить Владимира Ильича и на его площадь подселить Иосифа Виссарионовича.

Ленин говорит: «Товарищи, побойтесь Бога! Мне днем и так покоя нет. Все время народ толпится. Я хочу полежать, отдохнуть, а люди идут и идут друг за другом сплошной чередой, мне некуда уединиться, потому что комната — одна».

А Берия говорит: «Адна. Кто бы спорил? Но — балшая. Так что в пэрспэктиве я планырую подсэлить к вам еще Хрущёва с Малэнковым».

Делать нечего. Стали жить вдвоем. А Ильичу-то уже 83, да и Виссарионычу за 70. У каждого свои вкусы, свои привычки. Сталин, например, очень любил над людьми подшучивать. Ходит по комнате, во все углы заглядывает, делает вид, что Ленина потерял и приятно так напевает одну и ту же строчку:

— Где же ты, моя Сулико?

Приятно, но раз двадцать.

Ленин не выдержит и скажет:

— Коба, смени пластинку.

А Сталин к нему обернется:

— Вот моя Сулико!.. — и погладит по головке.

А то еще одно. Ленин не курит, а Сталин курящий. Комната же у них, хоть и в самом центре, но неудобная: окна нет, не проверишься толком. Один вождь раскурит трубочку, дыму напустит, а другой в нем плавает, кашляет, просит: «Будь другом, брось курить!» А тот смеется: «Терпи казак, комиссаром будешь».

Или: Сталин любил подкрадываться к человеку со спины. Обует мягкие кавказские сапожки без скрипа, подкрадет, как пума, и закроет жертве глаза пушистыми лапами:

— Угадай, кто?

Ленин вздрогнет: «Ну, и шуточки у тебя...»

Еще в гимназии Володя привык писать сочинения остро оточенным простым карандашом. Чисто, аккуратно. Эту привычку он пронес не только через всю жизнь, но и через кончину: умер, а привычка писать сочинения остро оточенным карандашом осталась. Однако здесь, на квартире, не было ни точилки, ни скальпеля, ни ножа. У него не было. А у Кобы было всё. Достал Коба из потайного кармашка дагестанский кинжал с инкрустациями, острый, как осиное жало:

— Давай поточу.

Это, конечно, выход. Но теперь надо каждый раз обращаться. Захочет — поточит, а не захочет? А если вспылит?.. Вообще может зарезать. А еще говорят — *двум смертям не бывать*.

Терпел-терпел Ильич, не выдержал. Написал жалобу в ЦК:

«Я – сын заслуженного деятеля народного просвещения, известный литератор и вождь Великой Октябрьской социалистической революции, на старости лет оказался в одной камере с уголовником. Убедительно прошу перевести его в другое место заключения».

А тогда уже Брежнев был генсеком. Он как прочел... Только что еле-еле утрясли с Чехословакией, а тут новый скандал: вожди не ужились.

Посылает Микояна уладить конфликт. Микоян бубнит-бубнит, жует язык, ничего не понять. А человек добрый. Он любого пассионария мог унять и перевести в колыбельный режим: хоть Долорес Ибарурри, хоть Фиделя Кастро.

Помирил вождей.

Но это временное примирение. На воле черт-те что творится. Сталина отовсюду поубирали (только подумывают о реабилитации), а так одного Ленина почитают. И стал Сталин Владимира Ильича ревновать:

«Что он, собственно говоря, такое особенное сделал? Какую внес лепту? "Вождь революции..." Да не может быть у революции вождя! Революция – это стихия, цунами. Нельзя быть вождем цунами. Идет волна, всё сметает на своем пути. Спасайся, кто может! А вот когда прошла и отхлынула, тогда и вождь на своем месте: тут как тут. Ленин не был вождем Октябрьской революции. И я не был. Он был вождем НЭПа, а я – вождем Победы. Есть разница? За что же памятники мне снимают с пьедесталов, а памятники ему ставят на мое место?»

Как мне не везет! Колонный зал я отремонтировал, а встают перед попутчиками, готовыми в любую минуту переметнуться на сторону врага. Я наградил маршала Жукова *четырьмя* золотыми звездами Героя Советского Союза. Себя – *одной*. А меня обвинили в "культе личности", меня – всю жизнь занимавшегося самокритикой! Это – что? Правильно?.. Они меня доведут до того, что я на Старика руку подниму... Вот тогда мы проверим, какой он бессмертный».

Ну, а тут Горбачев – Пуго – Ельцин – митрополит Питирим Волоколамский... Пошла заваруха. Одни ораторствуют – другие

стреляются — третьи бунтуют — четвертые в колокола звонят!.. Владимир Ильич улучил момент и вторую депешу — по начальству. На сей раз уважили. Выселили Сталина из квартиры, правда, жилплощадь дали поблизости, в двух шагах. Изыскали для вождя революции, несмотря на нехватку жилого фонда. Поселили на Красной площади. Правда, жилье выделили уже попроще. В землянке.

«АРИСТАРХ РАППОПОРТ»

На Всесоюзном радио работал журналист Шурик Морковкин. Начальство ценило его за то, что он быстро и умело строчил нужные тексты. Но в эфире сам их никогда не читал. Читал обычно диктор Юрий Левитан. По очереди с диктором Феликсом Тобиасом. Иногда коллег заменяла Ольга Высоцкая. А еще реже — артист Валерий Лекарев. Дело в том, что у Шурика был один речевой дефект: он не выговаривал букву «Р», а вместо нее произносил букву «Г». «На Всесоюзном гадио габотает жугналист Шугик Могковкин». В школе дети дразнили его Картавым, он переживал, ну, а когда вырос и прочитал «Войну и мир» Толстого, то внушил себе, что это не дефект, а достоинство, и называется оно не картавостью, но аристократическим грассированием. Он даже подумал: «Был бы я великим гусским писателем, взял бы псевдоним: “Гаф Гостов”».

И вот однажды ему пришло в голову: а почему бы и в самом деле не копнуть свои генеалогические корни? А вдруг?.. А вдруг, и правда, он ведет свою родословную от какого-нибудь князя или графа? В Советском Союзе это, конечно, тоже считалось дефектом и еще почище картавости, но все-таки времена стали более диэтическими, а перспектива оказаться в общем кругу с Оболенскими, Голицынами, Юсуповыми воображению Шурика, честно сказать, льстила. А вдруг он, и правда, тайный аристократ?.. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, Морковкин навестил своего приятеля историка Кузьму. Кузьма

имел доступ к закрытым архивам и подрабатывал у частных лиц на раскапывании их генеалогических корней.

Тощий, как слега, а ростом под баскетбольное кольцо, Кузьма ходил дома босиком по толстым коврам, которые лежали повсюду.

— Ну, что, Морковкин, друг-брат, какие проблемы?

— Можешь мне постгоить генеалогическое дгево? Или, если тгудно, хотя бы когень отыскать?

Кузьма остановился в задумчивости у письменного стола и неожиданно поставил на него правую ступню. Как ладонь положил. При его росте это ему ничего не стоило.

— А тебе срочно? Я сейчас двум генералам строю. Когда закончу, смогу. Древо не обещаю, а корень поищу. Только имей в виду: архивы закрытые. Мое имя не должно нигде фигурировать. Я проведу все изыскания, а в итоге ты получишь краткую справку. Но, пожалуйста, нигде ее не афишируй. Идет?

— Идет.

Кузьма снял ступню со стола, проводил Морковкина по коврам, добытым распродажей генеалогических роц, и друг-брат отправился на радио.

Долго ли, коротко ли, получает Шурик задание: ёмко изложить радостное для всей страны событие — спуск на воду нового рефрижератора повышенной хладопроизводительности и сумасшедшего водоизмещения. Читать будет Левитан.

Шурик засучил рукава и набросал писулю, наполненную раскатистыми «Р»: в расчете на Левитана.

«В Николаеве сошел со стапелей гигантский рефрижератор водоизмещением более всех рефрижераторов Англии и Франции вместе взятых. Николаевских корабелов сердечно поздравил Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. По его персональному распоряжению просьба судостроителей удовлетворена: гиганту советского рефрижероторостроения присвоено имя простого рабочего, передовика производства Аристарха Раппопорта.

Сплавляйся по рекам, борозди просторы морей, красавец-рефрижератор “Аристарх Раппопорт”!»

* * *

Вечером звонит телефон. Шурик решил, что это Кузьма с доброй вестью.

— Алло!

— Морковкина можно?

— Он у телефона. (Шурик по телефону всегда называл себя несколько отчужденно в третьем лице: на *я*, а *он*).

— Это Лапин.

(А товарищ Лапин был тогда командиром всего советского эфира.)

— Шурик, ты на ногах?

— На ногах.

— Тогда сядь... Сел?

— Сел.

— Юрий Борисыч охрип. Читать не может.

Шурик (бодро): А Феликс?

— У Феликса свадьба.

Шурик (с тревогой): А Высоцкая?

— Высоцкая в Симеизе.

Шурик (с последней надеждой): А Лекарев Валерий Петрович?..

— У Лекарева генеральная репетиция в театре Ермоловой.

Шурик (развязно): Ну, и что?

— А то, что, кроме тебя, читать некому.

Шурик (с вызовом): Шутки?

— Тут шутки плохи. Текст политически важный, ёмкий. В нем грамотно акцентируется роль товарища Хрущева. Отражено внимание высшего руководства к простым работягам. Нигде в мире нет корабля, названного именем обыкновенного рабочего. Ты — молодец! Но выпускать тебя в эфир с твоим дворянским грассированием я не могу. У тебя же текст гремит и грохочет, как крейсер «Варяг». Кругом буквы «Р». Чего стоит одно «рефрижероторостроение»... Я этих «Р» в твоём тексте за полсотни насчитал и сбился.

Шурик (сочувственно): Понимаю... Что же делать?

— Перепиши всё без буквы «Р».

Шурик (*поперхнувшись*): Легко сказать...

— Завтра в 9.00 ты в прямом эфире. Действуй!

И назавтра в 9.00 вся страна услышала чистейшую речь предполагаемого аристократа.

«В Николаеве сошел со стапелей гигантский плавучий холодильник водоизмещением более всех плавучих холодильников Англии и ее визави по Ла-Маншу вместе взятых. Москва салютует умельцам из Николаева! Глава Советского Союза лично откликнулся на инициативу заслуженного коллектива дать спущенному на воду гиганту имя обыкновенного человека, но человека достойного такой славы. Любой из наших слушателей легко отгадает его имя, если соединит маленькой буквой «о» обозначение известной писательской ассоциации 20-х годов с синонимом к слову «гавань».

Заходи в заливы и лагуны, пень пучину океана, новый флагман советского флота плавучих холодильников!»

* * *

Вечером звонит телефон. Шурик подумал, что это Лапин. «Сейчас как проишет пугген и за “пень-пучину”, и за то, что с Гаппопотом не спгавился (“Ну, ты, пагень, и даешь! В пгямом эфиге шагады загадываешь...”»). А попгобуй спгавься... Где синоним к слову “Гаппопот”? Может вы знаете, Сеггей Геоггиевич?»

Но это звонил Кузьма.

— Эй, на «Раппопорте»! Почту проверяли?

— Нет.

— Проверьте.

Письмо:

«Уважаемый товарищ Морковкин!

Наши поиски привели к убедительному выводу, что корнем Вашего генеалогического древа является Ваш прадед — крестьянин деревни Коровьи Лепёшки Дорофей по прозвищу Картавий».

Шурик не подвел Кузьму. Содержание письма он никому не стал афишировать.

ЛЕНЬ
(Разговор во времени)

Участвуют:
Рихтер, пианист;
Дорлиак, его жена, певица;
Фрау Эльза, учительница немецкого

Фрау Эльза

Дети! Я всегда знала, что вы лентяи. Все. Без исключения. Но такого лодыря, как Рихтер, встречаю впервые. Таких еще свет не видывал. Берите пример с Рихтера, если хотите остаться на обочине жизни.

Дорлиак

Нет, вы послушайте! Что она говорит?

Рихтер

А что такого? Правильно. Я школу ненавидел всей душой и не занимался. Она правду говорит.

Дорлиак

Ты еще скажи, что и к выступлениям не готовился...

Рихтер

Почему? К выступлениям готовился. Но в меру.

Дорлиак

Поясняю, чтобы людям было ясно: твоя мера работы за инструментом — двенадцать часов в день.

Рихтер

Чушь. Полная чушь. Никогда я по двенадцать часов не играл.

Дорлиак

А по сколько?

Рихтер

Ну... Часа три...

Фрау Эльза

Вы слышали, дети? У всех тружеников, и в Германии и в Советском Союзе рабочий день — восемь часов, а Рихтер сам признался, что больше трех часов никогда не работал. Верно, я говорила, что лень вперед него родилась. Три часа в день — позор!

Дорлиак

Три часа?! А когда ты разучивал сонату Прокофьева?

Рихтер

Ну, это один раз. Ее надо было быстро выучить. К тому же он мне ее посвятил. Неудобно...

Дорлиак

А помнишь, как ты после сольных концертов, когда слушатели уходили, возвращался на сцену и в пустом Большом зале консерватории репетировал всю ночь до утра?

Рихтер

Я готовил новую программу, а Большой зал мне давали только под концерты. И то не всегда. Это была счастливая возможность. А так?.. Что я сумасшедший, по столько заниматься? Я — нормальный. Совершенно нормальный.

Фрау Эльза

Так... Дети, вы поняли? Просто он воспользовался тем, что ему достался Большой зал консерватории с прекрасной акустикой и чудесным роялем, а то бы так и гонял лодыря, как в школе.

Дорлиак

А вспомни свою поездку по Сибири? Как ты к ней готовился!

Рихтер

Ничего такого. Просто после Японии я почувствовал себя не в форме. Я всего лишь форму восстанавливал, не более того. Не понимаю, почему в сибирской деревне я должен играть спустя рукава, хуже, чем в Токио? Что — в деревне люди другие? Они тоже достойны уважения.

Фрау Эльза

Вот именно — достойны уважения, потому что труженики; потому что не отлынивают от занятий, как некоторые...

Дорлиак

Отлынивают?.. Это когда Слава допоздна разучивал Тройной концерт Бетховена с Ойстрахом и Ростроповичем?

Рихтер

Ну, уж этот аргумент совсем некорректный. Как я мог подвести таких музыкантов? Они репетируют, а я что? Скажу: «Извините, пожалуйста, мне спать пора»? Я невольно... вынужден был...

Фрау Эльза

Если бы не обстоятельства, я уверена, что Святослав продолжал бы бездельничать за милую душу. Но когда слева профессор Ойстрах, а справа профессор Ростропович, сидеть сложа руки на клавиатуре и не ударять пальцем о палец было бы уже слишком... Чтобы приохотить Рихтера к труду, Советской власти пришлось нанять ему двух репетиторов — и каких!..

Дорлиак

Но ты же и один, не в ансамбле, непрерывно, — перед Америкой, кажется, — разучивал сонаты Бетховена...

Рихтер

Правильно. А как ты хочешь запомнить наизусть столько музыки? У меня что — какая-нибудь там особенная память? Хорошая,

но обычная. Или я не боюсь что-то перепутать, сбиться, сфальшивить? Боюсь, как огня! Выходить на публику с недоученными сочинениями я никогда не мог. А тут — Бетховен...

Дорлиак

Не мог.

Рихтер

Мне было стыдно.

Дорлиак

Перед кем? Перед собой или перед публикой?

Рихтер

Перед Бетховеном.

Фрау Эльза

Так... Кто-нибудь в классе, кроме Рихтера, слышал о Бетховене? Ну, что же вы притихли? Кто это такой, знаете? Конечно, нет. Я и не сомневалась. Это великий немецкий композитор. Музыка его бессмертна, но сам он жил в конце XVIII-го века и давно умер. Кому-нибудь из вас было когда-нибудь стыдно перед своим прадедушкой? Прекратите смех! Хотя это, действительно, смешно... На какие только хитрости ни приходится пускаться Рихтеру, чтобы хоть как-то преодолеть свою праздность!

КОРОЛЬ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ

Т. Ф. Андросенко

1

- Аня, помоги мне одеться. Рубашку подай белую.
- Пожалуйста.
- Где там рукав?
- Вот, вот он... Просовывайте.

— Нет у тебя сноровки никакой. «Просовывайте...» Хоть бы на ком потренировалась. Теперь — фрак. Да не этот, а тот, который с орденами.

— Михал Семеныч, сколько же у вас орденов Ленина?

— Посчитай.

— Раз, два... четыре.

— А почему третий пропустила? У меня каждый на счету. Думаешь, легко их было добывать? Эх, чему вас только учат в комсомоле? Не можете нормально ордена пересчитывать.

Нет, неудобно... Как-то тесно. Снимаем фрак, снимаем рубашку, снимаем майку.

— Что же — на голое тело?

— А чем тебе не нравится мое голое тело?

— Мне? Всем нравится.

— Я польщен. Давай белую «бабочку». Видишь, прорезь в воротничке? Продень. Продела? Да не перекручивай ты!. Что-то «бабочка» сидит криво, не находишь? И крылышки свесила. А должны торчать! Как у молодой. Подтяни.

Сердце красавицы склонно к измене
И к перемене...

Ну, что ты застыла, как будто первый раз видишь певца?

...как ветер мая.

— А «звездочку» золотую наденете?

— Хватит. А то буду, как ёлка.

— Тогда и ордена заменили бы планками.

— Планки — ерунда. Мало кто знает, какая награда какой планке отвечает. Сам орден весомей и всё понятно. Давай штиблеты. Вон — ложка. Помогай, помогай... Левая, правая. Так. Одет, обут.

Шарф — королю оперной сцены!

Что-то зеркало у нас мутновато стало. Старое венецианское стекло. Всем хорошо, одна беда: со временем тускнеет. Не выдерживает света дольше трехсот лет. Слезает амальгама. Надо Марфе Федосьевне наказать: пусть хоть пыль обмахнет.

— День и ночь роняет сердце ласку,
 День и ночь кружится...

Кха, кхе-кхе... Еще не распелся. Ничего, распоюсь. Не это меня сейчас гнетет. Как-то шарф не так обвился, согласна? Мне его когда-то поклонница из Эдинбурга привозила. Шотландский... И шею шерстит... Куплен на улице под названием «Королевская миля». У продавца, который всю жизнь мечтал побывать в Ленинграде. Представляешь? Я всю жизнь об Эдинбурге мечтаю, а он о Ленинграде...

День и ночь кружится голова.
 День и ночь восторженной сказкой
 Мне звучат слова твои...

— «Твои слова».

— А я что пою?

— «Слова твои».

— Не может быть!.. Меня вот что не устраивает: как шарф сидит — это да!

— Хорошо сидит, хорошо... Нас время поджимает. Машина ждет. Пожалуйста, побыстрей, если можно.

— Вот именно: «если можно». А если — нельзя?.. Молодежь! Всё в спешке. А кто из вас готов продержаться на одном дыхании две минуты ми третьей октавы (крещендо — диминуэндо¹) и выдохнуть только за кулисами? Я уже не говорю, кто это ми вообще может взять... Из мировых теноров.

— Идемте же...

— Не торопись. Я еще не помолился.

«...Иже еси на небесех! Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя...» Пальто в прихожей. Сними с плечиков. «...якоже и мы оставляем...» А шляпа на полке. Достань, только аккуратно, не помни. «...но избави нас от лукаваго».

Присядем на дорожку.

¹ Нарастание и угасание звука, *итал.*

- Вы что — устали?
- Почему ты спросила?
- Присесть захотели.
- Традицию соблюдать надо, а то пути не будет.
- Идемте?
- Обожди. Дай углы перекрещу. А ты пока выбери ключ из

связки.

- Какой? Их тут пять.
- Самый подходящий.
- А вы не подскажите?
- Нет. У нас Марфа Федосьевна двери запирает. Лифт вызвала?
- Вызвала.
- Что-то долго едет...
- Входите, пожалуйста.
- Ты — первая входи. Нажимай.
- Я у вас прямо как солдатик: сними-достань, входи-нажимай.
- Тише!.. Лязгнуло... Слышала?
- Где?
- Между третьим и вторым.
- Не слышала.
- А я слышал.
- Ну, и что? Не застряли же.
- Тебе «ну, и что?», а мне брать ми третьей октавы. А если голос сорвется? Петуха дам...
- Почему же он сорвется?
- Потому что... лязгнуло.
- А если черную кошку встретим?
- Тогда не поеду. Ни за что. Хоть озолоти.
- Вы с шофером сядете или сзади?
- «Вопрос». Конечно, сзади.

Аня (шоферу). Будьте добры, в Кремль, к Тринадцатому подъезду.

Михал Семёныч. К Тринадцатому? Даже не думай. Чертова дюжина.

- Но у нас пропускá в Тринадцатый. Через другие не пустят.

— А при чем тут пропуска? Разве меня начальство не будет встречать?

— Вы не представляете, в какой оно запарке. На нем весь концерт висит. Съезда партии. В Правительственной ложе — всё Политбюро.

— А кто выступает, кроме меня?

— Ансамбль Моисеева, «Березка», цирк, цыгане, «Флуераш», балет Большого театра, Детский хор, с которым вы поете...

— А я, между прочим, Народный Артист Советского Союза! Каждое слово с большой буквы. Прошу учесть. Меня вся страна в лицо знала, а тут через Тринадцатый подъезд по пропуску в толпе балетных?.. Никуда я не поеду. Товарищ водитель, разворачивайтесь.

— Михал Семёныч! Я же за вас головой отвечаю.

— Головой, а ничего не смыслишь. Всё спехом. Лишь бы успеть. Ты знаешь, как я в Кремль въезжал? На белом «ЗИМе». Через Спасские ворота. Мне часовые честь отдавали! Ко мне Сам навстречу выходил. Обнимет, похлопает по спине, возьмет под руку, лично ведет. Я ему как-то говорю: вы слышали, говорю, меня итальянцы провозгласили королем оперной сцены. Первым тенором в мире. Номер один! (А не «тринадцать»).

Он. Знаем, ценим, любим.

— А я до сих пор за границей нигде не бывал. Отпустили бы хоть разок на гастроли...

— А куда?

— Мечтаю в Эдинбург.

— Ох, озорники! Всех вас тянет к капиталистам. А если сбежишь?

— Да что вы! Мне мое родное село на Днепре дороже любой заграницы.

— Молодец! Вот и поезжай в родное село.

Михал Семёныч (Ане). Так то — кто! А здесь — эти... Встретить не могут. Они, видите ли, заняты. У них дел неупротор... Анечка, ты когда станешь начальницей, сама всех артистов встречай на пороге у Центрального подъезда.

2

— Сколько времени осталось до концерта?
 — Он уже идет. Мы припозднились.
 — А сколько до моего выхода?
 — Полчаса.
 — Как полчаса? Мне же распеться надо.
 — Артистическая в вашем распоряжении. Располагайтесь, распевайтесь. Ой, извините, меня по рации вызывают. Это режиссер концерта.

(Режиссеру). Слушаю... Да, приехали. Уже распеваются.

(Михал Семёнычу). Пойте что-нибудь.

Тот. Только раз бывают в жизни встречи.

Только...

Чтоб я еще раз взял тебя в сопровождающие!..

— Семён Михалыч...
 — Это Буденный — Семён Михалыч! А я — Михал Семёныч.
 — Простите, у меня уже голова кругом идет. Михал Семёныч, режиссер велел через тринадцать минут приготовиться к выходу.

— Опять через «тринадцать»?

— Ну, через четырнадцать.

— Мне на распевание требуется сорок минут. Так и передай.

(Режиссеру). Они на распевание просят минут... хотя бы двадцать...

(Треск в рации)

(Михал Семёнычу). Никак не получается. Вы идете сразу за выступлением юных пожарников, а они уже за кулисами.

— Они за кулисами, а ты сырое яйцо мне приготовила?

— Откуда сырое яйцо?.. Вы не просили. О яйце ни звука не было, честное слово!

— Хе... Правильно. Чего ты так перепугалась? О яйце я сам позаботился. Не стал тебя обременять. Надо горло смочить. Смотри, какой желток яркий. Твое здоровье!

— Спасибо. Ну, вы пока тут распевайтесь. По быстренькому... А я проверю, что там за сценой делается, где нам встать. Только вы будьте здесь, никуда не уходите, слышите? Здесь и больше нигде.

Михал Семёныч. Чому ж я не сокіл,

Чому...

Кха-кхе-кхо...

Я встретил вас и всё былое...

Аня. Идемте за кулисы. Пора. Не споткнитесь, осторожненько...
Здесь стоим.

— Что там за шум на сцене? Ну-ка, выгляни.

— Это пожарники выехали на маленьких машинках.

— И что делают?

— Гоняют.

— А что так хлопает?

— Моторы хлопают.

— Кстати, а где шампанское?

— Какое шампанское?

— Брют. Разве ты не знаешь? У певца перед выходом на сцену должна под ногой стоять бутылка шампанского. Пока он ее носком не подвинет, выходить нельзя.

— Ми-хал Се-мё-ныч! Вы из меня всю душу вынули! Ну, где я вам сейчас найду бутылку шампанского?

— Радируй режиссеру. Пусть сбегает в Верхний буфет.

— Он для нас и так уже приличных слов не находит. Пожарники уехали. Выдвигайтесь.

— А это что?

— Что?

— Откуда пыль над сценой? И дым какой-то сизый...

— Наверно, от машинок.

— Издеваешься? Чтобы я пел в такой пылище и в таком смраде?!

— Сейчас развеются... Детский хор уже на месте. И хормейстер. Вас объявляют. Выходите.

— Не пойду.

— Я вас умоляю!

— Не пойду. В такую пыль...

Ну, знаешь... Меня еще никто в спину на сцену не выталкивал...
(*Оживление в зале, аплодисменты. Тишина*)

Спи, моя радость, усни.
В доме погасли огни...

Режиссер (по рации). Как только он «Колыбельную» отпоет, сразу уводи его. Мы уже и так затянули. Леонид Ильич дважды на часы смотрел.

(Долгие аплодисменты, крики «Браво!»)

Режиссер. Почему он со сцены не уходит?

Аня. Не знаю. Наверно, хочет дальше петь. Его же просят.

— Мало ли что просят? Он нам сбивает весь график, мы и так выбились. Немедленно уברי его со сцены!

— Как же я его уберу? Он на сцене, а я за кулисами.

— Ну, вымани как-нибудь знаками...

— Да он на меня и не смотрит. Сперва выходить не хотел, а теперь никак не уйдет. Распелся...

Михал Семёныч. Чорні брови, каріє очі

Тёмны як нічка, ясны як дэнь...

(Треск по рации)

(В зале бурные аплодисменты)

Михал Семёныч. День и ночь роняет сердце ласку,

День и ночь кружится голова...

(Непрерывный треск по рации)

(Овация в зале)

3

— Снова лязгнуло... Услышала? Между вторым и третьим.

— Но ничего же плохого не случилось. Как вас принимали! И пели вы, конечно, великолепно. Только дольше, чем договаривались.

— Не «только дольше», а «по счастью дольше». Открывай. Ключ запомнила?

— Запомнила.

— Можешь сделать себе дубликат и меня навещать.

— Спасибо, мне бы сегодняшний день пережить.

— Ну, а как я выглядел?

— Я на вас смотрела под углом и сзади.

- Ну, а как я выглядел под углом и сзади?
- Бесподобно.
- Восемьдесят девять дашь?
- Под углом и сзади?..
- Раздень меня.
- Извините, Михал Семёныч, одеться я вам помогла, а уж раздевайтесь, пожалуйста, сами. Я пошла. Отпускаете?
- Ни в коем случае.

Только раз в осенний тихий вечер...

Куда это ты пошла интересно?

Мне так хочется любить.

Я тебя еще не пропесочил за то, что ты меня на сцену выпихнула.

- У меня не было другого выхода. Простите, ради бога.
- Поднимемся на антресоль? Тогда прощу.
- А что там?
- Там у меня опочиваленка.
- Михал Семёныч, вам же девяносто восемь лет!
- Не девяносто восемь, а восемьдесят девять. Не прибавляй, пожалуйста. Я еще о-го-го! Покажу тебе редкие фотографии...
- Здесь покажите.
- Они по стенам развешаны.
- Не могу. Мне домой пора.
- Успеешь.
- Нет, пора... Вон и в дверь звонят.
- Это Марфа Федосьевна. Другого времени не нашла. Пойди открой. Когда у нас ожидается следующий съезд партии?
- Через четыре года.
- Мать честная! А нельзя пораньше?..

КЛЮЧ ЗАКУСЫВАЕТ

Н. Н. Беккауеру

Коляныч сидит посреди мастерской у верстака, словно у рояля, на вращающейся под ним засаленной круглой табуретке, густо — до посинения — окуриваясь клубами «Беломора». Эти народные папиросы пятого класса с красными прожилками водных артерий на пачке, как лопнувшие сосудики в глазу, он потребляет, почитай, полвека и никогда не предпочтет им никакое «Marlboro». Причем удерживает папироску Коляныч не между средним и указательным пальцами, чтобы время от времени перехватывать большим, стряхивая пепел специально отрошенным для этого указательным ногтем. Такое курение он презирает, как всякое *буржуйство*. Нет, Коляныч держит огонь прикровенно, по-солдатски: в кулаке, чуть высунув лишь серый картонный ободок папиросной гильзы. Сделав затяжку — вытянув из кулака теплый, горьковатый дымок, он деликатно косоротится, выпуская струю по щеке, как седой подусник, чтобы не выдыхать на меня некурящего, присевшего напротив.

— Плохо! — говорит Коляныч.

— Что — плохо?

— Все — плохо, — и, оттолкнувшись носком от пола, кружась, съезжает по винту вниз. — Здоровье ни к черту! Сделал компьютерную диагностику. Там такая система: если черный квадратик на мониторе выскочит — хана. Атрофировано. Если светлый треугольник вершинкой книзу — так-сяк; если вершинкой вверх, ну, тогда еще куда ни шло... А у меня на спине кругом одни квадратики. Надорвал. Есть вопросы? Правильно, спина болит.

— Раз болит, значит, не атрофирована.

— Ох, кто ее батька знает... И в мозгах квадратики нашли, и бронхи барахлят, и грудь сипит.

— Ну, и что? Теперь от бронхов врачи «Беломор» прописывают?

— Про «Беломор» я уж молчу. С пятого класса курю. Поди, брось...

— А еще что плохого?

— А еще?.. Начальник приходил. «Больно ты, — говорит, — у нас тут вольготно раскинулся. Жируешь. Надо тебя уплотнить!» Теперь жди, что хапнет пол-помещения торгашам в аренду. Или я неправ?

Коляныч втыкает очередную «беломорину» в широкую щель между оставшимися в живых зубами, приглаживает пятерней взъерошенные воробьиные перышки на затылке, поджигает табак и вдруг расплывается в улыбке:

— Слышал про тифлисское метро?

— Нет.

— Мой Малыш в газете читал. Сейчас расскажу. Интересно.

Курильщик делает глубокую затяжку и уже не просто косоротится, но отворачивает голову в сторону, выдувая дым на полку со сверлами — им-то что? — вдобавок разгоняя облако свободной рукой. Оживляясь, он раскручивается вместе с табуреткой по винту вверх.

— Слушай. В Тифлисе на станции народу собралась — туча! А поездов нет. Пассажиры стоят, ждут. Куда деваться? Ехать-то всем надо... Вдруг музыка заиграла. Знаешь, эти дудки восточные? Заунывные?.. И барабан.

— Где заиграла?

— В туннеле.

— И что?

— А то, что вместо поезда вылезает из туннеля голова верблюда. А за ним — целый караван. Девять штук гуськом. Под коврами. И караванщики на горбах качаются с дудками своими. — Коляныч машинально сдувает пепел, осыпавшийся на рукав замасленного синего халата. — Короче, медленно прошествовали по путям вдоль платформы.

— А как же ток?

— Откуда чего я знаю?.. Значит, отключили. Там же — одни грузины. Слушай дальше. Платформа высокая. Правильно? Верблюды, получается, вниз утоплены. Хоть у них и ноги длинные. Горбы прямо под рукой плывут. Соображаешь? Садись — не хочу. Есть вопросы?

- Ну, и сел кто-нибудь?
- Ни один грузин не сел. Ни один!
- Испугались?
- Оцепенели! Неожиданность... Все же поезда ждали.
- А дальше что?
- А дальше — что? Прошел караван и скрылся в туннеле.

Из одной трубы вышел, в другую вошел. Ты что-нибудь понимаешь?

— Чудеса! Но чудеса — это твоя тематика... А на какой станции?

— Не помню. Надо Малыша спросить. А ты что — тифлисское метро знаешь?

— Да нет... Это я по инерции. Как он — твой Малыш? Не женился?

— А черт его батька знает..., — махнув рукой, словно бы и не о себе, а о каком-то постороннем «батьке», отозвался Коляныч. — Ну, а у тебя-то что слышно?

— А у меня все ничего. Только вот ключ закусывает. Один чисто проворачивается, а другой, который по нему же выточен, закусывает.

— Привез? Дай пощупаю.

Достаю замок и два ключа: старый — хороший и новый — заедающий.

Коляныч, покачивая, гасит окурок в плексигласовой пепельнице, подкручивается с табуреткой пониже, поудобнее, поправляет на переносице выдавшие виды очки с мутными стеклами и дужкой, притороченной суровой ниткой; пробует старый ключ. Доволен.

— Как часы!

Берет новый.

— Да... Закусывает.

Проворачивает еще. Толстый язык замка вылезает, словно верблюжья голова из туннеля, но только до половины. И прочно заклинивает.

Коляныч пошатывает ключ в скважине. Щупает. Силится. Отпускает. Снова шатает. Нашупал. Язык прячется в замке.

— Я жене всегда легкий ключ даю. Женщине трудно с замком справляться.

Идет к верстаку, снимает с полки плоску машинного масла, обмакивает в нее оба ключа и опять крутит. Старый и с маслом ходит, как по маслу, и без масла, как по маслу. А новый и с маслом закусывает, размазывая каплю по бородке.

Тогда Коляныч соединяет ключи, пристально всматриваясь в совпадение бородок. Замечает, что новый ключик чуть длиннее старого.

Подходит к этажерке с инструментами, аккуратно выуживает из-под гвоздей ручные тисочки и, зажав в них новый ключ, направляется к точильному станку. Начинается главное действие.

Коляныч выбрасывает из головы все черные квадратики, начальников, восточные караваны и сосредотачивается на ключе. При этом лоб мастера собирается в гармошку, а утроба затевает сладкое урчанье. Неотложность задания, его конкретность, предчувствие удачи пробирают Коляныча до самого нутра. Бьюсь об заклад, что сейчас он испытывает неведомое бездельникам, но так хорошо знакомое работягам чувство сладости любимого дела. Движения его становятся осторожными, вкрадчивыми, мягкими, как у пумы.

Он включает точило. Гремя, сотрясая опору, круглый камень набирает обороты. Ловким, отточенным движением, достойным пианиста-виртуоза, слегка оттопырив локти, Коляныч прикасается краешком ключа к белому кремню и тут же отдергивает руки, осыпанные гроздью алых искр.

Снова сравнивает ключи. Новый вращается в замке легче, но все еще не вполне свободно.

Урчание нарастает. Очки съезжают на кончик носа. Губы шевелятся. Глаза щурятся.

Коляныч достает из халата шестикратную лупу, протирает толстое стекло грязной полкой и наводит оптику на бородки сличаемых ключей.

— Видимо, у нее станок бьет. Или небрежная... — отзывается он об изготовительнице нового ключа.

На самом деле ключ в переходе у Мясницкой вытачивала не она, а он — молодой болтун-«качок» в коже и молниях, попутно

ключу развлекавший подружку, втиснутую в лавчонку посреди блестящих замков: врезных, накладных, амбарных, — и гигантского демонстрационного ключа Mul-T-Lock.

«Качок» пытался воодушевить девушку перспективами на ближайший вечер, но та зевала и помалкивала, словно давно раскусила всю эту лавочку с ее центральным, хоть и нигде не начертанным лозунгом: *«Заточка ляс производится круглосуточно»*. А, может, лишь делала вид, что раскусила, а на самом деле только и ждала, когда же ее Жоржик с грохотом скинет на пол гофрированную ставню, и они подхватятся по своим главным делам.

Но в голове у Коляныча ключ почему-то сочетался именно с женщиной, а никак не с парнем.

— Ты зря к ней пошел! Ей все до лампочки. У ней мысли не о том, кое-как сляпала и ладно. А ты мучайся. Или дочка твоя.

Видно, что в отличие от точильщика в переходе, для Коляныча точно выточить ключ — дело чести. Это — его тема, а в своей тематике он ошибиться или небрежничать не может. Новый ключ уже вертится, командуя языком замка то влево, то вправо. Но Коляныч чувствует, что вертится ключ не идеально. Возможна заминка в самый неподходящий момент, когда надо будет срочно попасть в дом или выйти из дому, а ключ застрянет... Есть еще там какая-то зазубринка, мелкая шероховатость, и не быть Колянычу Колянычем, если он ее не устранил!

В руках у него — надфиль. Он подтачивает зубчик нового ключа, как ювелир, складывая губы трубочкой, сдувая с латунной горбинки тонкую металлическую пыльцу. Он умильно урчит, отклоняется от ключа, снова прикивает к нему, изучая в лупу мельчайшие различия старой и новой бородок. Наконец, берет миниатюрный молоточек и, по пословице, семь раз примерившись к одному из зубцов новой бородки, коротким взмахом с оттяжкой наносит единственный четкий ударчик по краю, замыкая его звукоподражанием с росписью:

— Чпок! *Коляныч...*

И этот «чпок!» решает дело. Новый ключ становится неотличим от старого: запирает и отпирает замок безо всяких усилий.

— А она разве будет так чикаться? — возвращается Колянч в исходное положение. — Или я неправ?

— Прав. Она — не будет.

Есть ремесло и есть искусство. Бывает, что разница между ними — один-единственный маленький «чпок!». Всего-навсего. Но разница эта огромна: без «чпока» клинит, а с «чпоком» открывает.

СЁДЗО

Г. И. Дистлеру

В Академии наук СССР принимали почетного гостя: иностранного члена Академии, прославленного ученого из Японии, скромнейшего и тишайшего господина Сёдзо. Днем он сделал блестящий доклад на Президиуме, а вечером в его честь устроили банкет в «Метрополе». Гуляли, как водится, за госсчет, то есть со всей широтой русской души. Щупленький японский мэтр сидел в окружении своих полновесных советских коллег, дивился богатству вин и яств, подносимых официантами, а сам маленькими глоточками попивал одно «Боржоми» с оленем, протравленным на стеклянной бутылке. По-русски гость говорил на удивление хорошо, путая только звонкие и глухие согласные. Коллеги умилялись неприхотливости великого ученого, его демократизму, завидной работоспособности. У них рабочий день был восемь часов, а он установил себе двенадцать; им полагался отпуск сорок восемь рабочих дней, ему — четырнадцать; они спали на высоких, раскидистых постелях по крайней мере с женами, он — в одиночестве на узенькой циновке; они могли есть холодную телятину под хреном хоть каждый день, а в его рацион входила клешня омара да горстка риса. Ученый секретарь поинтересовался, на каких курсах господин Сёдзо так хорошо выучился говорить по-русски, сочетая знание жаргона с литературной нормой. И что же выяснилось? В конце Второй мировой солдат императорской армии Асана Сёдзо попал

в русский плен и валил лес в дальневосточных лагерях, пока его за доблестный труд ни репатриировали на родной остров Сикоку. В плену на редкость способная «вражья сила» освоила язык конвоиров, а дома усовершенствовала его до такой степени, что могла читать Пушкина в подлиннике. Но не одним освоением русского языка запомнился академику таежный ГУЛАГ. Здесь через язык и оттенки интонации постигал он загадочную русскую душу. Когда горячая, измученная трудом и трением пила выпадала из его рук, к нему подступал голубоглазый конвоир и, ткнув в бок прикладом автомата, приговаривал то добродушно, то зло; то с презрением, а то и весело:

— Рапотай, рапотай, косорылый!..

Этим воспоминанием академик поделился со своими русскими коллегами. Коллеги заулыбались, однако несколько натянуто, как бы не без неловкости. Им стало, и смешно и стыдно одновременно: и смешно и стыдно. Они могли бы задаться многими вопросами; скажем, вот подконвойного чувствуют в «Метрополе», а где теперь интересно его конвоир?.. Но склонность к таким рефлексиям вообще мало свойственна испытателям природы, тем более на банкете. Их отличает профессиональный оптимизм. Недаром свои журналы они охотно именуют «Успехами...» И все дружно подняли бокалы за гостя.

ПОСРЕДИНЕ ЛЕТА

BEL CANTO ¹

Михалыч — дядька дородный; расширенный книзу, как кувшин, по самое «горлышко» облитый глазурью загара; распуская ремень под обширным «певческим» пузом, выходит, позавтракав, на каменную — наружную — лестницу столовой, оставляя за спиной ложноклассический портик с шестью колоннами.

Лицо Михалыча выражает недовольство. Он переел. И что самое обидное — переел невкусно. Готовят здесь много и гадко. Стараются, а что толку? Официантки мечутся, путая столы и блюда, сгружая тебе с тележки то рассольник вместо борща, то подгорелое молоко вместо водянистого компота с плавающим ломтиком ананаса. Отец за соседним столиком пичкает девчонку этой стряпней и еще возмущается на весь зал, что та ничего не ест. Дитя лучше понимает, что ему дают. «Е-даль-ня!» — по обычаю кратко формулирует отзавтракавший суть заведения.

Однако постепенно его недовольство сменяется веселым недоумением. В некоторой удаленности, прямо напротив Михалыча за круглой клумбой, колосящейся спелыми травами, стоит — он. Он переплел пальцы вокальным замком на груди и в совершенном упоении свежо, звонко, молодо выводит рулады Фигаро, заставляя птичьи трели стыдливо смолкать, растворяясь в листве. По мере приближения к финалу, когда Фигаро уже вволю набегался со своим подносом, певец расходится пуще, пуще, размыкает замок, округляет ладони, словно прижимая к себе накаченный водородом, рвущийся в небо шарик, и, завершая каватину, выпускает его на бесконечно льющейся, головокружительной ноте! Он победно потряхивает кистями, воздевая белоснежные рукава к остолбеневшим березам, к подмосковным синим, почти итальянским небесам, и тянет, тянет

¹ Bel canto (*итал.* — «прекрасное пение») — вокальный стиль, исполненный певучести и красоты звучания.

свое любвеобильное «ля» с такой сладостью и до тех пор, пока оно не лопается, как тот шарик, напорившийся на обломанный сук где-то на самом верху в гуще кроны.

Из кустов сыплются рукоплескания счастливых свидетельниц этого апофеоза. Солист кланяется со сдержанным достоинством.

«Робертино», — решает про себя Михалыч. Так он именует певцов-дилетантов, жизнерадостных энтузиастов, наделенных сильными от природы голосами, начальной музыкальностью и даже подобием художественного вкуса, но голосами не поставленными, музыкальностью школьной, вкусом не развитым. А, главное, чем они достают Михалыча, так это своей «бескорыстной преданностью искусству», готовностью петь любой аудитории и вообще без оной; «вкладывать душу» во что угодно; выступать, где случится: в любом зале, на горе, в овраге, в степи, у реки, за лесом, хоть здесь, посреди клумбы, лишь бы оттиснуть в воздухе трепетную печать своего вдохновения! Это называется у них «дать концерт».

Особенно активны они на отдыхе. Вернувшись восвояси, такая артистическая натура не станет рассказывать домашним, с кем подружилась, где жила, что ела. Эти предметы для солиста слишком будничны. Зато, потрянув головой, он скажет со скромной гордостью: «Дал десять концертов».

Способен ли профессионал к такой самоотдаче? Тем более — на отдыхе, тем более — где придется, без афиш, без аккомпанемента или под старый аккордеон, разлучаясь с ним то в темпе, то в тональностях, смущенно перевирая слова... Причем все это сугубо безвозмездно. Нет, профессионала на такое не подвигнешь! Молчание и безвестность предпочтет он шумному успеху, блеску пансионатной славы. Ублажать народ *любим* способом ему не дано. А люди тянутся к искусству. Как быть? Образуется ниша, которую заполняют самоотверженные «Робертино». Не попав на сценические подмостки, эти «пассионарии» занимают санаторные мостки, актовые залы, дощатые помосты клубов. Жажда первенства, стремление непрерывно демонстрировать свой дар счастливо сочетаются у них с любовью к пению, с искренним желанием доставлять людям посильную радость.

Тем не менее, такого одержимого адепта Михалыч встречал впервые. Он уже слушал его с утра до завтрака, в полдень и на закате... В березовой аллее, у корпуса, на реке... В окружении ценителей и одного, как перст... Репертуар его был беспорядочен и огромен. Народные песни, оперные арии, романсы, арии из оперетт, песни военного времени... Приблизительно верные мелодии, приблизительно правильные стихи. Всё лучшее, всё миллион раз перепетое поколениями голосов — и каких голосов! — и все же поныне требуемое к исполнению. Новизна нужна знатокам, а любители хотят узнаваемого. И по части узнаваемого Робертино незаменим.

Вот он идет навстречу — возбужденный и окрыленный — с двумя поклонницами, отделившимися от романтической сени жасмина. Одна из них не в силах вымолвить ни звука, зато другая не закрывает рта:

— Я потрясена... Мы с подругой... никогда ничего подобного... Вы поете в опере?

— Не совсем... Я пою оперный репертуар. Но не только.

— А что вы кончали? Консерваторию?

— Историко-архивный.

— Ах, как интересно... — с некоторым разочарованием произносит поклонница.

— Но я учился в музыкальной школе, пел в самодеятельности в клубе железнодорожников. Даже выступал в Большом театре. Один раз. На концерте трудовых резервов.

— Трудовых резервов?.. С таким дивным бельканто?

— Ну... бывают и получше... Но я стараюсь петь сердцем. Это и для здоровья полезно. Я — гипертоник, так что — знаете? — после концерта или просто хорошего распевания у меня давление нормализуется. Сто двадцать на восемьдесят, как у космонавта! — Робертино улыбается. Не в пример Михалычу он строен, моложав.

И тут поклонница Робертино замечает Михалыча, стоящего несколько набычась и качающегося с носка на пятку, заложив руки в карманы шорт.

— Простите... Я вас вспомнила, — говорит дама, обращаясь к нему.

— А я вас, к сожалению, нет, — признается Михалыч.
— Еще бы! Ведь я была в партере, а вы на сцене!
— На какой сцене?
— В Колонном зале. На концерте мастеров искусств. Вы пели арию Канио из «Паяцев».

— Это ошибка. Я не пою.
— Как не поете?.. А кто же тогда поет?
— Вот товарищ, — поясняет Михалыч, указывая на Робертино.
— Вы меня разыгрываете, — говорит дама с искоркой кокетства, несколько теряясь между двумя корифеями вокала.
— Ничуть. Я когда-то танцевал...
— У Моисеева?
— Нет, в Ансамбле песни и пляски...
— Советской армии?
— Закавказского военного округа.
— Странно... А мне кажется, я вас слышала.
— Приходите на мой концерт, — приглашает Михалыча Робертино.

— А когда?
— Сегодня. В двадцать часов. Здесь, возле клумбы. Будет аккордеон. Правда, некоторые вещи я бы предпочел спеть а капелла¹... И вы приходите с подругой, — расширяет Робертино свою аудиторию.

— Во сколько вы сказали?
— В двадцать часов. Возле клумбы, — с удовольствием вторяет артист.

Вечером по случаю воскресенья Михалыч выпивает на травке с двумя каменщиками-молдаванами, которые кладут глухой трехметровый забор красного кирпича вдоль проданной части пансионатской земли.

— Что строим? — интересуется Михалыч, разливая напиток.
— Дачу, — отвечает дочерна прожаренный на солнце полуголый и тощий парень.

¹ А капелла (*итал.* «а сарпелла» — «как в капелле») — пение без инструментального сопровождения.

- А кому?
 - Хозяину.
 - Так пусть у вас кирпич не крошится!
- Выпили. Еще налили.

— А зачем ограду в реку окунать? Он что — и Москву-реку прикупил, наниматель ваш?

— Мы не курсе. Тут причал будет. А наверху — хозяйский дом, еще дом для гостей, гаражи...

- Это под них сосны валят?
- Не, под вертолетную площадку.
- Эка!..

В полдевятого Михалыч вспоминает о приглашении на концерт и с сожалением отрывается от теплой компании.

Более или менее твердым шагом подходит он к клумбе. Все скамейки вокруг заняты отдыхающими преклонного возраста. Двое мальчишек в ногах у бабушек играют с пушистой пегой собачкой. Щенок не лает. На краю скамьи сидит аккордеонист, кажется, несколько оглушенный обилием публики, ответственностью музыкального момента. Доброе лицо его замерло в удивлении. Мимика отсутствует. На висках и на затылке тщательно зачесаны остатки седой, пожелтевшей у корней, шевелюры.

Гигантский аккордеон «Royal Standart», — темно-вишневый с перламутровыми прожилками, всей тушей завалил музыканта на ребристую спинку скамейки, не дает ему ни вздохнуть, ни охнуть. Только подушечки пальцев тычут в кнопки, плашмя ложатся на клавиши, да кисти рук, напрягаясь, разводят тяжелые меха. А рядом бледный, взволнованный, извилисто сцепив руки в замок, стоит Робертино. Он допеваает арию Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы»: «Смейся, паяц, над разбитой любовью!..»

Пот течет по лбу певца. Голоса не хватает. Он переходит на речитатив, чтобы сэкономить силы для завершающей ноты. Сбивает темп, заглывает побольше воздуха и, «рыдая», выдает нечто долгое и пронзительное, награждаемое благодарными рукоплесканиями. Теперь все понимают, каким адским трудом достигает большой артист высот своего искусства.

— Извините, что я пою по-русски,— оправдывается Робертино.— Меня итальянскому не учили. Тогда на стажировку в Ла Скалу никто из наших еще не ездил.— И добавляет: — Душно...— промокая пот носовым платком.

— Очень душно! — подхватывает отставной генерал, опирающийся на трость и откинувший прямую ногу на дорожку. По нему видно, что концерт его умилил и растрогал. Он просит, весь подавшись вперед:

— Пожалуйста, спойте «Землянку»!

И безотказный Робертино поет «Землянку», а потом «Очи черные» и «Прощай, любимый город!..», «Я помню чудное мгновенье...» и «Ямщик, не гони лошадей...», «Чернобровую казачку» и «Санта Лючию»... На ура принимается всё; всё пробуждает лучшие чувства; светлеют взоры, смягчаются сердца.

— Надо товарищу дать отдохнуть,— предлагает генерал. А утренняя поклонница говорит, указывая на Михалыча:

— Господа! Вот товарищ тоже хорошо поет...

— Кто?

— Где?

— Просим!

— Выходите, выходите, не стесняйтесь. Вы же артист! — подбадривает она Михалыча, как бывалая массовичка.

— Я не артист,— подтверждает Михалыч прежнюю позицию.

— Спойте!

— Не могу.

— Почему не можете? Зазнаётся? Или боитесь конкуренции не выдержать? Ха-ха-ха...

— Конкуренции боится,— решает дед со слуховым аппаратом.— А чего ее бояться? Пой, и все дела!

И тогда Михалыч спьяну:

— Ау... — качивается, но удерживает равновесие, ...дитория не позволяет.

— Какая ж тебе, мать честная, аудитория нужна, если эта не та?! — вскакивает со скамейки Бабаня.— А, ну, гармонь, сыпь частушки, раз ему аудитория не та!

«Королевский Стандарт» жмет на кнопки и — пошла плясать губерния!

— *Говорят я боевая,
Бойкая боюжина.
Как гармошка заиграет,
Убегу без ужина! —*

вызывает Бабаня деда, приплясывая возле клумбы. Она тянет его за рукав. Он отнекивается, отбрыкивается.

Тогда Бабаня подлетает к Михалычу, мол, петь отказался, так хоть пляши. И Михалыч, топоча, входит в круг, пока Бабаня вьется возле, заглядываясь на аккордеон:

— *Гармонист такой красивый,
Я в него влюбилась.
Кабы стеклянная была,
Упала б и разбилась!..*

И Михалыч в ответ, почти проговаривая:

— *Запевай, моя родная,
Мне не запеваётся.
Навернулся я с платформы
Рот не разевается.*

Бабаня взвизгивает и частит:

— *У меня миленок был,
Его звали Михаил.
Может, видели такого?
Рот разинумши ходил?*

А Михалыч:

— *Как дед бабку
Завернул в тряпку,
Поливал ее водой,
Чтобы стала молодой!*

Робертино и тут не может удержаться. Он и на частушки мастак:

— Пошла плясать
 Бабушка Лукерья,
 На макушке нет волос,
 Навтыкала перья!

Ясно, что бенефициант отдохнул. Он дает знак аккомпаниатору, и начинается второе отделение. Снова вперемежку следуют романсы, ариозо, цыганщина, каватины... Солист отчетливо артикулирует, старательно тянет верхние ноты, «поддает жару» в концовках, но уже как бы пробуксовывает, становится однообразным.

Народ утомлен. Мальчишки дерутся. Щенок лает. На него шикают. «Королевский Стандарт» все чаще промахивается мимо нужной кнопки: без репетиций трудно сразу подладиться то под «Сердце красавицы...», то под «Конфетки, бараночки...» Случается, вокалист запекает в одной тональности, а аккордеон подхватывает в другой... Робертино устал. Голос его подсел. Прорывается хрипотца. Он поет уже без сопровождения, и никак не может кончить.

— Ну, спасибо! Уважили, — говорит, наконец, генерал, ставя точку, спасительную для всех.

— К сожалению, я уже уезжаю, — сообщает Робертино повстававшей с мест публике.

— Когда?

— Завтра.

— Вот жалко! Нам будет очень вас не хватать, — совершенно искренне признается генерал. — Какой голос! И человек хороший, добрый, — обращается он ко всем.

— Да, бывают, конечно, певцы, но такой — редкость, — добавляет аккордеонист, вытягивая из-под музыкальной машины подстеленный на колено вельветовый лоскут.

По дороге к корпусу Робертино догоняет Михалыча. Некоторое время идут молча. Потом Михалыч говорит:

— А насчет того, чтобы петь сердцем, вы не правы. Берегите сердце! Петть вот чем надо, — и он похлопывает себя по животу. — Косной материей. Слушай ухом, а пой брюхом! Тогда с утра

отрепетируете, вечером спектакль оторете, а утром — снова на репетицию. Никакое сердце не выдержит такой режим и никакие связки. А пузу хоть бы что.

* * *

Осенью Робертино слушал «Паяцев» в Большом. Еще раз наслаждался он хороводом гаснущих муз вокруг люстры под потолком, тускнеющей желтизной лож и ярусов, их бархатом, хрустящими программками, позолотой, поглощаемой сумраком театральной ночи, когда во всем пространстве, где только что пиршествовали свет и краски, остаются лишь тлеющие попитры оркестрантов да узкая, дрожащая полоска над дирижерским пультом.

Робертино был поражен певцом, исполнявшим партию Канио. Голос его лился без малейшего принуждения, охватывая весь зал снизу до последних рядов верхнего яруса безупречным *bel canto*, абсолютно совпадавшим с самыми тонкими вибрациями оркестра. А когда, как и вся опера — по-итальянски, взметнулась коронная ария Канио «*Ridi, pagliassio, sull amore infranto!..*»¹ в какое-то мгновение дирижер приостановил оркестр, чтобы голос певца а *capella* длился, длился, многократно умноженный и отраженный несравненным эхом той резной, драгоценной шкатулки, что двести лет услаждает слух меломанов...

В тот вечер Михалыч был особенно в ударе.

ОПУЩЕННЫЙ

Автобусная — рядом с базаром — остановка в подмосковной Истре. Заплеванная, затапанная, шебутная. Чертя круги по площади Урицкого, автобусы подруливают сюда один за другим, набиваются под завязку, а народ у железного навеса все не убывает.

Порецкий — тощий, длинноногий старик со стесанным задом, в заскорузлых от грязи портках, в зловонной пухлой куртке

¹ «Смейся, паяц, над разбитой любовью!..» (Итал.)

с чужого плеча, смётанной из каких-то засаленных пестрых лоскутов, в пляжных шлепанцах на один палец, с пакетами пустых бутылок и кривым посохом подгребает к навесу. Руки у старика заняты, поэтому от мух, летящих на него, как на коровью лепешку, он отмахивается дымно-патлатой гривой. Две безродные шавки облаивают его с остервенением, но напасть не решаются. Причин тоже две: посох не подпускает и боятся за свой нюх — как бы ни отбило.

Порецкий — местная знаменитость, как трагик в провинциальном городке, некогда блиставший на подмостках, переигравший сто ролей, обездоливший четырех жен, размотавший товарищескую кассу и спившийся в темном клоповнике под лестницей, где ни встать, ни разогнуться. Угадает тот, кто скажет, что здесь его знает каждая собака, и у каждой он вызывает невыразимое отвращение густым, насилующим обоняние смрадом, исходящим от него, и внезапными вспышками беспричинной злобы. Когда он появляется на площади имени председателя Петроградского ЧК Моисея Соломоновича Урицкого, каким-то дьявольским магнетизмом и живописностью лохмотий привлекая всеобщее внимание, площадь Урицкого смело можно переименовывать в площадь Порецкого, и это будет не худшим символом смены эпох — их сокрушительных начал.

Сбор бутылок — его «крыша», отвод глаз для проезжих, а здешним хорошо известно, что главная «профессия» бутылочного коллекционера не раз окликалась резким гудком милицейского фургона, чтобы откликнуться захлопнутой дверью камеры. Порецкий — вор. Патологический, мелкий, пожизненный. Когда-то он — красавец и отпетый бабник — пробовал себя в портретном искусстве (его «коньком» была обнаженная натура), но скоро понял, что украсть даровитую чужую картину проще и прибыльней, чем малевать бездарную свою, а «натуру» надо использовать по прямому назначению. Ну, а теперь он «на покое». Его не трогают. Во-первых, потому, что противно приближаться к нему — липкому, пропитанному собственными нечистотами. Во-вторых, брать его бесполезно. Клептомания его неизлечима. В-третьих, он шкодит по мелочам, ни на что

серьезное не способен, ведь он — доходяга, алкаш, опущенный, а все его бузотерство ограничивается надрывом и надсадой «борца за народное дело». Конечно, он портит людям настроение, но еще больше изводит себя самого. Порецкий — типичный самоистребленец. С ним и бабы лихо схватываются в перебранке, чувствуют: ничего он им не сделает. Разве что обворует, ежели vareжку разинут или выпросит чего у тех, кто даст слабину, пожалеет «аристократа», как он любит представлять себя, якобы, потомка никому неведомого «графа Порецкого».

Доковылял. Поставил пакеты на землю. С трудом разогнулся. Выискал свободное местечко на скамье под навесом рядом с тремя едущими на богомолье, одинаково опрятными старушками в белых платочках, в чистеньких, праздничных кофточках ручной вязки. Богомолот тут же как ветром сдуло.

Сел. Поднес два растопыренных пальца к губам, показывая дядьке, отдыхающему поодаль, чтобы дал сигарету. Тот скосил глаз, цедя из горлышка «пепси», поперхнулся и отрицательно покачал головой.

— Курить охота, — сказал Порецкий надтреснутым баритонцем, в котором и впрямь сквозило что-то барское. — Пить-то у меня есть, да я от питья плохо себя чувствую.

— Голова болит? — попробовал осторожно поддержать разговор дядька, испуганный видом подсевшего.

— Да не голова... При чем тут голова? Организм болит. Весь! И есть ничего не могу.

— Желудок? — еще короче справился ожидающий.

— «Желудок...» — мрачно передразнил старик. — При чем тут желудок?.. Поджелудочная железа!

И, заметив в горсти у дядьки цветной пакетик леденцов, протянул руку с загнутым мизинцем, украшенным железным перстнем, туго насаженным на алюминиевое кольцо:

— Дай конфетку!

Дядька дал.

— Еще одну.

Дал еще.

— Ну, и третью — на разговорие. Не обедняешь!

Между тем через площадь, преломившись под тупым углом в поясище, двигалась низенькая фигурка, тыкавшая в асфальт палочкой. Фигурка была обряжена в офицерскую фуражку советского образца с лопнувшим посередине козырьком, вытертый пиджак и сплюсненные, как будто пришкваренные утюгом, галифе, заправленные в высокие, как гетры, носки вместо сапог. На пятках шагавшего ритмично подхлобыстывали галоши фабрики «Скорород».

— Фома! — хорошо поставленным голосом крикнул Порецкий, приветственно вскинув длань, и с убедительностью старого агитатора воскликнул: — Мы придем к победе коммунистического труда! — акцентируя слово «придем».

— Викто́ру! — ответил «скорород», приостановившись, и взял под козырек, вывернув ладонь наружу.

— На кладбище? — поинтересовался Виктор.

— Нет еще, в поликлинику.

— Ну, скажи, кавалерия, а то очередь пропустишь.

— Мой друг, — пояснил Порецкий дядьке. — Мастер — золотые руки. Какие ключи вытачивал! Я ими любой замок мог отпереть... Последние годы на молокозаводе служил. Сторожем. А теперь болеет. Работа извела. Видал? Еле идет.

Мимо навеса к базару спешили два молодых южанина. Они смеялись. От них — свежестриженных — веяло мускулистой радостью и довольством ухажеров, ловко обходивших брачные западни. С большим проворством Порецкий метнулся к ним, держа два растопыренных пальца на губах как знак мужской солидарности. Они прошли, не глядя, но один чуть замедлил шаг и полез в карман. Подобрал посошок, подобострастно пригнувшись, едва ли не виляя хвостом от умиления и преданности, старик запрыгал вдогонку сигарете, но как только выхватил ее, — да не одну, а три кряду, — из подставленной пачки, как только две штуки заложил про запас за уши, а третью закурил — так разогнулся, принял неприступный вид, презрительно сощурился и, обернувшись, с чувством подавляющего превосходства обвел взглядом «челядь»: трех старушек, унесенных порывом гадливости в дальний угол навеса; дядьку, угостившего его леденцами; какую-то бабу с яблоками; еще одну бабу с яйцами в давленных картонках, перевязанных бечевой...

— Ну, вы! Плебеи... — словно говорило в нем все. — Я — наследник графа Порецкого, а вы — кто? В упор вас не вижу! Вы гнушаетесь мною?.. Ха! Это я вами гнушаюсь, холопы! Вот я курю американскую сигарету, в пакете у меня — начатая поллитровка, а дома — еще две. Да вам такое и не снилось! Да вы будете тут сидеть на своих яблоках; грызть паршивые леденцы; ждать автобуса до Второго Пришествия, а когда он — ящер допотопный — приползет сюда, дребезжа всеми стеклами и шлепая спущенной шиной, вы кинетесь кучей в одну щель, давя друг друга, лишь бы занять места, лишь бы усесться и трястись, трястись, трястись по ухабам родного края — до переезда, жарясь на солнце! А там: стоп, машина! Проезд закрыт. «Что?» «Почему?» Едет литерный поезд. Я — еду! VIP-персона! За полчаса до проезда шлагбаум закрыт! Через полчаса после проезда — открыт! Не раньше. А вы сидите и парьтесь в духоте, в теснотище. И не питюкают! Кто питюкал, «иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал». Впрочем, вам ли знать, кто такой Сади-Саади?..

— Идет! — это Порецкий теперь уже крикнул, издали за-приметив легко подкатывавший автобус — просторный, новенький, нарядный, каких и в Москве-то не вот так встретишь.

С известным уже проворством подхватил он свои бутылки и первым влез в салон. Впрочем, соперничать с ним никто и не думал. Все, наоборот, широко расступились, пропуская его, а думали только о том, как бы сесть подальше от «барина». Виктор один развалился на заднем сиденье. Остальные места были быстро разобраны, а те, кому не хватило, предпочли стоять в проходе, лишь бы избежать почетного права тереться о «графский камзол».

При посадке у женщины с яблоками перекосилась сумка, и несколько крепких симиренок, выпав, покатались по полу.

— Ты что уронила? Деньги?! — с быстротой метлы среагировал Порецкий.

— Яблоки.

— Эх, жалко! А я думал — кошелек.

— Вот одно у меня в ногах лежит, — подсказала покупательница яиц.

— Где? — взметнулся отпрыск древнего рода и тут же ужом прокинулся по проходу, ухватил яблочко, но, сдув пылинку, не вернул хозяйке, а сунул себе в карман.

— Да сиди ты, не дергайся! — усадила его молодая кондукторша с такой брезгливостью, как будто ей пришлось отодвинуть ногой парашу.

Автобус поехал, однако старик не высидел и минуты. Он снова был в проходе возле яичных картонок.

— Дай яйцо! — потребовал он так же, как на остановке леденц; тоном, не терпящим возражений.

Хозяйка смутилась и дала.

— Дай второе!

Покраснела. Снова дала.

— Бог Троицу любит, — не отставал Порецкий.

— Хватит. Не дам больше, — ответила потерпевшая.

— Но Бог Троицу любит! — с нажимом в голосе повторил вымогатель.

— Иди. И так хорошо.

— Спасибо, — неожиданно мирно согласился Виктор, может быть, умиловившись мягкостью отказа.

Теперь он подошел к женщине с яблоками, молча показывая два пальца, но на сей раз не на губах, а на симиренке. Та безропотно отдала — лишь бы отвязался.

Собрав «оброк», «барин» уселся на свое место и принялся за трапезу — поздний завтрак аристократа. Он достал перочинный ножичек и — чик-чик-чик! — сноровисто стал навивать яблочное кружевце. Зубы он давно съел и жевать кожуру ему было нечем. Раскручивая симиренский серпантин, рассуждал вслух на весь автобус:

— Правильно говорят: курица не птица, баба не человек. Какая курица птица? Какой у нее полет? Через забор? Тьфу, дура! А баба?.. Но сейчас и мужиков нет. Раньше уж, если был мужик так мужик — кремень! А теперь? Слизни, слякоть какая-то...

— Вот ты и есть такой мужик! — взяла реванш попутчица за весь женский пол и отданные яблоки.

— Я — инвалид! — с гордостью провозгласил Порецкий, как будто самолично наградил себя орденом «За заслуги перед Отечеством I степени».

— Пьяница ты, а не инвалид, — осмелев, добавила вторая потерпевшая.

— Кто это сказал? — грозно насупился Порецкий. — Я спрашиваю: кто сказал?!

— Я сказала, — приняла удар на себя женщина с яблоками. — Допился, нечистая сила! Вон у тебя уже рога за ушами выросли, — кивнула она на сигареты.

— И, правда, прости Господи, как чертик с рожками! — дружно перекрестились богомолки.

— Не ваше дело! — отвечивал Виктор и перегнулся к сидевшему перед ним благолепному старцу, чья гладко расчесанная седая борода и мучнистая белизна кожи делала его похожим на сельского священника, проводящего дни в церковном сумраке, вдали от солнечного света.

— Уважаемый! — обратился Порецкий за подмогой к лицу, которое показалось ему духовным. — Уважаемый, что ж это с православными делается? Продали Россию. Вы вдумайтесь только: Родину... продали! А все Горбач. С него началось. Таковую страну загубили!

— Вот такие и загубили, как ты, — пьяницы, — снова не выдержала яблочная попутчица.

— Не ваше дело! — пробуксовал Порецкий. — Я с уважаемым разговариваю, а не с вами, — и он рассерженно махнул ножичком возле самого уха «уважаемого». Тот почувствовал себя неудобно, но не проронил ни слова, положив до конца вынести этот дорожный крест. — Продали Россию, — разглагольствовал вор, разрезая пополам чужое яблоко. — Да не Горбач продал. При чем тут Горбач? Это все его Раиса. Она! Рая из сарая. Бабы Россию продали! — неожиданно обобщил Порецкий, опять возвращаясь к тем, с кого начал. — Высадить их надо. Всех. Между остановками.

Автобус молчал. Не встретив сопротивления, обвинитель счел излишним для себя развивать тему «торгов», тем более

что виновницы были изобличены, ничего не возразили, значит, признали свою вину, а наказание им уже было запрошено. Осталось, порывшись в пакете, вынуть поллитровку, заткнутую тугим газетным жгутом, откупорить его деснами и сделать глубокий глоток, облившись и выругав шофера, который «нарочно» тряхнул «в самый момент», а до этого катил «как по маслу».

Принятый «градус» при неудачном глотке возбудил в Порецком чувства скорби и горечи.

— А сколько наших ребят полегло? — предложил он уважаемому новую тему для раздумий, а заодно и новое свидетельство своей гражданской боли. Правда, ножик, наконец, вытер о спинку сиденья и сложил, но это разоружение ничуть не убавило его пафоса. Он словно вышел на авансцену, словно раскинул руки, наддал слезу, подавил рыдание и с патетикой лицемера в роли скорбящего и карающего правдолюбца, произнес:

— Сколько их погибло? Молодых... Безвинных... Вспомни, уважаемый. Афганистан! Чечня! Какие потери... И ребят подставили, и страну разорили. Сволочи! Если бы не бабы, вообще бы всем нам хана пришла... — неожиданно изменил свою позицию по отношению к женщинам Порецкий. — Хоть они генералов взяли за эти... как их?..

— Будешь ругаться, высажу, — предупредила кондукторша.

— За яблочки, — уточнил Виктор и возгласил с мрачностью пророка: — А она еще и придет — хана-то!.. Как в Библии сказано, вы помните, благочинный? «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травой обвита голова моя...» И еще обовьется. Грядет второй потоп, и пройдут над нами воды многие!

— Уймись, кликуша! — потребовала кондукторша.

Не обращая на нее никакого внимания, Порецкий продолжал:

— Вы слышали? Американцы разработали электронный пистолет. Шестьдесят тысяч выстрелов в минуту. Тысяч! Ты понял, леденец? — обратился он к дядьке, всю дорогу дремавшему у окна наискосок.

— Брехня, — неожиданно отозвался тот, не раскрывая глаз. — В какой магазин влезет шестьдесят тыщ пуль?

— Эти ироды придумают! Они и без магазина обойдутся. Шестьдесят тысяч выстрелов!.. Вот где оружие массового поражения. Тихой-то сапой... Правильно я говорю, Протопоп Иваныч?

Безглагольный собеседник, — смиренномудрый и седенький, чисто деревенский батюшка, — с легким ужасом покачал головой, то ли соглашаясь с Порецким, то ли оплакивая свою участь: и привел же, дескать, Господь угодить в этот несчастный автобус!.. А что делать? Знать, по неисповедимости Своей за грехи наши послал такое испытание на крепость духа, на великое терпенье...

— Ты чего молчишь, почтенный? Обет молчания, что ли, принял? Ну, молчи, молчи... Может, так до Царствия Небесного домолчишься...

— А уж ты точно до сковородки языком домолотишь! — вмешалась кондукторша. — Иерусалим. Стоянка три минуты.

— Почему так мало? Обычно — шесть, — возмутился вития и, переваливаясь по ступеням, сошел на родную землю, чтобы обшарить посохом станционные урны в поисках стеклянной и жестяной тары. Куртка кучей лежала вместо него. Это он себе «ложу» забронировал, как будто кто-нибудь мог на нее покушаться, а сам гулял между урнами по пояс голый с крестиком на замызганной веревочке.

Казалось бы, при таких разбросах сознания он и куртку забудет, и пакеты, и автобус. Ничего подобного! Ровно через три минуты Виктор взгромоздился на прежнее место, размахивая пустой бутылкой и баночкой из-под баварского пива — своими трофеями. При этом на часы он даже не смотрел, хотя мужская «Слава», прoderнутая узким женским ремешком, и напоминала ему о тщете и краткости земной жизни. «Славу» он удачно подтибрил еще в советские времена, а ее родной латунный браслет у него увели уже в буржуйские. «Жулье!» Пришлось тряхнуть стариной и за неимением лучшего «снять с природы» бабий кожаный ремешок, что ему, как бывшему художнику, было противно в силу очевидного разностилья часов и аксессуара.

— Душно мне. Духотища тут у вас... Дышать нечем! — пошел Порецкий по движущемуся автобусу, валясь влево и вправо на

пассажиров и распахивая все форточки подряд. — Сидите в духоте, как кроты, и хоть бы хны вам! А я задыхаюсь в этой атмосфере...

— Сядь на место, кому сказали! — погнала его назад кондукторша. — А то сейчас высажу.

— Не имеешь права. Я — инвалид! — напомнил Виктор, но вернулся к своей куртке и, путаясь в рукавах, долго ее напяливал, прежде чем торжественно подняться с загнутым воротником, освободив себя для новых анафем.

— А я вас всех ни во что не ставлю! — такими словами начал он свое заключительное проклятье. — Вы все — рабы. Когда-то еще Чехов вас учил, Антон Палыч, выдавливать из себя раба... по капле, по капле... Да не впрок наука. А я — свободный человек! Никогда никому не подчинялся и не буду. Я сам себе голова. Что хочу, то и делаю. Я — человек гордый! А у вас нет гордости. Вы все стерпите. Хоть вас оскорби, хоть обворуй, хоть по миру пусти... Христос терпел и вам велел. Стратотерпцы безответные! Да вы — как муравьи. Копошиться, копошиться со своими яйцами, яблоками, леденцами; ползаете друг через дружку. Куча мала! А я — сам по себе. Никто мне не нужен: ни жена, ни дети, ни друзья, ни враги. Не интересуюсь! Был у меня один друг — Фома, мастер золотые руки, но он уже не тот. Еле ходит. Работа извела, труд замордовал. А я лучше буду по помойкам бутылки собирать, но работать на вас не пойду. Велика честь! *Работа* — от слова *раб*. Вы все тут работаете, вот вы все и рабы. И «шеф» — раб, и кондукторша, и ты, уважаемый. А ты что думал — ты свободный? Акафисты читаешь? Панихиды служишь? Да хоть на клиросе поешь! Раз работаешь, значит, раб. А я никогда не работал. Ни одного дня! Голодал — да, это было, но ни на кого спину не гнул. Как Христос учил? Даст Бог день, даст и пищу. Или ты забыл, почтенный? Ты забыл, а я помню. Вот и нашлись для меня яички, нашлись и яблочки... Мир не без добрых людей... А выпить всегда найдется. Это для православных — не проблема. Шеф, тормози, приехали! Счастливо оставаться! Чтоб вам автобус перевернуло...

И он пополз вниз со своими бутылками, цепляя дверь почерневшим посохом, кряхтя и чертыхаясь, весь век повертевшийся

мелким бесом, не угомонившийся и в старости, «на покое»; самоистребившийся почти до конца и при этом распираемый чудовищной гордыней, рвущей изнутри его злосчастную жизнь.

ДУХ ОГНЯ

Поздним вечером посреди мокрого от росы луга — большой шатучий костер. Березовые сучья в мелкой живой листве, скручиваясь и треща, выбрасывают крошащиеся всполохи, расплескивают по сторонам алое пламя. Черная во тьме зелень, сухо шелушась на огне, обращается в ветхие, бисером искр усеянные бабочки пепла, сыплющегося вкось и ввысь; в синевато-рдяные вспышки золотистого пуха, влекомого струйной тягой споро и весело набирающего силу полымя. Как будто вонзилась в потухшие угли цветная Иван-царевичева стрела и вспыхнули они разом, точно раненая в забытии Жар-птица вскинула крылья над застывшим пепелищем сна. Бьется она, трепещет, мечется, пригвожденная к земле, взмахивающая шумными лентами света, опадающая, вновь вскипающая радужной пеною перьев, — словно заклинающая собой лунную зыбь пятнистой хищно лоснящейся ночи.

Дети прыгают через костер. Им страшно. Повадки огня вкрадчивы и неуловимы. Он — шатуч. Он и сам не ведает, куда колыхнется; в какой косе зажжет колючий и твердый рубиновый светлячок; кого ущипнет в пяту; на чью открытую шею накинёт связку смолисто пылающих бус.

Дети прыгают по двое, для храбрости взявшись за руки, стараясь неопалимо пролететь по окраинам костра. Потом, осмелев, разлучаются и мелькают в огне уже в одиночку: девочки — с жутким и радостным визгом, мальчишки — с ухарским гиканьем и разудалым посвистом. Кто — сжавшись в комок, кто — раскинув руки, те — по обочине жара, эти — уже и над самым им — уклончивым опухалом слабеющих Жар-птицыных крыл.

Вторя их плавным изгибам, словно сгребая на себя пышущие угли, маня и привораживая, мягко извиваясь и плотно

обволакиваясь невидимым дымом, как бы струясь и ниспадая, жрица огня, жница жара, безгрешная отроковица колеблется на вольной черте пламени и ночи, на изменчивых и вторгающихся друг в друга клиньях тьмы и света. Кто научил ее этой змеиной грации, этому скольжению по незримому стволу, перевиванию его кольцами тела, смиренно-жадному опаданию к подножью и новому, безотчетно-страстному распрямлению? Не танец ли подстреленной Жар-птицы, в которую вселился дух огня?

С осторожным тихим шорохом хорошо разгорающегося шелка густое хвойное знамя склоняется над костром и вдруг, дружно охватившись острым, стрекочущим зноем, превращает тлеющий танец в дикий вихрь праха, в рваную пляску Огненного дракона, восставшего из пламени во всеоружии двоящихся жал! Это все тот же дух огня, приняв обличье зверя, вырастает над лугом, опавнув собою край неба.

Замирает мотыльковая карусель; как бы споткнувшись, стопорится неустанное круженье. Дракон слишком велик и грозен, чересчур палящ и всеяден. Дети глядят на него, как на могучее, первобытное чудище. Страх сковывает ноги, холодит грудь.

И тогда один, постарше, скинув рубаху и украдкой поцеловав нательный крест, отходит подальше от костра, разбегаются, и, вытянувшись вдоль земли, как былинная стрела, пронизывает полымя насквозь, кубарем катясь по траве уже по ту сторону пекла...

Карусель вновь обретает утраченную было отвагу, прокручиваясь через костер, словно оторопевший от пролета живой стрелы. Только сил у него еще в избытке. Валится и валится в небо бородатое ржавое пламя, так что распадается мелькающее колесо, размыкается темно-красный хоровод. Отныне каждый может прыгнуть лишь единожды. Так повелел дух огня.

Есть тьма до пламени и тьма после пламени. Между ними — жар жизни. Так глаголят нам узко-надрезанные, то стремительно свертывающиеся, то распаивающиеся языки. Кто не сгорает посередине, тот пролетает из тьмы во тьму, пока, изнывая, трещит от зноя зеленый шелк; пока сухо хрустят на костре тяжкие древки священных стягов; пока, свиваясь, стекает на колени

отрешенная отроковица, запрокидываясь над черной травой; пока целующий медь креста не слышит в шуме грядущего ветра: «Спасу и сохраню!»; пока бесчинствует над лугом полный языческой ярости неистовый дух огня.

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ДОЖДЯ

Июль. Сухая пухлая пыль Подмосковья укрыла дорогу, лежащую между двух заборов: «ветхосоветским» с гнилыми лопнувшими штакетинами, болтающимися на гвоздях, и «новорусским» с плотно пригнанными без единой щелочки досками, правда, уже зияющими кое-где округло выдавленными сучками — как будто ограда приоткрыла свои потайные глазки, пока угловой телеглаз наблюдения нацелился сбоку на разлинованную плитками площадку перед воротами.

За старой изгородью — полуразвалившаяся дача, точно вросшая в недра прошлого века, посреди участка — свалка ветоши. Над новой оградой блестит красной черепицей, словно облитая оливковым маслом, картинка-мансарда. А по глухой ограде вкось и вкривь бегут, начертанные мелом, все лозунги, угрозы и призывы, положенные особняку, занявшему угол Трудовой и Пролетарской улиц.

Вот крупно припечатан хозяин новодела:

«ЖБАН РАДИ САЛА РОДИНУ ПРОДАСТ».

Вот наискось:

«Губа + Кириллка, я с вами! Горох».

Вот, теряя буквы, улепетывает под горку вдоль забора местный анархист-матерщинник:

«...ИЗДЫ всем!

...ЗДЫ всем!

... ДЫ всем!»

А ниже — коротко и ясно: «Хочу дождя. Попов».

Но дождей нет. Их души витают где-то поодаль. А здесь — летний зной. Никто не прошнырнет под шершавой штакетиной. Никто не прильнет любопытным оком к смолистому глазку.

Росы высохли. Травы обратились в солому. *Fontes ipsi sitiunt: даже источники жаждут!*

Потому-то любопытство и дремлет, опоенное дневным солнцем. Пернатое — оно клюет голубиным носом на перильце ветхой дачи, готовое от легкого щелчка рухнуть, как рыхлый пакет.

Усатое-полосатое — оно свернулось калачиком под забором новодела, укрывшись опахалом кольчатого хвоста, дыша хорошо прогретым меховым боком и почти не подмурлыкивая во сне.

Рогатое — оно, прилегли в колее, трясет шелковистой прядью бороды; покачивается, как китайский болванчик; и, вращая подбородком, перетирает соломенную жвачку, но и это сверхуна-и-за-мед-лен-ней-ше-е из движений стопорится, и бородач вовсе замирает со скошенной челюстью, как бы в недоумении, не предполагающем никакого развития.

Сторожевое — оно импозантно раскинулось посреди проулка: маленькая, пушистая дамочка с примесью «лайских» кровей и три незамутненных «дворянина» на плитках перед «новорусской» оградой, всем видом своим говорящие случайным прохожим:

— Достопочтенные сеньоры! Где вы там?.. Мы отдыхаем. Нас разморило. А вы заходите, почувствуйте себя, как дома. Снимайте шпаги, разбрасывайте шляпы по клумбам, стаскивайте ботфорты, ложитесь в цветы... Хозяев нет. Они веселятся в Севилье. Они гуляют по Вероне. Они швыряют пригоршнями свои сумасшедшие евро, лакают кокосовое млеко, ныряют с пальм в горячее море, а когда вернутся?.. Да пес их знает! И вернутся ли вообще...

Солнце жжет в одну точку, как луна. Соседская ветошь начинает дымиться...

Собачка, принюхиваясь, аккуратно встает, держа хвост пистолетом, и тщательно отряхивается от пыли. Повинуясь не то чтобы желанию, а скорее чувству долга, пегий «дворянчик» галантно пристраивается сзади, приобняв ее передними лапами, но пока, упражняясь, он не вошел во вкус, она, вильнув, сбрасывает его со спины и снова ложится в пыль.

А по Трудовой улице бредет человек в синем дождевике, в галошах, под черным зонтом с погнутой и стоящей горбом спицей. На углу он сворачивает на Пролетарскую, оставляя в пыли четкие отпечатки пупырчатых подошв. Человек что-то шепчет себе под нос, хмурится, сердится; откидывается вместе с зонтом назад, обращаясь к небесам; выписывает свободной рукою воздушные знаки. Это — Попов, заклинатель дождя. И что бы вы думали? Вечером начинает накрапывать. а потом и моросить.

МОЛИТВА ГРЕШНИКА

¹ Боже мой, не упрекай чрево мое за угождения винопитию и тайноядению.

² Боже Милостивый, не гони раба Своего прочь от дочерей порочных и многоопытных их наставниц; от пиров расточительных и мнений превратных.

³ Боже Правый, позволь мне осуждать людей, ибо осуждения достоин каждый из них, а, читая приговоры другим, я испытываю неизъяснимое наслаждение, которое заставляет меня забывать о собственных грехах.

⁴ Боже Хранитель мудрости, позволь мне рассуждать о том, чего я не знаю, не понимаю и не в состоянии постичь, а такового не счесть.

Помилуй меня, Господи!

⁵ Помилосердствуй, Заступник, и взгляни сквозь пальцы на того, кто заимствует из казны.

⁶ Благослови служить нераздельно Тельцу и Тебе, Боже.

⁷ В пору силы моей соделай руку мою рукою берущего и да не оскудеет она, дабы в летá старости моей не пришлось кормиться мне жалкой милостынею, подаваемой Властью нещедрую.

⁸ Несчастный Иуда повесился, мучимый совестью за предательство свое, Ты же, Господи, лиши меня совести и не дай наложить грешному руки на себя.

Помилуй меня, Господи!

⁹ Не укоряй лицемерие мое, когда припадаю с похвалою неискренней к стопам облеченных судить и миловать.

¹⁰ И придай плодам празднословия и лукавства моего облик истины.

¹¹ И возвысь меня над врагами моими, и унизь их предо мною, а мне даруй побеждать их силою, опережать проворством, обманывать хитростью.

¹² Боже Славы, сподобь меня гордиться собою, своими чадами, своим воинством, церковью и державой.

Помилуй меня, Господи!

НЕ МОГУ ПРОЙТИ МОЛЧАНИЕМ!

(Козьма Прутков о Великой академической реформе 2013 года)

Не могу пройти молчанием необыкновенный шум, вдруг поднявшийся нынешним летом вокруг Великой академической реформы 2013 года. К осени шум сей докатился и до меня, обыкновенно узнающего новости последним, ибо отношусь к ним с полным недоверием. И вот я принялся внимательно листать газеты, не ограничиваясь, как бывало прежде, чтением токмо о колдунах и наградах. Каково же было мое изумление, когда, не будучи горазд в науках, но всегда пытаюсь объяснять необъяснимое, я пришел к тому неоспоримому убеждению, что столпами истины, на коих зиждется сей правительственный меморандум, служат обдуманность и великодушие. Зря кричат, что он возник втайне от подданных и попирает их права. А как бы вы хотели? Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных усмотрений, ускользающих от сознания большинства, открывающихся вполне лишь в неотвратимых развязках истории. И вот люди, не способные уразуметь ни таинственные виды, ни секретные прожекты персон, облеченных высшими полномочиями, вздумали возвысить голос на план, поражающий воображение громадностью своих последствий! Злонамеренные толкования умножились, сбивая с толку даже

весьма осведомленную публику. Между тем склонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге идет не от ума, но от безделья и прямо пагубна, ибо плодит ежедневно, ежечасно, скажу: ежеминутно сомнения в благодетельности начальственных постановлений.

Не скрою: реформы 2013 года мы ждали триста лет с того момента, когда Пётр Великий опрометчиво предоставил ученым несвойственное им право самим распоряжаться науками, а не вверять их надежной опеке столоначальников, назначенных на свои должности чинами не достигаемой доблести и благородства. Мы ждали триста лет, и когда оставалось подождать всего каких-нибудь три дня, чтобы меморандум единомысленно прошел утверждение Государственной думой и получил статус Закона, вокруг него стали возбуждаться вопросы, возник шум, посыпались поправки, и решение переложили на осень. Не могу молчать! Где это видано: предлагать вопросы начальству, когда свое мнение оно уже составило? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых «вопросов»!

Не могу пройти молчанием так же и тот факт, что среди академиков нашлись консерваторы, письменно выступившие против Великой академической реформы. Стыдно, господа! Вы считаете ошибкой допускать ученых к приборам и препаратам токмо после подачи соответствующих прошений по начальству и в случае его благосклонного согласия? Но начальству видней! Я, как директор Санкт-Петербургской Пробирной Палатки, могу вас уверить: сие не ошибка, но благо. Оно позволяет сохранять должную субординацию, обеспечивает занятость руководства, а командовать пробирками можно и не разбираясь в лигатурном сплаве. Кто вправе требовать, чтобы кругообразное движение примесей в расплавленном металле непременно совпадало с направлением финансовых потоков, лежащих вне компетенции химических сфер? Зная сердце человеческое и коренные свойства русской души, отвечу прямо: никто! Можно ручаться, что радетели Великой реформы желали счастья и спокойствия своим детям и родственникам. В том зрю ея обдуманность и гуманность.

Не скрою: удивлен либеральностью правительства, не решившего вопрос в три дня, а позволившего некоторым ученым колпакам хватать за фалды заслуженных чиновников-орденоносцев. Я всегда был начальник строгий, но справедливый, и в особенности не любил потакать вольнодумцам.

Но вот настала осень, и благодетельный Закон наконец-то принят со всеми искажениями, нарушившими благообразие первоначального меморандума.

Считаю целесообразным чередой подзаконных актов упразднить все скоропалительные поправки и вернуться на круги своя, каковую резолюцию посылаю чрез моего медиума почтенному редактору «Литературной газеты».

Ваш доброжелатель

Козьма Прутков

С подлинным верно:

медиум, генерал-майор в отставке и кавалер NN.

11 октября 2013 года (annus, i).

НА ПРОСВЕТ

Над блекнущими пионами, редко рдеющими в траве и клонящими долу свои съезжившиеся головки, некогда пышные, а ныне похожие на скомканный ворох цветной бумаги; над заглохшим старым малинником, беззастенчиво потесненным густо вымахавшей крапивой (жгучее крапивное племя, как пламя, воинственно и прожорливо!), топорщится во все стороны корявыми рогульками в звездчатых пепельно-серых накрапах плодоносящая вишня с еще бледными, твердыми, как косточка, ягодами на длинных ножках, напоминающими точеные шахматные пешки; а выше — над ней — словно застывший фейерверк, раскинула веер веток недвижно-древняя рябина, заслонившая полнеба, если смотреть на нее снизу вверх из окна.

Таковыми ярусами и ниспадают они к земле: рябина, вишневое дерево, крапивное племя, малинник, бумажные фонарики пионов, догорающие в июльской траве.

Ветхая оконная рама под облупившейся белой краской. Тонкое стекло с бегущей по нему испуганными зигзагами черной мушкой: влево — вправо — вниз... Временами она взлетает и снова бьется, мечется по стеклу, искушаемая светом и волей, но не может прорваться к ним, не пускаемая прозрачной, а потому тем более таинственной в своей непреодолимости преградой.

На полосатом сером подоконнике, — таком, как будто его долго скребли столовым ножиком, — керамическая зеленая кружка с отбитой глазурью и выпуклой надписью по кругу: «Печоры 1472». Кружка обернута гибким витком бересты, закурчавившейся по краям. Рядом — шершавая «рыбка» сосновой коры: с лица — крупитчатая, морщинисто-седая, точно высохшая вобла, а с исподу — смолистый, оранжево-грязный сгусток, как бы янтарный, словно выброшенный сюда, на подоконник, балтийской волной. Гнутый гвоздь с каплей все той же белой краски, в которую влипла легкомысленная паутинка, дополняет панораму, а завершает ее черная доска стола, прильнувшего к подоконнику. На доске — белый лист бумаги, безучастный ко всему только что увиденному, всему, что составляет жизнь здесь и в это время.

Предзакатное солнце огибает крышу, чтобы к шести часам вечера встать наискосок в углу окна за рябиной. И тут происходит нечто волшебное. Бумажный лист преобразается. До той поры абсолютно чистый, он весь испещряется вдруг бесчисленными полосками света и тени, похожими на риски линейки. Риски то соседствуют в строгом порядке, то перемежаются просветами пошире. Кое-где их разнообразят кружкí и овалы, поперечные трещинки или бегущая зигзагами тень. При этом и вся картина ни мгновения не стоит на месте. Вся она дышит, движется, смещается, как стрелка весов: то туда, то сюда. Тогда изображение делается расплывчатым, а, возвращаясь, снова фокусируется, обретая отчетливые контуры. Наконец, темп волнуемых отражений постоянно меняется: то он тороплив, то почти замирает, то снова сдвигает кружкí и овалы с насиженных мест.

Как забавно, вооружившись карандашом, гоняться за ними вниз и вверх по листу, напрасно пытаясь успеть «прижать»

грифелем к бумаге; удастся лишь «оттиснуть» их след, прочертить линию движения, а сами они ускользают из-под кончика карандаша.

Что это? Откуда взялась такая игра света и тени? Кто испещрил бумажное поле нерукотворной графикой линий?

Это вечернее солнце высветило стекло, раскрыв незримое в нем. Риски — послойные полосы роста: так слой за слоем нарастает стеклянная масса, кристаллизуясь из медленно остывающего расплава. Кружки и овалы — воздушные пузырьки покрупней и помельче (или, как их называют, «мошкá»); включения того постороннего, что случайно попало в расплав. Они напрягают стекло, и вокруг них оно как бы чуточку вспучивается, подобно капле.

Поперечные линии — микротрещинки, а вот инородная тень к внутренней жизни стекла отношения не имеет, она привнесена извне, то есть изнутри комнаты: это — черная мушка, бегающая по стеклу... Но почему весь рисунок шевелится то медленнее, то быстрее? Потому, что за окном — легкий ветер. Он колеблет листья рябины, темный глянец вишневых веток; те то освобождают, то загораживают путь к окну солнечным лучам, вот и дрожит, зыблется изображение на бумажном листе. Подул ветер — и оно задрожало; утих — успокоилось и оно.

Мы устроены так, что, прежде всего, замечаем внешнюю сторону вещей и явлений, но если творческий луч пронизет их насквозь, то они раскроют себя, догадайся только положить лист белой бумаги и выразить в слове то, что обозначилось глазу. И совсем неважно, где и когда возникло это счастливое сретение луча, предмета и слова: в Печорах ли 1472 года или в Новом Иерусалиме в лето 2003-е. Время не довлеет над вечною правдой явлений — над таинствами жизни, открываемыми на просвет.



3cce

АНГЕЛ В САЛОНИКАХ

Среди категорий, изначально присущих бытию, сорожденных с ним, неотъемлемых от него, ясно зримых и вместе с тем ускользающе неосязаемых есть одна, остро пронизавшая всю нашу жизнь.

Это категория времени.

Но не того монотонного, однородного физического «*t*» — направленно и бесстрастно текущего из прошлого в будущее сегодня, как и во времена фараонов. Нет, физическое время в ньютоновском мире далеко не исчерпывает категорию времени в целом с его явно ощутимой каждым из нас способностью растягиваться и сжиматься, раздваиваться, накладываться одним промежутком на другой, замедляться, останавливаться, течь вспять или, ускоряясь, мчаться вперед.

Пусть эти особенности локальны, пусть они по-разному зависят персонально от каждого воспринимающего, но что может быть содержательней частного, и какая истина достойна большего доверия, чем та, что утверждает опыт личного?

Бесконечное разнообразие индивидуальных ощущений времени вызвано тем, что помимо истин сознания существуют истины страдания. Время не только осознается нами, но и глубоко переживается. Основной вопрос русской философии — вопрос о вечном существовании и бессмертии человека — касается самого трагического конфликта бытия: конфликта между жизнью и смертью, перехода из времени в вечность.

Связь между временным и вечным нерасторжима. Вечность дана не прежде и не после времени, а вместе с ним. Они синхронны. Уберите время и реальная жизнь превратится в хаос. Отнимите вечность и человеческое существование потеряет духовный смысл, низведется к потребительству, свойственному цивилизации, нацеленной на «текущее».

Между тем цивилизация — оболочка культуры. Цивилизация телесна. Ее интересуется не вечность, а долгожительство. Духовная культура, поэтому вечность нужна культуре с ее неременной заботой памятования вообще и культового памятования

в особенности. Отсюда своеобразная двойственность времени в сознании верующего.

Время христианина двумерно. Во-первых, он переживает жизнь Иисуса Христа во всех ее главных событиях. Тридцать три земных года Спасителя стягиваются в один год жизни христианина, и это циклически повторяется. Во-вторых, верующий живет в обычном временном измерении, том самом, которое есть непрерывное умирание.

Значит, формулу христианского времени можно было бы выразить так:

время есть земная жизнь Христа и непрерывное умирание

Но если справедливо, что жизнь верующего — это предуготовление к иному, вечному бытию, то правда, что цель христианской жизни — утверждение личности в вечности. Однако достижение личного бессмертия возможно лишь тогда, когда твое имя дойдет до слуха и уст Господа и станет поминаться Им, поэтому просьба о памятовании претворяется верующим в молитву как прямое обращение к Богу: «Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих, и вся люди Твоя, сущие и молящиеся с нами, и всю братию нашу, якоже на земли, на мори, на всяком месте владычества Твоего, требующих Твоего человеколюбия и помощи, и всем подай великую твою милость..., — на утрени молится иерей Светильною молитвой. — Преклони ухо Твое и услыша ны, и помяни, Господи, сущие и молящиеся с нами вся по имени, и спаси я силою Твоею».

Памятование есть спасение того, чье имя произносится. Быть помянутым Господом — значит, обрести бытие в вечной памяти, достичь вечного существования. В этом контексте слово становится посредником между забвением и бессмертием.

Помимо личной молитвы, с просьбой о памятовании постоянно обращается к Господу и Церковь, особенно, когда она провожает усопших.

Тело хоронят, душу хранят. Хоронят однажды, хранят вечно.

Молитва о сохранении души равносильна молитве о ее бессмертии. И в самом малом памятовании заложена частичка вечного.

Но что же тогда творчество как ни приобщение к вечному, ведь творчество есть непрерывное памятование. Речь идет не о специальных жанрах. Не о мемуарах, реквиемах или исторических романах. Речь — о любом первичном созидательном поступке. Если миг воспоминания всякий раз акт настоящего, то, по Флоренскому, памятующий превращается в сверхвременной субъект познания, и общается он уже со сверхвременными объектами познания. Тогда разница между прошлым и настоящим, настоящим и грядущим стирается. Поэтому о будущем можно памятовать точно так же, как и о прошлом. В творящем сознании время становится тождественным вечности, и человек получает возможность ощутить себя частицей Творца, самим творцом — пусть бесконечно малым, но совершающим в миниатюре работу большого Творца. Причем, каждое вновь творимое создается отнюдь не «из пустоты», вовсе не «из ничего». Мы дышим воздухом прапамяти, мы черпаем из глубин воспоминаний. Мы пересоздаем их, формируя свой микрокосм — содержательную вечность.

Творчество и есть попытка создания содержательной вечности. Как это происходит?

В бесформенном хаосе жизненных впечатлений возникает первотолчок, первообраз. Это может быть случайное воспоминание, внезапная метафора, обрывок разговора, мелодическое движение, линия, догадка, цветное пятно, чистый ритм, еще не насыщенный смыслом, зрительный образ, видение, собственно мысль — все, что угодно. И если первообраз не погас (а как часто он именно гаснет!), то не постепенно, а скачком, самопроизвольно и мгновенно образуется зародыш будущего произведения: отчетливая идея, музыкальная фраза, стихотворная строка. Может быть, не первая, а последняя — любая. Очень вероятно, что в окончательной редакции ее не останется вовсе. Это не важно. Важно, что она возникла и обладает достаточной духовной напряженностью, чтобы обеспечить притяжение к себе других мыслей, образов, вариаций мелодии.

Для определенности будем говорить о создании стихотворения.

Раз возникший первообраз развивается, ищет адекватные себе ритмы, если только ритм сам не явился первотолчком. Складываются начальные строчки, вспыхивают сигнальные огоньки рифм, строфу прошивают внутренние рифмы, перекликаются аллитерации, все оживает, наполняется внутренним смыслом, наливается гулом. Именно здесь памятующий из временного жителя земли превращается в сверхвременного познающего, и говорит он не с подобными себе рабами мгновения, а с надвременными объектами познания. Здесь стирается граница между былым и грядущим. Здесь возникает ощущение остановившегося времени, то есть вечности. Она заполняется, начинает звучать, как колокол, выстраивая свой неведомый ранее звукоряд, единственный и неповторимый перезвон, перекличку вспоминающегося.

Как только заработала духовная мощь первообраза, творческий процесс превращается в непрерывное памятование, но в этой поминальной молитве я прошу не за себя, ведь сейчас я сам — создатель. Я поминаю всех тех и все то, что явно или тайно, вслух или мысленно, беззвучно, бессловесно само молит меня о поминовении. Молит теперь, здесь, *hoc tempore*¹, потому что в молитве нет прошлого, как нет и будущего, как нет отчужденного или «далекого». Она вся — настоящее, ближайшее, сокровенное, слышимое и в своем безмолвии.

Меня захватывает противоборство красного и белого — такое губительное для России. Почему красный цвет — цвет Божественной любви побагровел и свернулся, как кровь, стал Божеской яростью, гневом Господним? Почему белый цвет — цвет Божественной мудрости — сын Света почернел, рассыпался пеплом, сгорел на красном костре? Отчего обручение красного с белым дало не светло-желтое откровение любви и премудрости Божьей, а ядовитый желток враждебной желчи? Не потому ли, что белый вознесся над красным, а красный над белым, и любовь стала ненавистью, а мудрость безумием и всех умертвило желтое жало лжи?

¹ в это время (лат.)

Я воскрешаю в своей поминальной молитве, в своем колокольном заклинании всех оболганных и убиенных, всех запропавших и осиротевших.

Я поминаю всех неподкупных, любимых, равночестных, легших в единую братскую могилу от Балтики до Тихого океана. И актом своего поминовения я утверждаю их в вечности.

Вечная память.

Я воскрешаю известных и безымянных; всех, кого знал когда-то, и это поминовение есть творчество, а творчество — непрерывная молитва. Состояние ясновидения как полного погружения в представшую тебе реальность позволяет упорядочить сумятицу впечатлений. В мире хаоса, понятийных и нравственных бездн опорами ищущему духу служат устоявшиеся столетиями смыслы, образы, символы. Вот язык человечества в вечности. И это язык поминальной молитвы.

«Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих, и вся люди Твоя, сущие и молящиеся с нами, и всю братию нашу...»

Возражение против бытия Бога часто сводится к тому, что если Он существует, то почему терпит столько зла? Оттого, что Большое сознание Вселенной в отличии от малых людских сознаний чтит те законы, которые заложены в основу мироздания.

Господь не авторитарен.

Любовь и ненависть, добро и зло, искренность и лживость даны нам от природы. Они неизбежно противостоят друг другу, и личное дело каждого самому обозначить свой выбор.

Провидение предлагает, выбираем мы.

Платон назвал вечность иконой времени. Если от метафоры перейти к прямо-православному смыслу слова, то, очевидно, что иконография есть непосредственное обращение к вечности, ее запечатление в Божественных ликах. Неисчислимы изображения Иисуса и Богоматери, апостолов и пророков, ангелов и великомучеников, мудрецов-богословов, чья причастность вечному зримо осязаема. В их благословенной сосредоточенности своя жизнь, активность, внутреннее движение, присущее творчеству.

Вот Ангел из церкви св. Георгия в Салониках. Кто скажет, что этой мозаике всего шестнадцать веков? Она была всегда!

Гении не останавливают мгновений. Они приводят в движение вечность. Так в лике георгиевского Ангела — живая, подвижная вечность, порыв тревоги-надежды на застывшем фоне купола.

Икона — это явленный лик переживания, а чувства принадлежат к той же сфере, что и смыслы. То и другое вечно.

Хронология ли опора ищущим устойчивое в зыбком, постоянное в текучем? Хронос, низвергнутый на дно Тартара, — вот что такое вечность!

Дух обитает не в датах, а в куполах.

Для него двадцатый век равно не отличим ни от четвертого, ни от сорокового. Они все — сейчас, все в настоящем.

Здесь решается вопрос о пророчестве как о духовном видении. Чем оно отличается от иных форм предсказаний? Пророчество добывается не экстраполяцией настоящего в грядущее, не из неведомого нам физического будущего, а из всегда присутствующего вечного. Пророк в видении созерцает вечное как нынешнее, ведь первое и есть непрерывно длящееся настоящее. Миссия Иисуса Христа и обстоятельства его земной жизни не предсказывались в будущее, а пророчествовались в вечное. Хронология тут неуместна, так же как неуместна она и в оценке человеческих свершений. Значение человека определяется не тем, что он жил позже или раньше, а тем, что он жил глубже.

Подумаем: что такое — будущее? Мгновение физического времени t_1 — уже «настоящее», уже «прошлое»?.. А теперь на что мы станем уповать? На момент времени t_2 ? Но и он уже «настоящее», уже «прошлое». Вера в будущее — самообман. Надежно и реально лишь вечное, содержащее в себе все смыслы, все времена, в том числе и наше «будущее». Продвигаться плодотворно, значит, продвигаться не вовне, а внутрь.

Но наивно думать, что, изобразив плечом к плечу сто святителей «ста веков», художник и сам получит мандат на бессмертье.

Умножения духа не достигнуть сложением плоти.

Обилием ликов не вызвать душевного ликования.

Путь преувеличений противоположен пути к величию.

Вечность достигается не разбуханием времен, а сжатием их в одну точку. Только временное может быть огромным:

с чугунными истуканами вождей, с глобальными преобразованиями природы... А вечность — сухой остаток от испарившихся рек времени. Булавочная головка, где они, обращенные в пар, выпадают крупинкою соли.

Значит, вечность можно мыслить, слышать, лицезреть. Она дается нам в образах, идеях, звуках, ликах. Ее можно переживать. Она тревожит, обнадеживает, обескураживает, заставляет восхищаться, смиряться, благоговеть перед собой или неосознано, как дух, взлетает под купол церкви св. Георгия.

Ангел в Салониках...

ИЗ «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЙ»

«ФРАНЦУЗ»,
или Стихотворения Александра Пушкина,
сочиненные им по-французски

1

Магия круглых дат властвовала над миром всегда.

Типичным примером служат эсхатологические ожидания русских людей на рубеже XV и XVI столетий. Согласно тогдашнему представлению о том, что такому сакрально-вселенскому акту, как сотворение мира, может отвечать такая «точная дата», как 5508 год до Рождества Христова, легко сообразить, чем «грозил» человечеству год 1492-й по Рождеству Спасителя точнее момент времени по истечении этого года. Именно тогда завершалась седьмая тысяча лет от сотворения мира. А поскольку у Господа тысяча лет как один день, то седьмое тысячелетие буквально понималось как седьмой космический день, суббота Господня, которой кончается история, когда по пророчеству ожидается «новое небо и новая земля». С окончанием космического цикла и связывалось приближение конца света.

«Дата» исполнилась, и тем не менее ожидания не оправдались.

Зато теперь новые поколения верящих в провиденциально обозначенную предельность земной жизни стали испытывать тревогу по истечении каждого столетия.

00 часов 00 минут в ночь с 31 декабря на 1 января нового века внушали самые сильные опасения.

Однако по счастью благосклонная к нам фортуна всякий раз щадила своих избранных, перевоплощая замысел всеобщего разрушения в интимные акты частных творений. И ничья рука не прикасалась к ее чутким весам, сберегавшим равновесие между чашами жизни и смерти.

Между тем, люди конца XVIII века едва ли отличались от своих предшественников и потомков напряженным ожиданием рокового прикосновения. Магия чисел (в данном случае магия дат) делала свое дело. Дух фатализма витал над гранью столетий. Настольной книгою многих сделался «Апокалипсис». И если дни посвящались еще служению маммоне, то ночи — о, лишённые сна ночи уходили уже на богобоязненный поиск резонансов, оправдывавших сие служение перед страшным ликом грядущего Судии. Доводы давались с трудом. Неурочная работа разума скверно сказывалась на самочувствии мужей. Сократовы лбы их преждевременно бороздили глубокомысленные морщины. А дамы, — нет, вы только представьте! — дамы вовсе утратили чувство времени. С утра садились ужинать. В полдень гадали. Вечером велели подавать завтрак. Раздражительность господ передалась прислуге. Постели не застилали до темна под тем предлогом, что все равно ложиться — и ложиться, быть может, в последний раз...

Сказывали, будто в Москве, в Харитоньевом переулке явился ворон-пророк. Пролетая над теремом батюшки князя Юсупова, крылатый супостат вместо того, чтобы обыкновенно, как принято, изречь по-стариковски:

— Кар-кар! — внятно прокричал трижды повторенное:

— *Тар-тар! Тар-тар! Тар-тар!*.. — чем поверг в смятение не только домашнюю птицу, покойно клевавшую просо на дворе, но и самого хозяина, случившегося у крыльца. Птица бросила просо, заметалась, не в силах перелететь через белье, развешенное поперек двора на провисших вервях, а хозяин с тревогой запахнул халат, тряхнул кисточкой мурmolки и устремился в терем. Человек прежней закваски — чета ли нынешним шелкоперам? — князь услышал в странном крике не оговорку праздного картавца, не плохо выговоренный намек на свои *татарские* корни, а серьезное знаменье: всему суждено было обрушиться в бездну, во тьму, в безвозвратные *тартарары*.

Тар-тар — по складам произнесенная греческая бездна услышалась ему в крике птицы.

Купцы грозили позакрывать лавки, прекратить торг.

Среди бела дня за Уралом на честном губернаторе сама собой загорелась бобровая шапка в 300 рублей!

На вопрос: «Что с нами станет?» ученый немец-садовник ответил, в большой задумчивости переставляя слова:

— Ево знает леший.

Присказка «все мы *там* будем» воспринималась как нечто, способное произойти вот-вот.

Но по справедливости менее других поддались общему смятению майоры в отставке. Их было не так много, чтобы они делали погоду, но и не так мало, чтобы их мнением можно было пренебречь. Тогдашние майоры, нелишне заметить, выходили в отставку годам к тридцати и настолько полнились еще не растраченной супружеской силой, что были уверены, будто бы ожидавшийся всеми конец света не имеет к ним ни малейшего отношения.

Майоры держались молодцами. Они и думать не хотели ни о каком светопреставлении», а «конец света» создавали намеренно и буквально: наглухо задергивали шторы спален. Боевой пыл вчерашних командиров невольно передавался их женам. Семейные узы крепили, являлись чада, ряды утраивались. А дополнительные удовольствия — некий сторонний десерт — раздобывали себе наиболее отличившиеся «в деле».

К числу таких людей принадлежал несомненно и отставной гвардеец Сергей Львович Пушкин.

Он убедил свою супругу Nadin, что слухи о светопреставлении — сущий вздор; что пока осторожные осторожничают, отставные майоры наступают на всех направлениях, — особенно на дамском, — и вообще, если уж конец света где и близок, так разве что в несчастной Франции, но никак не в благословенной России, спасшей от революции принцев крови, давшей милосердный приют потоку французских беженцев. Nadin уступила притязаниям красноречивого мужа, вследствие чего любезное Отечество обрело младенца, нареченного Александром.

3

В лето 1799 года по христианскому исчислению вместо ранее предполагавшегося конца света в России родился Пушкин. Свет не кончился, а ровно наоборот: воссиял.

Что касается отца будущего поэта, то он достоин того, чтобы еще на некоторое время удержат наше внимание.

Сергей Львович отличался тонкостью и легкомыслием, крайней скупостью по отношению к домашним и умением потрафить вкусам гостей. Лафит и херес он предпочитал русской водке, устриц не равнял с гречневой кашей и как просвещенный гражданин находился в разумной оппозиции к правительству, о чем, правда, весьма пожалел, когда воцарившийся в Петербурге император Александр I стал раздавать должности своим приверженцам. Одним словом, о Сергее Львовиче можно было сказать: москвич с французской душой, и это определение ему бы, вероятно, польстило. Да, Пушкин-старший любил Францию вообще, французскую поэзию в частности и францушек в особенности. По последней причине гувернантка его детей мадам Лорж не задержалась в доме ни минуты после того, как Надежда Осиповна заподозрила мужа в определенных симпатиях к мадам. Вынужденно переключив внимание на географическую карту мира, Сергей Львович вздыхал, размышляя об исторических судьбах Франции... Наполеона он ненавидел, а эмигрантам сочувствовал искренне, тем более, что французскую эмиграцию в России составили особы наиболее благороднейшего происхождения. Русские дворяне получили прекрасную возможность совершенствоваться во французском и нанимать своим отпрыскам самых изысканных учителей.

Москва являла собой двуязычный город: народ говорил по-русски, господа по-французски. Солдат в Лефортове окликал кухарку: «Девка!» Дворянин на Покровском бульваре обращался к барышне: «Мадемуазель...» Русская речь считалась низкой, французская высокой. На русском ругались, на французском сочиняли любовные послания. Впрочем, в гостях и ругаться предпочитали по-французски. Там, где неучтиво было сказать:

«Дурочка», вполне допустимой оказывалась «лабетка». В моду входили стихи в альбом с пасторальной рифмой «амур — бонжур» или элегической «бульвар — оревуар». Эпиграммы парижского отлива летали между Москвой и Петербургом, как пули, опережая императорскую почту. Слава стихотворца соперничала со славой полководца, но при этом каждый научившийся остро затачивать гусиное перышко почитал своим гражданским долгом напечатать в «Вестнике Европы» поэму с призывом к собратьям не публиковать более ничего и заняться наконец делами, полезными Отечеству.

Между тем Сергея Львовича подобные увещевания отнюдь не касались. Он и служил (одно время) и не стремился попасть в журнал (никогда). Испытывая денежные затруднения, а также нехватку в доме некоторых непрременных вещей (как-то: столовой посуды), отставной майор обретался в кригс-комиссариате — ведомстве, распорядившемся вещевым и денежным довольствием армии. Но для того, чтобы снабдить собственную семью, подобного обретения в тогдашнюю тяжелую эпоху было недостаточно.

Оставив службу, не приносящую желаемого дохода, но досадно отнимавшую уйму времени, Пушкин-старший предался занятиям, более отвечающим его художественной натуре, нежели заботы войскового снабженца. Его можно было встретить в модной лавке на Кузнецком или в книжной в Охотном ряду. Он выезжал с Надеждой Осиповной на балы. Делал долги, но выезжал. Любил сживать в домашней библиотеке, окруженный лучшими поэтами Франции. Не раз примерял и собственное перышко к бумаге: французские стихи своего сочинения составляли предмет его тайной услады. Как понимал он тут старшего брата Василия Львовича, тоже стихотворца! Про того сказывали, что когда он сочинял, то казалось, будто грешник, дорвавшийся до запретного плода, становится небожителем. *Basil* наливался соком, глазки его косели, точно во хмелью. По части эротических фантазий братец превзошел Сергея Львовича, да и слог его достигал временами такой разнузданной отваги, что не гнушался самым крепким русским словом. Сергей Львович не был одарен столь счастливой игрой

воображения, а потому и держался скромнее. В коротком стихке он мог по рассеянности спутать размеры. Вообще чувство ритма в нем оставляло желать лучшего. Там, где его сын мог бы сказать в будущем: «Среди измен большого света», папенька выводил своим изящным почерком: «Средь бурь, измен модного света», не подозревая, какого монстра «Буризмена» он произвел на свет и что самый свет из модного превратился у него в модного, ведь строгие правила стихосложения, которых Сергей Львович как бы не замечал, требовали именно такого прочтения: «Средь буризмента модного света». Увы, незначительность складывается из мелочей так же, как и величие. Сергей Львович мелочами пренебрегал. К слову он относился по-барски, как к лакею: сам никогда ему не служил, но постоянно желал его использовать. А слово этого не терпит. В результате Сергею Львовичу оставались лишь «потoki слез своих очей». Но для надписей в альбомы дамам сердца подобных излияний вполне хватало, а дам у отставного майора было много.

Романы составляли радость его жизни. Евангелие повелевало им лишь до тех пор, пока дремал амур. Дополнительное наслаждение составляли стихки на случай. Сергей Львович обожал делать своим пассиям подарки «со смыслом» и каждый презент сопровождал рифмованной записочкой. Десятилетней девочке он слал букеты цветов. Семнадцатилетней девушке — пикантные размышления о преимуществах чувственной любви перед любовью платонической. Искушенной даме — породистого пса: символ собственной преданности. А матроне преклонных лет — настольную лампу: эмблему духовного света. Если бы в ту пору существовало Литературное присутствие и Пушкин-старший отправлял в оном должность секретаря по стихам на случай, то, вероятно, он и был бы законодателем моды в этом своеобразном жанре, а Собрание его произведений сплошь состояло бы из посвящений очаровательным особам. Но «за отсутствием присутствия» секретарских вакансий не образовалось, записочки рассыпались по адресаткам и остались неведомы потомкам. Зато его остроты передавались из уст в уста. Одну из них не грех припомнить и сейчас. Господин NN славился четверкой таких

дохлых кляч, что они — бедные — едва таскали хозяина в обшарпанном рыдване. Однажды на улице, завидев бредущего пешком Сергея Львовича, NN предложил ему проехаться, на что Пушкин ответил: «Не могу, братец. Слишком спешу».

Мольера он читал лучше всех в Москве, а в любительских спектаклях был просто незаменим! На сцене он жил, в жизни представлял. Эгоист изображал нежного отца; ветреник клялся в верности; скаред, зимой отказывал сыну в гривеннике на извозчика, а ради собственного тщеславия мог перед гостями раскошелиться на шампанское. Любимой темой его рифмоворчества была простенькая — без лишних вычур — аллегория земного рая: на зеленом лугу с цветка на цветок перепаркивает веселый мотылек. Изысканно галантный. Воспитанный на старинный французский манер. Зеленый луг — это жизнь. Мотылек — благородный дворянин с богатым воображением. А цветки — прелестные капризницы, молоденькие девицы, во имя которых только и стоит порхать под солнцем.

Судьба даровала Сергею Львовичу милость влюбляться в двух столетиях и при трех государях. Император Павел на придворном балу знакомил его со своей фрейлиной. В царствование императора Александра он вздыхал по Анне Петровне Керн, а при Николае предлагал руку ее дочери Екатерине Ермолаевне. В 78 лет за день до смерти умолял выйти за него замуж, но Екатерине Ермолаевне нравился его сын Лев («Отказываюсь понимать! Предпочесть мне какого-то Левку!»). Остается тайной, кому и какую посылку отправил он в день своей кончины: цветы, пикантный роман, пса или лампу, и какими стихами сопровождал последний подарок. Однако доподлинно известно, что старший брат его Василий Львович, столь на него похожий, что их иногда путали, оставил сей мир лишь после того, как разбитый падагрой — болезнью гениев! — дополз до книжного шкафа, дрожащей рукою вытащил с полки томик песен Беранже, вернулся к дивану и раскрыл книгу... Оба брата видели в поэзии, если не источник жизни, то во всяком случае источник наслаждения жизнью. По всей вероятности именно такое отношение к литературе передалось и малолетнему Александру Сергеевичу, когда под водительством непрерывно

сменявшихся гувернеров — от графа Монфора до мадам Лорж — он научился читать и всерьез обосновался в отцовской библиотеке. Там на полках, как на параде, блистая генеральскими эполетами золотых корешков, выстроились перед ним великие полководцы французской словесности: Расин, Мольер, Вольтер, Руссо, Вержье, Парни, Грекур... Античная классика — Гомер, Гораций, Вергилий, Еврипид — поддерживала их ряды, а русские пииты — Державин, Дмитриев, Крылов — по мере сил дополняли. В таком окружении, да еще имея перед глазами постоянно каламбурировавшего отца; дядюшку, кстати и некстати декламировавшего свои стихи; даже камердинера Никиту, баловавшегося рифмой, трудно было не впасть в искушение. Девяти лет Александр импровизирует комедии, копируя своего любимца Мольера. Русский барчук выдумывает по-французски и тут же разыгрывает выдумки сестре Ольге — единственной зрительнице. Одна из импровизаций так буквально воспроизводит мольеровский текст, что Ольга винит брата в «списыванье». И тогда Александр сочиняет эпиграмму на себя самого. Ей суждено будет стать первой из дошедших до нас литературных проб Пушкина-младшего.

*Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Helas! c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière.*

*В чем «Похититель» виноват
Освистан публикой партера?
Бедняга автор, сам не рад,
Похитил пьесу у Мольера.¹*

4.

Мечтательная эротика Парни и вольтеров сатирический скепсис довершают домашнее образование Александра,

¹ Здесь и далее русские переводы французских стихотворений Пушкина наши — А. С.

определяют его пристрастия, формируют вкусы. Спустя немного времени директор Царскосельского лицея Энгельгардт с неприязнью отметит, что всю эротическую поэзию Франции воспитанник Пушкин выучил наизусть еще в детстве, в семье.

Директор действительно имел поводы для неудовольствия. Однажды на Пушкина ему попенял сам государь, живший в Царском. По существу речь шла об анекдоте, но он слишком задел действующих лиц.

На бесцеремонность юнца пожаловалась царю княжна Варвара Михайловна Волконская — старая дева, служившая когда-то фрейлиной у императрицы Елизаветы Алексеевны. Пушкин влюбился в Наташу — горничную княжны и впотьмах, обознавшись, принял барыню за служанку. Объятия и поцелуи достались княжне. Та возмутилась и заявила царю о распущенности лицеистов. Историю замяли, но уязвленный и раздосадованный Александр, над которым, надо думать, вволю посмеялись приятели, отреагировал злым экспромтом.

Кж. В.М. ВОЛКОНСКОЙ

*On peut très bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
Ou pour une vieille guénon,
Mais pour une grâce, oh, mon Dieu, non.*

*Сударыня, легко как раз
Со сводней было б спутать вас
Или с мартышкой зрелых лет,
Но с грацией — о Боже, нет.*

5

В доме Энгельгардта жила молодая вдова француженка Мария Смит. Пушкин сочинил в ее честь послание «К молодой вдове», прозрачно переименовав Марию в Лиду. Но именно ч е с т ь вдовы и ее усопшего супруга и провоцировалась посланием.

Лида, друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон
Часто, негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему, в любви счастливой
Вида страшную мечту,
Взор недвижимый, боязливый
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушая
Быстрый обморок любви,
Иногда я замечаю
Слезы тайные твои?
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь,
Хладен взор твоих очей...
О бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать,
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон;
Не для них надгробны розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов...
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти воздохнул
И, блаженством упоенный,
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец;
Верь любви — невинны мы.
Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;

Тихой ночью гром не грянет,
 И завистливая тень
 Близ любовников не станет,
 Вызывая спящий день.

Энгельгард так обиделся, как будто усопшим супругом был он. Но расстроилась и Мария, к счастью, ненадолго. Тому свидетельством ее стихи, обращенные к Пушкину, в которых она с мягкостью признает его... стихотворное первенство.

События разыгрались, видимо, на вольных вечеринках у преподавателя музыки Теппер де Фергюссона — автора духовных концертов, вдохновителя лицейского хора. Для исполнения на этих вечерах Александр предложил свои французские куплеты, написанные в ответ на куплеты Марии.

COUPLETS

*Quand un poète en son extase
 Vous lit son ode ou son bouquet,
 Quand un conteur traine sa phrase,
 Quand on écoute un perroquet*

.....

КУПЛЕТЫ

*Когда с безумием в очах
 Терзает одой нас поэт,
 Рассказчик вязнет в словесах,
 А попугай твердит свой бред,
 Когда смешного ни на грош
 Из их речений не извлечь,
 Зевнешь в платок, сказав: «Ну, что ж.
 До новых встреч, до новых встреч».*

*И лишь с красавицей своей
 Или в борьбе умов живой
 Ты вновь доволен жизнью сей
 И остаешься сам собой.*

*Настройте верную струну,
И если пир устанет течь,
Друзьям пропойте и вину:
«До новых встреч, до новых встреч».*

*Нам дан для жизни только миг,
А вместе с ним уходит все.
Как ласточки короткий крик,
Мелькнет любовь, и нет ее.
Она исчезнет меж ветвей,
Ее никак не уберечь,
А упорхнет, не скажешь ей:
«До новых встреч, до новых встреч».*

*Печально время, век жесток.
Мы все отправимся во тьму.
Но иногда незримый рок
По разуменью своему
Нас упасает от потерь.
Игра, ей-богу, стоит свеч.
И смерть стучит в другую дверь.
«До новых встреч, до новых встреч».*

*А я? Я слишком утомлен
И утомил, наверно, вас.
Пора покинуть славный склон,
Не расположен к нам Парнас.
Еще куплет стремится ввысь,
Еще в узде прямая речь,
Но ты, перо, угомонись!
До новых встреч, до новых встреч.*

6

Ошибается тот, кто полагает, будто бы розу легко описать французскими стихами.

Когда лицеисты получили такое задание, то многие из них попали впросак. И не только Федя Матюшкин — будущий адмирал флота, путешественник. Изрядно попыхтел и Алешенька Илличевский — записной лицейский поэт, и даже Антон Дельвиг, литературный талант которого могла затмить лишь его собственная легендарная лень.

Лучшим был признан экспромт Пушкина.

Не тогда ли товарищи наградили Александра прозвищем «Француз»? Вряд ли оно стало ему в радость, тем более, что в июне 1812 года французская армия пересекла русскую границу. Всю войну Пушкин оставался русским «Французом», и вполне вероятно, что какой-нибудь насмешник взял да и воскликнул в 14-м году: «Плачь, Пушкин! Твой Париж пал».

Рискую высказать мнение, что при всем патриотизме Пушкина Отечественная война 12-го года была для него до некоторой степени «гражданской» войной. Он был дитя двух языков, двух культур, двух солнц, и закат любого из них не мог не потрясти его. Вместе с тем расположение этих светил на пушкинском небосводе сильно разнилось. Первым солнцем всегда была Россия, главным языком — русский. И что представляют собой ранние пробы мальчика из Харитоньева переулка да горстка дошедших до нас эпиграмм и набросков, написанных им по-французски, по сравнению с великим корпусом его русских творений?! Но поскольку речь идет о Пушкине, нас интересует в с е с ним связанное. А, значит, и созданное на французском. Именно это обстоятельство побудило нас переложить на русский иноязычные стихи Пушкина, до того приводившиеся в подстрочном переводе.

Между тем после удачного экспромта «на заказ» тема розы вновь мелькнула у Александра, на сей раз в стихах, написанных уже по собственному желанию, а не просьбе профессора-француза.

К лицеистам приезжали родственники, и воспитанники влюблялись в сестер своих друзей. Так, двоюродная сестра Пушина Евдокия стала розой пушкинских «Стансов».

STANCES

*Avez-vous vu la tendre rose,
L'aimable fille d'un beau jour,
Quand au printemps à peine éclose,
Elle est l'image de l'amour?*

.....

СТАНСЫ

*Видали ль розу вы, когда,
Едва расцветшая весной,
Она является чиста,
Как образ нежности живой?*

*Такою ж, но еще милей
Предстала Евдокия нам.
Весна соперничала с ней,
Они подобны двум цветкам.*

*Но дети лютя зимы
Затеют скоро ветры вой,
И грянут трубы бурь, и мы
Услышим их над головой.*

*Пора минует ясных дней,
Цветы увянут и увы!
Придется лишь грустить о ней —
Любезной дочери любви.*

*Спешите! время рвется, мчась,
Глядишь — и счастья след простыл.
О, в старости ли хладный час
Дано нам ведать страсти пыл?*

Такое отвлеченное, свойственное сумрачной романтике предсказание о «лютых детях зимы» — бурях жизни, наполнилось реальным смыслом после декабря 1825 года. Уже будучи

замужем, сестра декабриста Пущина Евдокия Бароцци доби-
валась разрешения последовать за своим ссыльным братом на
каторгу в Сибирь...

7

Ну, а пока шел год 1814-й, и на одном из лицейских занятий вос-
питанникам предложили написать о себе. Каждый должен был
изложить по-французски свой внешний и духовный портрет.
Дружеские отношения между лицеистами и профессорами по-
зволили Пушкину не чиниться и обращаться к преподавателю
французской словесности со всей непринужденностью и чистосер-
дечием, на какие только был способен пятнадцатилетний поэт.

MON PORTRAIT

*Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d'après nature;
Mon cher, il sera bientôt fait,
Quoique en miniature.*

.....

МОЙ ПОРТРЕТ

*Портрет вы попросили мой,
Чтоб верен был натуры.
Примите ж, друг мой дорогой,
Его в миниатюре.*

*Я здесь повеса и школяр,
Фривольный забияка,
Но только не глупец-фигляр,
Жеманник и кривляка.*

*Нет, не родился тот крикун,
Тот говорун Сорбонны,
Что был бы более болтун,
Чем ваш слуга покорный.*

*Я в долговязые не рвусь,
Мне это не по праву.
Зато я свеж, зато я рус,
Зато курчав на славу.*

*Всегда толпе шумливой рад,
Я не терплю разлуки.
Мне препирательства претят.
Отчасти и науки.*

*Но балы!.. Вот что я пою.
И если ближе к цели,
Сказал бы, что еще люблю,
Когда б... не был в Лицее.*

*Предоставляю вам предлог
Узнать меня повсюду.
Каким создал меня мой Бог,
таким я и пребуду.*

*В озорничаньях суций бес,
В ужимках обезьяна.
И ветрен, ветрен — вот, как есть,
Весь Пушкин без изъяна.*

8

Последнее желание вернуться к французским стихам возникло у Александра в 1821 году. Вернее, это было даже не желание, а короткий и резкий порыв. Он совпал со временем южной ссылки. Условия позволяли сосланному, пребывая в Кишиневе, тем не менее отлучаться, и подолгу, то в Киев, то в Одессу, то в Каменку, имение двоюродного брата Дениса Давыдова — Александра Львовича.

Богатый барский дом всегда был полон военными. Богатырь-хозяин (по Пушкину, Фальстаф) обожал веселье, гостей,

обильную снедь. Говорили, что, командуя летучим отрядом русской армии во Франции, наш гурман нарочно норовил оккупировать самые лакомые провинции с прославленной кухней. И жена у него была, естественно, французенка, причем весьма «хорошенькая, ветреная и кокетливая», почтившая, вероятно, большой личной удачей выйти замуж за такого оккупанта. Лишь этим русский Фальстаф и отличался от своего прообраза, который, как известно, не обзавелся супругой. Полвека спустя журнал «Русская старина» сообщал о мадам Давыдовой, что «как истая французенка, она в Каменке была магнитом, привлекавшем к себе всех железных деятелей александровского времени. От главнокомандующих до корнетов — все жило и ликовало в селе Каменке, но главное — умирало у ног прелестной Аглаи». Можно сказать, что в ее лице побежденная Франция праздновала свой маленький реванш. Академический комментарий к пушкинским сочинениям скромно упоминает о том, что поэт «встречался с ней в Каменке». Есть все основания полагать, что глагол «встречаться» имел в данном случае библейский смысл: такие «встречи» служили ветхозаветным героям для продолжения рода.

В ту пору Каменка являла собой центр тайного общества «южан» — будущих декабристов. Об этом знали далеко не все туда наезжавшие. Радикальные вопросы об изменении политического строя в России, о вооруженном восстании решались под звон бокалов, гастрономические тосты Фальстафа и пряный смех его головокружительной французенки.

Так начиналось русское революционное движение.

По молодости лет и общему легкомыслию к серьезному делу Пушкина не допускали, но стол и Аглая... Хотя Александру не исполнилось и двадцати двух, его амурный опыт был весьма богат. Что же касается дочери герцога Антуана де Граммона, то ей минуло тридцать, и полжизни Эрот властвовал над ней безраздельно. Между тем месье поэт изображал безумную любовь, а мадам напускала на себя вид наивной невинности, якобы принимая все за чистую монету. Когда Александр остыл и, недолго думая, сменил предмет увлечения, последовала вспышка

женской ревности. Он разозлился и расквитался с Аглаей Антоновой сперва на русском в послании «Кокетке»:

И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — не многим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам так же с вашей стороны
Измены верно надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу.
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Все хорошо, благопристойно.
Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно;
Но нет! Сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,

Учтивый жар и грусть и ревность.
Помилуйте — нет, право нет.
Я не дитя, хоть и поэт.
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

Послание сопровождала русская эпиграмма.

Оставя честь судьбе на произвол,
Давыдова, живая жертва фурий,
От малых лет любила чуждый пол,
И вдруг беда! казнит ее Меркурий;
Раскаяться приходит ей пора,
Она лежит, глаз пухнет понемногу,
Вдруг лопнул он; что ж дама? — «Слава богу!
Все к лучшему: вот»

Однако Аглаю это, по-видимому, не остановило. Чтобы покончить с ее притязаниями, Александр «добил» ее двумя французскими эпиграммами.

Вначале было сказано:

*A son amant Egle sans resistance
Avait cédé — mais lui pâle et perclus
Se démenait — enfin n'en pouvant plus
Tout essoufflé tira... sa révérence, —*

.....

*Аглая, не упрямясь, отдалась.
Зато любовник выбился из сил.*

Он побледнел и пот его покрыл.
 Осталось пыла лишь на... реверанс.
 «Месье, — ему Аглая. — Всякий раз
 Мой вид вас совершенно леденит.
 В чем дело? Отвращенье?» — «Нет, не то».
 «Чрезмерное влечение?» — «Нет». — «Так что?»
 «Избыток уваженья мне вредит».

А напоследок прозвучало:

*J'ai possédé maîtresse honnête.
 Je la servais comme il lui faut,
 Mais je n'ai point tourné de tête, —
 Je n'ai jamais visé si haut.*

*Отменной даме я служил,
 Как подобает, без упрека.
 Но головы ей не кружил.
 Нет нужды метить так высоко.*

Этой вольностью практически и заканчиваются стихи Александра Пушкина, написанные им по-французски. В собраниях сочинений воспроизводят еще несколько строк — черновые наброски, оборванные на полуслове. За вычетом того немногого, о чем здесь рассказано, все, что пело в душе этого человека; все, что его восхищало, мучило, томило; все, что требовало стихотворного воплощения, — он доверял только русской речи.

ЛИНИЯ И СЛОВО

Созданное Пушкиным мы обычно воспринимаем, словно спущенное с небес, лёгшее на бумагу сразу. Без всякой правки. Как будто вдохновение не требует никакой черновой работы.

Однако тот, кому доводилось просматривать факсимильное издание «Рабочих тетрадей» поэта, мог убедиться, что существует

вдохновение черновиков; что чистой каллиграфией, создающей впечатление сочинительства набело, блещут далеко не все листы. А черновую работу творчества: рождение образов, движение мыслей, переключку рифм — представляют многократно перечёрканные страницы, заполненные вставками, заменами, сокращениями, перестановками; украшенные звездами чернильных клякс, упавших с пережатого гусяного пера и во всей красе рассыпавшихся мелкими брызгами, поплывших по тряпичной бумаге ручной выделки. Буквенная вязь из черных орешковых чернил уснащает листы вдоль и поперек. Сверху вниз и наискосок. Боком и залезая на поля. А то вдруг тетрадь переворачивается, словно в руках у жонглера, и строчки полетели- полетели- полетели, как бы вниз головой — вверх тормашками! Искушаемый *демоном бумагомарания*, автор не благоговеет перед чистым листом, не встает перед ним на колени, а борется с ним; не творит молитву чернильнице и перу, а макает его в склянку и давит, давит бумагу измочаленным недомерком с той горячностью, которой требует от него кипящее слово. Гусиное перо давно сократилось в размерах до «оглодка». Исписанное снизу и нещадно изгрызанное сверху, оно едва держится в пальцах, о чем мы знаем от верных людей, подтверждавших, что Пушкин сочиняет так с Лицея. Почему? Жалко тратиться на перья? Или душа горит — некогда чикаться с заточкой нового перышка? Или хочется осязать текст перстами, подобно Тициану, по легенде выписывавшему самые ответственные детали картин кончиками пальцев?

А если воображение стопорится, сразу в том же тексте начинают возникать рисунки: головы, ножки, торсы... Предстают автопортреты, поразительные по сходству, изобретательному озорству и самоиронии: свидетели мастерских перевоплощений. Я — ребенок. Я — «герр офицер». А вот взгляните на меня — вздорную девицу Александру Сергевну. А теперь полюбуйтесь мною — щеголем, раздувающим щеки, или попробуйте приспособиться ко мне — сварливому старику...

Пушкин не продумывает заранее свои тексты, чтобы потом занести их в тетрадь. Нет! Он вызывает их с пером в руке. Он думает с пером в руке. Все делается немедленно, сейчас. Он не

знает заранее, какая строчка будет следующей. Каждая внезапна как открытие. А если открытие ложное или самоочевидное, оно вычеркивается беспощадно. Когда возникает заминка, автор не бросает пера, он продолжает думать о своем, а перо независимо от его воли рисует собственные сюжеты. Что получится. Бессознательно. И в этом вся прелесть! Это графика не отшлифованного школой стипендиата Академии художеств, а самоучки, заполняющего паузу в основной работе — в размышлении над первой строкой, над сотой, над какой угодно или споткнувшегося вдруг посреди строфы и не представляющего себе как быть дальше...

Если Пушкин набрасывает профили, то, как правило, они повернуты носом влево. Правшам легче рисовать их именно так: слева направо — от носа к затылку. Анфас или поворот «три четверти» встречаются редко. Скажем, на обороте 74-го листа анфас всего один (молдаванин) и портрет носом вправо тоже один (Гёте), зато левых профилей — косой десяток: и женских и мужских... Все они устремлены носами влево, как стрелки флюгеров, дружно повернутых ветром. Они толпятся, они жмутся друг к другу, накладываются виском на висок. Чувствуется, что литературный антракт затянулся, воображение клинит, и потому «галерея» графических опусов растет. По обилию профилей, по числу ножек и характеру поз, которые они принимают, можно судить не столько об эротических грезах нашего мечтателя, сколько о капризах его строптивой музыки — продолжительности ее безмолвия. Чем больше рисования, тем дольше молчит она. Кажется, рисование и требуется только для того, чтобы ее разговорить. По-хорошему, автор всегда ищет «то, не знает что». Но если искомое, наконец, находится, он распознаёт его безошибочно. Какое-то внутреннее чувство подсказывает: вот! *Когда б вы знали, из какой чернильной пачкотни и пауз, машинально заполненных чередой графических затей, рождалась эта чистейшая поэзия, космическая стройность ума!* Гений безмерен, неожидан, неудержим. Он ясен, темен, гармоничен, противоречив. И бесконечно изобретателен.

Говорят, что художник изображает мир таким, каким он его видит, а поэт изображает мир таким, каким он его знает.

Художник вглядывается в мир, поэт вдумывается в себя. И Пушкин рисует как поэт, вдумываясь в себя. Его графика рождается в момент максимального внутреннего сосредоточения *на другом*. Он рисует совсем не то, во что вдумывается. Да, иллюстрации к тексту, сочиняемому на том же листе, иногда встречаются, но их мало. Превалирует другое. Однако именно это — *другое* — позволяет встряхнуть мысль, преодолеть возникшее препятствие, обойти стопор. Раскрепощенному воображению дается новый ход. Бессознательное движение руки приводит к осознанному движению мысли. Здесь, по-видимому, срабатывает предложенный самой природой механизм психологии творчества, когда линия помогает слову, ничего о нем не зная.

«ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

Первоначально предполагалось, что во вновь создаваемом Лицее будут учиться Великие князья, и Лицей открывался в первую очередь для них, а в компанию к ним решили взять 10–12-летних детей высокопоставленных вельмож, чтобы подготовить отпрысков к высшим государственным должностям. Всем им предписывалось постоянно жить в Царском Селе под Петербургом. Но потом императрица раздумала расставаться со своими сыновьями, они остались дома, во дворце, а новое заведение открылось без них. Расторопности Сергея Львовича Пушкина (отца) и пронырливости Василия Львовича (дядюшки), путивших в ход все свои связи, хватило на то, чтобы, и не будучи большими вельможами, внедрить в Лицей сына и племянника Сашку. Во многом он был сущий недоросль, но кое в чем (особенно в знании наизусть эротической поэзии) мог дать фору кому угодно. По счастью для абитуриента эта щекотливая осведомленность на приемном собеседовании не раскрылась; а французским он владел, как родным, и его приняли.

Лицей получил собственную учебную программу, приравненную к университетской. Воспитанники изучали математику, цикл естественных наук, историю, в изобилии литературу

и языки, занимались фехтованием, танцами, вольтижировкой. Но один предмет составители программы упустили из виду. А он для некоторых лицеистов оказался едва ли не главным. Этот неучтенный предмет составляло *стихотворство*. Сперва наставники смотрели на него косо, как на самовольничанье, но удержать пишущих не было никаких сил, тем более, что их духовная энергия стала питать страницы столичных изданий.

Обучение в Лицее длилось шесть лет и было поделено на два курса по три года каждый. Между курсами полагались переводные экзамены. Наставники сообразили, что самовольство учащихся умней представить, как похвальную инициативу, которой можно блеснуть перед начальством, и включили в экзамены чтение воспитанниками собственных сочинений. К тому подвигали усердные литературные труды учеников, уже переселивших свои опусы со страничек «домашних» лицейских журналов на страницы почтенных взрослых изданий — «Сына Отечества», «Вестника Европы»... Среди одержимых музой значились Илличевский, Дельвиг, Кюхельбекер, Пушкин... Последний сочинил для экзамена совсем нешуточную, громоздкую оду в сто шестьдесят строк, посвященную победам русского оружия при Екатерине и Александре; оду, написанную совершенно в державинском духе. Получив почетное задание сложить нечто уместное, подобающее случаю, автор, дабы далеко не ходить, погрузился в аллеи царскосельского парка, воспел его и памятники воинской славы в нем от века екатерининских орлов до покорения Парижа, имевшего быть только что. Само название опуса — «Воспоминания в Царском Селе» — не могло не вызвать улыбку наставников: пятнадцатилетний стихотворец «вспоминал» былые походы, как будто участвовал в них. Однако и тяжеловесность сочинения, и его архаичность и чрезмерная словоохотливость автора искупались искренным одушевлением, прямо-таки пламенным восторгом певца перед подвигами русских героев. Испешренные восклицательными знаками, «Воспоминания...» сами были сплошным восклицанием. Вложенный в них заряд духовной мощи следовало признать просто титаническим. Ни одно воображение ни до ни после не смогло

так среагировать на спокойное великолепие царскосельских аллей, водных гладей, памятников тем, кому была обязана Россия своей славой. Реальный пейзаж, одушевленный событиями истории, потрясла поэтическая гроза.

О, громкий век военных споров,
 Свидетель славы россиян!
 Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
 Потомки грозные славян,
 Перуном Зевсовым победу похищали;
 Их смелым подвигам страхась дивился мир;
 Державин и Петров героям песнь бряцали
 Струнами громозвучных лир.¹

Экзамен 8 января предполагался публичным. Накануне выяснилось, что среди гостей ожидается Державин. Эта новость взволновала и профессоров, и воспитанников. Слишком внушителен в трех царствованиях был послужной список именитого гостя. Статс-секретарь Екатерины II, государственный казначей императора Павла, министр юстиции Александра I, действительный тайный советник и многих орденов кавалер. Вельможа из вельмож! Но в глазах лицеистов все это меркло по сравнению с тем, что к 1815 году Гавриил Романович Державин заслужил свой главный венец — репутацию первого поэта России, а по чести ее первого *великого* поэта после неизвестного автора «Слова о полку Игореве». В екатерининский век военных куражей, тайных интриг, и придворного притворства Державин, как природный вулкан, извергался поэтическим пафосом такой искренности и силы, который невозможно было сымитировать. Казалось, что по временам на нем почиет сам Божий дух.

Твое создание я, создатель!
 Твоей премудрости я тварь,

¹ ПСС. Т. I. С. 71.

Источник жизни, благ податель,
 Душа души моей и царь!
 Твоей то правде нужно было,
 Чтоб смертну бездну преходило
 Мое бессмертно бытие;
 Чтоб дух мой в смертность облачился
 И чтоб чрез смерть я возвратился,
 Отец! — в бессмертие твое.¹

Удивительное состояло в том, что Державин создал себя сам, выбившись в люди из простых солдат. Был он прям и резок; судил, не взирая на лица; единственный позволял себе кричать на Екатерину Великую и ссориться с Павлом, попирая все нормы придворного этикета. Так сумел он себя поставить своей безграничной преданностью трону, приверженностью Законам, неустанными трудами и поэтическим гением. В защите основ самодержавия он оставался непримиримей самих самодержцев. По его суждению монарху следовало опекать крестьян, не позволяя никаких вольностей дворянству. Екатерине он прощал ее женские причуды, но упрекал в вольнодумстве — следовании французам. Первые шаги Павла по наведению порядка поддержал; скоро, однако, распознал в нем тирана и, ничего не зная о заговоре против царя, воспел цареубийство, расценив его не как дворцовое злодеяние, а как Божию кару, спасительную для всех. Однако первые же слова насмерть перепуганного молодого императора Александра: «Всё при мне будет, как при бабушке», насторожили Державина: «Что значит “всё, как при бабушке?..”» И он с Александром не ужился. Тем не менее опала его была более, чем почетна. Его отстранили от дел, но не от пиршественного стола. Под старость Державина потянуло к молодежи. Юное женское общество приятно его тонизировало, а в молодых людях, — может быть, бессознательно, — искал он преемника, достойного своей лиры, поскольку она дряхлеющему певцу сделалась тяжела,

¹ Русская литература XVIII века. Ленинград, 1937. С. 130, 131.

и он, по собственному слову, перешел на цевницу. Предложение участвовать в лицейском экзамене в качестве гостя Гаврила Романович принял.

Среди всех, взбудораженных предстоящим событием, нашелся один, которого оно до некоторой степени повергло в шок. В написанных специально для экзамена «Воспоминаниях...» полет воображения перенес Пушкина из века Екатерины в век Александра, и если первый он связал с именем Державина, то ко второму такого же деятельного отношения Державин уже не имел. Здесь выделился молодой поэт Василий Жуковский с нескончаемым опусом «Певец во стане русских воинов», прославившим подвиги героев Отечественной войны 1812 года. Поэтому концовку «Воспоминаний...» Пушкин посвятил Жуковскому, назвав его бардом славянской дружины и вдохновенным скальдом России. Пусть имя Жуковского в тексте не звучало, однако и без обозначения современникам было ясно, о ком идет речь. Предпоследняя строфа у Пушкина, в целом довольно невнятная из-за косноязычной инверсии, вызванной необузданно-верноподданным восторгом сочинителя, после обращения к Александру I содержала как раз очень внятный намек на Жуковского.

Достойный внук Екатерины!
 Почто небесных аонид,
 Как наших дней певец, славянской бард дружины,
 Мой дух восторгом не горит?
 О, если б Аполлон пиитов дар чудесный
 Влиял мне ныне в грудь! Тобою восхищен,
 На лире б возгремел гармонией небесной
 И воссиял во тьме времен.¹

Перевод этих строк с языка литературной экзальтации и стилистики XVIII века на современный русский может выглядеть так:

¹ ПСС. Т. I. С. 412.

Александр I!
 Почему мой дух не воспламеняется тем же
восторгом аонид,
 Каким горит дух Жуковского?
 О, если бы Аполлон влил в мою грудь
 Поэтический дар! Тогда бы я,
 Восхищенный тобою, царь,
 Смог восславить тебя на лире
 И сам просиять во тьме времен.

Вся ода написана по-державински, и он едет на экзамен. Редкая удача. Но концовка!.. Если бы Державин уехал, не дослушав, а Жуковский подъехал к последним строфам... А так?.. В присутствии великого старца самоуменьяться перед молодым Жуковским неуместно и даже рискованно. А что как Державин обидится? Конец — делу венец, а в конце гремит хвала совсем другому барду...

Александр почувствовал себя ужасно. Что делать? Как поступить?

Конечно, автор — хозяин своему слову. Нельзя менять текст из-за того, что изменились внешние обстоятельства. Написанного пером не вырубешь топором. Но с другой стороны хозяин — барин, все в его власти... И вот «барин», а точнее барчук — маленький хитрец — ничтоже сумняшеся решает пойти на большой подвох: ради Державина убрать Жуковского. Намек на певца 12-го года заменить намеком на пиита времен Екатерины. Для этого оказалось достаточным изоритмично переделать третью строку цитированной строфы. Вместо:

Как наших дней певец, славянский бард дружины ¹
 вывести на терпеливой бумаге:

Как древних лет певец, как лебедь стран Эллины ²

¹ ПСС. Т. I. С. 412.

² ПСС. Т. I. С. 435.

Однако такая профанация текста не проходит для автора безнаказанно. Что это за «Эллины»? Легко понять, что Эллада. Но нет таких «стран Эллина»! Это слово — выдумка. Ну, ладно, новичок не справился с рифмой на «Екатерину». А как быть с тем, что обращение к древней Элладе вместо России вносит путаницу в контекст? При чем тут античность, когда речь в «Воспоминаниях...» зашла о подвигах русских в борьбе с Наполеоном?.. Времени переделывать еще и контекст не оставалось. Видимо, Александр решил: а! и так сойдет...¹ Мелочь. Кто обратит внимание? Он же не знал, что каждое его слово потом двести лет будут изучать во все микроскопы славянского мира. А потому, переадресовав концовку Державину, автор переписал оду в единственном экземпляре, прочитал на экзамене и вручил гостю.

Действительно, никто — особенно на слух — не уловил тех несуразностей, которыми Бог отметил изобретательного «шельму». Зато всех поразили масштаб и мощь выраженного в стихах патриотического чувства, составлявшего тогда воздух времени. «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»²

Спустя несколько месяцев ода была напечатана в журнале «Русский музей» с примечанием редакции: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, талант которого так много обещает».³ В конце концов Пушкин вообще убрал заморочившую его строфу, так, что оба адресата вошли в канонический текст: Державин прямым упоминанием, а Жуковский красноречивым намеком.

¹ Вл. Ходасевич Путем зерна. М., 2000. С. 425.

² ПСС. Т. VIII. С. 48.

³ ПСС. Т. I. С. 434.

ГОЛОС СЕРДЦА ИЛИ УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОЙ РУКИ?

Предположительно в воскресенье 2 февраля 1830 года в Петербурге Пушкин пишет по-французски черновик письма к неизвестной возлюбленной. Под вопросом, и дата и дама. Но поскольку утром он получил записку от Каролины Собаньской с предложением встретиться в понедельник вечером, то есть завтра, то вероятным адресатом пушкинского послания считают именно ее.

Каролина Собаньская (Лоли), урожденная графиня Ржевуская — правнучка королевы Франции Марии Лещинской по обеим ветвям генеалогического древа — и отцовской и материнской — происходила от воевод, гетманов и маршалов Польши. А Пушкин преклонялся перед старой аристократией, благородством происхождения. Но кроме того, Каролина отличалась редкой красотой, элегантностью, чарующим красноречием и тем, что называется «искусством жить». Предводитель провинциального дворянства Иероним Собаньский послужил лишь трамплином в авантюрной карьере быстро набиравшей жизненного опыта прельстительной пани. Ее покровителем сделался граф Витт — начальник военных поселений и тайного сыска на юге России. Она носила презренное в свете клеймо его наложницы, подозревалась в том, что сдавала ему декабристов, что ее салон в Одессе служил «полицейской ловушкой», и при этом ее воспевали Мицкевич и Словацкий, а Пушкина она просто приворожила. Перед ней он совершенно робел и мучился жгучей ревностью. По мнению Ахматовой, Лоли обладала над Пушкиным демонической властью. Он боялся ее и тянулся к ней. Это была любовь-страсть. Он закрывал глаза на ее репутацию и числил себя ее единственным верным другом.

Когда твои молодые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права, —

Один, среди толпы холодной,
Твои страдания я делю...¹

Но не только в Одессе начала 20-х, а и в Петербурге 30-го года, сватаясь к Гончаровой, он еще любит Каролину, хотя любовь эта уже и окрашена в элегические тона, в плач по несбывшемуся счастью.

5 января 1830 года Александр записал в альбом к Лоли:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.²

А 2 февраля утром от нее приходит записка по-французски:
«В прошлый раз я забыла, что отложила до воскресенья удовольствие видеть вас. Я упустила из виду, что должна буду начать этот день с мессы, а затем мне придется заняться визитами

¹ ПСС. Т. III. С. 136.

² Там же. С. 155.

и деловыми разъездами. Я в отчаянии, так как это задержит до завтрашнего вечера удовольствие вас видеть и послушать вас. Надеюсь, что вы не забудете о вечере в понедельник и не будете слишком досадовать на мою докучливость, во внимание ко всему тому восхищению, которое я к вам чувствую». ¹

Нас не должны вводить в заблуждение ни предупредительные сетования на докучливость, ни тем более общая вежливость тона. Вспомним, что Пушкину пишет графиня, в чьих жилах течет кровь французских королей. Скорей нам следовало бы обратить внимание на несколько любопытных оборотов речи: *отложила... удовольствие; упустила из виду; придется заняться...* Все эти мелкие оправдания свидетельствуют не столько об *отчаянии* не видеть адресата до понедельника, не столько о *восхищении*, питаемом к нему, сколько о том месте, которое он занимает в жизни Каролины: после *мессы, визитов, деловых разъездов*. При всей лаконичности записки, впечатление такое, что Лоли сказала в ней всё, что хотела.

Ответное письмо Пушкина, несравненно более интимное и полное, тем ни менее начинается как бы с середины и обрывается на полуслове...

«...Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания, итак я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас.

Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы — демон, то есть *тот, кто сомневается и отрицает*, как говорится в Писании.

В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить — в течение целых 7 лет. Зачем?

¹ Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Составитель Г. И. Долдобанов. Том первый. Книга вторая. М., 2001. С. 234.

Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною. Не говорите же мне больше о нем, ради Христа. — В угрызениях совести, если бы я мог испытать их, — в угрызениях совести было бы какое-то наслаждение — а подобного рода сожаление вызывает в душе лишь яростные и богохульные мысли.

Дорогая Элленора, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть. — Дорогая Элленора, вы знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и всё, что есть в нем самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная, очень искренняя, — и немного робости, которую я не могу побороть.

Я прекрасно знаю, что вы подумаете, если когда-нибудь это прочтете — как он неловок — он стыдится прошлого — вот и всё. Он заслуживает того, чтобы я снова посмеялась над ним. Он полон самомнения, как его повелитель — сатана. Неправда ли?

Однако, взявшись за перо, я хотел о чем-то просить вас — уж не помню о чем — ах, да — о дружбе. Эта просьба очень банальная, очень... это как если бы нищий просил хлеба — но дело в том, что мне необходима ваша близость.

А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор — прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. — Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности.

Но что такое душа? У нее нет ни взора, ни мелодии — мелодия быть может...»¹

¹ ПСС. Т. X. С. 631, 632.

Опыт подсказывает, что Пушкин, как никто, умел самое серьезное размышление обратить в шутку, а самый иронический пассаж перевести в строки, полные строгого смысла. Опыт подсказывает, что порой вообще бывает трудно понять, смеется он или говорит всерьез. Что — где? Утверждение, будто весь Пушкин покоится на артистическом розыгрыше и пародийности, насквозь пронизан иронией, столь же верно, как и утверждение, что трудно найти сочинителя более искреннего и глубокого, серьезного и сострадающего. Смены регистров происходят у него всегда неожиданно и незаметно. Поэтому и приведенное выше, оборванное посреди строки письмо располагает не к одному, а к двум прочтениям.

Первое. Голос сердца

Трудно не поверить в искренность пишущего человека, которому, по его словам, легче излагать свои мысли на бумаге, чем произносить их вслух. Тем более, если этот человек робеет и теряется в присутствии дамы. Тем более, если она им играет, иронизирует над ним. Женская ирония вообще раздражает мужчину. Он не может мириться с ней до бесконечности. Особенно, если сам склонен к насмешке. На дамские «шпильки» он отвечает «пустыми шутками», вынужденной пикировкой, жертвуя ради этого искренностью чувства.

Но Каролину отличает не только ироничность. Ею правит дух сомнения, дух отрицания, то есть *демон*. Что она сказала Александру «в последний раз» неизвестно. Но известно, что цель ее признания осталась ему непонятной. Он сожалеет об упущенном счастье, берет вину на себя, поскольку все его мысли, связанные с Каролиной, яростны и богохульны, однако никаких угрызений совести испытать не может. Она вызывает в нем страсть, а не угрызения совести. Он не приемлет «жестокость и бурность» ее натуры, однако всё ей прощает, поскольку беспомощен перед ее чарами. По его мнению, она уверена, что им самим правит *сатана*, такой же гордец, как и он сам, однако ее демон сильнее и всегда побеждает. Их роман — это схватка демона и сатаны, исход которой предreshен. Демон вселён в женскую

плоть, сатана — в плоть мужчины. Она может обойтись без его близости, он без ее — нет. Она дразнит и обольщает, он страдает и мечется. Во имя одного ее прикосновения готов он сменить веру. Как рабыня, его душа боится ее души и не надеется, что когда-нибудь встретит ее на загробных путях...

Самой сильной страстью Пушкина и, может быть, его единственной любовью считала Каролину Ахматова. Потому серьезность этого послания для нее несомненна. В нем звучит голос сердца.

Второе. Упражнение для правой руки

Вместе с тем контекст человеческой и творческой личности Пушкина допускает совсем другое прочтение того же письма. Влияние этого контекста таково, что заставляет по-иному взглянуть на некоторые фрагменты послания.

Уже первые его звуки способны быть восприняты, как камертон дон Жуана: «...я могу думать только о вас».

Дальше выводятся на чистую воду ироничность, лукавство и демонизм предмета любви. Причем со ссылкой на Священное Писание.

Пушкин вспоминает, что когда-то они с Каролиной вместе читали вслух роман Константа «Адольф», где действует героиня по имени Элленора. Этим именем просит он позволения называть Лоли. Теперь мы зададим себе вопрос: «Зачем?» Обращение «дорогая Элленора» звучит настолько литературно, что может годиться только в качестве театральной маски, призванной подчеркнуть комедийную напыщенность тона. Могут сказать, что это имя — дорогое личное воспоминание, но разве оно стало бы менее значимым без маскарадной замены Каролины на Элленору — замены едва ли уместной в послании, где звучит голос сердца?

В следующем абзаце пылкий влюбленный вовсе забывает, зачем он взялся за перо. Он хотел о чем-то попросить свою Киприду: о чем же?.. «ах, да — о дружбе». При этом он осознает всю банальность просьбы, поскольку им движет до простоты очевидная причина — жажда близости. Память возвращает его в ноябрь 1823 года, когда во время крещения маленького графа Воронцова Лоли обмокнула пальцы в купель и, смеясь, коснулась

ими лба Александра. Никогда не чуравшийся фривольных шуток, он утверждает, что это прикосновение обратило его в католика.

А дальше он сам начинает дразнить ее, говорить ей гадости по поводу будущего ее красоты и рисует ей судьбу ее исчезающей души в ясновельможном саду «опавших прелестей»...

Тема «души» погружает автора в философствование, совсем постороннее для любовного письма; впрочем, развивать эту тему он не намерен... И письмо остается не отправленным. Почему? Может быть, потому, что оно и не предназначалось к отправке, изначально задуманное, как некая тренировка в изъяснении чувств; проба пера; как упражнение для правой руки, а вовсе не само изъяснение?

Ахматова не верит в то, что изошренность дон Жуана в желании склонить Киприду к взаимности доходит до такой степени, но полностью исключить эту уловку не может.

Отношения Александра с Лоли по-своему отразились в отношениях Онегина и Татьяны. Татьяна («Без взора наглого для всех, / Без притязаний на успех») могла бы явиться анти-Каролиной. Никогда не пришла бы автору в голову причуда назвать Таню именем, подобным Элленоре. Вспомнив восхитительную пунцовую току Лоли со страусовыми перьями, он в дань ее шарму мог вложить в уста Онегина, не узнающего Татьяну, слова:

«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»¹ —

но даже внешне Лоли не в состоянии затмить Таню, в которой всё так тихо и просто. Случайно ли автор свел их вместе на балу?

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;

¹ ПСС. Т. V. С. 148.

И верно б согласились вы,
 Что Нина мраморной красою
 Затмить соседку не могла,
 Хоть ослепительна была.¹

Как немногие из оригинальных художников, Пушкин создал в искусстве свой идеал женской красоты, сочетавший в себе внешнюю привлекательность с умом и душевной грацией. И этот идеал — Татьяна. Голос сердца — там. Но назвать Каролину анти-идеалом тоже нельзя. Анти-идеал должна была бы воплощать некая дама — карикатурная внешне, недалекая и бездушная. Каролина же царственна, как богиня, изобретательна и по-своему одушевлена. Однако красота ее — холодный мрамор; у нее ум авантюристки, комбинирующей свои беспроигрышные варианты; на них и нацелена ее одушевленность. Несчастье в том, что Татьяну Пушкин создал в воображении, а Каролину встретил в жизни. Воображаемая Татьяна сама его создала, вызывала к жизни всё лучшее, что было в нем, а реальная Каролина его разрушала, и он это вполне понимал, но у этой разрушительности была волнующая магия бездны, обольстительный демонизм, тревоживший и притягивавший сердце, потому-то скорее всего упражнение для правой руки прерывалось искренними признаниями и возобновлялось с прежним азартом разнообразными маскарадами пера, созвучными тому яркому и жестокому карнавалу, в который увлекала его славянская «Клеопатра».

ПОЭТ

Занятый текущей литературной работой, решением конкретных художественных задач, Пушкин не слишком философствовал по поводу того, как он пишет. Почему у него получается? Откуда что берется? Кто заботится о том, чтобы рог изобилия,

¹ СС. Т. V. С. 148.

сыплющий фантазиями, прозрениями, любовными посланиями, иронией, мелодиями, рифмами, не оскудевал, а веселость духа не покидала сочинителя? Пишется, и слава Богу. Получается, и хорошо. Берется, и спасибо. Но факт состоит в том, что по-настоящему пишется не всегда. От времени до времени. А как быть в промежутках, когда неверная муза то впадает во фривольное балагурство, то капризничает, то острит некстати, а то предается недостойному себя гневу или надолго пропадает вообще, забыв предупредить, когда вернется?

...Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет;
 Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
 По капле, медленно глотаю скуки яд.
 Читать хочу; глаза над буквами скользят,
 А мысли далеко... Я книгу закрываю;
 Беру перо, сажу; насильно вырываю
 У музы дремлющей несвязные слова.
 Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
 Над рифмой, над моей прислужницею странной:
 Стих вяло тянется, холодный и туманный.
 Усталый, с лирою я прекращаю спор...

Мудрый вывод. Пререкаться с лирой бесполезно. Будить дремлющую музу — напрасный труд. Хоть ее «клиентура» — ты, но правá всегда она. И если молчит, то лучше не дразнить, не тревожить. А молчит она не только тогда, когда ворчат пушки. Ей не в тягость надолго умолкать и в мирной тишине. Ее не беспокоит, что барский гусь давно гуляет по двору без одного пера; что чернильница сохнет; а стопка бумаги покрывается пылью. Нет, и всё!

Но, по счастью, молчание способно чудесным образом прерываться. И виною освобождения от печатей безмолвия служит некое состояние, родственное тому, которое мог испытать Адам, когда Господь вдунул дыхание в розовую глину только что слепленной плоти. На досуге почему бы не улыбнуться этому волшебству и дать вполне «афеистическое» толкование феномена, без которого

не обошелся акт творения первого человека, без которого не звучит и всякое заслуживающее внимания лирическое высказывание?

«Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных».

Главное условие, снимающее печати с уст поэта, названо: вдохновение. Ну, и что? А что дальше? А дальше — ничего.

Понимание не означает умения. Землю плющит с полюсов от названных, но не воплощенных идей. Я могу сколько угодно признавать роль вдохновения, только к чему мне такое знание, если не ясно как вызвать само чувство — «расположить душу к живейшему принятию»? И по силам ли это кому-нибудь вообще?

Самое интересное, что и Пушкин не умел («Куда как весело!..»), и никому не по силам. А что же тогда он мог?

...Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
 Махая гривой, он всадника несет,
 И звонко под его блистающим копытом
 Звенит промерзлый дол, и трескается лед.
 Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
 Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
 То тлеет медленно — а я пред ним читаю,
 Иль думы долгие в душе моей питаю.

И забываю мир — и в сладкой тишине
 Я сладко усыплен моим воображеньем,
 И пробуждается поэзия во мне:
 Душа стесняется лирическим волненьем,
 Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
 Излиться наконец свободным проявленьем...

Если бы ни образная яркость и музыкальность; если бы ни естественность в последовательном разворачивании чувства (содержание «Осени»), мы заметили бы насколько искусно построены ее строфы с их тройными рифмами, с их безупречным чередованием женских и мужских рифм в нечетных строфах, а мужских

и женских — в четных. Но мы этого не замечаем, потому что всецело поглощены элегическим состоянием природы в то время года, когда вдохновение наиболее благоволило Пушкину; потому что в приведенном отрывке нас привлекает подробное описание самого вдохновения стихами, исполненными вдохновения.

Но, увы, и они не учат как его достичь. Скакать на коне по вечерним полям под первыми звездами меркнувшего неба? Зажигать огонь в камине? Читать? Усыпляться воображением?..

Смешно.

От космического до комического всего одно эс.

Оставим тайное тайне и не будем пытаться разгадывать неразгадываемое.

Но что бесспорно следует из прежде нами сказанного, что подтверждено практикой поколений, а не одного Пушкина, так это то, что вдохновение не рождается усилиями воли. К нему можно взывать, однако его нельзя вызвать. Как бы странно это ни звучало, но нечто, исполненное страстного волевого порыва, возникает из полнейшего безволия. Привычные нам атрибуты военной и дипломатической деятельности, истории спорта, такие как *принуждение к миру, учтивое выкручивание рук, волевая победа* неуместны в отношении духовных субстанций. Обаяние торжествующей силы безбожно. И потому оказывается, что когда от материального мира захваченных твердынь, прикупаемых или отторгаемых территорий, олимпийских ристалищ мы переходим к понятиям нерукотворным, воля выпадает из игры, и животворящей становится для нас покорность судьбе, а вовсе не вызов ей.

Творческий акт безволен.

Из этого центрального положения следуют три вывода.

Первый вывод. Художественное открытие, подвластное вдохновению, дается не ценою долгих, целенаправленных поисков, но обретается вдруг, как бы случайно. Само. Без усилий. И возможно совсем не там, где его ожидали. И возможно совсем не то, которое предполагалось людьми острого ума. Ум ценен, вдохновение бесценно.

Говорят, что монахи Свято-Пафнутьева Боровского монастыря знают: где-то в пределах монастырских стен много веков

покоится в земле чудотворная икона, спрятанная древле от вражеского нашествия. Казалось бы, чего проще? Перекопай монастырский двор и найди святыню. Но нет. Этого братия позволить себе не может. Согласно церковному пониманию, икона должна явиться сама, по собственной воле, не найденная, но обретенная. Тогда подтвердит она свою чудотворность. А всё, что добыто людским умом и хитростью, прилежностью и упорством; всё, что разрыто и найдено, чудотворность непременно теряет. Так и слово. Поэт не находит слова. Он их обретает. Если слово — икона смысла — изымается силой из перерытого словаря, оно тоже теряет свой чудотворный дар.

Значит, первое, что связано с безвольностью творческого акта, состоит в способности к художественному открытию. Открытию не придуманному, но беспристрастному, возникшему по собственному желанию, а не по нашему произволу.

Вывод второй. Посмотрим под этим углом зрения на пушкинского «Пророка». В тридцати строках сплошного, не разделенного на строфы столбца нет ни единого слова, насильно вырванного из словаря, и потому каждое сохранило собственную и совместную чудотворность. Сочетание современной Пушкину, а, значит, во многом и нам, лексики с лексикой древней, церковно-славянской, поскольку речь идет о пророке ветхозаветном, не нарушается нигде от первой до последней строки стихотворения, являя собой образец избранного стиля.

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Глагол *влачился* вовсе не найден среди возможных (например, *скитался*), но обретен; и обретен не как допустимый, а как единственный. Его единственность подкрепляется крайней истомленностью путника. *Влачился* передает бессилие убедительней, зримей, чем *скитался*. Скитаться можно и не влачась, и не страдая от духовной жажды. Кроме того, приоритет глагола *влачился* поддерживается звуковой перекличкой с тем, что пустыня *мрачна*. Божественный глагол!

Серафим коснулся *перстами зениц* пророка, и они *отверзлись*. Не глаза открылись, чтобы увидеть мир вокруг, а зеницы отверзлись, чтобы узреть земное — открытое взору *прозябанье дольней лóзы* и потаенный, а потому не зримый *подводный ход морских чудовищ*; чтобы узреть небесное — *горний полет ангелов*. Все эти обозначающие не вычитаны из словаря, не отысканы путем бесконечных переборов, манипуляций словами, но обретыны в момент вдохновения как видения творческого духа поэтом, еще не воплотившимся в пророка.

А дальше Пушкин творит сущее чудо. Если следующие десять строк перевести на язык медиков, то серафим дважды препарирует пустытника. Вначале вместо языка вживляет ему змеиное жало, а потом, рассекши грудь, вынимает сердце и вводит внутрь горящий уголь. Поразительно, но эти, кажется, не подлежащие никакому эстетическому изображению операции, отняты автором у физиологии и возведены в ранг духовной поэзии.

И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный и лукавый,
 И жало мудрыя змеи
 В уста замершие мои
 Вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассек мечом,
 И сердце трепетное вынул,
 И уголь, пылающий огнем,
 Во грудь отверстую водвинул.

Жало и пылающий уголь — две фантастические метафоры преобразования поэта в пророка. Оно происходит именно здесь.

Как финальный аккорд, звучит Божий глас — призыв к но-вообращенному:

Восстань... виждь... внемли...

И, наконец, главный для нас предпредпоследний стих:

Исполнишь волею Моей...

Моей, а не своей. *Божьей*, а не человеческой. *Небесной*, а не земной.

Значит, безвольность творческого акта, справедливая по отношению к поэту, обуславливает его покорность иной, высшей воле. Волевое начало передается от малого творца к Большому, оно исходит уже не от поэта, но от Бога. Большой Творец говорит устами того, кто смирил гордыню, упразднил в себе амбиции создателя и стал свободен для восприятия воли Большого Творца.

Так устами Пушкина заговорил Господь, и за двести прошедших с той поры лет ни один атеист не сыронизировал по поводу того, как это возможно; и ни один верующий не счел это кощунственной дерзостью. Мир принял воплощение поэта в пророка, услышавшего голос Творца.

Между тем никакого пророчества в стихотворении нет. Есть только призыв *жесть глаголом сердца людей*. Но никакое пророчество и не требуется там, где происходит духовное преображение; где творческий акт состоит не в предсказании, а в перевоплощении. Цена вдохновения потому так высока, что оно дается поэту только тогда, когда он исполняется не собственной волей, а волей Воззвавшего к нему.

Вывод третий. Авторское безволие снимает с автора заинтересованность в заранее заданных ответах, делает его открытым правде. Но именно поэтому принцип авторского безволия неприемлем для тех, кто видит в искусстве инструмент решения актуальных практических задач; кто ориентируется на конъюнктуру рынка мнений; кто существует в сфере текущих выгод, а не чистых истин. Прагматиков не устраивает, что этот принцип выводит автора из-под их контроля, а всю ответственность перекладывает на неощутимую и никому неподвластную стихию — *волю Божью*. Автор — вот он. Из плоти и крови. Есть с кого спрашивать. Кому вменять в вину. А как спросишь с Бога? Божий дар художника, если он не отвечает интересам начальствующих, служит для них камнем преткновения, источником

вечных конфликтов, зато именно он и есть способность поэта улавливать в момент вдохновения проросшую Словом волю Воззавшего.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

А пока Аполлон не замечает своего служителя, тот *погружен в заботы суетного света*, волнения житейского моря. Когда реальная жизнь ввергает художника в круговерть, основанную на борьбе интересов, слух его закрывается от Божьего гласа, он развязывает руки собственной воле и теряет права на вдохновение. Пушкин острее других понимал и чувствовал это как раз потому, что обладал даром воспринимать божественные глаголы.

До сих пор говорилось о наличии и взаимодействии двух воль — воли автора и воли Творца. Проблема автора состояла в том, чтобы ценой собственного безволия дать проявиться высшей воле. Однако взаимодействием этих двух воль в душе художника дело, как видим, не ограничивается. В игру вступает третья сила — желания тех, кто полагает, что независимость вдохновения — ложь для легковерных, что нерукотворное управляемо, что в длинных и твердых дланях оно поворачивается, как рулевое колесо. Речь об отцах-командирах. Таковым для Пушкина был его личный цензор император Николай Павлович, а были и начальники помельче. Третья сила — это уже воля посторонняя поэту, чуждая ему, требующая от него принять ее вместо Бога. Последствия оказанных ею благодеяний, особенно в России минувшего века, измученной бесчинствами войн и социальных нестроений, отданной на откуп матерым материалистам, испытали поколения мастеров, что, наряду со многим чем еще, привело к такой деградации культуры, когда вернувшийся с парада Николай Павлович в кресле пушкинского контролера, облокотившийся на том «Илиады», воспринимается как эталон просветительства.

Страшно подумать, что было бы, если бы Петру не привезли в Россию Абрама Ганнибала... Но его привезли!

СТАРЫЙ САД

Что такое: восприятие мира художником?

В чем секрет гармонии искусства и природы; той гармонии, которая воплощается в каждом состоявшемся творческом акте?

По какому «гамбургскому счету» испытывает художник сделанное им?

Попытаемся понять это на примере одного пейзажа, частного наблюдения, поднявшегося до высоты обобщенной метафоры.

Обратимся к шестой главе «Мертвых душ» — гоголевскому описанию сада в имении помещика Плюшкина.

Освежающая живописность опустения

Бричка коллежского асессора Чичикова въезжает в большое село, выбирает направление барского дома и далее вдоль него, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, катит к воротам. Дом выглядит каким-то *странным замком*, непомерно растянутым и дряхлым, да и крестьянские избы поражают своей убогостью. Они чернеют *даже не живописно*. В изломанности, растресканности, косине и шаткости всего вокруг взгляд ни в состоянии уловить и намека на красоту, хотя бы давнюю, былую. Красота убита нищетой и какой-то вопиющей безвкусицей городьбы, нагроможденной кругом. Сразу видно: здешний человек в силах попать природу, но не может соединить ее с искусством, поскольку искусство ему не ведомо.

Однако такое невыгодное впечатление о местоположении усадьбы длится ровно до тех пор, пока путник и неразлучный с ним автор не обращают внимания на нечто, раскинувшееся за барским жилищем.

*Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казался, один освежал эту обширную деревню...*¹

¹ Здесь и далее цитируется по изданию: Н. В. Гоголь Собрание сочинений в шести томах. Том пятый. М., 1949. С. 111–113.

Если бричка не объехала сад со всех сторон, а сад обширный, и она его не объехала, потому что Чичиков едет по делу, ему некогда осматривать сады, то откуда тогда известно, что сад выходит за село и пропадает в поле? Буквально автор этого не видит, тем более, что сад уже давно скрыт за домом, но он это *знает*, и из этого знания он «видит» обращенным в себя взором, остротой и резкостью превосходящим взор во вне, что из всего вокруг сад

один был вполне живописен в своем картинном опустении.

Своеобразная красота сада — красота *опустения*, по всей вероятности, настолько безразлична Чичикову, насколько поражает автора, и Гоголь, пользуясь правом авторских отступлений, надолго покидает своего героя.

Освежающая живописность опустения — вот первая, самая общая мысль, которая возникает при виде плюшкинского сада. И мысль эта парадоксальна. Опустение освежает, опустение живописно. Не хозяйственный порядок, наполненный привыкшими к своим местам вещами, но опустение, заросшее, заглушённое отпущенной на волю природы. Какое противоречие с *не живописной* чернотой человеческого бытования! Казалось бы опустение и тут и там, но сад освежающе живописен, а деревня до затхлости безобразна. В чем дело?

Зелеными облаками и неправильными трепетolistными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев.

Купола (купы) *трепетolistны* (гоголевский эпитет) и *неправильны* — еще один грошик в копилку запустения. «На свободе» деревья так разрослись, что их купы стали мешать друг другу, и *купола* переплелись, искривились.

Береза

Если, говоря о границах сада, Гоголь *знает* больше, чем *видит*, то отныне и до конца отрывка он *видит* больше, чем *знает*; и его видение превращается в знание. Но чтобы столько и так

увидеть, надо по крайней мере допустить, что бричка остановилась, и зачарованный автор вышел из нее к неудовольствию своего героя — скупщика мертвых душ, спешащего сделать очередное «взаимовыгодное» приобретение.

Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна;

Первая ассоциация с искусством: березовый ствол круглился (гоголевский глагол), как мраморная колонна, и колонна правильная в отличии от древесных куп: на их кривизну влияет их собственная экспансия — безграничная экспансия живого, а круглящаяся правильность ствола, его твердая геометрия и отполированная белизна находятся в руках скульптора. Оставаясь живым, ствол уподоблен произведению искусства и потому обретает классическую правильность. Именно здесь и начинаются ответы на вопрос: «В чем дело?» Пейзаж вбирает в себя искусство, пока только как уподобление. Деревня к подобным сравнениям не располагала.

А метафора разворачивается дальше:

косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица.

Вероятно, сравнение ствола с колонной показалось Гоголю слишком простым, и он усложнил его капителью излома, который *темнел на снежной белизне*, но мало того, что темнел, а еще и темнел, как *черная птица*.

Хмель

Статика древесных куп, неподвижность березовой колонны волшебным образом оживляются вьющимся хмелем. Согласно одной из этимологических версий, слово *хмель* означает «шарящий, ошупывающий». Завиваясь вверх по часовой стрелке, растение как бы шарит в воздухе, ошупывает его, выбирая вектор и угол подъема. Можно пошутить, что оно точно само «под хмельком»

в поисках пути, подобно гуляке, «взвинтившемся» от кружки хмельного пива.

Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола,

В нашем представлении *частокол* — нечто мертвое: забор из частых кольев или штакетника, защитная городьба. Гоголь расширяет значение слова, перенося его на живую природу, подчеркивая, насколько густыми были заросли бузины, рябины и лесного орешника: как частокол, сквозь который не пробраться.

А хмель, стлавшийся пónизу,

взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других деревьев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом.

Массивное (деревья, ствол березы), сцепившееся густое (кусты внизу) оживляются подвижным и почти невесомым хмелем, легко колеблемым от воздушных дуновений.

Мелькающее в глубине

Историк литературы Павел Анненков, друживший с Гоголем и живший у него в Риме летом 1841 года, когда писатель работал над «Мертвыми душами», приводит его слова: «Если бы я был художник, я бы изобрел особого вида пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут. Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!»¹

Обратим внимание на то, что, по Гоголю, пейзаж не копия природы, но изобретение художника. Пейзажи изобретают, а не списывают с натуры. Художник пишет, а не фотографирует. Мастер нужен не для того, чтобы провести зрителя между подстриженными боскетами регулярного французского парка,

¹ П. В. Анненков Литературные воспоминания. М., 1989. С. 77.

реального, тотчас узнаваемого, а для того, чтобы заманить знатока в чащобу своего воображения: сцепить деревья — перепутать ветви — выбросить свет! Работая над шестой главой «Мертвых душ», автор предоставил себе такую возможность в литературном пейзаже — в описании сада Степана Плюшкина, хотя первотолчком Гоголю, вероятно, послужил подмосковный сад известного скопидама историка Погодина и он сам — но только первотолчком, а не моделью для копирования.

Читаем дальше.

Местами расхотелись зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью,

Если озаренные солнцем зеленые чащи не смыкаются, а *расходятся*, то мы вправе ожидать, что там — в прогале — всё станет наполнено светом. Ан нет. Совсем наоборот. Чащи расходятся, чтобы обнажить тьму — *углубление, зиявшее, как темная пасть*. Игра света в природе причудливей наших представлений о ней. Блеск и тени, отсветы и трепетания пятен бывают сказочно необъяснимы так, что художнику в их изображении остается лишь довериться своей интуиции, и она его не подведет. Вот и здесь: неосвещенное углубление возникает в картине сада там, где казалось бы всё должно было быть залито солнцем. Но этого не происходит. Однако углубление не поглощает и абсолютный мрак. Именно оно в своей приоткрытой, брезжущей сокровенности оказалось центром композиции, насыщенным действующими лицами этого на диво изобретенного пейзажа:

и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник,

Подумайте, сколько всего лишь *чуть-чуть мелькает в черной глубине!* Сколько всего тонет в полумраке, окутанное магией прошлого, страхом чащобы, тайною старости! *Узкая дорожка. Обрушенные перила. Пошатнувшаяся беседка. Дряхлый ствол. Седой чапыжник...* И всё несет на себе следы минувшей или

приближающейся к своему исходу жизни. Искусство проявляется здесь уже не метафорически (сломанный березовый ствол, как колонна с капителью), а наяву, в остатках садово-парковой архитектуры (дорожка, перила, беседка). Плюшкинский сад не есть порождение одной только природы. Когда-то искусство зодчего касалось его черт, придавая известный комфорт естественному ландшафту. Однако ныне, лишенный этого комфорта, старый сад выглядит куда более трогательным, нежели выглядел бы он размеченный широкими, чисто выметенными аллеями, разгороженный мостиками под новенькими перилами, украшенный беседкою, блестящей липкою еще краской. Нет, здесь речь не о парковом комфорте, но о течении жизни. Время мирволит стихийному разрастанию одного живого, глушащего другое живое, и увяданию, рассыпанию, забвению людских творений, и мы ощущаем это со смешанным чувством вызова и печали.

Потому-то сходит на нет тот самый чапыжник,

*густой щетиною вытыкавший (гоголевское причастие) из-за ивы
иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся
листья и сучья,*

Здесь — в литературном пейзаже — воплотилась авторская мечта. «Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви...» Перепутал, сцепил. А какая пугающая и шипящая звукопись чащи наполняет саму музыку речи: *...щетиною... иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся...*

Так по крошке, по щепотке, по мазку складывается картина, исполненная Божьего дара. Сломленная береза, вьющийся хмель, иссохший чапыжник —

и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листья, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте.

«Я бы <...> выбросил свет, где никто не ожидает его...» Выбросил. Озарил всю напряженно сгустившуюся темень. Нашел

и ярко поставил в ней свой внезапный акцент. Солнечно зажег и высветил пятипалый кленовый лист!

Осталось бросить взгляд в сторону, словно выбравшись из надолго затянувшей нас глубины, чтобы увидеть как

В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороны гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями.

И странно, но эти безжизненно повисшие, надорванные ветви с редкой, уже помертвевшей листвой, не разрушают, а лишь оттеняют ощущение прекрасного, вызванное всем предыдущим, и тоже становятся неотъемлемой чертой пейзажа, как неременная часть круговорота жизни и смерти.

Секрет гармонии

Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо-ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает не скрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создано в хладе размеренной чистоты и опрятности.

Тоголь сам отвечает на вопрос: «В чем дело?» Почему запущенная деревня безобразна, а запущенный сад прекрасен? Деревня лежит в пыли, в грязи, в разрухе. Ее хочется вычистить, сделать аккуратной. Но чистота и опрятность холодны. Они должны быть нарушены, степлены, только нарушены не нарочито, а естественно. То, что в деревне — не выметенный мусор, то на дорожках сада — уклонившаяся от нашей опеки красота опавшей листвы. Стихийность разрастания следует укротить, однако план укрощения не должен быть *нагим*, правильно-однообразным, как умышленная разметка версальского парка с его утомительной, нигде не нарушаемой симметрией аллей, боскетов, клумб и фонтанов. Версаль — антипод русской деревни, но противоположности

сходятся. Труд человека (часто грубый, бестолковый или организующий пространство по формальному признаку) вторгается в природу с тем, чтобы ее поправить (помещичья деревня) или с тем, чтобы ее уныло упорядочить и тоже подчинить себе (Версаль), но природа противится такому беззастенчивому вмешательству в свои права и, пользуясь случаем (нерадивостью хозяина), корректирует планы зодчего (сад Плюшкина).

А, впрочем, какой сад? Откуда — сад? Где вы видите цветущие яблони? Где ягоды, наливающиеся вишневым соком; ветви сливы, обламывающиеся под тяжестью подернутых инеем плодов? Куда делись торчащий крепкими иглами крыжовник и кусты ежевики? А цветы? Может быть, это сад цветов? Но ни на один из них нет и намека. Разве березу и осины теперь называют садом? Это — сорный лес, предшественник благородной дубравы, которая, Бог даст, произрастет здесь еще через сотни лет. Или садом отныне считают заросли бузины, рябины, *лесного* орешника? Да это не сад Плюшкина, а лес Плюшкина! В лучшем случае — заросший парк Плюшкина. Отчего же Гоголь назвал его садом, предваряя наше знакомство с барским домом, который доведен хозяином-скаредом до того же состояния, что и его деревня? «Юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова» (Анненков), позволил автору скрыть улыбку под изобразительной мощью и серьезностью описания. Пейзаж не написан с натуры. Пейзаж не воспроизведен по памяти. Он придуман, и выдумка с оттенком юмора дала возможность переименовать лес в сад. К тому же когда-то, в стародавние времена сад, действительно, мог быть на этом месте, но погиб, незащищенный от натиска дикой природы. Пейзаж смешан и переплавлен художником из разрозненных впечатлений виденного в разных местах, в разное время, но переплавлен с такой убедительностью, что по сравнению с достигнутой правдой вымысла уже сама, один к одному отгиснутая правда, покажется однобокой, почти вымыслом, ибо правда художника есть правда многообразная, многомерная, развернутая во времени, обогащенная другими правдами; такая, чья точечная конкретность поднимается до обобщенной метафоры.

Танец с зонтиком

Отдельная статья — отношение автора к своему произведению.

Опыт показывает, что в момент работы автор должен испытывать восторг перед тем, что и как он создает; чувствовать себя полубогом, маленьким спутником большого Творца, постигающим Его тайную волю. Чтобы увлечь других, необходимо самому жить собственным творением. Но когда точка поставлена, когда искра высечена, а дерзость исчерпана и пыл погас, взглянув на созданное холодным взором, автор способен дать более трезвую оценку сделанному. И тем не менее она может сколько угодно колебаться между хвастливой надменностью и ядовитым самоедством. Первое — противно для окружающих, второе — разрушительно для автора. Однако сознание значительности сделанного тобой принимает порою такое органичное выражение, которое благополучно минует обе крайности: и неловкость самовеличания и стрельбу отравленными стрелами по собственному престижу.

В Риме летом 1841 года Анненков ежедневно посвящал один час механическому, но волновавшему его труду — помогал Гоголю в качестве переписчика. Под торжественную диктовку автора он записывал набело «Мертвые души». Постепенно дело дошло до шестой главы, до фрагмента, интересующего нас в особенности.

«Никогда еще, — вспоминает Анненков, — пафос диктовки не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художественную естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом».¹

Завершив работу, он предложил: «...пойдемте смотреть сады Саллюстия... По светлomu выражению его лица, да по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа... Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца

¹ П. В. Анненков Литературные воспоминания. М., 1989. С. 66.

Барберини в глухой переулочек, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика оставалась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отзывалось удовлетворенное художественное чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою...»¹

Нет сомнения в том, что он вполне осознавал, какой *сад* явил силою воображения, ёмкостью и совершенством лирического высказывания, которые только усилились произнесением вслух этой музыкально организованной речи. Счастье от каскада поэтических открытий переполняло его, чтобы выплеснуться не в похвальном или самоумоляющемся слове, а в народной песне, в никому не ведомом танце с зонтиком посреди глухого римского переулочка, где, кроме Анненкова, никто не мог видеть танцора, и никто не мог разделить с ним его ликования. Счастье выплеснулось само собой, приняв неожиданную форму цирковой эксцентрики: как будто от избытка чувств заезжий клоун на свободно висящей проволоке, балансировал зонтом с такой рьяностью, что балансир не выдержал и разлетелся. Подобных мгновений в жизни художника, как и таких садов, не может быть много, и только он сам прежде и помимо общественного признания или приговора способен уловить, насколько удалось постичь ему дух Творца не в церковной молитве, не в Божественном песнопении, не в благопристойной проповеди, а в описании заглохшего, вымышленного сада, принадлежавшего никогда не жившему на свете скопидому — несчастному помещику Плюшкину.

¹ Там же. С. 66, 67.

МУРАВЬИНЫЕ ЯЙЦА СЛАВЫ (Дифирамбы бессмертному Козьме)

Козьма Прутков принадлежит к тем мистификациям, которые подлинней любой действительности. Он одновременно воспринимается нами в трех обликах: как исторический персонаж, как автор собственных творений, как вымышленный литературный образ.

Благодарнейший герой!

Биографу он дает шанс на жизнеописание квазифантома. Не чистого призрака, возникшего, скажем, из бумажной ошибки полкового писаря, подобно поручику Кижe у Ю. Тынянова, а *как бы* призрака, успевшего заключить такое количество земных связей, так войти в плоть и кровь поколений, что, понимая всю его фантомность, мы в нее не верим, а верим в его подлинность и тем создаем себе духовное поле редкой юмористической цельности, удивительного отдохновения.

Прутков вырос из обобщенного псевдонима четырех скрывшихся от нас остроумцев (братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого). Он принял под сень своего артистического имени плоды совместной литературной забавы этих досточтимых господ, стоявших за его спиной.

Он — званый гость на земном пиру. Есть у него свой характер, образ мыслей, своя судьба. Подлинность Козьмы подтверждена его служебным положением директора Санкт-Петербургской Пробирной Палатки, реального учреждения, располагавшегося по действительному адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, д. 28 (фасад здания существует и поныне). В этой «Палатке» тестировали золотые и серебряные слитки. Там же со своей семьей в 17-тикомнатной квартире проживало и начальство. Палатка, полная драгоценных металлов, курировалась министерством финансов, а ее директор был действительный *статский* советник (полковник), что ничуть не мешало Козьме Петровичу считать себя *тайным* советником (генералом) и внушить эту мысль всем окрестным городовым и дворникам, извозчикам и охтенкам. Никак не мог он согласиться с известным стихотворцем

нашим господином Пушкиным в одном из трёх пунктов, от которых упомянутый автор просил его избавить:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Назвать *любоначалие* — сокрытой змеей Прутков не мог бы и в страшном сне. Как? Да мыслимо ли?!. На любоначалии подчиненных и благосклонности начальствующих держится вся империя. Убери любоначалие = что же останется? Одни либеральные шпильки да вольнодумные колкости?.. Потому-то в морали к басне «Звезда и брюхо» автор наставляет читателя:

Но главное: не отставай от службы!
Начальство, день и ночь пекущеесь (так! — А. С.) о нас,
Коли сумеешь ты прийтись ему по нраву,
Тебя, конечно, в добрый час
Представит к ордену святого Станислава.
Из смертных не один уж в жизни испытал,
Как награждают нрав почтительный и скромный.
Тогда, — в день постный, в день скромный, —
Сам будучи степенный генерал,
Ты можешь быть и с бодрым духом,
И с сытым брюхом!..

Конкретность Козьме Петровичу придает и прослеженная нами в пяти коленах генеалогия дворянского рода Прутковых, их родовой герб с наказующими прутками на желтом фоне, лирой поэта на голубом и служебной печатью на красном. Разысканная родословная насчитывает семнадцать персон — предков и потомков Козьмы, не считая его супруги Антонидаы Платоновны (урожденной Проклеветантовой) и ее родственника Илиодора — охальника и кляузника, позже разоблаченного стихотворно от лица Козьмы Петровича (*Алексей Смирнов Прутковиада. Новые досуги. — СПб., 2011*):

Когда ты мелешь сущий вздор
 По поводу моих талантов,
 Мне жаль тебя, Илиодор
 Проклеветантов!

И самый подлый наговор
 Не возмутит мой профиль Дантов.
 Позор тебе, Илиодор
 Проклеветантов!

Кто оклеветывать остёр,
 Тому не место среди грандов.
 Сгинь с глаз моих, Илиодор
 Проклеветантов!

Замечено, что художник, берущийся за перо не только на досуге, может с неудовольствием относиться ко всякого рода отвлекающим его обстоятельствам. Так граф Алексей Константинович Толстой — литературный гигант, для которого соавторство в создании образа Козьмы всегда оставалось не более, чем приятной домашней забавой, с юности ощущал в себе поэтический дар. «*Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником...*»¹ Интересно, какие же «все» обстоятельства противились осуществлению призвания? Высокородность. Обязанности придворного сановника: Толстой — церемониймейстер императорского Двора — самого пышного в Европе, устроитель маскарадов, балов, фейерверков. Постоянный спутник государя Александра II, его друг и *советчик*, что куда задушевней, чем табельный *советник*. И всему этому блеску граф предпочел творческое уединение.

Не то Козьма Петрович. Он не только не чурался фейерверков, но ловил их малейшие блёстки. Праздник для него — окаяния наипервейшая. «Не для какой-нибудь Анюты // Из пушек

¹ Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. С. 53, 54.

делаются салюты». А служба государева? Да это же дар небес! Пока ты служишь, ты на коне. А как спешишься, так и очутишься под конем...

Служба!.. Никогда в жизни не приходило Козьме Петровичу на ум уйти с директорского поста по собственному желанию, да и кому придет? «Чертовски хочется работать!» — как сказал один секретарь ЦК, садясь в персональную «Чайку». Так и Прутков до конца дней своих оставался верен родной Палатке. Смертный миг встретил он на посту с канцелярским пером в руке.

Будучи крупным чиновником, человеком законопослушным, Козьма Петрович, между тем, уважал искусства, но уважал сугубо как досуг, и посвящал им непременно свои дни рождения: 11-е апреля. Однако, сколько же он успел натворить «на досуге»! Стихотворения, басни, эпиграммы. Мысли и афоризмы. Пьесы. А так же два бессмертных шедевра литературы и общественной мысли: «Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова (деда)» и «Проект: о введении единомыслия в России».

Художественная система Козьмы Пруткова покоится на трех китах: пародии, абсурде, глубокомысленной банальности. Прутков — непревзойденный мастер стилевой пародии, один из основоположников европейского абсурда, специалист по изречению ходячих истин. И все эти благодати сошлись в «Гисторических материалах» и «Проекте».

Начнем с «материалов». Здесь Козьма выступает не автором, но публикатором творений своего деда — отставного Премьер-майора и Кавалера Федота Кузьмича. В статье «Прутков» для энциклопедии Брокгауза и Ефрона философ Владимир Соловьев пишет: «Один из главных перлов “Полного собрания” (творений Козьмы Пруткова. — А. С.) — 17 старинных анекдотов (плюс 10 «не включавшихся в Собрание сочинений». — А. С.), которые представляют ма́стерскую пародию на “достопримечательности”, издававшиеся в XVIII веке в различных сборниках. Конечно, сам Прутков не мог бы так художественно воспроизвести варварский язык того времени и особую смесь пошлости и нелепости в содержании таких рассказов. Для этой

части прутковского творения создан особый автор — дед Федот Прутков, отставной премьер-майор, который под вечер жизни своей достохвально в воспоминаниях упражнялся, “уподобляясь оному древних римлян Цынцынатусу (Цицирону. — А. С.) в гнетомые старостью года свои”».

Удостоверимся в том, что эти упражнения поражают не столько потешной дурью бородатого анекдота, сколько соответствию языку и стилю XVIII века, наступающему на наш слух всей своей косолапой эlegantностью.

Тихо и громко

Господин виконт де Брассард, с отменною ласкою принятый в доме одного богатого ветерана, в известном сражении левой ноги лишившегося, усердно приволакивался за молодою его супругою, незаметно, по-военному, подпуская ей амура. То однажды, изготовив в мыслях две для ее речи, из коих одну: «Пойдем на антресоли» — сказать тихо, а другую: «Я еду на свою мызу» — громко; толико от внезапу разливающегося по членам его любовного пламени замешался, что, при многих тут бывших, произнес оные в обратном порядке, а именно — тихо и пригнувшись к ее уху: «Я еду на свою мызу»; а за сим громко и целуя ее в руку: «Пойдем на антресоли!» — За что, быв выпровожден из того дому с изрядно наkostenным затылком, никогда уже в оный назад не возвращался».

Восхищенный пародийным талантом Пруткова, Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» утверждает: «Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени <...> и с тех пор не забыл».

Здесь то, как пишет Прутков, несравненно важнее того, о чем он пишет. Virtuозность его инверсий, архаичность лексики, общий гривуазно-учтивый тон повествования и составляют суть этих бесподобных упражнений.

А теперь займемся «Проектом...» В середине XIX века господствовало мнение, что Россия — особенное государство, которое не только отличается, но и должно отличаться от Западной Европы всеми чертами своего социального устройства. Требования и чаяния европейского общества неприемлемы для России. Тот порядок вещей, который заведен здесь, единственно правильный, его основа — самодержавие, православие, народность. Он покоится на патриархальных началах отеческой заботы государя, наставнической роли духовенства и преданности подданных. Тем не менее время от времени (обычно при смене царствований, а позже — руководств) возникало желание этот порядок реформировать, упорядочивать, оптимизировать, улучшать.

Козьма Прутков был принципиальным противником всяких демократических реформ. Он их ненавидел, будучи непримиримым противником народовластия; противником, воспринимавшим такого рода социальные сдвиги как бунт черни против законных начал власти и выразившем свой протест в одном из неизвестных творений, обретенных нами в его портфеле, хранящемся в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге (см. *Алексей Смирнов Прутковиада. Новые досуги. — СПб., 2011*):

О, вы, что покусились на
Закон и трон в плебейской злобе,
На бой вас вывел сатана
С кривыми рожками на лобе!
Чего взалкали? Воли?.. Прав?..
А может — вольницы разбоя?
Златых тельцов и тучных крав
У водопоя?!

Вы посулили нам Эдем
И гоголь-моголь, демагоги,
Но ясно показали всем,
Какие Гоги и Магоги.
Клеймлю вас, жалкие, клеймлю
Своей служебною печатью

И никому не уступлю
 Предать проклятью!
 Вжимаю в сонмище врагов,
 Презренным торгом осрамленных,
 Герб государев, герб Петров,
 Герб всех любимых и влюбленных!
 Я заклюю им вашу плоть,
 Я закогчу им ваши чресла.
 Да не поможет вам Господь
 Восстать из кресла!

Я залеплю одним клеймом,
 Собравшись с силушкою: «Эх!»-де, —
 Пусть не ревнует к вам Содом,
 Когда твердит, что ставить негде, —
 Всю вашу желчь, весь антураж
 С лукавым ёрничаньем вкупе,
 Весь упоительный кураж
 Летящих в ступе!

Да не устанет в вас вlepлять
 Длань столбового дворянина
 Орла двуглавую печать,
 Чтоб пред очами исполина
 Вы разбежались по углам,
 Попрятались в своих долинах,
 Но не оттерлись бы и там
 От клейм орлиных!

Крестьянская реформа, упразднявшая крепостное право, вызвала в Козьме Петровиче страх и возмущение, как в дворянине, пострадавшем по крайней мере морально. Выразить открыто свое несогласие он не мог. Ведь это же был правительственный акт, а император Александр II, благодаря реформе, получил заслуженный титул Освободителя. И тогда Козьма Петрович решил взять реванш на идеологическом фронте. Ему

показалось, что именно сейчас представилась возможность обратить внимание руководства на свое врожденное любоначалие и развитое чувство субординации. Осознав это, он воскликнул: «Да разве может быть *собственное* мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано?» И кавалер ордена Св. Святослава формулирует положение, которое мы назвали *Аксиомой Пруткова*, поскольку оно никак не доказывается, а просто берется на веру: «*очевидный вред <представляют> различия во взглядах и убеждениях*».

На основании аксиомы, Прутков предлагает своего рода *Теорему о водочерпательнице*. Она звучит так: «*Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди о ее достоинствах*».

«Где подданному, — рассуждает Козьма, — уразуметь все причины, поводы, соображения <начальствующих>; разные виды с одной стороны и усмотрения с другой?! Никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний. В этом мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, скажу: ежеминутно. Вот почему иные люди, уже вполне благонамеренные, сбиваются иногда злонамеренными толкованиями; у них нет сведений: какое мнение справедливо? Они не знают: какого мнения надо держаться?».

Таким образом, сам собою напрашивается вывод: о достоинствах водочерпательницы следует судить не по отдельным ее частям, а по всей совокупности частей в целом, что и требовалось доказать.

Цель проекта — «установление единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства». А достигнута эта цель может быть посредством учреждения «такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет».

Остается заметить, что «Проект о единомыслии» намного опередил своё время. В условиях царизма его осуществление оказалось невозможным. И только советская власть полностью воплотила в жизнь пророческие замыслы Козьмы. Единомыслие, опирающееся на полицейское и административное

содействие, было установлено по всей территории Советского Союза. Официальным изданием, дававшим «руководительные взгляды на каждый предмет», стала газета «Правда» — «надежная звезда, маяк» для общественного мнения. «Частные печатные органы» были упразднены. Каждый момент общественной жизни получал свое единственно правильное толкование.

В 1991 году вся эта налаженная схема рухнула, и некоторое время казалось, что разнообразие мнений вот-вот поставит крест на трудах Пруткова, сделает его «Проект» объектом сугубо архивного интереса. Однако новая бюрократия воспрянула с удесятенной силою. Роль проводника «руководительных взглядов» взяло на себя центральное телевидение, а риторика «Единой России» в XXI веке вновь вернула актуальность прутковскому «Проекту единомыслия», возвращающему нас на полтора столетия вспять.

Когда-то в афоризме за № -м 107 Козьма Петрович сформулировал закон соотношения между физическим временем жизни одаренного индивидуума и временем жизни его славы. При этом поэт прибег к сравнению из мира фауны, что метафорически обогатило не бесспорность самого закона.

Афоризм гласит: *«Муравьиные яйца более породившей их твари; так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни».*

Уподобить человека муравью не фунт, а вот для того, чтобы уподобить его славу муравьиному яйцу, надо быть Козьмой Прутковым. Всё верно. Вначале муравей откладывает яйца больше себя, а потом из них вылупливаются славящие его потомки. Значит, по Пруткову, яйца славы уже при жизни муравья должны быть больше него, тогда и продолжительность славы превзойдет срок муравьиной жизни.

Экстраполяция такого наблюдения на человека сомнительна. Но провидческим образом она подтвердилась прижизненной и посмертной судьбой автора, чьи творения издаются и переиздаются, а классические афоризмы цитируются по радио на эскалаторах московского метро. Отложенные при жизни муравьиные яйца славы, во много раз пережили легендарного Козьму.

ИЗ «БУНИНСКИХ ЧТЕНИЙ»

ГОРЯЧИЙ СПОР: О ЧЕМ И КАК?

1

Бесстрастной может быть дискуссия на отвлеченную тему. Да и то до поры, до времени. Всякий реальный спор, задевающий спорящих за живое, когда их по-настоящему «заедает», когда выясняются коренные жизненные позиции, — это не только «борьба умов», но и схватка страстей.

Эмоции сильно усложняют ход прений, уводят в сторону, запутывают ясное или напротив высвечивают темные углы мысли. Так или иначе, но именно чувства делают спор горячим. Без них вникнуть в природу живого диалога невозможно. Нечаянные ошибки и сознательные уловки — неперменные участницы горячего спора. При этом, однако, он не лишен своего смысла и даже своей структуры, отличаясь от «холодного» обмена мнениями тем, что в «идеальное», логически чистое построение вносится масса нарушений, особенностей, «примесей»; образуются искажения, лакуны, разного рода неправильности, придающие жаркому обсуждению индивидуальный, а, значит, реалистический характер.

Вот почему предмет нашего рассмотрения — горячий спор.

2

Есть у И. А. Бунина небольшой рассказ «Брань»: прямая речь двух русских крестьян без единой авторской ремарки. В писательской практике Бунина это единственный пример сплошного диалога. Такое впечатление, что автор записал его стенографически точно, разве что без непечатных приправ. Впрочем, их могло и не быть. Спорят люди пожилые, богобоязненные, уважающие себя и тот язык, на котором Бог сподобил их выражать свои чувства.

Рассказ датирован летом 1917 года, а опубликован под названием «Спор» в «Русской газете» в Париже 24.08.24. То есть

через девять лет... То есть по остывшим следам... Но нам сейчас важно, не когда он опубликован, а когда написан. Пусть не сразу после события. Это мы уточним из текста. Наше допущение состоит в том, что если бунинская рука и тронула «стенограмму», то так искусно, так деликатно, что «руки» совсем незаметно.

Это дает нам право исследовать текст как своеобразное явление логико-психологической природы, зафиксированное Буниным. Попробуем разобраться в двух вещах: в том, что составляет смысл спора (о чем спорят?) и в том, что представляет собой его структура (как спорят?).

Здесь можно еще возразить, что перед нами вообще стопроцентная выдумка, что писатель такого класса способен придумать что угодно, и все сойдет за чистую монету (примеры были). Но это нам тоже подходит. Если рассказ от начала до конца выдуман, а фантазия настолько реальна, что уличить автора в сочинительстве нельзя, то какая нам разница, с чем мы имеем дело: с жизнью, которую не отличить от вымысла, или с выдумкой, которую не отличить от жизни? Бунинские спорщики давно опочили в сырой земле, и у писателя тоже не спросишь. А текст — вот он:

3

Лаврентий. *Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господа костылями били, а теперь тебе отдай?*

На руках у Лаврентия были старики-родители: не предки, а *старое потомство* — такого не сочинишь. Здесь какое-то невероятное по-русски Futur in the Past — будущее в прошедшем: *потомство*, но *старое*, потому что оно не Лаврентиево, а дедушкино-бабушкино. Он сам потомок своему *потомству*!

Лаврентий *шесть наделов держал* в стародавние времена, *когда господа костылями били*. А когда это было? При крепостничестве? Если так, то в пятидесятые годы XIX века. И было ему тогда лет двадцать, не меньше — раз *держал*. Момент спора — не позже лета 17-го года. Значит, сейчас Лаврентий — глубокий старец, ему хорошо за восемьдесят.

Он держал наделы безусловно, но жизнь изменилась. После февральской революции встал вопрос о том, что наделы надо переделить. Земля от богатых переходит к бедным. Важно, что вопрос, кому отдавать землю или иначе жизнь крестьянина (что он без земли?), поставлен очень лично и потому особенно остро: односельчанину нищebroду Сухоногому. «Тебе отдай?»

Итак исходная позиция Лаврентия такова: он исстари хозяин своей земли, исправно ее содержавший, а теперь все отдай, ни с чем останься? Несправедливо!

Так возникает первая оппозиция между трудом и воздаянием: за хороший труд землю отбирают.

Сухоногий. *Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!*

Первая стычка. Оказывается Лаврентий должен отдать отнятое, вернуть Сухоногому землю, которой тот владел еще до Лаврентия.

Исходная позиция Сухоногого: верни мне мое, отдай отнятое. Это — справедливо!

Л *Ты мне ее продал.*

С *Ты ее отнял! Купил!*

Оппозиция уточняется. Отъема земли не было. Была купля-продажа. Обычная сделка. Но Сухоногий считает, что отнять и купить одно и то же. Просто купить, означает, отнять за деньги.

Лаврентий не согласен.

Л *Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то.*

В одной реплике три позиции. Во-первых, купить не то же, что отнять. Во-вторых, если сосед землю *кровью облил*, то у Лаврентия на той же самой земле вообще вся семья надорвалась. И, в-третьих, капитал наживают огромным трудом.

Теперь Сухоногий может реагировать на выбор. У него есть три варианта как продолжить спор: пояснить свою мысль о купле-отъеме; поспорить с тем, кто больше сил в землю

вложил; или возразить по поводу трудоемкости накопления. Он выбирает последнее.

С *Да-а, так! Ты у меня две десятины держал, одну за деньги, а другую за процент один.*

То есть половину несправедливо (за деньги), а половину вообще недопустимо!

Противоречие между трудом и воздаянием дополняется противоречием между трудом и праведностью: воздаяние (*процент один*) настолько мало, что делает труд Лаврентия на бывшей сухоноговой земле несправедливым.

Л *Да что я ее у тебя силком брал? Ты сам сдавал.*

Лаврентий отстаивает праведность своего труда. Сосед отдал ему землю добровольно...

Л *Нужда сдавала. Нужда просила.*

Точней не добровольно, а насильно, но виной насилию не честный покупатель Лаврентий, а крестьянская нужда.

Насчет нужды Сухоногой не перечит.

С *Конечно, нужда!*

А вот насчет Лаврентия и его отношения к чужой нужде очень сомневается.

С *А ты ее забыл! Ты греб!*

То есть воспользовался и нажился на моей беде. Так Сухоногой обвиняет Лаврентия в корыстолюбии.

Стяжательство — сильный довод против праведности капитала, скопленного Лаврентием.

Это задевает его за живое — он эхом откликается:

Л *Греб! Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит не плоченых. Вы, мужики, хамы.*

С вами, дескать, если и захочешь нагрести, то не нагребешь, ведь вы долгов не отдаете, и уж если я гребущий, то вы — хамы непотченные. Брань по адресу Сухоногого смягчена только тем, что направлена не на него одного, а на всех хамов вообще: он один из многих (чтобы ему не было слишком обидно).

Уточним оппозицию еще раз.

Лаврентий: я работаю-работаю, а меня винят в корысти и землю забирают. А кто винит? Хам, не возвращающий долги.

Иными словами, Лаврентий считает свой труд вполне праведным (он честно капитал зарабатывает), а вот воздаяние несправедливым.

Сухоногий же полагает труд Лаврентия несправедливым (корысти ради), а воздаяние, точнее здесь возмездие (отъем земли в свою пользу) — справедливым.

Обвинение в хамстве, — пусть и в компании хороших мужиков, — Сухоногого уязвляет. Он не отрицает своего хамства (что есть, то есть), но пытается и «честного капиталиста» урезонить, поставить на ту же доску.

С *А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам?*

Л *Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы.*

Лаврентий противопоставляет хаму-соседу себя-хозяина. Хозяин — слово держит (хозяин слову своему), а хам не держит, то есть врет: обещает и не выполняет. По отношению к некоему неизвестному нам хаму — *сукину сыну* (третьему лицу) Лаврентий формулирует свою позицию крайне жестко:

Л *Пускай теперь на осинке передо мной удавится, трынки не дам.*

Вот оно — противостояние не на жизнь, а на смерть: получил — отдай, не отдашь — больше не получишь, хоть удавись.

Л *Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?*

С *А ты сам зачем тащил?*

Л *Я не тащил, я за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил.*

С *Все равно тащил!*

Логика Сухоногого нам уже известна. Купля равна изъятию или воровству: купить=отнять, купить=стащить. В этой логике покупка лишь иной вид воровства — воровство за свои деньги, ведь вещь-то все равно уплывает, все равно достается богатому, а не бедному, так или иначе, а бедный еще более обездоливается, богатый еще крепче наживается, потому что цена не отвечает истинной стоимости вещи: вещь дороже цены. И потом, что такое *свои деньги* Лаврентия? Это деньги, которые он нажил, купив (то бишь отняв!) землю у Сухоногого. Разве

можно назвать праведными плоды таких трудов? И Сухоногий бросает напоследок:

С *Первую заповедь забыл!*

Не укради...

Нет больше у Лаврентия ни слов ни доводов. Он только беспомощно восклицает:

Л *Ах, Боже милосливый!*

Ничего не может он поделывать со своей «нормальной логикой» против Сухоногого оттого, что спорят они о разном: одному главное труд как таковой, а другому праведность труда важнее самого труда: суждения о праведности заменяют труд.

Оппозиция продолжает обостряться.

Сухоногий наступает.

С *Да, всем тащил, обозы гонял, под процент давал, за всем поминался!*

Лаврентий занимает круговую оборону, повторяя:

Л *Я ночи не спал, свое хозяйство наживал.*

С *Молчи! «Ночи не спал! Хозяйство наживал!»* — откровенно передразнивает Сухоногий и дважды задает один и тот же вопрос: «А зачем?»

С *А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угождал?*

Упрек в «бесоугодничестве» никак не сглаживает спора. Сухоногий требует, чтобы труд был богоугоден, иного не признает. Неправеден труд, тешащий дьявола, а за неправедностью следует возмездие: смерть лишает смысла всякое накопительство.

С *Что, перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь, деньги-то эти?*

Старик хочет сказать что-то о себе...

С *Мне вот восемьдесят лет...*

Но Лаврентий его прерывает, переводя разговор на другую тему, поскольку никаких идей относительно того, что лично ему делать со своими деньгами после смерти, у него, по всей вероятности, нет.

Л *Ты меня переживешь. Ты костяной. Тебя ни одна болезнь не берет.*

С *Мне Господь мою кость за бедность дал,*

Если нет правды на земле, то Господь все видит и помогает бедным, а вот земная власть бедных добывает и потому она несправедна.

С *А у меня сына последнего забрали ваше народное правительство, глаза их закатысь!*

Господь дал, а власти взяли.

Так возникает новая оппозиция — разногласие между властью и праведностью. Масштаб полемики меняется. Личное сталкивается с державным.

Л *Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли, у старика убогого, — соглашается Лаврентий.*

С *А таких-то убогих много!*

Л *Немного, не говори. По порядку стараются брать.*

Еще одно возражение, но уже вполне дружелюбное по тону. Кажется, что намечается сближение позиций. И, правда, «взвешенный» Лаврентий, став на сторону властей, тут же переходит в оппозицию к ним.

Л *А только, конечно, глупцы. Не ихнее это дело в правители, в начальники лезть. Какие же они правители, когда трем свиньям дерьма не умеют разделить?*

С *А! Вот то-то и есть!* — подхватывает Сухоногий.

Заметим: пока речь шла о противоречиях между трудом, праведностью и воздаянием, позиции спорящих были противоположны. Не в том смысле, что Лаврентий возражал против праведности, а в том, что понимал ее иначе. Себя он грешником не считал. Но как только спорщики заговорили о правителях, о власти, возникло полное единодушие, началось настоящее братание мнений, ведь *народное правительство* было Лаврентию таким же *вашим*, как и Сухоногому. Оно грозилось у Лаврентия землю отнять, а у старика убогого, у которого нога высохла — одна кость осталась (отсюда и кличка), уже отняло сына последнего.

Обратим внимание: раз говорится здесь о *народном правительстве*, значит, разговор происходит между весной и летом 17-го года — между отречением царя и датой написания

рассказа, то есть он написан (записан) Буниным по горячим следам диалога.

Можно сказать, что в своих собственных глазах Сухоногий дважды обобран: Лаврентий отнял у него землю, а правительство у сына. Лаврентий деньгами откупился, а правительство чем? Да ничем. Солдатским долгом.

С *Они его в солдаты взяли, а по его развитию, по его почтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть!*

Тут отцовские чувства побеждают, но ему и других солдатиков жалко.

С *Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!*
Лаврентий не согласен.

Л *Ружья нельзя кидать, беспорядок будет.*

С *А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала!* — пускает в ход фатальный довод Сухоногий, и «супротивник» не спорит:

Л *Это верно, пропала.*

Глупость властей и гибель державы — вот темы, не вызывающие у спорщиков никаких разногласий.

Л *Без пастуха и стада пропадает. А она, свинья-то, умней человека.*

Образ правителя, не умеющего разделить дерьма трем свиньям, видно так отложился в подсознании мужика, что снова всплыл еще уничижительней для правителя и неожиданно лестно для свиньи (*умней человека*), с чем и сосед согласен.

С *А! Вот то-то и есть! Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому Богу присягали да великому Государю, а теперь кому? Ваньке?*

Смена царской власти на «власть народную» вызывает негодование у мужиков (народа).

Л *На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят.*

Вознесение на власть мухокипящей башки Лаврентию противно. Здесь спорщики снова солидарны. Тем не менее у каждого из них двойственное отношение к новой власти. Лаврентия она не устраивает тем, что собирается отнять у него землю, он корит

ее за глупость и бездарность, но поддерживает усилия по сохранению порядка. Сухоногий приветствует власть за то, что она обещает вернуть ему его землю, но не может простить, что правительство послало на войну его единственного сына, а еще он — крестьянин — возмущен плебейством новой власти, ведь по его понятиям демократия превращает Россию в Ванькину державу.

Расквитавшись с правителями, Сухоногий принимается за дворянство.

С *Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность под данства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай!*

И тут спор приобретает иной оборот. От «ты» обобщенного дворянина Сухоногий возвращается к «ты» — Лаврентию и оспаривает его самую первую реплику, о которой мы давно уже забыли.

С *Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю!*

Тогда старика заела главная тема — земля, и *костыли* он оставил без ответа. Но видно они так крепко засели у него в памяти, что вылезли теперь после обмена тридцатью репликами! И тут он должен отстоять правду, даже в такой «мелочи». Оказывается Лаврентий выдумал, что его *господа костылями били*, он по молодости лет в крепости не жил. Он младше Сухоногого, а не старше. Ему не за восемьдесят, как можно было судить по первой реплике, а вообще неизвестно сколько. По крайней мере меньше восьмидесяти.

Едва наведя относительный порядок с возрастом Лаврентия, Сухоногий парадоксально соглашается с тем, что стяжателя все-таки били, не могли не бить.

С *Тебя такого-то, будь ты хоть бурмистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть...*

Внутреннее противоречие (*не могли бить* — *нельзя было не бить*) связано с тем, что в споре хронологии и воспитания Сухоногий отдает предпочтение воспитанию, хотя бы и в ущерб

хронологии: таких жуликов, как Лаврентий, учить никогда не поздно и никогда не рано.

С *А меня господа пальцем не трогали!* — противопоставляет он прохиндейству соседа свою честность и пригвождает напоследок метафорой:

С *Ты крот подземный, у тебя когти скребущие!*

Что отвечает на это оскорбление Лаврентий? А ничего. Он вспоминает про солдат, подсознательно перенося акцент со своих скромных воровских заслуг на куда более развитые способности служивых по части грабежей:

Л *Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревьям сидят, грабежу ждут.*

Сухоногий застывает за солдат, повторяя тезис о пропащей державе:

С *Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился — умеи выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет...*

Ну, прахом. А дальше-то что? А дальше...

С *Все придется сначала начинать, по камушку строить!*

Л *Ах, Боже милосливый!* — повторяет свое восклицание Лаврентий. — *А строить-то кто будет?*

С *Кто ж, по-твоему? Ты? Ан брешешь!* — отвечает Сухоногий вопросом на вопрос и попутно изобличает Лаврентия в брехне, которой тот вовсе не занимался, ведь он себя в государственные строители не прочил.

Наконец, называется и Строитель.

С *Господь, а не ты! Господь!*

Так риторический вопрос о строительстве новой державы вначале переведен «на личности», а потом отдается на попечение высшим силам.

Но Сухоногий и не подозревает, какого «духа» разбудил он при этом в Лаврентии.

Л *Тебе такому-то Господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами заростишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного*

человека злословить. Ну, я крот скребучий, а ты кто? — чистит «трудовик» «праведника» за его непутевость, непрактичность, праздность, а потом противопоставляет этой мнимой по своему убеждению праведности истинных Божьих угодников, которые при всей их святости такого пренебрежения земным никогда не терпели:

Л *Вашего брата хорошие угодники Божии за вашу беспечность за вишвые вихры драли.*

С *Не все драли, брешешь!* — возражает Сухоногий, снова уличая соседа во вранье.

С *Угодники разные есть!* Значит, святые угодники делятся на дравших за вихры и не дравших. Такой «классификации» православное богословие до Сухоногого не знало. Это его личный вклад. И еще про угодников:

С *Они сами богатства гнушались!*

То есть праведный гнушается богатством. Снова возникает оппозиция праведности и труда, верней его плодов — богатства.

Лаврентий уточняет:

Л *Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.*

Другое мнение. Пусть угодники гнушаются богатством — это их святое дело. А человек труда не должен отказываться от воздаяния за труд, ведь у него на руках не только потомство — дети, не только *старое потомство* — родители, но вообще вся держава. Как же ее прокормить нищетой? Одними молитвами сыт не будешь.

Сухоногий опять меняет тему спора. От оппозиции труда, праведности и воздаяния он переходит к оппозиции труда и власти. Это смотря какую державу питать. Если Ванькину, то ее и питать не надо, горб на Ваньку ломать.

С *А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!*

Теперь оппозиция труда, праведности, воздаяния и власти представлена во всей красе. Если власть несправедна, то нет таких воздаяний (таких *золотых дворцов*), ради которых стоило бы на эту власть трудиться.

Лаврентий с этим не спорит.

Он четко отделяет себя от такой власти:

Л Я не Ванька, я хозяин.

Но для Сухоногого «хозяин» значит вор, обманщик, стяжатель — человек неправедный, хоть и трудяга. Он его не приемлет.

Спор завершается не доказательством, не примирением, а проклятьем:

С Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!

Вот и весь результат.

Лето 17 г.

4

После того, как мы рассмотрели спор полностью и детально, выделим «сухой остаток». Это поможет нам проще оценить смысл и построение диалога.

Л Землю тебе отдай?

С Отнял — отдай.

Л Я купил.

С Нет, отнял!

Л За деньги.

С Половину за процент один.

Л Сам сдал. Нужда твоя сдала.

С А ты и греб!

Л Греб!.. Вы же не плотите, хамы.

С А ты не хам?

Л Зачем он дробач тащил?

С А ты не тащил?

Л Я купил.

С Все равно тащил! Бога забыл.

Л Я ночей не спал, трудился.

С А зачем? Стяжал. Дьяволу угождал. Мне 80 лет...

Л Ты костяной.

С За бедность. А сына — в армию.

Л Да, это — глупо... Какие они правители?

С Ружья бы покидать.

Л *Нельзя. Беспорядок.*

С *А кому присягать? Ваньке?*

Л *Надежда плохая.*

С *Тебя бы за воровство, крот подземный!..*

Л *Солдаты грабежу ждут.*

С *А кому служить? Эх, все прахом... Снова по камушку строить.*

Л *Да кто будет?*

С *Не ты. Бреешь... Господь будет!*

Л *Ты-то ничего не получишь, жалейщик беспечный. За вихры бы тебя угодникам...*

С *Они богатства гнушались!*

Л *Для себя, не для нас. У нас держава на руках.*

С *Ванькина? Не пойду под нее!*

Л *Я не Ванька, а хозяин.*

С *Ну, и лопни...*

Первый вопрос: о чем спорят?

Обсуждаются противоречия между трудом, праведностью, воздаянием и властью — такие характерные и такие вековые для горячего русского спора. Именно эта оппозиция во всем многообразии сочетаний и составляет основу обсуждения.

Второй вопрос: как спорят?

Один оппонент пытается вести спор в коммерческой плоскости, другой — в криминальной; следуют личные обвинения, взаимные упреки; вопрос остается без ответа; меняется тема разногласий; неожиданно противники становятся союзниками; одна линия спора исчерпана, но вспоминается другая и личные обвинения возобновляются; один из обвиняемых вновь уклоняется от ответа, переноса акцент на посторонних; к земному противоборству спорщики смело подключают духовные авторитеты, причем, проверить правильность ссылки на святых угодников невозможно; попутно следует ложное обвинение во вранье; упрек властям оппонент принимает на свой счет и возвращается к началу спора, после чего обмен мнениями обрывается энергичным проклятием.

Таков итог «разговорного процесса», в котором каждый из участников выполнял функции прокурора, адвоката, обвиняемого и судьи.

5

В споре Лаврентия с Сухоногим сталкиваются психологии Хозяина и Философа.

Хозяин считает себя честным и умным тружеником, а Философа — глупым и беспечным, — то есть праздным, — хамом. Философ же напротив убежден, что он, подобно святым угодникам, исповедует праведную бедность, тогда как Хозяин погряз в воровстве и стяжательстве.

То, что для Хозяина — труд, для Философа — нажива.

То, что для Философа — праведность, для Хозяина — праздность.

Заметим, что речь идет не о прямых противопоставлениях. Философ не обвиняет Хозяина в праздности. Хозяин не пеняет Философу греховностью. Оппозиции составляют не прямые противоположности, а средства и цели.

По мнению Философа труд для Хозяина только средство, а цель — накопительство.

По мнению Хозяина праведность для Философа тоже лишь средство, а цель — праздность.

Хозяин покупает, гоняет, попинается, ночи не спит — лишь бы обогатиться.

Философ продает, сдает, призывает не служить, костит Ванькину державу — лишь бы не работать.

Каждая из этих целей, — и накопительство и праздность, — в глазах оппонентов безбожна.

Но самое замечательное, что в душе у того и другого жив один и тот же идеал: праведный труд во имя одухотворенной цели. Просто цель эту они не умеют сопоставить со своей жизнью. Один стяжает, прекрасно понимая, что это не цель. Другой отказывается от труда, ибо нажива ему противна, а во имя чего тогда трудиться — непонятно.

Заметим, что энергия высказываний распределена между спорщиками резко асимметрично. По сравнению с Сухоногим

Лаврентий спорит вяло. На восемь его вопросов Сухоногий отвечает шестнадцатью, а в сорока восклицаниях костяного старца совершенно тонут три восклицания Лаврентия (причем, одно из них — всего лишь эхо сухоноговского «Греб!», а два других — повторы жалостно-риторического «Ах, Боже милосливый!»). Сухоногому не лень кипятиваться и за себя и за Лаврентия. Все это может создать впечатление, что в споре побеждает нищерброд, но побеждает он, понятно, не в споре, а в напоре.

Очевидно, что горячий спор не имеет ничего общего с непредвзятым поиском истины именно потому, что он предвзят; не исключает всё личностное и даже не маскирует его, а наоборот подчеркивает; лишен всяких правил; допускает любые нарушения корректного порядка обсуждения: перенос вопроса из одной плоскости в другую, переход на личные оскорбления, уклонение от ответа, произвольное изменение обсуждаемой темы, обвинение в том, чего нет, интонационный напор...

Вот почему горячий спор безрезультатен. В нем трудно что-либо доказать, тщетно кого-нибудь переубедить. Он бурлит и, выкипая, уходит в пар. Его начало — холодный чайник с водой, а конец — тот же чайник, только раскаленный и пустой. Горячий спор — это проверка на полноту и скорость выкипания. Сколько же в нем распыленной энергии, сколько хаотического жара!

Бунин привел диалог крестьян, как документ, отказавшись его комментировать. Умный ход. Действительно, предмет слишком запутан, слишком темен и, — увы, — всегда злободневен. В нем легко потеряться, ничего не прояснив.

Почему же тогда мы, понимая, в какой бурелом забредаем, пошли все-таки на этот странный риск?

Дело в том, что все наши житейские распри очень похожи на перебранку Лаврентия с Сухоногим. Иначе дебатировать мы не умеем. Рассказ «Брань» — копия живой полемики.

Значит, апологией нашего внимания к горячему спору служит его актуальность. Здесь мы имеем дело с наложением психологических особенностей спорщиков на логику их умозаключений, то есть речь идет о реальной природе мышления в состоянии возбужденности, что так характерно для спора. Причем, для

любого спора: от бытового до высоконаучного. И не только русского, но какого угодно. Позиции выясняют не роботы, а живые люди со своими эмоциями, амбициями, миропониманием. Вот почему любой спор в той или иной мере горяч, и чем горячее, тем подчас безрезультатней, если только вывод не навязан силой. Однако что такое результат, насколько он надежен — это сам по себе большой и больной вопрос. Вспомним, что казавшийся античному человеку безусловным взгляд на строении вселенной утверждал, по Птолемею, что центр мироздания занимает Земля. Отстаивая другую позицию, идейные героимученики Средневековья шли на костер. Коперник сдвинул, наконец, тысячелетнюю «истину» с места, расположив в центре вселенной Солнце. А современная наука обнаружила, что миров неисчислимо множество и выявить центр мироздания нельзя (что вовсе не означает тщетности прежних усилий: без них новое знание было бы невозможно).

Бунинские мужики никак не претендуют на роль интеллектуалов, и тем не менее их спор при всей его конкретности (чей кусок земли: мой или твой?) носит очень общий, очень типичный характер. Здесь сталкиваются коренные противоположения бытия: прагматика и этика, мысль и чувство, действие и противодействие. Мобильность такого обсуждения обеспечена тем, что в позиции каждого собеседника есть свои сильные и слабые стороны, а степень подготовленности оппонентов влияет скорей на глубину спора, нежели на его принципиальную разрешимость.

Это спор вечный, однако, как мы понимаем, далеко не бессмысленный.

И — самое главное: все то «уничжительное», что прозвучало по адресу «глупых» эмоций, нарушающих «правильное» течение мысли («усложняют», «уводят в сторону», «запутывают») уравновешивается одним чрезвычайным обстоятельством: привнесение в спор алогичного начала, чистой случайности создает почву для откровения как иррационального способа постижения истины. Причем последняя может в итоге не иметь никакого отношения к стартовой оппозиции: начали толковать

об одном, а ситуацию прояснили совершенно в другом. И коль скоро это происходит, то такое событие оправдывает горячий спор как инструмент познания.

СЕДОЙ ОРЛЕНОК

1

Иван Алексеевич Бунин прожил большую жизнь, поделившуюся на две неравные части: 1870–1920 в России и 1920–1953 в эмиграции.

Фактически — две жизни.

Мировое признание получил Бунин — писатель, непревзойденный рассказчик, мастер образительности (Нобелевская премия по литературе 1933 года). Между тем на протяжении всей своей жизни он писал стихи. В России много, во Франции хоть и мало, но все же до конца дней. Однако лирика Бунина всегда оставалась в тени его прозы. Это его обижало. Не мог он согласиться с тем, что как поэт полностью выразил себя в прозе. Но факт остается фактом: Бунина-поэта мы знаем хуже, чем Бунина-прозаика. Тому есть свои причины. И первая, может быть, в том, что лирика его сугубо традиционна. Он — мэтр короткого стихотворного пейзажа, певец любовных переживаний. Его стихи классичны по форме. Формой он владеет блестяще, но это старая форма (восьмистишие, сонет, подражание древним). Если стихотворные размеры, то классические. Если рифмы, то исключительно точные. В эпоху «новоизмов» начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм) традиционная поэзия в глазах тогдашних новаторов выглядела архаичной, а высокий авторитет ниспровергателей влиял на вкусы новых поколений.

Как поэт, Бунин начинал в пору растущей популярности того европейского движения, которое получило имя символизма, прославило русский Серебряный век и, в частности, вошло в историю культуры в качестве противника норм общепринятой морали. Высшей ценностью символисты почитали культ красоты вплоть до эстетизации порока. Именно это закрепило за ними ярлык

декадентов — сторонников упадочного творчества. Французским *decadence* (*упадок*) был назван этап в развитии искусства, который, между прочим, характеризовал не что иное, как его взлет: расширение художественного пространства, новизну по сравнению с традиционным реализмом, чьи возможности представлялись символистам исчерпанными. Но Бунин-поэт как раз полностью принадлежал традиции, его духовный строй оставался чужд новациям символистов. Казалось, что они обошли его на повороте, и как будто оставили на обочине литературной дистанции, однако со временем выяснилось, что это вовсе не так. Да, упражнения в поисках необычных форм (а с ними, заметим, и содержательной новизны) Бунина не занимали. Да, его интересовало постижение зримого и пережитого, но постижение не путем формальных новшеств, а с помощью классического арсенала средств художественной выразительности. Удивительно, что, едва ступив на литературную стезю, молодой поэт не влился в набиравшее силу новое движение, а своей подчеркнутой «старомодностью» составил с ним ощутимый диссонанс. Он не испугался прослыть консерватором, даже архаистом. Позже эту независимость Бунина от молвы высоко оценит такой строгий критик и тонкий знаток поэзии как Владислав Ходасевич: «Бунинская поэтика... представляется последовательной и упорной борьбой с символизмом. Эта борьба была тем более героической, что Бунин оказался один и не побоялся глубоких ран, которые она ему нанесла. Он вырвал (или старался вырвать) из своего творчества все, что могло в нем быть общего с символизмом. Но в символизме пороки срослись неразрывно с добродетелями, неправда с правдой. Раз навсегда отвергнув неправды символизма, Бунин заодно отказался и от некоторых насущных правд и возможностей, если не впервые открытых, то все же глубоко усвоенных и декларированных именно символизмом».

2

Лирика Бунина лишена эпатажа, броскости, актуальных вызовов. Она вдумчива, сокровенна. Она не трубит о себе. Ее неприязнительность надо еще приветить, полюбить.

Голубое основанье,
 Золотое острие...
 Вспоминаю зимний вечер,
 Детство раннее мое.

Заслонив свечу рукою,
 Снова вижу, как во мне
 Жизнь рубиновой кровью
 Нежно светит на огне...¹

Именно так: ток жизни пронизывается огнем свечи сквозь кожу поднесенной ладони...

Или переданное четырьмя строками радостное ощущение прибрежного утра:

Летом в море легкая вода,
 Белые сухие паруса,
 Иглами стальными в невода
 Сыплется под баркою хамса...

Наряду с метафорической оригинальностью (здесь: хамса, как стальные иглы), тестом на талант служит изобразительно-точное употребление глаголов. То, что хамса именно *сыплется*, передает зрительное ощущение ее мелкости, бесчисленности, дробности, а по ассоциации со сталью еще и блеска переливающейся на солнце чешуи. Обратим внимание на то, что ни солнца, ни свежести пропахшего рыбой ветра в приведенной строфе нет, однако они улавливаются, как это бывает у больших поэтов, когда не высказанное на бумаге дорисовывается читательским воображением. Сказано мало, а выражено много. Масштаб художника зависит не от монументальности замысла, не от количества затраченного материала. Он определяется оригинальностью и глубиной проникновения, сугубым качеством.

¹ Здесь и далее стихи Бунина цитируются по изданию: И. А. Бунин Собрание сочинений в восьми томах. Том первый. М., «Московский рабочий», 1993.

Искусство аристократично. Оно требует аристократизма и от своих ценителей. Демократично ремесло. Потому во все времена ремесленников были тьмы, а художников единицы. Точно так же и читателей ремесла тьмы и тьмы (потому так велик его коммерческий успех), а читатель Бунина должен обладать опытом жизни, книжной культурой, художественным вкусом. Чувствовать колорит Востока. Знать библейскую и русскую историю, мифологию. Ощущать слово почти как материальный объект. Такие читатели избирательны. Их не может быть много. Не говоря уже о таких писателях.

Среди стихотворений, не включенных Буниным в собрания сочинений, есть отрывок «Веснянка», в чем-то родственный «Снегурочке» Островского; отрывок, от которого веет дыханием русской старины.

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.
Она неслась стрелой среди деревьев
И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало, точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Здесь — несмотря на все волшебство главного действия: погони за Веснянкой — возникает стойкое ощущение подлинности происходящего; уместности каждого произнесенного слова.

< . . . >

Вдруг молния всю чашу озарила
Таинственным и бледно-синим светом...
«Стой! — крикнул я. — Лишь слово! Я не трону...»
(Она остановилась на мгновенье.)
«Ответь, — вскричал я, — кто ты? И зачем

Ты здесь со мной встречалась вечерами,
 Ждала меня над заводью темневшей,
 Где сумрачно и тускло рдели воды?
 Зачем со мной ты слушала, грустя,
 Далеких песен радость молодую?
 Зачем потом, когда они смолкали
 И только комары звенели сонно
 Да нежно пахло сонною водой,
 Ты разбирала ласково мне кудри,
 А я глядел с твоих колен в глаза?
 Зачем во тьме, когда из тихой рощи
 Гремели соловьи, ты наклонялась
 К моей щеке горячею щекой
 И целовала сладко, осторожно,
 А после все томительней и крепче?
 Скажи, зачем?..» Она лицо руками
 Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,
 Опять бежали в роще. Шумный ливень
 По темным чашам с громом бушевал,
 Даль раскрывали молнии, и ярко
 Белело платье девичье... Но вдруг
 Оно исчезло, точно провалилось.
 Я выскочил с разбега на опушку,
 Упал в овес, запутанный и мокрый,
 И зарыдал, забился...

3

Бунин — из последних по времени вершин русской дворянской культуры. Он и прост, и труден. Не каждый без усилия вникнет, например, в стилизованный древнерусский язык стихотворения «Святой Прокопий». Это не пародия на старинные «достопримечательности» в духе отставного премьер-майора Федота Кузьмича Пруткова, но как бы воскресший памятник древней поэзии, сочетающий в себе лексическую архаику

средневековья с неизвестным тому белым стихом. Как говорил автор, эти стихи — «жесточайшая, сугубо русская страница из жизни святого Прокопия».

Бысть некая зима
 Всех зим иных лютейша паче.
 Бысть нестерпимый мраз и бурный ветр,
 И снег спаде на землю превеликий,
 И храмины засыпа, и не токмо
 В путех, но и во граде померзаху
 Скоты и человецы без числа,
 И птицы мертвы падаху на кровли.

Бысть в оны дни:
 Святый своим наготствующим телом
 От той зимы безмерно пострада.
 Единожды он нощию прииде
 Ко храминам убогих и хоте
 Согреться у них; но, ощутивше
 Приход его, инии затворяху
 Дверь перед ним, инии же его
 Бияху и кричаще: — Прочь отсюду,
 Отыде прочь, Юроде! — Он в угле
 Псов обрете на снеге и соломе,
 И ляже посреде их, но бегоша
 Те пси его. И возвратися паки
 Святый в притвор церковный и седе,
 Согнуся и трясьйся и отчаяв
 Спасение себе. — Благословенно
 Господне имя! Пси и человецы —
 Единое в свирепстве и уме.

Как хорошо, что никто не может заподозрить Бунина в авторстве «Слова о полку Игореве». В противном случае можно не сомневаться, что филигранность его стилизации, если бы она состоялась, задала бы работу лингвистам: какой текст

перед нами? Подлинник XI века или позднейшая фальсификация?..

Мы живем в пору памятников и в пору страстей по памятникам. Если с Тверской свернуть в пешеходный Камергерский переулок, то сразу при входе, посреди переулка, как будто на авансцену, вынесены отлитые в бронзе основатели Московского Художественного театра Станиславский и Немирович-Данченко — актеры, режиссеры, организаторы театрального дела, воспитатели поколений мастеров сцены. А справа — позади них, словно глубоко в углу кулис, перед глухим торцом старого дома виднеется одинокая фигура Чехова — всего лишь писателя. Какой из него артист?.. По словам литератора Алданова, «Чехов читать вслух не любил и не умел, у него была и плохая дикция». Вслух ему его же рассказы читал Бунин, и это чтение Чехова восхищало. Тем более, можно заключить, что диспозиция с памятниками в Камергерском правильная: кому надо — на виду, кого не надо — на отшибе...

Между тем очевидцы рассказывают следующую историю. Вскоре после смерти Чехова Художественный театр проводил литературный утренник, посвященный 50-летию писателя. Выступали все корифеи МХТ, но особый успех у переполненного зала выпал на долю Бунина, который изобразил Чехова в их диалоге узнаваемым до мельчайших подробностей — со всеми чеховскими жестами, интонациями, мимикой. Перевоплощение было полным. Чуть ли ни на другое утро Станиславский и Немирович вдвоем прискакали к Бунину с нижайшей просьбой: на любых условиях вступить в труппу Художественного театра. Бунин в ответ только рассмеялся... В самом деле, мог ли он согласиться на то, чтобы играть из вечера в вечер отдельные, кем-то сочиненные роли вместо того, чтобы, каждый раз создавая новое свое, как автор, воплощаться во всех возникающих из-под его пера персонажей; мысленно быть режиссером, сценографом, художником по костюмам, композитором, даже суфлером, подсказывая самому себе забытое слово!.. Пускай Чехов не любил и не умел читать вслух, — просто читать! — не то что «декламировать», не то что украшать собою мизансцены;

пускай дикция у него была плохая, а Бунин читал превосходно и с дикцией у него тоже было все в порядке, но оба они обладали артистизмом создателей, с которым артистичность исполнителей не могла конкурировать никак. Свой необыкновенный дар художественного воспроизведения любого фрагмента жизни, который он увидел или придумал, Бунин с блеском проявил, как прозаик, когда его вдохновенные маскарады, портретное мастерство, талант пейзажиста — вся изумительная пластика речи — достигли такой изобразительной силы перед которой склонился Лев Толстой. А вот в стихах Бунин как будто сжимает себя обручем сдержанности, остерегает обетом целомудрия. Словно, в отличие от прозы, стихи для него нечто полусакральное, не допускающее — не приведи Господь! — фривольности, того «декаданса», против которого он выступал, как одинокий воин. «Эстетизация порока» со всей мужской определенностью проступает порой в его прозе, не принимая, впрочем, слишком рискованных форм, не отдергивая полог и не искушая свидетеля смакованием греха. Что же касается стихов, то, по сказанному выше, поэт оберегает свою музу от излишне зрелого опыта, как рыцарь оберегает даму сердца. Он жертвует многим, может быть, слишком многим, только бы сохранить чистоту идеала. И совсем не трудно представить его восходящим — ступень за ступенью — по *Лестнице самозапретов*:

- того, что можно в воображении, нельзя в жизни;
- того, что можно в жизни, нельзя в прозе;
- того, что можно в прозе, нельзя в поэзии;
- того, что можно в поэзии, нельзя в молитве.

4

Бунин воплощал собой редкий тип славянской мужской красоты, в котором привлекательной ранней седости отвечает ладная молоджавость, а почти танцевальной легкости движений — вся гибкость и чуткость душевной пластики. Поэт, как прутик антенки, улавливает колебания тварного мира, его космических и земных полей; совпадения соляных потоков и социальных бурь. Он острее других чувствует на себе власть космоса, его

влияние на жизнь людей, на всплески исторических драм. Но он обладает еще и неким мистическим правом предчувствовать роковое, и не только предчувствовать, но и обращать посланный ему дар в образы пророческой глубины. Так приснопамятным Девятым января 1905 года — днем «кровавого воскресенья», столкнувшего с места, двенадцать лет мотавшего по путям и загнавшего в тупик, на станцию Дно царский поезд Российской империи, — именно этим днем! — Бунин пишет своего «Пророка» — поэму «Сапсан».

В полях, далёко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.
Воловьё ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
Готовый взвиться каждый миг...

Герой поэмы убивает Сапсана, но с тех пор каждую ночь к нему приходит незримый гость, оставляющий в снегу «когтистый след». Отныне кто-то постоянно сопровождает стрелка, уклоняясь от встречи с ним и заставляя пребывать его в смертельной тревоге.

...Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла... И мне казалось,
Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный иней, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
И в крылья голову вжимал.

И был он страшен, непонятен,
Таинственен, как этот бег

Туманной мглы и светлых пятен,
 Порою озарявших снег,
 Как воплотившаяся сила
 Той Воли, что в полночный час
 Нас страхом всех соединила —
 И сделала врагами нас.
 9.01.1905

Двумя годами позже поэт и художник Максимилиан Волошин назовет бунинского «Сапсана» драгоценностью, обратив внимание на образцовую эстетику письма: «Это чистая, строгая живопись... Ни одной яркой краски, ни одного сияющего слова, но каждое слово полно неумолимой верности и точности». И дальше — еще не различая пророческой силы поэмы, но как будто предвосхищая какую-то скрывающуюся в ней невыразимую беду: «Из-за слов встает огромная мистическая неизбежность пустынной ночи». В день создания поэмы и сам автор не мог знать, куда устремится «та Воля», что «соединяет и делает врагами». Поэт не предсказывает, поэт пророчествует. Это предвидение ума осознанно пролонгирует настоящее в будущее, а пророчество есть метафорически угаданное извлечение тайного из вечного.

Лаконично замечание прочитавшего «Сапсан» Александра Блока — первой величины ненавистного Бунину русского символизма, и тем оно значительней: «Только поэт, проникший в простоту и четкость пушкинского стиха, мог <так> написать о «сапсане», призрачной птице — гении зла».¹

«Простота и четкость пушкинского стиха» — слова ключевые для понимания той традиции, которой наследует Бунин. Он прост по форме и содержательно полон. Двойной парадокс бунинской лирики состоит в том, что умозрительно он считал поэзию недоступной слову («Поэзия темна, в словах невыразима...»), при этом в собственном творчестве воплощал ее с предельной прозрачностью — смысловой и звуковой, но на глубине

¹ А. Блок. Собрание сочинений. Т. 5. М. — Л. 1962. С. 144.

все равно оставлял место для «темного следа», для необъятной бездны, которая открывается за опрокинутым в себя взором дремлющего Сапсана.

5

Восприятие стихов Бунина требует понимания того, что поэзия не исчерпывается плакатным гражданским пафосом, форсированием голосовых связок, изысками невиданных форм. Она — повсюду, а для того, чтобы ее разглядеть, необходимо одно: взгляд художника. И таким взглядом Иван Алексеевич Бунин обладал в полной мере. По словам историка литературы Федора Степуна, у Бунина глаз «две пары: орлиные на день, совиные на ночь»¹.

Не он ли дневным орлиным оком увидел, как чайки, снижаясь над бухтой,

... белою яичной скорлупой
Скользят в волне зелено-голубой...

Или ночным взором совы заметил, что

Глаза козюли, медленно ползущей
К своей норе ночью сонной пущей,
Горят, как угли. Сумрачная мгла
Стоит в кустах — и вот она зажгла
Два ночника, что зажигать дано ей
Лишь девять раз, и под колючей хвоей
Влачит свой жгут так тихо, что сова,
Плывя за ней, следит едва-едва
Шуршанье мхов...

¹ Ф. А. Степун. И. А. Бунин и русская литература. Вступительная статья к изданию: И. А. Бунин Собрание сочинений в восьми томах. Том первый. М., «Московский рабочий», 1993.

Это он, рисуя портрет пилигрима, объединил в нем оба облика: и орла, и совы:

Орлиный клюв, глаза совы, но кротки
Теперь они: глядят туда, где синь
Святой страны, где слезы звезд — как четки
На смуглой кисти Ангела Пустынь...

Если бы пришлось обозначить поэзию Бунина метафорически, то можно было бы прибегнуть к его собственному образу. Порой она напоминает клекот орленка, тогда как автор, — юный и многомудрый, с его хищным, радужно расцвеченным зрачком, с его жадой покорения духовного неба, — и есть седой орленок, прилепившийся на уступе утеса, на краю горной гряды, над клубящемся далеко внизу морем.

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок
Шипит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросонок
В тумане сизом красный диск.

НЕЗНАКОМЕЦ

Явление Александра Блока (1880–1921) с новой остротой возбудило вопросы о природе лирического дара, о правомерности самого существования поэзии, а шире — искусства, а еще шире — человеческого творчества вообще, в своей гордыне вознамерившегося соперничать с Богом, оспаривать принадлежащую Творцу абсолютную привилегию на созидание. За столетие, минувшее с ухода Блока, эта полемика не утратила смысла.

1

В нашей домашней библиотеке рядом, на одной полке, стояли два темно-зеленых тома большого формата: «весь Пушкин» (1935 года издания) и «весь Блок» (1936-го). Оба тома отпугивали меня, маленького, своей непомерной величиной и тяжестью; мелким шрифтом текста, плотно набранного в две колонки; почти полным отсутствием «картинок». Тома вызывали во мне какое-то неосознанное смятение перед непостижимостью их создания. Если было непонятно, как это можно прочесть, то тем более непонятно, как это можно было сотворить. Сколько времени потребовалось бы переписчику, чтобы просто переписать такое множество стихов — переписать механически, от руки. А ведь авторы не имели перед собой готовых сочинений: с чего переписывать? Они создавали их «из воздуха», а попутно правили написанное, то есть работы было еще много больше той, что вошла в книги...

То, что Блок стоял возле Пушкина и был одного с ним книжного роста, меня радовало. Я их невольно сравнивал. Да, ростом они не отличались, но Пушкин был толще. А толщина книги оказывает влияние на тех, кто не владеет азбукой. Если суть дела не доступна, то впечатляешься габаритами. Чем толще, тем лучше. Толстое внушает доверие. Кроме того, со сказками из пушкинского тома я познакомился до школы, не умея читать. Мама читала мне их по вечерам, и кое-что я заучивал наизусть с ее голоса. Пушкина исполняли по радио знаменитые артисты. Имя Пушкина вообще витало в воздухе, которым я дышал. А вокруг Блока все оставалось куда

приглушенной; вокруг него как бы клубился туман таинственности. В то время, когда Пушкин уже давно стал моим добрым знакомым, Блок оставался незнакомцем в глухом черном сюртуке с печальным, обращенным в себя взглядом. Казалось, что, хоть он и смотрит на меня, но меня не видит, думая о своем. А я, хоть и вижу его, а познакомиться не могу. Лишь иногда в радиоэфир прорывался жизнерадостный привет, переданный от Блока артистом Качаловым, но не кому-то специально, а всем дорогим радиослушателям:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!¹

Это было, действительно, звонко, но все-таки не способствовало личному знакомству. Короче говоря, Блоком, повзрослев, мне пришлось проникаться самому.

И что же?

А то, что я был разочарован...

Томительные грёзы о Прекрасной Даме и Вечной (всё с большой буквы) Женственности после войны, искалечившей полмира; отвлеченные мечты о какой-то нездешней красоте, которой скорей по-немецки (ненавистное тогда слово) поклонялся рыцарь-поэт (именно *по-немецки*, поскольку Русь рыцарства не знала, его знала Россия, но русская доблесть рыцарской себя не звалá), все эти отпрыски обедневшего дворянства, старомодно гарцующие на последнем в роде белом коне, казались глубокой архаикой, вызывали внутренний протест. Препятствовали поддержанию знакомства. А потом вдруг со страниц грянули разухабистые частушки о двенадцати «апостолах», — не сказано, но почему-то представлявшихся мне в черных бушлатах, марширующими в метель по бульжному Петрограду. И уж совсем неуместное, трагикомическое видение перед ними Христа в веночке из белых розочек, как девушки, но с «крававым флагом» в руке:

В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос, —

¹ Здесь и далее стихи Блока цитируются по изданию: Александр Блок Стихотворения. Поэмы. Театр. «Художественная литература», Ленинград, 1936.

видение Сына Божьего, вначале прячущегося между домами, а потом ведущего за собой двенадцать балтийских матросов.

Однажды мне попало мнение Маяковского о Блоке. Маяковский утверждал, что слабых стихов у него гораздо меньше, чем у Блока, но зато у Блока есть такие, какие ему, Маяковскому, не написать никогда. Это меня насторожило. Или я их проглядел? Не может быть! А там, кто знает... Если стихотворений в томе, как сказаний Шахерезады, ровно тысяча одно, то не фокус, что упустишь. С непривычки внимание притупляется быстро...

И вот — наконец!

2

Рассеянно, в который раз листая глубоко почитаемый всеми вокруг, но никак не вдохновлявший меня том, в нижнем правом углу девяносто пятой страницы нахожу двенадцать (опять «двенадцать»!) строк, заставивших перечитать себя трижды (а третий раз вслух), особенно вторую строфу:

Сбежал с горы и замер в чаще.
Кругом мелькают фонари...
Как бьется сердце — злей и чаще!
Меня проищут до зари.

Огонь болотный им неведом.
Мои глаза — глаза совы.
Пуškai бегут за мною следом
Среди запутанной травы.

Мое болото их затанет,
Сомкнется мутное кольцо,
И, опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.

Никто не предложил мне обратить внимание на это стихотворение. Некоторые знатоки, обладавшие особо тонким чутьем на социально чуждое, вообще, как выяснилось потом, не включали эти строки в блоковские собрания. Наверно, воспринимали их, как детскую зарисовку с мистическим оттенком. Я нашел ее сам.

И еще подумал: надо же! Вот тысяча и одно пронумерованное стихотворение. Об одних говорят и пишут в превосходной степени, на других спекулируют, третьи хают, а об этом, затерянном под номером двести три, ни звука. А ведь оно и есть Блок! Даже нет, не Блок, а что-то большее, что-то громадное, как бы Небесное, хотя все действие разворачивается на земле — в чащобе, на болоте и в него затягивает. Тело засасывается трясинной, мутью, мраком, а душа при этом взмывает, наполнившись каким-то неведомым жаром. Не понимаю, но чувствую, что это и есть то самое, во имя чего существует искусство: подъемная сила души, вызванная словом поэта. Так я сподобился пережить те же чувства, которые 21 июля 1902 года, — только много сильнее меня, потому что первый, потому что в собственном слове! — пережил Александр Блок. И все, что случилось после той июльской ночи — мировые и локальные войны, революции, распады империй, военные и космические гонки не тронули двенадцати строк, прорвавшихся в мой духовный космос.

А сколько в них предзнаменований! Никто не знает, откуда являются пророчества, как они возникают. Простым переносом прошлого опыта в будущее, логическим продвижением из пункта «А» в пункт «Б» не достигнешь ничего, кроме пункта «Б», существование которого тебе и так известно. Пророчество не вычисляется из прошлого, а вынаётся из вечного ценой самоистребительного для поэта экстаза, напрягающего все его душевные силы. И тогда 3 марта 1903 года дается ответ на вопрос, который история поставит десятилетиями позже:

— Кто ж он, народный смиритель?
 — Темен, и зол, и свиреп:
 Инок у входа в обитель
 Видел его — и ослеп.
 Он к неизведанным безднам
 Гонит людей, как стада...
 Посохом гонит железным...

Никакого отношения к «знанию прошлого» такое откровение не имеет. Самые глубокие, самые честные историки бессильны

перед будущим. Оно открывается поэтам и юродивым, потому что история развивается не линейно, но объемно; не согласно предсказаниям аналитиков, но по собственной прихоти — ассоциативно, как стихотворение. Ход истории способен в метафорическом видении предугадать поэт, а историк способен лишь небесспорно прокомментировать свершившееся. Анализирует ум, а предчувствуют и пророчествуют нервы.

Секрет поэзии, как искусства, в том, что она возникает из своего собственного инструментария, а не из заранее заданных смыслов или из рекомендаций со стороны. В лирике форма не столько удерживает содержание, сколько генерирует его. Жизнь предоставляет поэту волнующие темы, идеи, массу внешних наблюдений, но чтобы они «заговорили», «зазвучали», необходима внутренняя и вполне конкретная точка роста. Ею может оказаться любой элемент формы — ритм или метафора, рифма или иная звуковая переключка, увлекающая автора своим своеобразием — любой атрибут мастерства, но вовсе не продуманный прежде «сюжет» или сторонняя мысль, которая только требует облечь себя в слова. Нет. Поэтический росток проклевывается прямо из слова, как из зародыша, и прорастает, образуя стихотворение. «Сюжет» строится не логикой чередующихся событий, внешних по отношению к слову, но логикой развития начального образа, выросшего из слова. Отсюда содержание лирического отклика поражает свежестью, органичностью, новизной. Оно лишено всякой предвзятости, которая всегда банальна, потому что зависит от такого труса, от такого признанного стопора воображения как разум. Именно он преграждает путь новым мелодиям. Чтобы их слышать, разум (внушенные образцы, логические шажки типа *step by step*¹, оглядка, общепринятые стандарты) должен быть «выключен». Сделать это усилием воли нельзя. Природа делает такое за поэта автоматически, помимо его попечений. И тогда до слуха начинает доноситься та музыка, которую иначе не слышать.

Пример. В Петербурге на грани XIX и XX веков блистала актриса Вера Комиссаржевская. Память о ней сохраняет поныне

¹ Шаг за шагом (англ.)

название одного из петербургских театров. В расцвете таланта Вера умерла на гастролях в Ташкенте. Это событие поразило ее поклонников. Умные люди взялись за перо. Потекли стандартные некрологи, общие сетования на жестокость судьбы — всё то, к чему приучен зашоренный разум. И только «глупому» Блоку, удостоенному привилегии отключать обыденное сознание, открылась музыка, превратившая стертую мелодию уныния в торжественный реквием.

Пришла порою полуночной
 На крайний полюс, в мертвый край.
 Не верили. Не ждали. Точно
 Не таял снег, не веял май.

Не верили. А голос юный
 Нам пел и плакал о весне,
 Как будто ветер тронул струны
 Там, в незнакомой вышине,

Как будто отступили зимы,
 И буря твердь разорвала,
 И струнно плачут серафимы,
 Над миром расплескав крыла...

Почему пришла в полночь? На какой «полюс»? И кто слышал когда-нибудь как плачут серафимы?.. Есть правда жизни, и есть правда искусства. Здесь к первой относится смерть Комиссаржевской. И — всё. Всё остальное составляет правду искусства: союз воображения, скорби и надежды, связанных цепью олицетворений.

3

Всякое упорядочение жизни, укрощение ее спонтанных вихрей и водоворотов приводит к разделению людей по профессиональным, партийным, конфессиональным и прочим сообществам. А художник принадлежит всем и никому. Он принципиально внепартиен. Его отношения с Богом носят характер личной веры и необязательно подразумевают покровительство Церкви. Не редко в своих исканиях художник приходит

к Богоотступничеству и даже к Богоборчеству. Он бывает слаб. Он уступает соблазнам мира, потакает его «прелестям», наклика на себя неприятие ортодоксов, их осуждение. Между тем жизнь признаёт не один, а множество путей к истине, и отправной точкой каждого служит осознание своего дара, как долга; своего предназначения, как доверенной тебе персональной миссии. Сколько раз от любителей процентных отношений слышал я о том, что «гений — это 90% труда и лишь 10% таланта». Ровно наоборот! При этом труд, действительно, бывает громаден, не вмещается в сознание, и все-таки главный вклад в итог всего «предприятия» вносит Божий дар. Без него труд остается не у дел и не знает, к чему себя приложить. Работает то, что дается даром. Возникает само. Не требует никаких усилий. Не только не выматывает, а вселяет силы, строит душу, превращает поденщину в праздник. Какие тома за двадцать лет творческого пути смогли бы создать Пушкин или Блок, будь их активность вынужденной, продиктованной извне, поманенной щедрыми наградами, но лишенной душевного горения, Божьего дара? На одном рабском труде, располагающем к постоянным передышкам, уклонению, протесту, далеко не уедешь. Читая «Рабочие тетради» Пушкина, убеждаешься, с каким темпераментом, в каком бешеном темпе и, надо думать, с каким восторгом создавал он свой поэтический мир. Гения ведет дар, а не труд. А труд только поспевает на подхвате у таланта.

Самые большие претензии моралисты могли бы предъявить Блоку, изведавшему всю губительную силу страсти, раскачавшему качели своей судьбы между светом и мраком, чистотой и пороком, но художника нельзя мерить меркой благонадежного гражданина или отрешенного от мира звездочета, тем более — святого. Есть путь тишайшего созерцания, глубокого благоговения перед тайнами Творца, и есть путь бурного дерзания, не знающего удержу бесстрашия, возносящего в духовное Небо, но и грозящего катастрофой тому, кто выбрал такую участь. Высший артистизм перевоплощений, который был присущ Блоку, перевоплощений, каждый раз менявших всю его душевную пластику, позволял ему проникаться разнообразнейшими состояниями души не во имя ее

монашеского спасения, а во имя полноты выражения Божьего замысла о человеке. И тогда становится понятным, что волшебный, словно дарованный свыше, остающийся в памяти сразу и навсегда портрет блоковской «Незнакомки», —

...И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука... —

это портрет того самого, ускользавшего от меня «Незнакомца», в художественном видении ощутившего себя «Незнакомкой».

Поэзия невозможна без смены сильных душевных состояний, без окрыляющего чувства творческого торжества. Но поэт не соперничает с Богом, а лишь проникает задуманное Им; ценою своей судьбы пытается постичь он дух Творца. Это требует абсолютной душевной отдачи, часто — жертвы.

...И сама та душа, что, пылая, ждала,
Треволненьям отдаться спеша, —
И враждой, и любовью она изошла,
И сгорела она, та душа.

И остались — улыбкой сведенная бровь,
Сжатый рот и печальная власть
Бунтовать ненасытную женскую кровь,
Зажигая звериную страсть...

После этого можно двадцать четыре раза повторить в темном притворе при погасшей свече: «Господи, помилуй!» Не помилуется. Но у поэта есть дар и право творческого покаяния, воплощения совсем иных проникновений в дух Творца...

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни войду, ты там,
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
Подобна виденному сну?
Я часто думаю, не ты ли
Среди погоста, за гумном,
Сидела, молча на могиле
В платочке ситцевом своем?
Я приближался — ты сидела,
Я подошел — ты отошла,
Спустилась к речке и запела...
На голос твой колокола
Откликнулись вечерним звоном...
И плакал я, и робко ждал...
Но за вечерним перезвоном
Твой милый голос затихал...
Еще мгновенье — нет ответа,
Платок мелькает за рекой...
Но знаю горестно, что где-то
Еще увидимся с тобой.

РАКОВИНА

1

Однажды (к счастью, не вслух, а про себя) я умудрился соотнести с Мандельштамом слова, которые тот не произносил. Их произнес другой поэт.

Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети...

Это строки пушкинских «Цыган». ¹

Знаменательная оговорка.

И потому, с кем я «перепутал» Осипа Мандельштама (1891–1938), и потому, какие именно стихи.

Возможно меня подвело знакомое наизусть и, действительно, принадлежащее Мандельштаму:

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять.²

А еще:

Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

¹ А. С. Пушкин Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание четвертое. Том четвертый. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград. 1977, с. 156.

² Осип Мандельштам Сочинения в двух томах. Том первый. Стихотворения. Переводы. М., ИХЛ, 1990, с. 66. Здесь и далее стихи Мандельштама цитируются по этому изданию.

Общность детскости, трогательной беспомощности, забота чужих людей...

2

В середине XX века, зацепив краем уха имя, которое в моем окружении ни дома, ни в школе не знал никто, я учинил собственный розыск прежде, чем в библиотеке Музея Маяковского в Гендриковом переулке взял в руки первое прижизненное издание начальной книги Мандельштама «Камень». Сам автор назвал ее «Раковина», но, прислушавшись к мнению Гумилева, изменил название. А мы теперь его вернем. Причин на то несколько.

Камень — порождение земных недр, наследник ушедших геологических эпох, весьма грубая материя — молчаливая и глухая, тогда как *раковина* — дом живых существ, кров моллюсков, а в некоторых случаях — хранительница жемчужин, дароносца моря. И связана она не только с жизнью морских глубин, но и с их звучанием.

Таинственен и древен гул приложенной к уху раковины. В ней — зов бездны, шум набегающих волн, протяжное пение ветра, как бы голос духа Господня, проносящегося над водами. Эстетикой, бесконечным разнообразием форм раковина являет нам нерукотворное чудо природы, превосходящее своей грацией образцы искусства, недостижимый пример прихотливого изящества. Раковина — сокровищница Творца, чей голос хранится в ее перламутровой тверди, Божьей шкатулке на вольных океанских просторах.

Да, из камня возводятся крепости, башни, соборы. Но не из одного камня — из массы камней. Камень — коллективист, если только он не драгоценный. А раковина всегда одна, всегда сама по себе.

Камень крепок, раковина хрупка.

Работа волн полирует камень, придает ему гладкость, обкатанность, блеск. А раковину волна утоньшает, совершенствуя ее облик, звучание, тембр.

Камень — орудие пещерного воина. Раковина — зола арфа поэта. Она — звучит!

Положенные на бумагу и молча прочитанные одними глазами стихи существуют, но эта среда обитания для них вынужденная, а способ восприятия не достаточный. Стихи живут в произнесении вслух — независимые от вещественного носителя: мрамора, книги, экрана. Воздух — вот их родная стихия.

Века выработали два инструмента, дирижирующих музыкой речи: ритм и рифму. Однако у больших поэтов этим дело не ограничивается. Звуковые ауканья, перекликания, отражения умеют пронизывать у них всю толщу строк, а не только охватывать их края (рифмы).

Поэт Семен Липкин вспоминал как некогда Осип Эмильевич захотел прочесть ему новое стихотворение, начинавшееся словами:

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Липкин удивился рифме «обуян — Франсуа», действительно, едва обозначенной, и предложил свой вариант. Если заменить имя парикмахера — вместо Франсуа взять Антуана, то сразу получим точную рифму: «обуян — Антуан». В ответ Мандельштам просто вознегодовал и обвинил «критика» в том, что ему слон на ухо наступил.

Кто прав?

Локально прав Липкин. Рифму более, чем приблизительно, он исправил на точную. Но тотально прав Мандельштам, поскольку он слышит не одни края строк, а всю строфу целиком. Он слышит перекликанье имени *Франсуа* с глаголами первой строки *кукситься, засунем*. Имя «неточное» (*Франсуа*) ему важнее точного. Точного, но музыкально бедного и скучного Антуана. Никак не сравнится Антуан с тем, кто на самом деле, обуян *бесом* веселья, *славным бесом* молодящей стрижки; *бесом*, перекликающимся именно и только с *Франсуа!*

Так слышит слово Мандельштам. Такие обертоны извлекает он из шума словесной раковины.

3

Но тот же самый образ раковины может послужить у него не только источником звукоизвлечения, но и основным поэтическим тропом. Искусство метафоры — сравнение по чертам зримого и потаенного сходства, сближение удаленного — далось Мандельштаму в безраздельное виртуозное пользование. Он обладал волшебным даром с помощью метафоры превращать обыкновенное в необычайное; будничное в праздник. Так простое сматывание шелковых нитей с рук на челнок становится у него моментом счастливого волхования.

Приливы и отливы рук ...
 Однообразные движенья...
 Ты зачинаешь, без сомненья,
 Какой-то солнечный испуг,

Такое *заклинание*, вызванное пассами рук, есть чистейшая поэзия, увиденная в обыкновенном; способность сознания связать непомерно далекое; найти общее между воображаемым поклонником и девушкой, наматывающей нити на челнок, но *заклинающей* при этом не шелковую пряжу, а куда неожиданней — *солнечный испуг*; не вещь, но эмоцию. Вот где пир аналогий, сведенных в несколько строчек классического ямба.

И далее:

Когда широкая ладонь,
 Как раковина, пламеня,
 То гаснет, к теням тяготя,
 То в розовый уйдет огонь!..

Мало того, что сложенная ладонь по форме напоминает раковину, что она соизмерима с раковинной, которая может в ней полностью поместиться, но, охваченная солнечным испугом,

ладонь еще и *пламенеет*, как раковина, просвеченная солнцем. Это «раковина» беспокойна, она движется взад и вперед, то исчезая в тени, то выступая на свет. Но, простите-простите, это у нас она исчезает или выступает, а у Мандельштама она *тяготеет к теням* или уходит в *розовый огонь*. Еще один перл музыкальности и яркой образности. Еще один пример невозможности пересказать лирическое стихотворение своими словами. Только авторскими. Стихи не пересказываются, стихи цитируются. Другого выхода нет.

4

Возьмем совсем простое дело — летний дождик.

Даже в теплый день он кажется прохладным, а часто поначалу бывает и редким (*скупым*). Капельки падают в лужи пусть не шустро, но остро. Как будто воробышки клюют пшено. Отсюда *холодок* у дождика *воробьиный*. Что нахохлившийся дождик делает со своим холодком? Правильное употребление глаголов — камень преткновения не для одних школяров, но подчас и для ученых мужей. А глагол художественно выразительный дается далеко не всякому поэту. Найдите здесь глагол лучше, чем у Мандельштама. Устанете искать.

Он подает куда как скупю
Свой воробьиный холодок —

Подает! Вот *щучье слово* этой строфы. Точней не скажешь.

А дальше дождик усиливается. Начинается потешная толчея капелек, их радостная суматоха:

И в темноте растет кипенье —
Чаинка легкая возня,
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях.

Из свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве:

Вот когда только появились *капли*. А до этого были родственные им образы переполоха, метафорические эквиваленты — *кипящие чайники, пирующий муравейник...* Но и капли возникли не сами по себе. Они образуют целый *виноградник, шевелящийся в мураве* — новое уподобление.

Так строит и разворачивает метафоры Мандельштам. Так сыплющийся дождь по принципу сходства в маневренности, хаотичности, размерах притягивает к себе кружащиеся *чайники*; развороченный и поднятый вверх *муравейник*; карликовый *виноградник*, выросший *из капель* под ногами — у нас на глазах, когда дождевые брызги виноградными гроздьями повисают на травинках... Значит, было что-то такое в воздухе Варшавы, что сблизило поэтическое искусство варшавянина Мандельштама с музыкально-прозрачными, капельными миниатюрами варшавянина Шопена! Только судьбы их разошлись во времени и пространстве, сделал одного польским эмигрантом в Париже, а другого — советским зк, лишь мечтавшим в марте 1937 года о Париже своей юности.

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости...

5

Проблема Поэта и Власти стара как мир. Решить ее не смогла ни одна железная империя.

Кого-то удивляет, почему противостояние Власти и Поэта воспринимается как норма, а солидарность — как отклонение от нормы. Почему само существование Поэта служит для Власти постоянным источником напряжения?

Векторы их устремлений, действительно, разнонаправлены. Цель Власти — спасти свое тело; насколько можно, продлить его посястороннее пребывание — задача сугубо земная. Цель Поэта — спасти и продлить пребывание своей души — желание по сути религиозное. Ключевые слова Власти: *труд, стабильность, материальное благосостояние, успех*. Ключевые слова Поэта: *досуг, беспокойство, фантазия, совесть*. С точки зрения обывателя все козыри на руках у Власти. Не говоря уже о том, что она

способна в любой момент прервать противостояние судом над Поэтом. И все-таки спор длится в поколениях, а время от времени противоборство неожиданно обостряется. Причиной этому служит одно никому не подконтрольное обстоятельство, склоняющее, по крайней мере посмертно, чашу весов на сторону Поэта: Божий дар. Кажется, что природа внимательно следит за тем, чтобы окончательно не перевесила ни одна из чаш. На диктатуру труда находится управа творческой лени. На успокоение — внезапная тревожность. На стяжательство — безвозмездная игра воображения. А пущенную в глаза пыль успеха подвергает ревизии совесть. Когда Власть, не прозревающая замысла Творца, сталкивается с недоступным ее пониманию Божьим даром, она затевает исторически безнадежное дело по его устранению. Но Божий дар устранить невозможно. Он присутствует в популяции как мировая константа. Уходит отсюда — возникает там. Через поколения снова обнаруживается здесь. И тогда успевшая много раз поменяться новая Власть, не наученная проколами былых времен, снова возбуждает процесс по устранению неустранимого.

Если вы когда-нибудь интересовались тем, как делаются научные открытия, то понимаете, что, как правило, делаются они абсолютно случайно, потому что открытие, по определению, есть нечто скрытое ото всех, неведомое никому и «вычислить» его заранее не удастся. Но тоже происходит и в искусстве. Стихи больших поэтов точно такие же открытия — только художественные. Предвидеть их не способно никакое начальство. Организовать — никакие указы. А неизвестность всегда страшит. Ее усугубляет и то, что сам автор не знает, какую мелодию исполнит ему следующий раз его морская раковина, и будет ли вообще этот «следующий раз»... Отсюда — постоянное беспокойство. Но, кроме незнания, Поэту дано предчувствие, а иногда и пророческий дар. Поэт интуитивно выведывает у будущего то, чего не постигает разумом. Тайна, дарованная Поэту природой, есть непосредственное восприятие словесных образов, как бы космических токов, минующих косный ум, привыкший к логике и экстраполяциям, которые хороши, пока вы идете по шпалам, но бессильны, как только путь обрывается... Способность Поэта

к восприятию неведомых эманаций необъяснима, выбивается из общего строя, всегда неожиданна и держит в напряжении идущее по шпалам руководство.

Что в 1910 году мог знать девятнадцатилетний Осип Манделштам о своей судьбе? Несмотря на революционные брожения, Российская империя представлялась незыблемым колоссом. О мировой войне никто не думал. А кто думал о крушении романовской России? О Гражданской войне? О том, что все это случится в ближайшее время? Кто в преддверии трехсотлетия Дома Романовых, оплакивал свои будущие опрокинутые мечты, перевернутую жизнь? Но вот кого-то же терзало среди благополучного 10-го года ощущение надвигающейся грозы; как будто бы беспричинное предчувствие чего-то смертельно опасного; вроде бы всего лишь нарисованного фантазией и в тоже время настолько реального, что и произнести страшно и в книгу не поставить: а вдруг сбудется? Пространство внушаемо.

Осенний сумрак — ржавое железо
Скрипит, поёт и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!

И каково это за двадцать лет вперед почувствовать на себе скользкие, удушающие кольца удава; увидеть в творческом сне пророчество о собственной гибели, по сравнению с которым меркнут все иные страхи?

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясён,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра тёмный стон!

Не новость, что есть наука прикладная, есть фундаментальная. Первая обслуживает материальные потребности общества; вторая развивает наши представления о мире, совершенствует методы исследования. Такое разделение узаконено и в равной мере поддерживается государством — когда на деле, когда на словах.

Но подобное существует и в искусстве. Есть искусство прикладное, есть фундаментальное. Первое удовлетворяет эстетические потребности публики; второе углубляет наше понимание жизни, продвигает инструментарий самого искусства. Однако здесь паритета нет. И в царское и в советское время первое называлось «искусством для народа» и поощрялось; второе — «искусством для искусства» и порицалось. Поэзия Осипа Мандельштама безусловно подпадала под «гриф» осуждаемого «искусства для искусства». Круг ценителей поэта — выпускника Тенишевского училища, слушателя Сорбонны и Петербургского университета — до революции составляли собратья по цеху и высококвалифицированные читатели-знатоки, а после революции, когда тех и других заметно поубавилось, круг сузился вначале до немногих друзей, потом до Анны Ахматовой и жены — Надежды Мандельштам. Потом до следователей Комиссариата внутренних дел, чинивших ночные обыски в жилище поэта в поисках крамольных рукописей. Рукописи изымались, автора арестовывали, и вся «надежда» оставалась на его относительную память и на абсолютную память жены. А запоминать приходилось многое и не простое.

При очевидной классичности и прозрачности формы — стихи Мандельштама сложны, потому что совсем не тривиально их содержание. А сложность содержания связана с его ассоциативной насыщенностью, концентрацией образов, массой заложенных в них культурных кодов, не читаемых непосвященным. Как их разгадывать? Не напрасно язык поэзии принято считать вершиной духовного развития народа. Общаться можно и знаками. Без слов. Почти без слов, редкими титрами обходился кинематограф, пока он был немым. Междометий, выкрикиваемых под

барабанный бой, достаточно, чтобы «заводить» стадионы. Но если мы хотим спрыгнуть с ветки и хотя бы минимально цивилизоваться, нам приходится говорить. А чтобы доказывать свою правоту на митинге, в суде или в научном собрании, говорить приходится разнообразно и убедительно. И уж совсем беда, если нам предстоит выражать словами сложные эмоции, что называется, «тонкие состояния души». Для этого и выработан особый язык — язык поэзии. Он сочетает в себе грамматическую правильность и лексическое богатство; музыкальность и метафоричность речи; отсутствие банальностей, вычур и грубости; чужого, выдаваемого за свое. Этот язык ясен и последователен, прозрачен и точен или наоборот пленительно туманен и противоречив, когда того требует творческое задание. Он способен передавать малейшие душевные движения. Ему не нужны никакие «спецэффекты», сопровождающие шумы, костыли внешней музыкальной поддержки. Вся музыка в нем самом. Чтобы понимать язык поэзии, недостаточно знать язык бытового или профессионального общения. А чтобы владеть языком поэзии в той мере, в какой владел им Мандельштам?.. Не даром древние греки почитали поэтов за полубогов.

Мандельштам отказывался воспринимать литературу как порт своей приписки. Не откровенные плагиаты, не салонная литературность или зуд писучести, а вполне добропорядочное писательство внушало ему глубокое недоверие как нечто внешнее по отношению к поэту, бумажное по отношению к живому; как выполнение урока, продиктованного извне, по наружным впечатлениям жизни, не переплавленным в сознании, не обогащенным всем предыдущим и последующим опытом души, как «сделанное», а не возросшее по собственной воле. Такое руководство было ему чуждо. Тем более чужеродной для поэта считал он любую идеологию — продукт чужого ума, порабошающий впечатлительное сознание «вечных студентов». Неприемлемой оставалась для него любая диктатура: хоть пролетариата, хоть капитала. С таким отношением к творимому в отчих пределах трудно было полагаться на снисходительность судьбы... Если Пастернака Власть до поры терпела как юродивого, по е

словам, небожителя, то Мандельштама она отвергла как небожителя, юродствующего на земле.

Реже и глуше звучала раковина, напрягавшая его творческий слух. А прежние песни были потоптаны сапогами, рассованы по казенным шинелям, украдены из обысканных углов.

Но не из памяти!

Не в детях, а во внуках возник тот сердечный отклик, что вернул к жизни, казалось бы, утраченное навсегда; возвратил отнятое спустя век, смертный сон, холодное забытьё.

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась, —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь, разбудить;

Раскидать бы за стогом стог,
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОЗАИЧЕСКИХ КНИГ АВТОРА

- Сорок слов из простакваши. Лайда. М., 1992.
- Прогулки со словами. Радуга. М., 1994.
- Прогулки со словами. Издательство «Центр гуманитарного образования». М., 1996. (Расширенное переиздание).
- Автопортрет в лицах. Изограф. М., 1998.
- Дар Владимира Даля. Дрофа. М., 2005. (Переиздания там же: 2007, 2010).
- Имя Родины. Голден-Би. М., 2008.
- Козьма Прутков: Жизнеописание. Вита Нова. СПб., 2010. (Переиздание: Козьма Прутков. Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ. М., 2011).
- Иван Цветаев: История жизни. Вита Нова. СПб., 2013.
- Виолончель за бумажной стеной. Новый Хронограф. М., 2016.
- Партия анекдотов. Новый Хронограф. М., 2016.
- В прилагаемых обстоятельствах. Новеллы и повести. Новый Хронограф. М., 2017.
- Щит Ареса. Роман. Новый Хронограф. М., 2018.
- Обход. Роман. Новый Хронограф. М., 2018.
- Имена. Литературные мемуары. Новый Хронограф. М., 2018.
- Ангел в Салониках. Книга эссе. Новый Хронограф. М., 2019.
- Козьма Прутков. Ученые штудии. МФТИ. М., 2020.
- На пиру судеб. Новый Хронограф. М., 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

То, во имя чего	5
---------------------------	---

РОМАН

Виолончель за бумажной стеной	13
-----------------------------------------	----

ПОВЕСТИ

Карл и Клара	263
«Фрау Хуберт» (<i>Монолог венского кельнера</i>)	280
Витвик	294

НОВЕЛЛЫ

Святое озеро	327
------------------------	-----

ИЗ «АНЕКДОТОВ О БАЛЬЗАКЕ»

Отель «На бобах»	331
Сойти со сцены, не взойдя	332
Титулованная особа	336
Пасьянс «Оноре»	337
Пир	339

ИЗ «ЧЕХОВСКИХ МОТИВОВ»

Записки старой собаки	342
<i>Наилудшая</i> книга	343
Исповедь старца Антония Крымского	345
Переписка	350
Кум Мирошник	351

ЗА КУЛИСАМИ

Рождество 45-го года (<i>Из рассказов художника Чижикова</i>)	356
Вожди революции	358
«Аристарх Раппопорт»	362
Лень (<i>Разговор во времени</i>)	366
Король оперной сцены	369
Ключ закусывает	378
Сёдзо	383

ПОСРЕДИНЕ ЛЕТА

Bel canto	385
Опущенный	393
Дух огня	403
Заклинатель дождя	405
Молитва грешника	407
«Не могу пройти молчанием!» (Козьма Прутков о Великой академической реформе 2013 года)	408
На просвет	410

ЭССЕ

Ангел в Салониках	415
-----------------------------	-----

ИЗ «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЙ»

«Француз», или Стихотворения Александра Пушкина, сочиненные им по-французски	422
Линия и слово	441
«Воспоминания в Царском Селе»	444
Голос сердца или упражнение для правой руки?	451
Поэт	458

Старый сад	466
----------------------	-----

Муравьиные яйца славы (Дифирамбы бессмертному Козьме)	476
--------------------------------------------------------------------	-----

ИЗ «БУНИНСКИХ ЧТЕНИЙ»

Горячий спор: о чем и как	485
Седой орленок	501

Незнакомец	513
----------------------	-----

Раковина	522
--------------------	-----

Библиография прозаических книг автора	533
-------------------------------------------------	-----

Художественное издание

Алексей Евгеньевич Смирнов

ХМЕЛЬ ПАМЯТИ
Избранная проза

Издатель *Леонид Янович*
Корректор *Ольга Купченко*
Художник *Владимир Хананов*
Верстка и оригинал-макет *Михаил Щербов*
Автор фото *Мария Смирнова*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Ассоциация «Издательство Новый Хронограф»
Контактный телефон: +7 (916) 651-30-94
по вопросам реализации: +7 (903) 669-69-09
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация об издательстве: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати: 30.11.2021
Формат 60 × 84 / 16, бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 33,5 печ. л.
Тираж 300 экз
Отпечатано в «Т8 Издательские технологии»

ISBN 978-5-94881-522-0



9 785948 815220



Во имя чего вы пишете?

— Одна из причин вызвана желанием материализовать время, остановить его, повернуть вспять. Это — мотив памяти. Трудно смириться с тем, что любимые нами люди уйдут навсегда, что трава забвения запутает их земные тропы. Померкнут лица, рассеются голоса, сотрутся следы... Удерживать время можно по-разному. В том числе в слове. Память художника складывается из личных предпочтений, субъективных оценок, собственных правд. Моя правда там, где мои испытания, мой опыт. Но субъективное не означает ложное. Многомерность художественной правды куда ближе к истине, чем плоская правда документа.